

Библиотека журнала «Голос Эпохи»

Елена Семенова



ЧЕСТЬ — НИКОМУ!

Том I. БАГРОВЫЙ СНЕГ

Annotation

Книга Елены Семёновой «Честь — никому!» — художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход... Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил. На страницах книги читатель встретится, как с реальными историческими деятелями, так и с героями вымышленными, судьбы которых выстраивают сюжетную многолинейность романа. В судьбах героев романа: мальчиков юнкеров и гимназистов, сестёр милосердия, офицеров, профессоров и юристов, солдат и крестьян — нашла отражение вся жизнь русского общества в тот трагический период во всей её многогранности и многострадальности.

-
- [Елена Владимировна Семёнова. Честь — никому! Том 1. Багровый снег](#)
 - [Андрей Можаяев. Хроника распавшегося времени \(О романе «Честь — никому!»\)](#)
 - [От Автора](#)
 - [Том 1. БАГРОВЫЙ СНЕГ](#)
 - [Глава 1. Кисмет](#)
 - [Глава 2. Путь Корниловца](#)
 - [Глава 3. Надинька Тягаева](#)

- [Глава 4. Первый бой Добровольцев](#)
 - [Глава 5. Пётр Тягаев](#)
 - [Глава 6. Подснежники](#)
 - [Глава 7. Память добра](#)
 - [Глава 8. Свои](#)
 - [Глава 9. Евдокия Криницына](#)
 - [Глава 10. Мироносица](#)
 - [Глава 11. Самый чёрный день](#)
 - [Глава 12. Кто рока ищет...](#)
 - [Глава 13. Боян земли Донской](#)
 - [Глава 14. Атаман](#)
 - [Глава 15. Ангел-Хранитель](#)
 - [Глава 16. Дальняя дорога](#)
 - [Глава 17. Царский путь](#)
 - [Глава 18. Смертию смерть поправ...](#)
-

**Елена Владимировна
Семёнова. Честь — никому!
Том 1. Багровый снег**

Андрей Можаяев. Хроника распавшегося времени (О романе «Честь — никому!»)

Времена бедствий народных наступают тогда, когда распадается связь времён, по выражению Шекспира. А распадается эта связь в результате отступничества и тяжёлых преступлений носителей власти или против этих носителей и самой власти. Их тяжестью измеряется глубина падения народов, государств.

Книга Елены Семёновой «Честь — никому!» — эпический роман в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Сегодня издаётся достаточно много книг, восстанавливающих историческую справедливость и открывающих идейную правду оболганного Белого дела. И тем не менее, роман видится мне уникальным явлением в этом литературном потоке. Он отличается не просто глубоким изучением, знанием эпохи. Это знание-чувствование, переживание, умное знание. Может быть, это и называется чуткостью. К сказанному следует сразу отметить и образность книги. Прочитав, уже никогда не забудешь образ свиньи-эпохи, пожирающей посреди станичной улицы человеческие останки.

Прежде, чем развёрнуто характеризовать роман, необходимо представить автора. Елена Владимировна Семёнова человек также уникальный в самом лучшем смысле этого слова, как и её книга. Её следует назвать автором разносторонним, увлечённым и опытным. На её счету — несколько изданных книг и сборников. Она — и острый публицист, и поэтесса, и прозаик. А литературно-общественная деятельность её в

интернете огромна! Елена Семёнова создала и ведёт целый ряд очень известных сайтов, где собраны важные и редкие материалы по трагической эпохе русской истории. Она же ведёт крупный портал «Архипелаг Святая Русь», литературно-общественный журнал «Голос эпохи» и является главным редактором печатной версии этого «толстого» журнала. Словом, работа колоссального объёма, и находящая горячий отклик у читателей! Ради чего этот труд автора? Ради восстановления нашего искалеченного исторического, культурного и народного самосознания, без которого не будет у нас достойного будущего, как нет настоящего.

В этом трудничестве автора роман «Честь — никому» занимает особенное, центральное место. Эта книга в самом полном значении — цель и смысл жизни писателя. Книга выстраданная, вобравшая в себя годы поисков, размышлений, затаённых от посторонних глаз переживаний. Этот роман не мог не быть написан. И вот он выходит в свет!

Итак, выше я сказал, что это произведение видится мне явлением уникальным. В чём же выражена эта уникальность? Во-первых — истинно эпический размах повествования и охват событий, продолжающий толстовскую традицию в русской литературе. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны. Мы превращаемся в очевидцев рождения Белой армии, её Кубанского Ледяного похода, боёв Каппеля за Поволжье, взятия и оставления генералом Врангелем Царицына, событий, связанных с деятельностью адмирала Колчака в Сибири, наступления на Москву сил генерала Деникина и его отступления, боёв в предгорьях Кавказа, в Малороссии, Великого Сибирского Ледяного похода, эвакуации из Новороссийска, создания в Крыму Русской армии генерала Врангеля, неравных по перевесу сил сражений за Каховку и Перекоп и Великого Исхода.

Автор Елена Семёнова не просто описывает исторические события, но раскрывает их в тех противоречиях, что препятствовали успеху Белой борьбы, отыскивает их причины и не скрывает просчётов, ошибок и пр. Особенно ярко и сложно эти противоречия эпохи, эти трагические обстоятельства раскрыты автором в их воздействии на характеры вождей Белого движения: Корнилова, Алексеева, Маркова, Краснова и других, уже упомянутых выше. Эти исторические портреты — особенная удача романиста. Семёновой удалось психологически правдиво и объёмно «вылепить» эти образы.

Особо нужно отметить, что авторский стиль, художественное воображение лишены псевдолитературного романтизма с его выпренности, мифизацией, экзальтацией, лишены стилизаторства и вообще всякого внешнего украшения. Автор сострадает происходящему, но и трезво его оценивает в ложных действиях, борьбе амбиций, имевших место. Тем самым книга обретает злободневность. Ведь и сегодня русский мир, общество расколото, распылены на всё более мелкие фрагменты и, увы, малоспособны к единению на основе твёрдой общей веры и личной чести. И сегодня единству противостоит обольщение ложными идеями, надеждами на возможное прекрасное будущее вне исторического пути Отечества и традиций народной жизни. Противостоят ему также личные амбиции политиков, малодушие, боязнь лишения земных благ и многое другое из этого ряда.

Поэтому роман «Честь — никому!» обращает мысль серьёзного читателя от минувшего к дню нынешнему, а от него — к размышлению над самим собой, к проверке собственной души в свете утверждённого уже в самом заглавии идеала. Эта книга не для слабодушного читателя.

Из всего вышесказанного читатель может сделать вывод, что повествование в романе ведётся целиком о событиях, о исторических личностях с попыткой автора по своему выразить их. Это лишь отчасти так. Потому, что главное внимание автор уделяет всё же не вождям, а персонажам, как выражаются, рядовым или обычным героям. Судьбы именно этих героев выстраивают сюжетную многолинейность романа. Здесь мы встретим и узнаем мальчиков юнкеров и гимназистов, сестёр милосердия, офицеров, профессоров и юристов, солдат и крестьян. Это позволяет широко раздвинуть рамки повествования о главных событиях и показать народную жизнь в её полифонии, в будничном повседневном трагизме эпохи. Но и в этом трагизме ослепительными искрами вспыхивают любовь и вера, братское самопожертвование, супружеская верность, религиозно-философские откровения людей, нацеленных на поиск идеала и многое другое. Я намеренно не привожу здесь цитат и выдержек из романа. Его нужно читать целиком, в потоке. И тогда каждый сам почувствует и переживёт то, о чём я здесь пишу.

С этим связано одно из важнейших достоинств романа. Автору замечательно удался художественный язык повествования. Елена Семёнова своим стилем возвращает нас и к живому, и к книжному языку тех времён. Это полнокровный и полноценный, струящийся и журчащий русский язык, который сегодня, увы, многим кажется непривычным, трудным своей полнотой, своим неспешным речестроем и развёрнутостью предложений, прописанностью мыслей и чувств. Язык захватывает и увлекает своей чистоструйностью, вводит в то время.

И последнее, о чём хочется сказать в предисловии к этой удивительной книге. Эпоха гражданской войны гораздо ближе к нам, чем это может показаться. Тогда

начинался разгром традиционного уклада, уничтожение физическое, политическое и моральное лучшей части народа во всех его сословиях. Сегодня — продолжается и близится к завершению уже гораздо более изощрёнными средствами. На вопрос, как и чем этому противостоять, да и следует ли противостоять соблазнам пусть не в форме коммунистической утопии, а какой-нибудь «глобальной модернизации» ради всё того же скорого «рая земного», и пробует ответить роман «Честь — никому!» Елены Владимировны Семёновой».

Андрей Можаяев, литератор, сценарист, лауреат международных кинофестивалей, доцент кафедры драматургии кино ВГИК.

От Автора

«...Подвиг, начатый «горсточкой», есть начало Священной Революции, высоко-духовной революции против тьмы. В ней бились и будут биться за ценности иные: за право оставаться человеком!.. Все, кто чувствует себя русским человеком, человеком, а не скотом, — все с нами, все — в неизвестное, где и смерть, и жизнь, но и смерть и жизнь — только по нашей воле, но и смерть и жизнь — во-имя! Ни классов, ни сословий, ни пола, ни возраста, ни языка, ни веры... — а все, Россия, — во имя святой свободы личной, во имя России общей...

...Ледяной поход — одна из светлейших, по чистоте духовной, одна из белейших страниц русской истории. Эта сверкающая снежная страница закрыла многие тёмные. И свет этот, хранимый здесь, на чужбине, в тоске по родине, хранимый и там, в России, в безмолвии и тоске, хранимый лучшими, будет сиять и греть. Из него разгорится пламя, не опаляющее, пламя святого Света.

Ледяной поход всё ещё продолжается там и здесь: продолжается чистыми. Он — вечен, как вечный Дух, неугасающая сила человека, человека-света. Вечная память павшим. Вечный завет — живым», — эти строки великого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелёва являются, по существу, эпиграфом к представляемому вниманию Читателя роману. Эта книга не о Гражданской войне как таковой, не о противостоянии белых и красных, но стане белом, о Белой Борьбе, в истории которой отразились все вечные и проклятые русские вопросы, причины наших поражений и величие Духа, Подвига. Во имя России. Чести. Веры. Чтобы понять причины происходящего с нами сегодня,

необходимо вернуться в те окаянные дни, понять их. Ибо и сегодня мы находимся в той же точке. Те же проблемы, задачи стоят перед нами. Те же вопросы тревожат умы и души. Те же силы руководят всем. Всё — то же. Характеры, процессы, споры... Только позади нас — страшный XX век, вымощенный невиданными потерями.

В этом романе мне хотелось объять все стороны Белой Борьбы. Все полюса. Москва, Петроград, Киев, Дон, Волга, Сибирь — вот, география данной книги. Наряду с героями вымышленными, чья история служит скрепляющей нитью всего произведения, важное место в романе занимают подлинные исторические фигуры: П.Н. Врангель, Л.Г. Корнилов, А.В. Колчак, С.Л. Марков, В.О. Каппель, Ф.А. Келлер, П.Д. Долгоруков, Л.А. Тихомиров, М.О. Меньшиков и др.

Книга целиком и полностью основана на документах, художественный вымысел присутствует лишь в мере, не нарушающей исторической правды, не искажающей фактов. Кроме событий военных и политических в романе уделено внимание положению русского национального движения, искусства и другим аспектам, имеющим важность для исследуемой темы.

Задача данного произведения состояла не только в том, чтобы воспеть подвиг Белой Гвардии, внести лепту в восстановление памяти о нём, но и исследовать, понять причины произошедшей трагедии. Причины поражения Белого Движения. А вместе с тем и причины наших сегодняшних поражений. Ибо они имеют один корень. Насколько удалось справиться с этой задачей, Читатель рассудит сам.

Белая Борьба продолжается и сегодня. Она идёт в душах. И верю, что настанет день, когда Белая Идея одолеет смуту, царящую у нас и победит. Так, как писала об этом Марина Цветаева:

Белизна — угроза Черноте.
Белый храм грозит гробам и грому.
Бледный праведник грозит Содому
Не мечом — а лилией в щите!

Белизна! Нерукотворный круг!
Чан крестильный! Вещие седины!
Червь и чернь узнают Господина
По цветку, цветущему из рук.

Только агнца убоится — волк,
Только ангелу сдаётся крепость.
Торжество — в подвалах и в вертепах!
И взойдет в Столицу — Белый полк!

P.S. Выражаю огромную признательность Андрею Борисовичу Можяеву, чья поддержка и помощь имели для меня при работе над данной книгой неоценимую важность.

Том 1. БАГРОВЫЙ СНЕГ

Глава 1. Кисмет

26 февраля 1918 года. Станица Ольгинская

Солнце вошло в станицу Ольгинскую, искря лучами по рыхлому снегу в чёрных проталинах, бестревожное, холодное и ясное. Даря свет всем людям, разделённым на непримиримые и жаждущие крови друг друга лагеря, не делая различий между ними, оно смотрело с неизменной приветливостью на всех, пробуждавшихся от его лучей: и на тех, кто встречал его улыбкой и прославлением Вседержителя, и на тех, чьи залитые ненавистью глаза уже разучились видеть красоту Божьего мира, и на тех, для кого это утро было всего лишь одним из чреды тысяч будущих в долгой жизни, и для тех, кто в последний раз видел его...

Четыре дня назад вереница людей, лишённых практически всего в этой жизни, кроме чести, сознания долга и остатков веры в свою поруганную Родину, вышла из Ростова. Офицеры и штатские, юнкера и студенты, женщины и старики — то была ещё не армия, но некий стихийный табор, в мареве беженства не успевший запастись в дорогу даже самым необходимым. И, вот, в ночном мраке, старый и больной генерал Алексеев, опираясь на палку, первым перешёл застывший зимний Дон, осторожно ступая по начинающему таять льду, вслушиваясь в его недовольный треск... Перейдя, не удержался, сказал Деникину с горечью:

— Не знаю, будем ли живы...

Мог ли думать ещё совсем недавно он, потомок крепостных, исключительно своим умом вышедший в профессора и генералы от Инфантерии, начальник Штаба Верховного Главнокомандующего и правая рука

Императора, которого Михаил Васильевич, попавшись на крючок столичных политиканов, так невознаградимо, так непростительно и непоправимо позволил лишиться престола, он, привыкший командовать целыми армиями, что такими будут последние месяцы его жизни? И всё чаще вспоминался Государь, так доверявший ему... Во имя чего вытребовали это отречение? На что рассчитывали? Чего добивался он, Алексеев, позоря после многолетней беспорочной службы свои седины? Думалось, будет дворцовый переворот. Переворот, каких немало было в российской истории, и ведь к лучшему выходивших. Думалось, уйдёт Царь, исчерпавший народную веру, неудачливый и слабовольный, уйдёт вместе с ним его злой гений — жена, а на престоле утвердится новый Государь, и всё утрясётся, поправится. Но, зная, прошло время дворцовых переворотов, и, вот, итог: ни Царя, ни России... А какой-то невиданный доселе хаос и мрак, в котором только и остаётся, что вопреки всему затеплить слабый огонёк лампы, светоч, который, может быть, позовёт за собой русских людей, и молиться...

Накануне в Ольгинской прошёл смотр войск. На четырёхтысячный состав — сплошь офицеры, юнкера, кадеты, вчерашние студенты и гимназисты... Да и тех-то — мало... Всё затаилось на Дону, все ожидали, что будет, не желали будить лиха и лезть на рожон, словно не понимая, что лихо давным-давно разбужено и не пощадит никого. Как призывал недавно убитый герой Чернецов офицеров встать на защиту Родины, и лишь двадцать семь человек откликнулись на призыв! «Когда большевики займут Новочеркасск и будут вешать офицеров, я буду знать, за что повесят меня, а вы — нет!» — сказал отважный партизан и ушёл на борьбу со своими орлятами — юнкерами и кадетами — и ведь даже ничтожной силой сумел нагнать страху на

большевиков. Но нет теперь Чернецова, предательски выданного врагам в своей же родной станице... И многих нет уже, и скольких не будет! И, в первую очередь, не будет этих юных прекрасных героев, некоторым из которых едва исполнилось пятнадцать. Детей на смерть посылать — добро ли?.. Для них вся эта война ещё похожа на игру, их досрочно производят в офицеры, и это важнее всех будущих и бывших страхов. А каково матерям их? Некоторые из этих матерей ещё в Новочеркасске приходили к Михаилу Васильевичу, со слезами умоляя вернуть их детей. Шли за каким-нибудь жаждающим подвига четырнадцатилетним кадетом в казармы, а он, едва завидев мать и понимая цель её прихода, он, не боявшийся пуль, нырял под кровать — лишь бы не возвращаться домой, когда старшие друзья и братья встали на дело спасения Родины. Плакала мать, упрашивала сына пожалеть её, да и уходила ни с чем... Орлята гибли, а орлы выжидали... На смотре молодцеватый, энергичный, совсем молодой ещё Марков в серой тужурке и белой папахе, обзрел свой Офицерский полк, похлопывая плетью о ладонь, сказал громким, немного резковатым голосом:

— Немного же вас здесь, господа! По правде говоря, я ожидал из трёхсоттысячного офицерского корпуса увидеть больше... — и ободрил тотчас, блеснув крупными глазами, в которых, несмотря на его генеральский чин, солидный послужной список и преподавательский опыт, сквозило ещё молодое озорство: — Но не огорчайтесь! Я глубоко убеждён, что даже с такими малыми силами мы совершим большие дела. Не спрашивайте меня, куда и зачем мы идём. Идём мы к чёрту на рога за «синей птицей»! Теперь скажу вам только, что приказом Верховного Главнокомандующего, я назначен командиром Офицерского полка. Командиры батальонов переходят на положение ротных, ротные командиры — взводных и

так далее. Но и тут вы, господа офицеры, тоже не огорчайтесь: ведь и я с должности начальника штаба фронта перешёл на батальон. Вижу, что у многих нет погон. Завтра чтоб имели... — и усмехнувшись лукаво: — Сделайте хотя бы из юбок ваших квартирохозяек!

Одобрительный хохот грохотнул в ответ. Умел, умел Сергей Леонидович найти нужное словцо. Язык его столь же остёр, сколь клинок...

«Из трёхсоттысячного корпуса...» Беда с выжидальщиками! Верно говорят, что, пока гром не грянет... А разве же не грянул? Или нужно, чтобы гром этот непосредственно в темечко каждому саданул, и тогда лишь очнутся? Выжидают казаки. Вот и здесь, в Ольгинской, хоть и не гонят, а смотрят недовольно, исподлобья. Пообещали старики Африкану Петровичу Богаевскому сотню пеших да полсотни конников дать, собралось в назначенный час на площади «воинство» — двадцать подростков четырнадцати-пятнадцати лет.

— Кого ждёте, молодцы?

— Какого-сь генерала Бугаевского...

— Я генерал Богаевский.

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — выстроились казачата в шеренги.

— Зачем пришли сюда, молодцы?

— Да вот тятка сказал, что вы смотр нам делать будете!

— А сказали вам тятки, что вы со мной и с «кадетами» в поход пойдёте, с большевиками драться будете?

— Нет, на это мы не согласны!

— Ступайте по домам!

Так и разлетелась беспечной стайкой ребятня, галдя весело, по своим тяткам, которые сами так и не показались...

А юнкера и кадеты, храбрые и чистые орлята, чьи души корёжила разверзшаяся усобица, смотрели счастливо. Сияли их глаза при виде своего кумира, своего вождя — Корнилова. Он выехал на площадь верхом на светло-буланом английском жеребце, а за ним — неотлучный Хан Хаджиев с трёхцветным российским знаменем и офицеры, одетые как придётся — в шинели, кожухи, штатские пальто... Впрочем, до офицеров орлятам дела не было. Их взоры и сердца были прикованы к Верховному, по первому слову которого они пошли бы на верную смерть. «Корнилов!» — проносится восторженный, захлёбывающийся шёпот по рядам. И громогласное «Ура!» встречает и провожает его...

А ещё понаехали в Ольгинскую журналисты. И узнал генерал Алексеев неприятную новость: отвечая на вопросы газетчиков, Лавр Георгиевич заявил:

— Куда я направляюсь? Лишь только соберу все части армии и приведу их в порядок — я тотчас же перейду сюда, — и обвёл карандашом на карте станицу Великокняжескую.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Не собирая совета, не совещаясь ни с кем, так просто единолично решил маршрут армии? Хоть и Верховный, а права не имел! Михаил Васильевич с трудом сдерживал раздражение. К тому, что Лавр Георгиевич мало считается с ним и его не любит, он привык уже давно (что греха таить: и сам симпатий к Корнилову не питал), но пренебрегать советом армии в столь важном вопросе — это уже чересчур! Да и им, Алексеевым, пренебрегать не должно бы. Точила сердце обида, старательно, чтобы не раскалывать и без того малочисленные силы, задавливаемая. Кто создал Добровольческую армию? Кто наладил дело? Михаил Васильевич. Сначала в Петербурге, затем здесь, на Дону, под крылом покойного Каледина... По крупицам создавалась

Добровольческая армия, которая в будущем должна была заменить собой разложившиеся и распропагандированные войска, стать ядром возрождения новой России. Стекались по одиночке и небольшими группами на Дон немногие верные офицеры, которых нужно было где-то разместить, назначить жалование... А на все затраты — отыскать деньги! А где искать их? С собой Михаил Васильевич привёз десять тысяч рублей, личных и занятых у знакомых. Ещё из Москвы тамошние богатеи «расщедрились» на триста шестьдесят тысяч... Местные же состоятельные люди и вовсе отделялись посылкой армии табака и другой мелочи. Конечно, московских промышленников отчасти можно было понять. Однажды они уже обожглись на схожей помощи: Путилов выделил руководителю Союза Офицеров Новосильцеву крупную сумму, а тот просто и банально прокутил её! В другой раз Путилов денег уже не дал. Но на ростовских и новочеркасских «буржуев», выражаясь языком господ большевиков, понимания не хватало. Ведь им, им самим нужна военная сила, чтобы оборонять их, их родных, дома, предприятия и капиталы от восставшей черни, от заседающих красных, а хоть бы кто раскошелился! Дать средства белому воинству не пожелали, теперь будут дорого платить красному... И уже не деньгами, а жизнями. А всё-таки собирались добровольцы, добывалось оружие, копились с миру по нитке деньги... И всё это его, Михаила Васильевича, трудами!

Но, вот, в Новочеркасск прибыл долгожданный Вождь. Корнилов. Прибыл на всё готовое и сразу оттенил собой Алексеева. Алексеев был для армии любимым «дедушкой», Корнилов — кумиром. И вопроса, кому стоять во главе армии, в общем-то, быть не могло. Деникин был прав: уход Михаила Васильевича армию бы расколол, уход Корнилова — убил. Ради дела Алексееву должно было смириться со второй ролью, но тем

труднее это было, что Лавр Георгиевич, едва прибыв, повёл себя по отношению к нему откровенно недоброжелательно. Надо же было какому-то чёрту пустить сплетню, будто бы Михаил Васильевич помогал Керенскому укреплять Петроград для обороны от корниловских войск в дни «мятежа»! А Лавру Георгиевичу если что в голову втемяшилось, так уж ничем не выбить. Уж сколько Антон Иванович старался, а без толку... Скверный характер у Верховного. Мог бы ради дела хоть внешне быть сдержаннее! Но не переделаешь. Горбатого, как говорится... В одном здании в Новочеркасске работали, а все вопросы разрешали в письмах, передаваемых адъютантами, чтобы лишний раз не встречаться. «Когда в товарищах согласия нет...» А ведь ещё и вечные претензии со стороны Корнилова! «Дайте мне солдат, солдат дайте! Что это за армия без солдат?!» Дайте! Откуда взять их Алексееву? Разве он Господь Бог, чтобы слепить их из глины и вдохнуть душу? А эта вечная подозрительность... Истрепал себе нервы Михаил Васильевич в этих склоках, так мешавших главному делу. Предложил однажды:

— Вы, Лавр Георгиевич, поезжайте в Екатеринодар и там, совершенно самостоятельно, приступайте к формированию частей Добровольческой армии, а я буду производить формирования на Дону.

Корнилов скривился:

— Если бы я на это согласился, то, находясь на таком близком расстоянии один от другого, мы, Михаил Васильевич, уподобились бы с вами двум содержателям балаганов, зазывающих к себе публику на одной и той же ярмарке.

Балаган... Вот уж точно, балаган... Хотел Лавр Георгиевич податься в Сибирь, но армия не пустила. Без него она лишилась бы души... Без Алексеева — не лишилась бы... И обидно, а надо правде в глаза

смотреть. И готов был Михаил Васильевич уступить, но не роняя собственного достоинства, с которым, кажется, уж слишком мало считался Вождь... Положение спасли политики. Хотя на что-то сгодились, хоть тут полезны оказались. Развели-таки конфликтующие стороны, не ущемляя ни одной, нашли «каждой сестре по серьгам»: Корнилову — власть военную, Алексееву — гражданскую, финансовую и внешнеполитическую, Каледину — управление областью. На том и сошлись.

А глухая неприязнь так и не стёрлась. И время от времени давала о себе знать. Вот, и теперь это самовольное решение Верховного о пути следования армии! Нет, не бывать тому! Такие решения могут приниматься лишь на совещании, а, значит, надлежит быть совещанию.

В полдень в просторной хате, занимаемой Верховным, собрался военный совет, созванный по настоянию Алексеева. Лавр Георгиевич погладил редкую, с проседью бородку и пасмурно оглядел узкими монгольскими глазами собравшихся. Спектр мнений был ему уже ясен. Алексеев, Деникин, Романовский, Эльснер и некоторые другие будут гнуть кубанскую линию. На Екатеринодар... Чем кубанские казаки отличаются от донских? А ничем. Та же «хата с краю» до той поры, пока не начнут их из этой хаты гнать. Так к чему искать счастья на Кубани? Обождать на Дону, пока местные казаки всколыхнутся, как только начнут их бить красные банды... Да и что там — на Кубани? Опять казачья политика! Политиканство! Виляния! Самостийность! Михаил Васильевич успел наладить отношения с Кубанской радой и атаманом Филимоновым, даже поощрял самостийные течения, видя в них противовес большевизму. Политика, всё политика... Болото, из которого даже известный враль

не смог бы вытянуть себя за косицу! Алексеев не знал казачества, как не знали казачества и его сторонники. Но Лавр Георгиевич — знал! Он сам казак, хоть и другого края. И Богаевский — казак. И он за Дон, за зимовники. И Марков с Лукомским поддержали этот план. А теперь и ещё подмога пришла — Попов с Сидориным. Походный атаман с начальником штаба и полуторами тысячами человек покинул Новочеркасск за час до его взятия большевиками. В Новочеркасске уже началась кровавая баня... С преемника Каледина атамана Назарова подлец Голубов сорвал погоны, а после его расстреляли, и он успел крикнуть своим палачам:

— Пли, сволочь!

А ведь верил, что его тронуть не посмеют, что не поднимется рука на атамана...

Походный атаман с донцами с родной земли не уйдут, это ясно. Что же, бросать полторы тысячи воинов при таких скудных силах, расплыться? Неразумно. Так и лучше остаться Добровольцам на Дону, переждать в зимовниках, а затем, когда всколыхнуться восстания...

Наконец, все участники совета заняли свои места, и Лавр Георгиевич открыл заседание. Первым слово взял Алексеев. Простое лицо, но умные глаза, смотрящие внимательно из-под очков, профессорская манера держать себя, менторский тон — говорил скрипуче, словно читая одну из своих многочисленных лекций:

— Я считаю, что при уходе отряда на зимовники невозможно не только продолжение нашей работы, но даже при надобности и относительно безболезненная ликвидация нашего дела и спасения доверивших нам судьбу людей. В зимовниках отряд очень скоро будет сжат с одной стороны распутившейся рекой Дон, с другой стороны железной дорогой Царицын-Торговая-Тихорецкая-Батайск. Причём, все железнодорожные узлы и выходы грунтовых дорог будут заняты

большевиками, что лишит нас совершенно возможности получать пополнения людьми и предметами снабжения, не говоря уже о том, что пребывание в степи поставит нас в стороне от хода событий в России...

— Ход событий в России, безусловно, важен, — подал голос атаман Попов. — Но для меня и для моих донцов не менее важен ход событий на Дону. Мы не можем покинуть Дон в тяжёлый час. Казачество...

— Казачество совершенно не понимает ни большевизма, ни «корниловщины»! — раздражённо перебил Деникин осипшим голосом. Он покинул Ростов в гражданском платье и лёгких ботинках, не успев даже справиться себе сапоги, и после долгого пути по снегу сильно простудился, и теперь сидел на совещании совершенно больной. — С нашими разъяснениями соглашаются, но плохо верят. Сыты, богаты и, по-видимому, хотели бы извлечь пользу из «белого» и из «красного» движения... Сегодня спрашиваю одного местного деда: «За кого ж будете?» А он прищурился этак хитро и отвечает: «А кто победит из вас, за того и будем!» Им чужды обе идеологии, и они не хотят ввязываться в чужую для них распрю, пока большевики не схватили их железной рукой за горло!

— В ваших словах много горькой правды, Антон Иванович... Но вы ведь сами сказали только что: пока большевики не схватили за горло. Да ведь теперь схватят! И поверьте, казаки не станут терпеть этого! — усталый голос Попова оживился. — Пройдёт совсем немного времени, и восстания запылают по всему Тихому Дону! И наше дело быть рядом и, по возможности, приближать этот момент, и поддерживать восставших! Господа! Я прожил на Дону всю жизнь, равно как и мои предки. Я знаю казаков! Да, теперь они остерегаются ввязываться в кажущиеся им сомнительными предприятия, но это ненадолго! Кто

знает, что ждёт вас на Кубани? А здесь, ручаюсь вам, восстание и поддержка казачества не за горами. Лишь обождите немного. Пассивность казаков временна, они не снесут красного ига и неизбежно восстанут. Я знаю историю, быт и нравы их, и могу утверждать это и отвечать за свои слова.

Атаман провёл рукой по утомлённому, немного отёкшему после нескольких бессонных ночей лицу. Вся жизнь Петра Харитоновича Попова прошла на Дону. Отец его организовал первый Донской музей, и от него будущий атаман унаследовал живейший интерес и любовь к культуре и истории родного края. Петру Харитоновичу не пришлось бывать на фронте, командовать армиями, но деятельность его вряд ли была менее значима. Именно он пестовал будущие кадры Русской Императорской армии в Новочеркасском военном училище, которое возглавлял. Десять лет Попов прослужил в Московском военном округе, неоднократно руководя военными учениями, превосходно овладев премудростями стратегии и тактики, столь пригодились ему в смутные времена. После революции генерал сделался одной из ключевых фигур на Дону. Когда в Новочеркасске стали заправлять «Областной Исполнительный Комитет» и «Военный отдел», и их нахальные представители хотели разогнать войсковой штаб, атаманскую канцелярию и правительство Дона, Пётр Харитонович в отличие от многих офицеров, подавших в отставку, вступил в борьбу: он организовал охрану находящихся в опасности учреждений и пригрозил «отделу» перевешать его членов. Попов мгновенно понял, что антигосударственным, антиказачьим организациям можно противопоставить только другую мощную организацию — казачью и выступил инициатором создания Союза Донских Казаков, благодаря которому на Дону установилась власть атамана Каледина.

Временное правительство обвинило последнего в мятеже и хотело отдать под суд, но Пётр Харитонович быстро собрал верные войска и отправил правительству телеграмму: «С Дона выдачи нет». Мудрый и дальновидный Попов был ближайшим советником Каледина, а затем и его преемника Назарова. От последнего унаследовал Пётр Харитонович пост Походного атамана. Менее двух недель назад в новогоднюю ночь Назаров сдавал ему штаб. Обрисовав общее положение, он обратился к присутствующим офицерам:

— Все вы знаете Петра Харитоновича, прошу выслушать и его.

Попов, невысокий, уже переступивший полувековой рубеж, поднялся:

— Вы меня знаете, знаю и я вас всех за отдельными исключениями. Но не все офицеры как Войскового, так и штаба Походного атамана присутствуют здесь. Это плохая примета. Значит — не все сочувствуют делу борьбы с большевиками и, вероятно, собираются от неё уклониться. Предупреждаю, что борьба будет продолжаться до полной победы над большевиками и никаких компромиссов. Сил у нас немного, но тот, кто сражается на фронте, имеет сильный дух и непреклонную волю к борьбе до победы. Этим мы и победим...

Накануне Пётр Харитонович пытался убедить атамана покинуть Новочеркасск и не рисковать жизнью без всякой нужды, но тщетно: Назаров счёл своим долгом остаться на своём посту до конца... И, вот, теперь это совещание, отчаянная попытка убедить Добровольцев не покидать Дон. Знал Попов, что Корнилов сам склоняется к этому решению, и не жалел сил, чтобы укрепить в нём Верховного, но не слабее было влияние других членов совета...

Снова заговорил, монотонно, не меняя интонации, Алексеев:

— Я должен вам сказать, Лавр Георгиевич, что настроение офицерского состава нервное и неуверенное. Слухи об уходе в зимовники, не успокаивают, а, напротив, усугубляют это нежелательное состояние, порождают нарекание на лиц, ответственных за судьбу тех, кто во имя служения Родине вверил свою судьбу нашей организации. Идея движения на Кубань понятна массе, она отвечает и той обстановке, в которой армия находится... Она требует деятельности, от которой не отказывается большая часть армии. К тому же в центрах — Москве и Петрограде — по-видимому, назревают крупные события. Вывести на это время из строя, хотя и слабую и усталую, армию можно только с риском, что она навсегда утратит своё значение в решении общегосударственной задачи.

— Михаил Васильевич, — в голосе Корнилова, разом напрягшегося, хотя и сохраняющего непроницаемое выражение лица, звякнуло с трудом сдерживаемое раздражение, — крайне сожалею о существовании в армии толков и пересудов, волнующих массы. Распространением их занимаются, насколько мне известно, чины политического отдела, относительно которого усердно прошу вас принять меры. — При упоминании политического отдела на лицо Верховного набежала туча. Чины его ещё в Новочеркасске распространяли слухи о том, что Корнилов собирается объявить себя диктатором и всех их разгонит. После ряда подобных инцидентов Лавр Георгиевич пришёл к окончательному выводу, что работать с этими говорунами и шкурниками нет никакой возможности, и принял решение разогнать их при первой же возможности. Теперь же в любых слухах Верховный подозревал именно политический отдел. — Что

касается государственных задач, то я признаю, что при существующей организации управления и постоянном вмешательстве политического отдела в вопросы, его не касающиеся, это невозможно! А, стало быть, единственная цель движения на Кубань — поставить армию в условия возможной безопасности и предоставить возможность её составу разойтись, не подвергаясь опасности быть истреблёнными...

— Эту цель также нельзя недооценивать... — сухо заметил Алексеев.

— Ради этой цели незачем предпринимать столь дальний путь! — возразил Пётр Харитонович. — Послушайте же! Красная гвардия сильна числом своих людей и вооружением, но слаба духом. Красное командование старается привлечь казаков на свою сторону. Если ему это сделать удастся — это будет казачьей трагедией. Но им это не удастся! Мы уйдём в степи и там переждём исцеления казаков от нейтралитета. Придёт весна, казак поймёт, где правда и право, и встанет на их защиту!

— Я согласен с этим, — заявил Богаевский, покрутив острый, загнутый кверху ус. — Дон скоро поднимется, испытав всю прелесть советской власти, и нам не стоит идти так далеко, не зная ещё точно, как нас встретят на Кубани!

— Пойдите, господа, — вступил в полемику сухопарый, с седой бородкой клинышком, Эльснер. — Как интендант, призываю рассмотреть чисто материальный вопрос. Степной район, конечно, пригоден для мелких партизанских отрядов, но как разместится в нём Добровольческая армия в пять тысяч ртов? Зимовники удалены друг от друга и не обладают достаточным количеством жилых помещений и топливом. Расположиться там мы можем лишь мелкими частями, что затруднит управление. А снабжение? Допустим, что зерна и скота нам худо-бедно хватит, а

оружие? Одежда? Как быть с другими потребностями армии?

— А большевики точно не оставят нас в покое там, — подхватил Деникин.

— Кубань — богато обеспеченный край, где ещё держится борющаяся с большевиками власть, и там мы сможем заново начать организационную работу...

— Это ещё вилами по воде писано, — покачал головой Богаевский.

— Что же, если говорить о материальной части, то можно и о материальной, — слышался негромкий, рассудительный голос сидевшего в углу Лукомского. — При нашей армии более двухсот раненых и большой обоз, который нельзя бросить. Обозные лошади уже теперь имею жалкий вид и еле переставляют ноги. На пути к Екатеринодару нам нужно дважды переходить железную дорогу, где несомненно нас будут ждать большевистские бронепоезда. Раненых будет становиться всё больше, лошади вконец вымотаются. А к тому усилится распутица, что ещё больше затруднит наши передвижения. О том же, что происходит на Кубани, мы ничего не знаем. Что если наши расчёты ошибочны? Лучше поступить, как предлагает атаман Попов: перейти пока в район зимовников. Там, вдали от железных дорог, защищённые с одной стороны Доном, мы сможем переформировать армию, заменить лошадей, исправить обоз и просто перевести дух. В ближайшие два месяца большевики не посмеют отойти от железных дорог, а если отойдут, будут биты. А через два месяца, в зависимости от обстановки, можно будет принимать решение.

За окном начало смеркаться, и стоявший подле него Марков, молчавший всё это время, резко поднял голову и сказал:

— По мне, так нечего за семь вёрст ходить киселя хлебать. Зимовники так зимовники! Давайте уже и

порешим на том!

— Горяч ты слишком, Серёжа, — покачал головой Романовский, хмуря благородное, холёное лицо. — Не блох же ловим! Зимовники! А кто сказал, что зимовники смогут обеспечить армию? Лично я в этом сомневаюсь!

— Сергей Леонидович прав, — задумчиво вымолвил Верховный. — Уже сумерки, а мы всё спорим... Разговоры погубили нашу дорогую Родину, а мы и теперь всё разговариваем... — он помолчал, вспомнив, что схожие слова говорил Каледину, когда решил уводить армию из Новочеркасска в Ростов, и атаман почти дословно повторил их перед тем как пустить себе пулю в грудь: «От болтовни Россия погибла». — Поскольку точной информации о зимовниках у нас нет, то нужно провести разведку. Пусть атаман Попов со своими Донцами отправляется туда теперь же. Мы же, имея ту же цель, пока двинемся другой дорогой, чтобы в случае неудовлетворительных результатов разведки, иметь возможность для манёвра. И вот ещё что... Нужно выяснить, что происходит в Сибири и наладить связи там... Туда отправится полковник Лебедев. Есть ли у кого-нибудь вопросы или ещё какие-нибудь соображения?

Алексеев недовольно крикнул, но ничего не сказал. Промолчали и остальные члены совета.

— В таком случае вы свободны, господа!

Собравшиеся стали расходиться. Корнилов вышел следом за всеми и уже на крыльце стал прощаться с атаманом Поповым, покидавшим станицу в сопровождении двадцати казаков.

— Значит, вы меня известите немедленно, как только переговорите со своими. Время не терпит! Вы сами знаете, в каком положении дела, — говорил Лавр Георгиевич, всматриваясь сквозь сумрак в лицо Петра Харитоновича.

— Так точно, Ваше Высокопревосходительство, — кивнул тот и вскочил в седло.

Корнилов проводил взглядом стремительно удалявшуюся конную группу и возвратился в хату. Закопчённая керосиновая лампа чадила, тускло освещала помещение, не достигая углов, и находившиеся в нём предметы отбрасывали на стены чёрные, длинные тени. Одна из теней вынырнула вперёд и, обретя облик корнета Хаджиева, поставила на стол скромный ужин. Лавр Георгиевич сел и, прищурившись, спросил верного адъютанта:

— А, что, Хан, есть ли у вас..?

Он не успел закончить фразы, и всё понимающий текинец, с обожанием смотревший на своего «бояра», тотчас поставил на стол бутылку водки и рюмку.

— Bravo, Хан. Что бы я делал без вас, — глаза генерала потеплели, но улыбка так и не коснулась губ. Улыбка, вообще, был редкой гостьей на его маленьком, желтоватом и всегда сосредоточенном лице.

Кто-то постучал в дверь, и на пороге возникла невысокая, плотная фигура Деникина, почти нелепо смотревшаяся в штатском пальто.

— А, Антон Иванович! Милости прошу! Разделите со мной эту солдатскую трапезу, — Корнилов приветливо пригласил гостя садиться рядом с ним.

— Спасибо, Лавр Георгиевич, — Деникин глухо закашлялся и сел.

Верховный с заговорщическим видом обернулся к Хаджиеву:

— А что, Хан, найдётся у вас ещё рюмочка?

Текинец с готовностью подал ещё одну рюмку и, наполнив обе, отодвинулся на почтительное расстояние.

— Где вы, Лавр Георгиевич, добываете неисчерпаемой количество влаги, так необходимой в такие тяжёлые дни? — усмехнувшись, осведомился

Антон Иванович. — Проклятье, никто не хочет продать моему Малинину и нигде не найти!

— Вот Хан знает, где находится запас, — кивнул Корнилов на адъютанта.

— Хан, пожалуйста, скажите Малинину, где вы добываете, — попросил Деникин.

— Тогда, Ваше Высокопревосходительство, вы не удостоите вниманием наш скромный обед, — резонно отозвался Хаджиев, блеснув из полумрака белозубой улыбкой.

Корнилов чуть улыбнулся, одобрительно кивнув:

— Хан, нет ли у вас ещё для одной рюмки?

Вечер быстро клонился к концу, и, кажется, все ясно понимали, что это последний относительно мирный вечер перед чередой тяжёлых испытаний, ожидающих армию, а для кого-то и вовсе последний в жизни. Деникин, имевший мысль ещё раз попытаться склонить Верховного к походу на Кубань, так и не затронул эту тему, не желая омрачать этот тихий вечер, а вместе с ним и без того нерадостное настроение гостеприимного хозяина. Тем не менее, Лавр Георгиевич без слов понимал, какие невысказанные слова тяготят его сподвижника, но также не обратился к больному вопросу, оберегая иллюзию последнего покойного ужина и не видя смысла в новой дискуссии, на которую и так ушёл почти весь день.

Когда Антон Иванович ушёл, Верховный отпустил адъютанта и, задув лампу, опустился, не раздеваясь, на кровать. Хата, в которой он остановился, напоминала ту, в которой прошли его детские годы. Велико расстояние между Доном и Сибирью, а уклад казачьей жизни схож и здесь, и там. Стены, белёные глиной, на полу половики, столы, покрытые белыми скатертями, небольшое зеркало, обвешанное полотенцем, лубочные картинки... А в углу мерцает лампада перед большой иконой... Икона в хате была единственной и изображала

сцену положения Христа во гроб. Лавр Георгиевич смотрел на неё, не отрываясь. Ему чудилось, что неслучайно именно эта икона оказалась в хате, что в этом есть какой-то грозный символ. Один из самых трагических мгновений во всём Евангелии. Тот, Кто пришёл спасти Божий народ, предан, оболган, распят и, вот, положен во гроб. И даже самые преданные отреклись и спрятались, боясь навлечь на себя бедствия. И, кажется, нет никакой надежды... Но ведь минет всего лишь два дня, и Ангел возвестит: «Что ищите живого меж мёртвых?» С каким вдохновением читал этот Евангельский стих станичный священник, обучавший казачат в Каркаралинской приходской школе, где получал азы образования девятилетний сын хорунжего Георгия Корнилова... И как просто и понятно звучало всё в устах бесхитростного батюшки... И слышался, словно наяву, дребезжащий, но вдохновенный голос: «Да воскреснет Бог, да расточатся врази его...» Рука сама собой сотворила крёстное знамение, но легче на душе не стало. Какое-то дурное предзнаменование таилось в скорбном образе, на котором ничто не напоминало о грядущем Воскресении...

Краткая передышка перед походом почти не сняла усталости. Да и что могло снять её, накапливаемую месяцами, годами? Колесо жизни помчалось вдруг с такой невиданной скоростью, что за один день событий стало выдаваться больше чем некогда в месяц. И событий — сплошь страшных, постыдных, трагических. Долго-долго ещё не придётся мечтать об отдыхе ни России, ни армии, ни её командующему. Да и сколько времени нужно, чтобы отдохнуть от всего этого? Кажется, и года мало будет... А, между тем, для армии так важен отдых! Атаман Попов и другие сулят его в зимовниках, Алексеев — в Екатеринодаре... И кто из них прав? Сердце Верховного определённо тяготело к плану

Походного атамана, столь дельно поддержанному Лукомским. Но... Что если всё-таки ошибка? Попов ратует в этом вопросе, в первую голову, о своих казаках, о Доне, отодвигая на второй план остальную Россию. На казаков уверенно положиться нельзя. Казаки — себе на уме. Конечно, они восстанут против красных банд, тут и сомнений нет. Но — когда? Не будет ли это слишком поздно? И во что выльется их восстание? Освободят родной Дон и айда по хатам да базам? А остальное — не их забота. Казаки воевать не хотят, казаки хотят заниматься хозяйством, казаки не пойдут освобождать остальную Россию, если не почувствуют ясно, что это необходимо им самим. Попов думает о казаках, которые непостоянны, а Верховный обязан думать о своих Добровольцах, принимающих муки и смерть за Родину, верных долгу и вверивших свои судьбы не кому-нибудь, а именно ему, генералу Корнилову.

Так же точно рассуждал Лавр Георгиевич и чуть раньше, уводя своё войско из Новочеркасска в Ростов, несмотря на уговоры Каледина этого не делать. А вот Алексеев, в противовес атаманам, готов строить планы на всю Россию. В центрах назревают события! Чёрт бы взял эти центры с их политиками... Что путного может созреть в тамошних болотах? Нет, довольно политики и разговоров! Только — действие: твёрдое и жёсткое. Калёным железом выжигать заразу большевизма, отравляющую и убивающую весь русский организм! Перевешать всех этих Лениных и Троцких! И пусть вопят стогласно: «Корнилов — палач!» Корнилов лишь истребит заражённые клетки организма, пока болезнь окончательно не уничтожила его целиком. Неблагодарное дело, но прошло время белоручек! Эти проклятые белоручки, играя в гуманность и развязывая руки бандитам и мерзавцам, довели Россию до невообразимого позора. Теперь нужна сильная воля и

твёрдая рука. Эта рука должна известить под корень смертельную заразу, а после наступит время лечения. Но уж это дело других. Пусть собирается Учредительное собрание, устанавливает любую форму правления, принимает необходимые законы... Корнилов примет их и подчинится. Уйдёт на покой, станет писать мемуары, а, всего лучше, посвятит оставшиеся дни географии, составит подробное описание Кашгарии и других местностей, в которых так счастливо совмещал он разведывательную деятельность с исследовательской. А покуда нужно давить, давить распоясавшихся бандитов, укравших власть. Только много ли удастся такими малыми силами? Куда поведёт он завтра своих верных офицеров и восторженных боготворящих его юнкеров, ещё не успевших узнать жизни? На смерть? Во имя чести, во имя России... На смерть, но смерть эта будет славной и, может быть, послужит примером.

Сон упрямо не сходил на усталую голову, мысли теснились, споря друг с другом, и воспалённые глаза Корнилова сверлили ночную тьму. За окном поблёскивали огни костров, доносились негромкие голоса, ржание лошадей и лай собак. Кажется, многим не спалось в эту ночь...

И всё же — зимовники или Кубань? Неотступно терзал Верховного нерешённый вопрос. Совет с небольшим перевесом ратует за Кубань... Алексеев... С ним соглашаться не хочется. Слишком погряз в политике Михаил Васильевич, хитрит, интригует со своим политическим отделом, который давно бы разогнать! Екатеринодар — база крепкая, но что известно о кубанских делах? Ничего! Как в старой сказке предлагается пойти туда, не зная куда... За синей птицей, к чёрту на рога, как Сергей Леонидович нынче определил метко. Но далеко улетела наша синяя птица — излови-ка! И оружия — нет. В зимовниках

оружием не разживёшься, а в Екатеринодаре... Нет, не нужно идти в Екатеринодар. Ничего неизвестно о Екатеринодаре. И Попов со своим отрядом не пойдёт с Дона, а распылять силы — разумно ли? Екатеринодар! Кубанская Рада, с которой столь дружен Алексеев... Снова казачья политика, самостоятельность. Кавардак и ничего больше! Снова пустая болтовня заменит дело, а от болтовни — увольте. Слуга покорный! Если же — Екатеринодар, так дело Верховного довести до него армию, а там пускай разбираются сами. Он с себя полномочия сложит. Никогда больше не втянут его, боевого генерала, в эту грязь, в эту говорильню, от которой одна беда, в эту политику, где лгут все и обо всём, и вечная мука — разочарование в людях, мука, которой, как и всякой другой болью, не поделишься ни с кем.

Привык Верховный все свои тревоги хранить в себе, не доверяя сторонним людям, а близких по-настоящему, почитай, и не имел. Кубань богата, Кубань ещё борется, армия — за Кубань. А тайный, внутренний голос восстаёт против. Хотя голос этот, по совести говоря, и на Дону не велит оставаться, а зовёт в Сибирь, в родную Сибирь, которую с детских лет знал Лавр Георгиевич. В Сибири он был уверен, в Сибирь рвался с первого дня нахождения на Дону. Там бы всё пошло иначе, там бы поднял мощную силу, которая смела бы этих трусливых бандитов. Ах, если бы можно было добраться до Сибири! Но это за пределами возможностей сегодня, а потому надо гнать бесплотное мечтание и принять-таки решение... Что за мучительный труд — принимать решение! Ведь, в конечном итоге, всё будет зависеть именно от этого решения. От решения Верховного. От его, Корнилова, решения. Он один отвечает за всё дело, за армию, за вверенные ему жизни. Так и придавила к земле эта тягость неподъемлемая. Большинство — за Екатеринодар. И Деникин, с которым успели

сблизиться... А он, Верховный — против. Он своим волевым решением хочет повести армию в зимовники, невзирая на мнение совета. И тогда вся ответственность ложится на него одного, и, если что, то вся вина исключительно его. Да и нет же каких-то твёрдых возражений против Кубани. Лишь одно глубоко укоренившееся чувство, что не нужен этот тяжкий поход, что курс на Екатеринодар ошибочен. Но можно ли в таком деле полагаться на собственное чувство, доверять себе больше, чем другим? Ведь другие тоже знают, о чём говорят. Алексеев, как ни относись к нему, опытный стратег. Но как преломить себя? Как принять решение, противное душе? И нужно ли его принимать? Если бы знак какой-нибудь, чтобы убедиться... Вот, уж точно, витязь на распутье: направо пойдёшь — коня потеряешь, прямо пойдёшь — жизнь... Откуда чувство, что «прямо» — Екатеринодар? В русских сказках витязь непременно выбирал прямую дорогу, дорогу, которая сулит ему смерть. Уподобиться этому сказочному витязю, на которого, между прочим, так похоже всё белое войско? Пойти «прямо» и положиться на судьбу?

Всё тише становилась станица. Кажется, сон, наконец, сморил всех белых витязей, давая набраться сил перед выступлением в поход. Но Верховный не мог забыться ни на секунду. Поднявшись с кровати, он нащупал в темноте свою палку и, опираясь на неё, вышел из хаты, не будя спящего адъютанта. Холодный воздух отрезвил разгорячённую и отяжелевшую от нелёгких мыслей голову. Ночь была ясной, бледный месяц, изредка укутываемый прозрачной дымкой, тускло блестел высоко над головой, словно начищенный бок самовара, и безучастно взирал на промёрзшую землю, на людей, коих впереди ждали неизвестность и вероятная гибель. Корнилов глубоко вздохнул, вбирая грудью стылый воздух с подмешанным в него дымком от горящих то там, то здесь костров. Спустившись, с

крыльца он медленно побрёл по разбитой, уже тронутой распутицей дороге, вдоль плетней и тёмных дремлющих хат, надеясь, что прогулка освежит его, вернёт ясность затуманенному разуму. Лениво побрёхивали собаки, заслышав шаги, завидев маленькую фигуру, идущую во тьме.

Холод быстро дал о себе знать, и генерал подошёл к костру, у которого на корточках, понутив светловолосую голову, сидел поручик-корниловец.

— Разрешите обогреться, поручик? — негромко кликнул его Лавр Георгиевич.

— Да, конечно... — глуховато отозвался офицер, поднимая голову. Узнав генерала, встрепенулся, вскочил на ноги, воскликнул по-боевому, отдавая честь: — Здравия желаю, ваше...

Корнилов поднёс палец к губам:

— Тише, поручик, тише. Мы с вами не на параде, а вы своим криком всю станицу перебудите.

— Слушаюсь, Ваше Высокопревосходительство, — уже тише ответил поручик.

— Сдаётся мне, что я вас уже видел. Вы ведь представлялись мне? Ещё в Могилёве?

— Так точно! Вы тогда вручали георгиевские кресты нескольким Ударникам. Среди них был и я.

— Да, да, правильно... Вы были из первых Ударников, мне Митрофан Осипович хвалил вас тогда за проявленную отвагу... — Корнилов нахмурился. — Только имени вашего не могу припомнить.

— Николай Петрович Вигель, Ваше Высокопревосходительство!

— Вот, теперь вспомнил, — кивнул Верховный, рассматривая стоящего перед ним офицера. Тот был высок, ладно скроен, благородное русское лицо ещё дышало молодостью, но морщины уже коснулись высокого чела, наполовину скрытого светло-русым чубом, залегли тенями в уголках губ. Этот храбрый

офицер уже очень хорошо успел узнать, что такое война, и наблюдательный взгляд генерала не пропустил и трёх нашивок, свидетельствующих от трёх ранениях поручика.

— Вы ведь родом из Москвы? — припомнил Лавр Георгиевич.

— Так точно, — подтвердил Вигель, видимо радуясь, что Верховный запомнил его. — Мой отец служил судебным следователем, а затем был депутатом московской городской Думы. А я начинал адвокатом, но оставил это поприще, отправившись на войну вольноопределяющимся.

— Поступок патриота...

— Тогда почти все были так настроены.

— Вы правы, поручик, — вздохнул Корнилов. — Спрашивается, куда испарилось это настроение... Давно вы на Дону?

— Не очень. Мне, как и многим Корниловцам, пришлось очень долго и трудно добираться сюда.

— Скажите, поручик, почему вы стремились именно сюда, а не в Москву, где вас ждут родные? — генерал пристально вглядывался в лицо офицера.

— Я как-то не раздумывал об этом, — признался Вигель. — Я являюсь офицером вашего полка, я люблю своих товарищей и своего командира, полковника Неженцева. Я бы счёл себя опозоренным, если бы в трудную минуту не был с ними. Для меня это было бы равносильно измене.

Лавр Георгиевич одобрительно кивнул, и хмурое лицо его немного посветлело. Помедлив немного, он спросил пытливо, ища вызнать мнения простого офицера, а не генералов и политиков:

— А что, Николай Петрович, вы думаете о нашем положении? Что нас ждёт, по-вашему?

— Или грудь в крестах, или голова в кустах, — пожал плечами поручик. — Победа или смерть.

— Широкий выбор, — грустно усмехнулся Верховный. — И как вам самому такое положение? Как вам — быть зажатым в тисках?

— Не очень удобно, по правде говоря. Но, если судьба уготовила мне такой жребий, то остаётся лишь принять его и с честью нести данный крест. От смерти я не бегал никогда, не побегу и теперь. Да и неужели мне бояться смерти, если я принимаю её за Россию, за други своя... — и уже тише добавил Вигель, — и за вас...

Лавр Георгиевич быстро скользнул глазами по лицу поручика и отвёл их. Вот, и этот тоже... Верит в Корнилова, как в Бога. Судьба, жребий... А ведь для этого молодца судьба — это воля Верховного, которому он так безвозмездно отдаёт свою молодую жизнь, следуя примеру своего командира. Господи, как тяжёл этот груз ответственности за жизни тех, кто так верит в тебя! И как страшно ошибиться, чувствуя эту веру... Корнилов помолчал и, наконец, решил задать главный вопрос, от которого не удавалось забыть ни на мгновение:

— Скажите, поручик, как вам кажется, в какую сторону предпочтительнее следовать армии?

Офицер напрягся, лицо его омрачилось.

— Мне трудно судить об этом. Но я бы предпочёл идти на Екатеринодар... — вымолвил он неуверенно.

— Почему?

— Я... То есть мы... Я и офицеры, которых я знаю... — сбивчиво и взволнованно начал Вигель. — Мы считаем, что нужно действовать, а не выжидать. Большевиков много, но воевать они пока не умеют, и мы даже малыми силами сможем их разбить. В бездействии в армии начнётся брожение... А действие сплотит её. Движение вперёд, бои с врагом и единая цель — вот, что нужно армии. И это — Екатеринодар...

— А не кажется вам, поручик, что Екатеринодар не больше чем прекрасный мираж, который манит нас и

растает, как только мы приблизимся к нему? Мы похожи на измученных жаждой путников, которым в пустыне, в степи отчаяния грезится оазис с водой. Они бредут к нему из последних сил, а он исчезает... Вы не бывали в степи отчаяния поручик, а я пересёк её всю. Я знаю, о чём говорю. Наша степь — это тоже степь отчаяния... Пожалуй, ещё более страшная.

— Я могу заблуждаться, Ваше Высокопревосходительство. Я лишь передаю вам настроения, которые мне известны. Екатеринодар сплотит армию, а зимовники рассеют...

Корнилов поднёс свои маленькие, смуглые руки к огню. В свете пламени ярко блеснул не снимаемый уже много лет перстень, а на нём два иероглифа, означавших одно слово: «судьба». Судьба. Рок. Фатум. Кисмет... Стало быть, Екатеринодар и есть судьба? А от судьбы не уйти, судьбе нужно подчиниться... Верховный поднял голову, слабо улыбнулся:

— Спасибо вам, поручик, за честность. Прошу вас никому не рассказывать о нашем разговоре.

— Слушаюсь, Ваше Высокопревосходительство.

— А знаете, Николай Петрович, из вас вряд ли бы вышел хороший адвокат.

— Почему?

— Вы слишком солдат и слишком честны. Вы не политик. Поэтому вы мне нравитесь. А теперь — отдыхайте. Завтра мы выступаем. Спокойной ночи, поручик!

— Благодарю, Ваше Высокопревосходительство, — порывисто ответил Вигель и, кажется, хотел сказать ещё что-то, но осёкся и так и остался стоять у костра, выпрямившись, в распахнутой шинели, с лицом, полным благоговения перед этим маленьким генералом, так запросто и почти по-отечески говорившим с ним, словно бы не было между ними почти никакой дистанции.

А Верховный быстрым шагом направился к своей хате, чувствуя, как уже до костей начала пробирать его февральская холодная ночь. В истерзанной душе, наконец, явилась решимость, но отчего-то не приносящая облегчения, решимость вымученная, болезненная, будто бы исторгнутая силой. Но теперь уже ничто не могло изменить принятого решения, окончательного, как смертный приговор военно-полевого суда. Кismet...

Глава 2. Путь Корниловца

27 февраля 1918 года. Станица Ольгинская

Костёр ярко вспыхнул, выбросив во мрак столп искр. Вигель в волнении мялся с ноги на ногу. Его переполняло желание рассказать кому-нибудь о своём разговоре с Верховным, но данное слово не позволяло этого, и лишь внутри себя переживал Николай мальчишескую радость от того, что сам генерал Корнилов удостоил его, молодого офицера, беседы.

В который раз Вигель задавался вопросом, что это за необъяснимая сила, влекущая людей к Корнилову, рождающая такое восхищение, обожание и поклонение? Какова же мощь этой выдающейся личности, что так чувствуют её все, и одни боготворят, а другие захлёбываются ненавистью! Какова сила её, что так крепка и неколебима вера в неё? Нет, если и остался в России человек, способный остановить торжествующего Хама, то это — Корнилов. Только ему под силу такой великий подвиг, и к нему теперь обращен взор терзаемой Родины! Но — так ли это? С юных лет Николай отличался большой въедливостью, склонностью к анализу: как себя, так и окружающих. И вот, теперь он пытался проанализировать личность и поступки Верховного и своё отношение к нему. Ведь уже не безусый юнец поручик Вигель, чтобы просто зажмурить глаза и обожать Вождя, ведь должны быть какие-то причины, отчего так влечёт его, именно его, к генералу Корнилову. Есть люди, одна фигура которых привлекает к себе взоры, люди яркие, люди, которые выделяются всегда. Но во внешности маленького, сухонького генерала со смуглым монгольским лицом ничего подобного не было. И тем удивительней

казалось, что этому с виду заурядному человеку удавались подвиги, о которых слагались легенды, которых хватило бы на увлекательный роман в духе Майна Рида. Знание семи иностранных языков, разведывательная и научная деятельность в Китае, Индии, Афганистане, переход по степи отчаяния, которой не одолел прежде ни один отважный путешественник: без воды, под палящим солнцем, не забывая составлять план местности. А ещё — «стальная» дивизия, плен, три попытки бегства (ни один генерал бежать и не пытался), из которых последняя удалась. Что за удивительная судьба! Что за огромная воля! Именно её, должно быть, и чувствовали все под неприметным обликом Корнилова.

Не отличался Верховный и речистостью. То ли дело — Сергей Леонидович Марков! Что не слово, то афоризм! И из этих афоризмов едва ли треть можно повторить в дамском обществе. Корнилов таким талантом не обладал, говорил сухо, нервно, рублено, но и это не было важно в нём. А что же? Что? Славная биография генерала, безусловно, восхищала и влекла Вигеля, но было, было за всем этим что-то другое, что-то главнейшее, чего пока он не умел себе объяснить.

«Из вас вряд ли вышел бы хороший адвокат. Вы слишком солдат и слишком честны», — вспомнились слова Лавра Георгиевича. Правду подметил генерал — так и есть... Николай чуть улыбнулся своим мыслям. «Поэтому вы мне и нравитесь!» — дорого бы дал всякий Корниловец за такие слова из уст Вождя...

Юридическую стезю Николай Петрович Вигель не избирал. Она избрала его сама. Точнее, выбор этот сделала «тяжёлая», как шутили в семье, наследственность. В самом деле, куда ещё мог направить стопы юноша, чьим отцом был знаменитый на всю Первопрестольную следователь, в доме которого постоянно бывали его коллеги, среди которых —

поистине выдающиеся сыщики? А ещё был старый наставник отца и крёстный матери Николай Степанович Немировский, в честь которого он получил своё имя, бывший для Николаши любимым дедом, мудрым, справедливым, добрым. Какое счастье было приходить к нему в кабинет и подолгу сидеть там, слушая его мягкий голос, чувствуя на себе ласковый взор солнечных глаз, греясь в их сохранившемся до глубокой старости тепле. Николаше казалось, что нет ничего на свете, о чём бы Николай Степанович не знал. Мальчик любил его даже сильнее, нежели родного отца, особенно, после того как последний спустя несколько лет после смерти матери женился снова. Николай не обиделся на этот шаг отца, тем более, что мачеха оказалось женщиной редкого чутья и душевности, и брак этот благословили дед и его сестра Анна Степановна. И всё же отец и сын отдалились друг от друга. Петр Андреевич, без того всё время занятый на работе, теперь посвящал семье совсем редкие минуты, а Николаша, уже гимназист, начинал жить самостоятельной жизнью. И если ему нужен был совет, он бежал за ним не к отцу, а к деду Николаю Степановичу. Последний, к слову, был не менее известен в обществе, чем отец. Имя следователя Немировского упоминалось в газетах ещё до того, как молодой Пётр Вигель начал свою службу под началом всё того же Николая Степановича. Дед дослужился до чина действительного статского советника, после чего вышел в отставку и занялся преподаванием. Его лекции пользовались большим успехом в Московском Университете, на юридический факультет которого и поступил Николаша, продолжая семейную традицию.

Детство Николая было вполне счастливым, если не считать раннего ухода матери. Мать была удивительной женщиной, и повзрослевший Николаша, задумываясь о спутнице жизни, тщетно пытался найти подобную ей и

никак не мог понять, почему отец так и не смог полюбить её, как она того заслуживала, а будто всю жизнь ждал ту, которая в итоге стала мачехой Николая.

Мать, Анастасия Григорьевна Вигель, отличалась редким жизнелюбием, добротой и весёлостью. Что бы ни происходило, она всегда оставалась радостной и щедро дарила свою радость, тепло и участие каждому, кто оказывался рядом, не соизмеряя, не оценивая человека. Николаша не помнил, чтобы мать сердилась на кого-то, повышала голос, была печальна, но всегда от неё шёл какой-то свет, неукротимая бодрость, передающаяся другим. Казалось, такой энергии хватит на долгую-долгую жизнь, но Бог распорядился иначе... В Бога в семье Вигеля верили все. Особенно — женщины: сама мать, тётушка Анна Степановна, и также старушка-кухарка. И если матери, занятой многочисленными мирскими делами, на многое не доставало времени, то Анна Степановна, преодолевая мучающие её хвори, всеми силами приобщала Николашу к Церкви. Она возила мальчика по дивным московским церквам, прикладывала к мощам, читала ему вслух духовные книги, а однажды, уже после смерти матери, взяла с собой в паломничество в Троице-Сергиеву Лавру, и воспоминание о том ярком пятном навсегда запечатлелось в душе Николая. А ещё, часто-часто вставал перед глазами образ матери в последнюю их встречу. Незадолго до смерти Анастасия Григорьевна уехала из дома и поселилась в Шамординской обители, среди насельниц которой была её давняя подруга. Туда Николаша приехал к ней за последним благословением. Мать, некогда отличавшаяся лёгкой полнотой, была очень худа, одета в тёмное простое платье и платок, повязанный по-монашески и скрывающий большую часть лица, но даже и теперь лицо это светилось радостью, в нём жило духовное умиротворение, покой и просветлённость, а глаза сияли... Мальчику показалось,

что мать стала похожа на иконный образ, что она уже поднялась от земли, и земного в ней ничего не осталось. Он опустился перед ней на колени, поцеловал худую, белую руку, она крепко обняла его, перекрестила и одела на шею серебряный медальон с изображением Святителя Николая. Когда Николаша уходил, мать поднялась, сделала несколько нетвёрдых шагов следом, перекрестила. Это было последнее их свидание... Мать часто такой и снилась Николаю: стоящей в маленькой комнате, похожей на келью, уставленную иконами, перед которыми мерцали лампы, и крестящей его вслед тонкой рукой... При ней Николаша не плакал, чтобы не нарушать её покойного и светлого настроения, рождённого сознанием, что она уходит не в неизвестность, но ко Христу, и глубинной, подспудной радостью в предчувствии этого будущего сретения. Но, простившись, долго не мог потом оправиться от навалившегося при известии о её кончине горя, и лишь паломничество в Лавру, на которое старая Анна Степановна решилась ради него, исцелила скорбящую детскую душу.

Детство минуло, покинула мир добрейшая тётушка, а следом и верная её прислуга, и свет чистой веры, горевший в душе, начал меркнуть, как если бы забывали подливать в лампаду масло. Пришли новые увлечения, новые друзья, кипела молодая кровь, кипела жизнь вокруг, и Николаша всё реже стал бывать в церкви. Общественная жизнь накалялась, и разве могли её вихри не закружить молодую, пускай даже разумную, голову? Да и как противостоять студенческому братству? Как не участвовать в его шумных выступлениях, чувствуя себя едва ли не вершителем судеб страны? Позже, вспоминая об этом, Николай не раз удивлялся, до чего же ещё глуп был тогда. Он был всего лишь крошечным винтиком

страшной машины, нацеленной на разрушение и управляемой теми, кто готов стереть с лица земли всё, что с детства было дорого Вигелю. А он ещё гордился этим, чувствовал себя важным и значимым! Мальчишка, одно слово... За участие в беспорядках Николашу едва не исключили из Университета, и лишь заступничество Немировского тогда спасло его. Николай же Степанович взял с него слово, что впредь подобного не повторится:

— Молодо-зелено, понимаю. На первый раз тебя за молодость да глупость можно извинить. Кто в твои лета не дурил. Но на другой раз вступаться не стану — выпутывайся, как знаешь.

Другого раза не случилось. Пристыжённый Николай стал учиться добросовестно и к окончанию учёбы имел уже вполне определённый образ мыслей, далёкий от революционного. Из всех идей, выдвигаемых в ту пору, юный правовед наиболее увлёкся одной — «теорией малых дел», проповедуемой столь любимым им Чеховым. Именно так и только так можно изменить положение дел в России! Не воюя с правительством, а идя с ним параллельными дорогами, утрясая жизнь на отдельных небольших участках, до каждого из которых не может дотянуться правительственная рука. Да и не нужно ей! Нельзя всё наладить сверху, а нужно движение верхов и низов навстречу друг друга, а образованным людям следует не раздирать ещё больше раны, которыми покрыто русское общество, но заживлять их, стать мостом между его полюсами! Так в те дни рассуждали многие. Врачи и педагоги, пренебрегая успешной карьерой, ехали в глухие деревни, практически безвозмездно лечили и просвещали людей, не жалея сил, подрывая здоровье. Всё громче и настойчивей заявляло о себе земство, в котором власть столь недальновидно видела отчего-то угрозу себе, когда не было ей более твёрдого подспорья. Единомышленников себе Вигель нашёл

быстро. Пятеро из них учились с ним на одном курсе, а шестой был старшим братом одного из них и по совместительству практикующим адвокатом. Так образовался кружок, где было решено: поскольку простые люди не имеют средств оплачивать адвокатов, а потому часто страдают от несправедного суда, то следует организовать общество, члены которого взялись бы безвозмездно отстаивать интересы малоимущих. Основой такого общества и стал их студенческий кружок. Председателем был избран самый старший и опытный из всей семёрки, молодой адвокат Евгений Переслевский, в помощники себе он взял своего брата Сашу и Николая Вигеля, как самого способного ученика на курсе.

Отец Николаши не очень обрадовался тому, что сын избрал поприще адвоката, не преминул выразиться: «Из-за этих юристов-артистов суд скоро станет настоящим балаганом». Николай Степанович откликнулся мягче, одобрил идею защиты малоимущих и даже обещал помогать советами, но Николай понимал, что дед тоже желал бы видеть его следователем, а не адвокатом.

Семёрка энергично взялась за работу. Помочь удавалось многим, но вскоре перед энтузиастами во всей своей неприглядности встал финансовый вопрос. Оказалось, что жертвовать собственным благополучием готовы не все. Первым сдался сам председатель, который удачно женился, перебрался в столицу и там открыл своё дело. Его место негаданно для себя занял Вигель, но и на этом отток членов не закончился. Кока Груздев был уличён в получении денег от бедных людей, которых полагалось защищать безвозмездно, и после бурной ссоры был исключён из организации. Погиб, утонув в реке, Муля Хонин. Уехал, соблазнившись выгодным предложением, младший Переслевский. Правда, с младшего курса к кружку примкнул ещё один

член, и оставшаяся четвёрка благополучно просуществовала до августа Четырнадцатого года. К тому моменту Николай уже начал тяготиться своим делом, но продолжал добросовестно работать, не считая себя вправе устраниваться, как это сделали некоторые товарищи, а после объявления войны с чистой совестью сложил с себя полномочия председателя и записался добровольцем на фронт. Оставшаяся тройка проработала ещё несколько месяцев, после чего распалась окончательно.

«Вольнопёром» Николай оставался недолго — вскоре закончил полугодовые офицерские курсы и вернулся на фронт в чине прапорщика. Потянулись долгие окопные месяцы, за которые война истребила образ благополучного московского адвоката, явив вместо него смелого грамотного офицера, ориентирующегося на поле боя ничуть не хуже, чем в суде. Трижды Вигель был ранен: дважды легко, а один раз врачи едва выходили его. И на целых два месяца Николай вынужден был вернуться в Москву, чтобы оправиться от полученной раны.

Но вот, грянула революция, и началась какая-то бессмысленная круговерть, в которой решительно мало кто мог что-то разобрать толком, и даже самые дальновидные умы подпадали нездоровой всеобщей эйфории. Но вдруг среди повсеместного распада и гниения символом надежды, вскинутым булатным клинком блеснуло прославленное имя — Корнилов! На недавнего начальника Петроградского военного округа, а ныне командующего Восьмой армией Юго-Западного фронта, затаив дыхание, смотрела вся Россия, ловя каждое его слово. А он говорил о необходимости очистить армию от политики, оградить от пагубного влияния советов, требовал ужесточения мер для поддержания дисциплины и введения смертной казни в армии. Нельзя было противостоять анархии голыми

руками и пустозвонством, чего никак не желали понять политики, но очень хорошо понимало большинство офицеров, чувствовавших в Корнилове ту силу, которая ещё может остановить катастрофу.

— Я не останавлиюсь ни перед чем во имя спасения Родины от гибели, причиной которой является подлое поведение предателей и трусов! — заявлял генерал, и подпоручик Вигель, недавно вернувшийся на Юго-Западный после ранения, мысленно аплодировал этим словам.

В это время капитан Неженцев, возглавлявший разведывательное отделение Восьмой армии, подал на имя Корнилова докладную записку «Главная причина пассивности нашей армии и меры противодействия ей».

— Восстановить боевую мощь Русской Армии могут только решительные меры, идущие от Верховной власти, но, не дожидаясь их, сам фронт должен проявить инициативу: необходимо при штабах армий и корпусов, а также во всех полках немедленно приступить к формированию ударных отрядов из добровольцев, готовых без колебания пожертвовать собой во имя победы, и использовать их на самых опасных участках фронта, — утверждал Митрофан Осипович.

Корнилов инициативу капитана поддержал, и тот немедленно приступил к формированию Ударного отряда, позже ставшего Корниловским ударным полком. У Вигеля не было ни малейших сомнений, что именно в этом отряде его место, и одним из первых вступил в него. С капитаном Неженцевым у Николая почти сразу сложились хорошие отношения. Были они почти в одних летах, и, несмотря на различные пути, придерживались очень схожих взглядов.

Первый смотр отряда проходил в присутствии командующего. Трёхтысячный отряд выстроился в каре. Стальные каски горели на солнце, на плечах

красовались ранее невиданные чёрно-красные погоны, а на рукавах грозная эмблема: голубой щит, на котором был изображён белый череп, скрещенные мечи и красная граната под ними. Капитан Неженцев приклонил колено, и Корнилов вручил ему знамя, на котором белым цветом было выведено название «1-ый Ударный Отряд». Митрофан Осипович со слезами поцеловал край чёрно-красного полотнища. Глядя на эту сцену, Вигель чувствовал, как у него самого ком подкатывает к горлу. А затем командующий обратился к своим воинам с речью:

— Русский народ добился свободы, но ещё не пробил час, чтобы строить свободную жизнь. Война не кончена, враг не побеждён, под ним ещё русские земли. Если русская армия положит оружие, то немцы закабелят всю Россию. Нашим детям и внукам придётся работать на немцев. Должны победить мы... Победа близка... На ваших рукавах нашит символ смерти — череп на скрещенных мечах. Это значит — победа или смерть. Страшна не смерть, страшны позор и бесчестье...

Он говорил негромко, отрывисто, но каждое слово его отпечатывалось в сердце каждого Корниловца, и каждый из них готов был хоть завтра сложить голову за Россию и своего генерала.

Корниловские Ударники сделали фактически невозможное. Благодаря им одним смогло состояться последнее наступление русской армии. Угрюмые, сосредоточенные, терпящие насмешки и враждебность со стороны своих же товарищей, одинокие в своём подвиге, они шли на него и погибали. Всё время наступления Корнилов находился на передовой, перенёс штаб на самую линию фронта. Пленные немецкие офицеры говорили на допросах, что за всю войну не видели такого стремительного натиска русских...

Восьмая армия истекала кровью, но её наступление не было поддержано соседними армиями, в которых многие части самовольно отходили в тыл, а офицеры рисковали жизнью, пытаясь их удержать. Не теряли времени и немцы: поняв, откуда исходит главная опасность, они сосредоточили силы на Юго-Западном фронте, сделав упор на участок выдвинувшейся вперёд Восьмой. Чтобы оттянуть силы немцев с этого направления, наступление началось на Западном и Северном фронтах, но оно быстро захлебнулось. Командующий Юго-Западным фронтом генерал Гутор растерялся и не мог принять правильного решения, а, между тем, катастрофа на фронте нарастала. Восьмая держалась до последнего, но и она не выдержала. Комиссар Анардович, которого сам Корнилов награждал Георгиевским крестом за проявленную в боях храбрость, пытался агитировать солдат за наступление, но те набросились на него, связали руки, и из-под их ударов он крикнул обезумевшей толпе:

— Я и на виселице, в петле скажу вам, что вы — сволочи!

Наступление закончилось катастрофой, генерал Гутор был снят с поста, а его место после некоторых колебаний согласился занять Корнилов...

Когда Лавр Георгиевич стал Главнокомандующим, у многих затрепетала надежда, что слабая и дышащая на ладан власть одумалась и решилась-таки сделать ставку на сильную личность, которая сможет не допустить победы большевиков. Тем больнее было, когда эта надежда так страшно и непоправимо обрушилась.

Вигель помнил, как кровь бросилась ему в голову, когда августовским днём он прочёл телеграмму правительства, в которой Верховный объявлялся изменником. В глазах потемнело, и на мгновение показалось, что голова вот-вот разорвётся. Николай

стиснул виски и глухо застонал. А вскоре до войск была доведена телеграмма самого Корнилова, взывающая отчаянно к каждому русскому сердцу, надрывающая душу: «Русские люди! Великая Родина наша умирает. Близок час её кончины... Тяжёлое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех Русских людей к спасению умирающей Родины. Все, у кого бьётся в груди Русское сердце, все, кто верит в Бога — в Храмы, молитесь Богу об явлении величайшего чуда, спасения родимой земли!.. Русский Народ, в твоих руках жизнь твоей родины!» И залила душу Вигеля боль Верховного, рвущаяся из этих строк, и ещё невыносимее стало сознание собственного бессилия изменить что-либо.

Двадцать восьмого августа на площади Могилёва были выстроены войска. Ровно в три часа к ним вышел Корнилов. Все взоры тотчас обратились к нему, все замерли в ожидании. Генерал на мгновение остановился, а затем решительными шагами вышел на середину площади. Лавр Георгиевич заговорил, как обычно тихим голосом, и издалека, куда не долетали его слова, слышались крики:

— Громче! Не слышно!

Верховный приказал принести из Ставки стол. Взираясь на него, он оступился и едва не упал. Кто-то стоявший в строю подле Вигеля, вздохнул:

— Дурной знак.

Николая бросило в жар, и он закусил губу.

Наконец, Корнилов заговорил вновь, и вся площадь обратилась в слух.

— Я удивляюсь наглости господина Керенского, объявившего меня изменником Родины. Этот человек — сам изменник Родины, так как усыпал народ трескучими фразами, скрывая настоящее ужасное положение. Вот вам случай: на Петроградском совещании, когда я искренне начал обрисовывать настоящее тяжёлое

положение России, — меня остановили, предупредив, чтобы я был осторожен и что не обо всём нужно откровенно говорить!

Верховный высказывал это напряжённым, вибрирующим голосом, в котором звучала горечь и даже болезненность, изо всех сил сдерживая захлёстывающие чувства. Вигель понял, что именно эта постоянная вынужденность сдерживать себя лишает речи генерала яркости и звучности. Для того, чтобы быть хорошим оратором необходимо одно из двух: или спокойствие удава, натренированная способность в любой ситуации контролировать свои чувства, дабы они не мешали построению речи и артистизму, либо же обратное — умение дать им абсолютную волю. В последнем случае оратор подчас начинает заговариваться, но этого мало кто замечает, очаровываясь эмоциональностью. Но боевой генерал и Главнокомандующий не истеричка, не политический коммивояжер, чтобы позволять себе подобное поведение, и не опытный трибун, легко нанизывающий фразы, оставаясь при том невозмутимым. Вигелю казалось, что он почти физически чувствует, как колотит Верховного от переполняющих его обиды и возмущения, как разрывается его сердце, и каких трудов ему стоит подбирать слова, кажущиеся от этого столь бесцветными, словно песня, которой наступают на горло...

— Меня обвиняет Керенский в том, что я желаю захватить власть в свои руки. Только безумцы могут думать, что я, вышедший сам из народа, всю жизнь посвятивший служению ему, могу даже в мыслях изменить народному делу, — при этих словах голос генерала задрожал, и он на мгновение умолк, а поднятая рука его так и зависла в воздухе, словно обличая клеветников, посмевших выдвинуть против него чудовищные обвинения.

Николай почувствовал, как слёзы покатались по его лицу. Нет, не в Восьмой армии, а именно здесь, в этот момент он безотчётно отдал сердце Верховному, поклявшись служить ему до последнего вздоха. Как же должно было быть невероятно тяжело этому человеку, по недоразумению втянутому в политические интриги, преданному почти всеми, ошельмованному, втоптываемому без жалости в грязь вместе с горячо любимой Родиной, чьи страдания принимает он как свои! Известен закон, согласно которому людей, которые прочно стоят на ногах, готовы поддержать почти все, а от тех же, кто падает и кому нужна поддержка — отшатываются. Всю жизнь Вигель действовал наперекор этому закону. Он бросался на помощь тем, кому в данный конкретный момент было трудно, туда, где он был нужен. Часто Николай порицал Императора за его безволие, за бездумные решения, за фатально неудачный подбор кадров, но при известии о его отречении всё перевернулось в душе Вигеля. Он уже не помнил дурного, но знал, что отречение Царя — пролог трагедии, но страдал, представляя одиночество покинутого всеми Государя и сожалел о том, что не был подле него, что не мог помешать случившемуся... Уже на войне Николай впервые чётко понял, почему против желания отца стал адвокатом. Он органически не мог быть обвинителем, его призванием было защищать. Это качество он унаследовал от матери, также всю жизнь стремившейся защищать и оправдывать, сожалеть, а не судить. Вслед за ней и Вигель, осуждая какие-либо поступки, всегда стремился найти оправдание свершившему их человеку и не обличать его, но посочувствовать, вспомнив собственные проступки, которые Николай склонен был преувеличивать. И даже на фронте, убивая и ежечасно рискуя быть убитым сам, закрывая глаза своим друзьям и ведя своих подчинённых под огнём на смерть, он всё равно

оставался защитником, миротворцем, стремящимся заживлять раны всевозможных распрей и быть опорой тем, кто в ней нуждался. Слёзы текли по лицу Вигеля, но он не стыдился их, зная, что многие Корниловцы не могут сдержать их в этом миг.

А Верховный, между тем, завершал свою речь:

— Если Временное правительство не откликнется на моё предложение и будет так же вяло вести дело, мне придётся взять власть в свои руки, хотя я заявляю, что власти не желаю и к ней не стремлюсь. И теперь я спрашиваю вас, будете ли вы готовы тогда?

— Готовы... — раздались нестройные голоса ещё не пришедших в себя воинов.

— Да здравствует народный вождь генерал Корнилов! — воскликнул Вигель, желая рассеять возникшее впечатление неуверенности, которое стало бы ещё одним тяжким ударом для и без того потрясённого изменой Верховного. — Ура!

И три тысячи голосов, как один, подхватили этот возглас и грянули громоподобно:

— Ура генералу Корнилову! Ура!

Вскоре Верховный вместе с рядом поддержавших его военачальников был арестован и заключён под стражу в Быхове, гостиницу которого спешно преобразовали в тюрьму, а Корниловский полк продолжил свою службу на фронте. В прощальном приказе Лавр Георгиевич завещал своим Корниловцам: «Все ваши мысли, чувства и силы отдайте Родине, многострадальной России. Живите, дышите только мечтою об её величии, счастье и славе. Бог в помощь вам».

Приход к власти большевиков застал Ударников на Украине. Тогда на этот последний полк, сохранивший нерушимую дисциплину, обратило взор обанкротившееся Временное правительство. Комиссар Григорьев повёл его в Киев, дабы подавить там

большевистское восстание. Распоряжался этот горе-«полководец» до того безграмотно, что Корниловцы оказались в тяжелейшем положении, ведя кровопролитный бой на улицах древней столицы, поддержанные лишь юнкерами и кадетами местных училищ. В довершение всего Григорьев заявил капитану Неженцеву:

— Выступление правительственных войск в Киеве против большевиков натолкнулось на национальное украинское движение, на что я не шёл, а потому приступаю к переговорам о выводе правительственных войск...

Митрофан Осипович был вне себя. Его обычно бледное, долгое лицо побагровело, а глаза лихорадочно блестели под стёклами очков.

— Вот, Николай Петрович, затянули нас в мышеловку, а теперь и прихлопнут! — бросил он сопровождавшему его неотлучно Вигелю. — Надо срочно выбираться из этого проклятого бедлама, пока нас тут всех не перебили, как бессмысленных щенков!

— На Дон? — осторожно осведомился Вигель.

— На Дон! — кивнул Неженцев.

На Дон и Кубань уже эвакуировались военные училища, власть в городе оказалась в руках Центральной рады и большевиков. Петля на шее Ударников, оказавшихся в ловушке, затягивалась всё туже. Самовольно вести полк на Дон, не имея на то разрешения Ставки, Неженцев не мог, а потому, с великим трудом выведя своих людей из обезумевшего Киева, охранять который Корниловцам предложил Петлюра, Митрофан Осипович отправил в Ставку отчаянную телеграмму, умоляя спасти полк от истребления и отпустить его на Дон. На это прошение был получен категорический отказ.

— Да что же это, в самом деле, они там погибли для нас хотят? — недоумевал Неженцев, и губы его

подрагивали от волнения. — Не могут простить нам имени, которого мы носим?

— Они боятся прослыть контрреволюционерами, — отозвался Николай.

— Это очень «дальновидно», учитывая, что их бесхребетная революционная власть приказала долго жить!

— Туда ей и дорога...

— Ей — да, но очень не хотелось бы последовать за нею, на что мы с вами, дорогой Николай Петрович, имеем все шансы. Обложили нас, словно волков на охоте, и травят... И красные флажки расставили вокруг — попробуй вырвись! — в голосе Неженцева звучало холодное бешенство. — Но если только вырвемся... Если только доберёмся до Дона... Если только... — дорогого для каждого Корниловца имя Митрофан Осипович не произнёс, но Вигель и без слов понял, о ком подумал командир.

Наконец, в канун собственной ликвидации Ставка отдала Ударникам приказ передислоцироваться на Кавказ для усиления тамошнего фронта и новых формирований. На практике это означало разрешение отправляться на Дон, но слишком поздним было оно. Все пути к тому времени оказались отрезаны, железная дорога полностью находилась под контролем большевиков. Корниловцы предприняли попытку пристать к казачьим эшелонам, пропускаемым на Дон, как «нейтральные», но ни в один из них не пожелали брать столь опасных попутчиков. Митрофан Осипович не находил себе места. Он лихорадочно перебирал все возможные (а, вернее, невозможные) варианты, пока, наконец, не нашёл единственный, который давал слабую надежду выбраться из западни:

— Эшелон с имуществом отправим самостоятельно. Приставим для охраны только несколько человек с поддельными документами о принадлежности

имущества одной из кавказских частей, а полк распустим...

— А как же быть с начальством?

— К чёрту начальство! — взорвался Неженцев. — Донесём, что весь наличный состав разбежался! Если ещё будет, кому доносить!

— А что же станет с полком?

Митрофан Осипович глубоко вздохнул, хрустнул длинными пальцами:

— Курс неизменен — Дон. Будем надеяться, что малыми группами и по—одиночке у нас будет больше шансов просочиться туда.

Этот план был приведён в действие, после чего пути полковника Неженцева и поручика Вигеля временно разошлись.

— Удачи вам, Николай Петрович, — сказал на прощанье командир, поправляя очки. — Даст Бог, скоро встретимся при лучших обстоятельствах!

— До встречи на Дону, Митрофан Осипович, — чуть улыбнулся Николай.

Добираясь до назначенного места, Вигель с удивлением замечал, что собственная судьба почти не занимает его, словно было это что-то маловажное и имеющее значение лишь постольку, поскольку удастся ему вновь соединиться со своими товарищами и начать борьбу за спасение Родины. О том, что в Новочеркасске генерал Алексеев организует новую Добровольческую армию, ходили слухи, но подробностей не было известно никаких, и успехи, достигнутые в этом деле, многими преувеличивались. Тем не менее, очевидно было, что силы Корниловцев отнюдь не станут там лишними, и каждый человек будет на счету, а, значит, надо было, во что бы то ни стало, добраться туда. Добраться и узнать доподлинно, что стало с Верховным. О его судьбе неотступно болело сердце поручика. Если бы полк остался в Могилёве рядом со своим генералом,

тогда бы тот был в безопасности! Правда, с ним остались верные текинцы, но брали сомнения, достанет ли этого? Болело, болело сердце Николая. Болело оно о Верховном, об однополчанах, которые, как и он, затравленные, пробивались окольными путями на Дон, о полковнике Неженцеве, под всегдашней строгостью и даже суровостью скрывающем ранимость благородной души, словно глаза под стёклами очков... А ещё вспомнился Император... И Цесаревич с большими, ясными и такими недетскими глазами, глазами, пережившими так много страданий за свою короткую жизнь, глазами, видевшими собственную смерть. И Государя, и Наследника Вигель видел однажды на смотре, проходившим в честь их прибытия, ещё год назад. Как же много воды утекло с того дня! Что-то стало теперь с несчастливым монархом? С его дочерьми, без всякого ложного величия заботившимися о раненых в открытом в Царском Селе лазарете? Что с его больным сыном? А — с княгиней Елизаветой, столь любимой в Москве? Что будет с ними со всеми? Кто защитит их от красного демона, победно шагающего по Святой Руси?..

Вспоминая о Москве, поручик переносился мыслями в родной дом. Особенную тревогу внушала судьба отца. Бывший следователь, бывший гласный Московской Городской Думы, убеждённый консерватор, член Всероссийского национального союза и автор «Московских ведомостей», он ли — не мишень для ненависти «товарищей»? Да и мачеха не лучше — вдова миллионщика-мецената, благотворительница, состоящая в попечительских советах организованных покойным мужем театра, музея и каких-то ещё просветительских обществ... Нет, не простят большевики ни отца, ни мачеху...

А ещё осталась в Москве та, тревога за которую перехлёстывала опасения за всех родных и близких

вместе взятых. Та, о которой в этом аду так мучительно страшно было думать, и которая в то же время освещала его — надеждой на встречу.

Они познакомились весной — в Москве, в госпитале. Он медленно восстанавливался от тяжёлого ранения, а она, служившая сестрой милосердия, заботливо выхаживала его. Она не была красива. Широкое, открытое лицо, обрамлённое белым платком с красным крестом, мягкие губы, курносый нос... Её можно было бы назвать простушкой, если бы не удивительное обаяние, которое придавало ей очарование и привлекало к ней и мужчин, и женщин. А ещё были глаза. Обрамлённые густыми ресницами, всегда словно увлажнённые, полные сочувствования и ласки ко всем. Эти глаза невозможно было представить пылающими гневом, обиженными, холодными. Только добро, бесконечная любовь, безобиденность и теплота жили в них, отражая душу, готовую принять в себя боль каждого. Таня была сестрой милосердия по духу, что встречалось не столь часто. Вся она была — само сострадание, сочувствие, утешение.

Перед подвигом милосердных сестёр Вигель преклонялся. Подлинное величие души показали русские женщины в тяжёлую годину. Изнеженные аристократки, хрупкие барышни, знатные дамы сменяли свои роскошные туалеты серыми платьями, белыми фартуками и косынками, образуя своего рода орден, подавая пример самоотвержения, милосердия, мужества. Великосветские дамы, привыкшие к красивой жизни, теперь добровольно, словно налагая на себя тяжкое послушание, привыкали к виду чужих страданий, страшных ран, крови, гноя, всевозможных болезней и нечистоты, ассистировали на операциях, ухаживали за ранеными офицерами и простыми солдатами, не боясь испачкать и огрубить своих белых и нежных, холёных рук, не пряча глаз от царящих

кругом мук, не морщась, исполняя свой долг, не считая возможным уклониться от испытания, посланного всему народу, частью которого ощущали себя эти женщины. Что говорить, если так трудились даже сами царские дочери! Даже Императрица... Николай вспоминал рассказ своего сослуживца, которому привелось находиться на излечении как раз в госпитале Царского Села:

— Я прежде думал — враньё это... Не царское дело со всем этим гноем возиться, смрадом дышать, крики и стоны слушать. А мне сама княжна Татьяна Николаевна перевязку делала. Не погнушалась! Ручками своими беленькими... И такая вся светлая, и такая открытая. Словно не царевна, а мне, мужику, ровня. Я было даже отнекивался: «Не дело, — говорю, — чтобы вы, Ваше Высочество, своими ручками за мной ухаживали». А она улыбнулась только: «Я вам милосердная сестра, а не высочество...» Даже слёзы у меня на глазах выступили. Такая кротость, такая чистота... Совестно сделалось за то, как я жил, поверишь ли. И Государыня приходила. Александра Фёдоровна. Хвораю, а придёт, сядет подле кого-нибудь из нас, разговаривает с ним, точно с родным, утешает его...

Вигель слушал, и противоречивые чувства одолевали его. Императрицу Николай недолюбливал, понимая, что хоть и не по злой воле, но она является одной из причин нарастающего кризиса. Гордая, болезненно мнительная, экзальтированная женщина, проводница многих вредных решений, имеющая неограниченное влияние на более слабого и кроткого мужа. То ли дело Императрица-мать! Вот, где мудрость, уравновешенность и твёрдость... Вигель не раз думал, что всего лучше было бы, если б престол по смерти мужа заняла именно Гневная. И уж как бы хорошо было, если б она, а не жена оказывала влияние на сына... И, вот, слушая рассказ товарища, Николай впервые

проникся добрым чувством к Государыне, посочувствовал ей. Он не стал от этого иначе оценивать её политическое, столь несчастное влияние, но её глубоко трагическая личность открылась ему с другой стороны. Должно быть, в сущности, и Государь, и она, хорошие, добрые люди. Но только не на престоле... Их искренне жаль, их можно любить, но невозможно поддерживать политику, совершенно безумную особенно в последний год царствования.

Когда стало известно об отречении Императора, сослуживец Николая горько заплакал, особенно жалея цесаревну Татьяну Николаевну. Позже он недолго любил генерала Корнилова за то, что тот исполнил возложенную на него миссию ареста царской семьи и провозгласил себя республиканцем.

Как раз после этого и встретились раненый поручик Вигель и сестра Татьяна Калитина. Николаю она сразу неуловимо напомнила мать, и вскоре он решил, что, наконец, нашёл ту, которую искал и непременно соединит с ней судьбу, если только Бог сохранит ему жизнь. У них было достаточно времени, чтобы хорошо узнать друг друга и укрепиться в сознании того, что им суждено в дальнейшем вместе идти по жизни. Вигель близко познакомился с матерью Тани, сестрой Марфо-Мариинской обители. Матушка Ульяна оказалась дородной и очень жизнерадостной женщиной и сразу отнеслась к поручику с материнской заботой, одоббив выбор дочери. Последние две недели Николай провёл уже вне пределов госпиталя, в родительском доме, но продолжал видеться с Таней каждый день. Он успел представить её отцу и мачехе, и те приняли её, как родную.

Объяснение их было кратким. Их общее чувство не нуждалось в пространных влеченьях. Решено было дожидаться окончания войны и немедленно затем обвенчаться. В тот день Николай впервые поцеловал

свою наречённую, а потом возвращался домой счастливый до того, что на время улетучилась ненависть к мерзавцам, старающимся пустить Россию под откос, к торжествующему Хаму. И больше не хотелось поручику ни воевать, ни бороться, но — любить всех, но жить обычной, скучной мирной жизнью рядом с драгоценной женщиной, читать книги, дышать воздухом, видеть чистое небо, слышать малиновый звон колоколов, воспитывать детей, водить их в церковь, работать... Просто — жить! Всего только! Но как, оказывается, это много, и как невыполнимо в наступившее лихолетье...

С фронта Вигель постоянно писал Тане, и она столь же обстоятельно отвечала. Последнее письмо пришло в августе, а после, в наступившем хаосе, писем не стало, и четыре месяца не имел Николай никаких известий о невесте. И холодело сердце от дурных мыслей. Он старался гнать их от себя, сосредоточившись на главном — добраться до Дона. Минуя все препятствия, преодолев многодневный путь, Вигель прибыл в Новочеркасск, где первым делом отыскал своего командира. Митрофан Осипович, напряжённый, словно сжатая пружина, приветственно распахнул руки:

— Вот и вы, поручик! Живы, слава Богу! А мы о вас вспоминали. Уже почти и не чаяли снова увидеть. Вижу, потрепало вас изрядно, — заметил. — Офицеру теперь нигде в России места нет. Даже здесь небезопасно. У всей этой сволочи, кажется, нет желания большего, нежели нашей кровью умыться... — омрачённое лицо полковника нервно дёрнулось.

— Значит, плохи дела, Митрофан Осипович?

— Куда хуже... Господа офицеры, как вы уже, полагаю, заметили, предпочитают кофейни и бордели фронту! А фронт держат мальчишки — юнкера и кадеты! Кому пироги и пышки, а нам желваки и

шишки... — Неженцев помолчал. — Ваши-то каковы теперь намерения?

— Вернуться в полк и служить, где прикажут. Но прежде хотя бы несколько дней передохнуть.

— Само собой, — кивнул полковник. — Штаб буквально днями будет перенесён в Ростов. Здесь обстановка всё меньше подчиняется Каледину, поэтому оставаться дольше мы не можем. Тогда уже в Ростове получите назначение, а пока можете отдыхать. Вам есть, где остановиться?

— Пока нет.

— Тогда ступайте на Барочную улицу. Там бывший лазарет превращён в офицерское общежитие.

— Благодарю, господин полковник, — Вигель уже собрался уходить, но Митрофан Осипович задержал его:

— Погодите, поручик! Чуть не забыл вам сказать. С этой вакханалией невозможно упомянуть всего... О вашей судьбе ведь здесь справлялись.

— Вот как? — удивился Николай. — Кто же?

— Молодая очаровательная особа. Сестра милосердия из нашего лазарета. Я как раз навещал там наших раненых, и она подошла спросить, не знаю ли я что-либо о вас. Имя её я забыл... — полковник слегка наморщил лоб. — Что-то тургеневское, кажется...

— Калитина, — выдохнул Вигель. — Таня! Стало быть, она здесь?

— Здесь. А позвольте, поручик, поинтересоваться, кто она вам? Невеста?

— Надеюсь, что да, — ответил Николай.

— В таком случае примите мои поздравления, — Митрофан Осипович чуть улыбнулся, словно пружина ненадолго ослабла. — Идите, поручик! Обрадуйте её.

— Слушаюсь, господин полковник! — радостно отозвался Вигель.

Из штаба Николай почти бежал по заснеженным улицам Новочеркасска, иногда ловя себя на том, что

забывает отдавать честь то и дело попадавшимися навстречу старшим офицерам, пьянея от нечаянной радости и ещё не вполне веря ей, ещё смутно боясь — нет ли ошибки. Но права, тысячу раз права была добрая старая Анна Степановна: чудеса ещё не перевелись на свете! Ту, от которой, как казалось, отделяли тысячи вёрст, оказалась вдруг рядом! И стоя в коридоре лазарета, Вигель вновь после многих месяцев разлуки сжимал её руки, вглядывался в сияющее радостью, влажное от слёз лицо, слышал любимый голос, шепчущий счастливо и прерывисто от волнения:

— Такой же... Совсем такой же... Я была уверена, что ты жив! Я знала, что ещё непременно увижу тебя.

Спохватившись и застеснявшись проходивших мимо людей, Таня покраснела, потянула Николая за руку:

— Пойдём, пойдём в мою комнату. Нехорошо здесь — люди ходят... Идём!

Она отвела Вигеля в небольшую, опрятную комнату, в углу которой теплилась лампада перед иконой «Умягчение злых сердец», усадила на край узкой кровати, а сама опустилась напротив на стул. Николай с нежность узнал её стыдливость: многое повидала сестра Калитина, а смущалась, как ребёнок — не бросится на шею, не прильнёт к груди. А хотелось Вигелю обнять её крепко, не так — едва-едва — как перед тем в коридоре, на людях, и целовать жарко! Но не смел и не сердился от этого ничуть, а умилялся её детской застенчивости, становившейся всё более редкой в женщинах... Несколько минут молчали оба. Таня осторожно коснулась его падающих на лоб светлых волос:

— У тебя седина появилась...

— Скоро буду белее, чем генерал Алексеев, — пошутил Николай, поцеловав протянутую руку. — Таня, ты какими судьбами оказалась здесь? Светлый мой человечек, если бы ты знала, сколько раз мне снилась

наша встреча, и я просыпался в отчаянии от того, что ты так далеко — в Москве, куда отрезаны все пути! Когда полковник мне сказал о тебе, я поверить не мог.

— Почему ты не мог поверить? — Таня ласково улыбнулась. — Если ты здесь, то почему мне не быть?

— Ты не сравнивай — я с фронта приехал. Здесь мой полк, а ты...

— А я сестра милосердия, Николенька. И мой долг быть там, где нужны мои руки и сердце. А они нужны здесь. Потому, что фронт теперь здесь. Здесь погибают и страдают от ран лучшие люди нашей бедной страны, мальчики кадеты и юнкера. И я должна быть с ними, как ты со своим полком.

— Но оставить Москву! Родной дом! Мать...

— Мама умерла, — тихо сказала Таня. — Заражение крови... Как минуло сорок дней, так я и уехала.

— Бедная моя, сколько же ты пережила! — Николай крепко сжал ладони невесты и уткнулся в них лицом, покрывая поцелуями. Подняв голову, он, искренне огорчённый, добавил: — Царствие небесное светлой душе. Твоя матушка была воплощённым ангелом, как и ты.

— Что ты, Николенька! — непритворно изумилась Таня. — Я и мизинца мамино не стою. Она вся была — Божья. Вся её жизнь была для Бога, для людей. А я... — она грустно улыбнулась. — Я вся в суете, в земных хлопотах. Мама была такой собранной, а я рассеянная, небрежная. Ни мыслями, ни чувствами своими не владею. Мне никогда не стать такой, как она! Почему ты не спросишь о своих?

— Я просто не успел. Эта нечаянная радость, наша встреча, меня буквально лишила памяти! Что отец? Ольга Романовна?

— Когда я уезжала, были в здравии. Правда, у Петра Андреевича серьёзные неприятности. В октябре во время восстания юнкеров его чудом не арестовали. Но

он здоров, деятелен. И Ольга Романовна — тоже. И все другие наши друзья. Но в Москве сейчас очень тяжело. Не хватает продуктов, дров... Я едва успела вырваться оттуда. Вскоре после этого большевики практически заблокировали движение на юг. Боятся, что многие ринутся к «кадетам»... Так я оказалась здесь и теперь работаю в этом госпитале.

— Бедный отец, — покачал головой Николай. — Ему тоже нужно было уехать из Москвы!

— Он думал об этом, но счёл, что пока должен остаться. Тем более, что теперь опасно везде... И всем... — Таня тряхнула головой, попыталась улыбнуться. — Что-то мы всё с тобой о грустном и о страшном. Его теперь так много вокруг, что и говорить не стоит. Лучше вспоминать что-то радостное или мечтать о хорошем, хотя мечтания и грешны.

— Мы обвенчаемся, — вдруг решительно сказал Вигель. — Здесь или в Ростове. Нельзя дольше ждать мира. Может, он настанет ещё нескоро, а мы живём сейчас!

— Я согласна, Николенька, — ответила Таня. — Я только в разлуке поняла, как сильно люблю тебя, и жалела, что мы не обвенчались ещё тогда, в Москве.

— Я тоже жалел об этом, — Николай потянул невесту за руку и она, наконец, села рядом с ним, склонила голову ему на плечо. — И теперь мы обязательно исправим нашу ошибку.

Предполагает человек, а Бог располагает. И так и не исправили ошибки. То Таня не могла вырваться из госпиталя, где было много работы, и не хватало рук. То сам Вигель, вернувшийся в полк, вынужден был отправиться на фронт. А теперь, в походных условиях — до венчания ли? Значит, опять ждать... И сколько ещё! Думая об этом, Николай досадливо хмурился, с хрустом переламывал тонкие прутья и бросал их в огонь.

Мягкая рука неожиданно коснулась его волос. Вигель мгновенно поймал её и прижал к губам. Таня, подошедшая совсем бесшумно, стояла рядом, кутаясь в наброшенный на плечи тулуп, сжимая рукой мохнатый воротник под самым подбородком.

— Ты выглядишь усталым, — тихо заметила она, скользя по его лицу тёплыми, участливыми глазами. — И замёрзшим...

— Есть немного, — чуть улыбнулся Николай. — Спасибо, что пришла. Может быть, это последняя мирная ночь наша.

— Уже не ночь, — откликнулась Таня. — Утро... Скоро солнце станет.

— Иногда мне кажется, что оно скрылось навсегда.

— Это от усталости. Ты слишком истревожился, изнурил себя. А ночь не может быть вечной. За ночью всегда следует рассвет, за зимой — весна, а за крестом — Воскресенье.

Голос Тани звучал негромко, утешительно, ласково. Совсем как годом раньше — в госпитале. Это была удивительная способность её. Вслушиваться в человека, понимать его и, поняв, вбирать в себя его тревоги, его боль — и утишать их, исцелять. словно сама она была ничем иным, как умягчением злых сердец.

— Скверно на душе, — признался Вигель, нарочно улыбнувшись, чтобы за улыбкой скрыть горечь. — До какого предела мы докатились все! Сколько нас? Горстка безумцев... А вокруг — одни только враги. Я ничего не боюсь, но мне невыносимы две мысли. Что эти мерзавцы будут владеть моей, нашей! Россией. А ещё... — он запнулся и порывисто сжал локти невесты. — А ещё — ты! Я всё чаще думаю, что лучше бы тебе было остаться в Москве! Я всё время боюсь за тебя! Боюсь, что с тобой что-нибудь случится! Я должен был уговорить тебя остаться в Ростове! А теперь... Мы

идём к чёрту на рога, и никто не знает, что нас ждёт. Что будет с тобой?

— Успокойся, Николенька, — Таня ласково погладила Николая по плечу. — Я боюсь за тебя не меньше, но не требую, чтобы ты презрел свой долг и прятался, как другие. Я тоже исполняю свой долг. Я сестра милосердия и мой долг — ухаживать за ранеными, а их будет очень много, и каждые руки станут незаменимы. Тем более — руки умелые, знающие своё дело. К тому же во всём свете у меня нет никого дороже тебя, а ты идёшь с армией. Значит, и я иду с тобой. И разве ты не волновался бы за меня, оставив меня в Ростове? А так я всегда рядом. Мы можем видеться хоть недолго каждый день. Разве это не счастье?

Глядя на Таню, Вигель понимал, что такое Христианство. Не догма, не теория, не обряд, а исповедничество, каждодневное, всею жизнью в целом и каждым мгновением её в отдельности. Вздохом каждым. Вокруг бушевала война, зло нарастало с невиданной силой, смерть бродила рядом, крадя близких, грозя ежечасно, страдание и жестокость стали средой обитания, и даже у самых сильных и твёрдых людей сдавали нервы. А Таня оставалась спокойна. Раздавала себя без остатка всем, кто нуждался в помощи, в приветливом слове, в утешении — словно ангел-хранитель парил над страждущими, касаясь душевных и телесных ран своими крыльями и утешая их.

— Счастье... Конечно. Но я схожу с ума, когда думаю...

— Не думай, — Таня улыбнулась. — Зачем думать о плохом? Не терзай себя. На всё Божья воля, и нужно быть Ей покорными. Нужно нести наш крест.

— Иногда он кажется мне невыносимо тяжёлым.

— Это неправильно... В детстве, когда я болела, мама рассказывала мне одну притчу. Один человек всё время роптал, что его крест слишком тяжел, и Бог раз за разом уменьшал его. Наконец, крест исчез вовсе. И тогда оказалось, что без него человек вовсе невесом, и земля не держит его. Налетел ветер и унёс человека, и носят его вихри по свету с той поры, заглушая воем его мольбы возвратить ему крест. Сколько есть людей, отвернувших крест и предавшихся ветрам «лёгкой» жизни, потерявших себя, потерявших стержень жизни и погибших безвозвратно в пустых метаниях! А те, кто крест пронесли до конца, всегда получали великую награду. Что человек без креста? Без креста — значит, без опоры, без стержня. Человек крестом своим крепок. Так мне говорила мама.

— Вы удивительные, — искренне сказал Вигель. — И ты, и твоя мама. Неземные...

Таня заметно смутилась, опустила лицо. Николай осторожно обнял её, сожалея своей явившейся за годы войны огрубелости. Он не мог без трепета касаться этого хрупкого, чистого, неотмирного создания. Таня казалась ему воплощённым ангелом. И страшно было, что она исчезнет вдруг. И держа её в объятиях, Вигель думал, что ничем в жизни не заслужил такой любви, такого счастья, и от того ещё большей тревогой за судьбу Тани наполнилось сердце. Наступал второй день похода, путь которого ещё не был избран, цель которого не была ясна. Второй день восхождения на Голгофу. Тысячи офицеров шли на неё во имя долга и чести, юнкера и кадеты — из высоких стремлений и романтизма. Милосердные сёстры — как жёны-мироносицы. Не ведая страха, не унывая духом. И в который раз земно кланялся Николай их кроткому, не выставляющему себя напоказ подвигу.

Глава 3. Надинька Тягаева

1 марта 1918 года. Киев

— Барышня! Барышня! — сильные руки Стеши трясли Надю за плечо. Она с трудом открыла глаза:

— Что случилось?

— Слышите? Там на улице?

Надя прислушалась. С улицы доносился странный гул. Она поднялась с постели, подошла к окну и замерла потрясённая. По улицам, поблёскивая стальными касками, высоко поднимая ноги и чеканя шаг, маршировали войска. Это были немцы.

— Вот и дождались, барышня... — прошептала Стеша. — Освободителей...

— Да, Стеша, дождались, — вздохнула Надя, не зная радоваться приходу немцев или нет. С одной стороны, это было спасение от большевиков и их зверств, а с другой... Враг, с которым воевали три года, враг, сражаясь с которым, отец Нади, полковник Тягаев, лишился руки, враг этот теперь праздновал победу, маршировал по улицам матери городов русских. Что-то бы сказал отец, увидев это? Как бы пережил этот позор? Счастье, что не видит.

— Может, хоть теперь порядок-то настанет! — говорила Стеша, заметно радуясь.

Надя задёрнула занавеску и, прислушавшись к себе, поняла, что и она — рада немцам. Представить невозможно было раньше — радоваться врагам! Но последние месяцы показали, что есть враги куда более страшные и жестокие, чем немцы. И от них слишком много было выстрадано, чтобы не радоваться любой силе, которая обещала защиту от них. В который раз всколыхнулась душа воспоминанием всего пережитого

ужаса. Знала бы мать, отправляя единственную дочь к сестре в Киев, в какой кипящий котёл попадёт она! В Петрограде было тревожно, и Елизавета Кирилловна сочла, что Надиньке будет лучше перебыть это время в более спокойном месте. Отец предлагал отправиться ей в Москву, к бабушке Ольге Романовне, но мать настояла на своём, сочтя, что Киев более надёжная гавань, нежели Москва, а дом известного историка Фёдора Степановича Марлинского предпочтительнее дома бывшего судебного следователя по особо важным делам Петра Андреевича Вигеля.

Так Надинька оказалась в древней столице Руси, где, как и в других городах шли политические баталии, которые здесь приобретали ещё и национальный характер, поскольку украинские самостийники требовали незалежности щирої України, освобождения её от «векового порабощения Россией». До всего этого Надиньке в её восемнадцать лет не было ровным счётом никакого дела. Она продолжала жить в своём хрустальном мире, не имевшим ничего общего с современными веяниями, далёком от общественной жизни и суеты. Мать её, преподавательница Ксенинского института княгини Голицыной, женщина умная и всесторонне образованная, сумела дать Наде хорошее домашнее образование, не желая пускать дочь на «развращающие», по её убеждению, курсы. Надинька росла в тепличных условиях, под опекой матери и бабушки, редко выходя в свет, редко бывая в гостях, практически не имея близких друзей. Впрочем, такая жизнь, могущая кому-то показаться скучной, её не тяготила. Надя от природы отличалась лёгким, весёлым характером, а к тому же всегда умела найти себе занятие. Она могла часами наигрывать фортепианные концерты, привычно порхая изящными пальчиками по белым клавишам и уносясь воображением в далёкие края и времена, знакомые по

книгам. Книги Надя обожала. Правда, из них не жаловала повествований мрачных, навевающих тоску. Она не любила Достоевского, всякий раз буквально болевая, соприкоснувшись с ним, органически не принимала Горького с его бунтарской проповедью и каким-то воинственным, озлобленным материализмом. Ей нравилось всё гармоничное, поэтическое, чистое и светлое, прозрачное. С детства и навсегда Надя привязалась к сказкам Андерсена и Лагерлёф, для неё не было большего наслаждения, нежели, свернувшись в глубоком бабушкином кресле, читать добрые, светлые истории Чарской, от которых даже случавшиеся огорчения проходили без следа. Очень любила Наденька Тургенева, а среди молодых писателей отдавала предпочтение Борису Зайцеву, хрустальной чистоте его слова, солнечности его чудных рассказов. Рассказ «Мой вечер» она перечитывала несчётное количество раз с ощущением какого-то тихого счастья за его героев. А ещё Надя любила Блока. С Блоком была немного знакома её мать, о Блоке часто разговаривали дома, Блок был человеком почти близким, хотя сама Надя никогда не видела его. Его поэзия казалась ей чересчур печальной. Но за эту печаль она и полюбила его. Полюбила жалостью, как человека, которому, кажется, очень трудно жить в этом мире, который не находит себе места, которого никто не понимает до конца. Это впечатление усиливало и лицо поэта, столь знакомое по фотографиям: лицо застывшее, холодное, странное. Надя иногда подолгу смотрела на него и... жалела. Жалела и думала, что она, быть может, смогла бы дать ему то, чего у него нет. От матери она слышала, что Блока окружает целая толпа поклонниц, которые заваливают его цветами, ходят по пятам, собирают окурки... Надя пожимала плечами и морщилась: до чего же глупы бывают люди! Собирать окурки, заваливать цветами... Это какие-то

сумасшедшие! Ей, Наде, с ними не по пути. Её чувство совсем иное. Она видит, по его стихам и портрету, человека, которому нужна помощь, и хочет помочь его томящейся и неприкаянной душе. Хотя и не знает, как...

С матерью своими мыслями Надя не делилась. Она, вообще, ни с кем не делилась сокровенным, боясь показаться смешной. Она жила в своих сладких грёзах, а в последние годы полюбила посещать синематограф, смотреть на залитом светом экране нехитрые истории, любоваться невозможно красивыми актёрами, открытки-портреты которых Надя собирала и заботливо складывала в специальную китайскую шкатулку, которую отец подарил ей, вернувшись с Русско-Японской войны.

Так и приехала Надя в Киев, уложив в саквояж самые дорогие предметы: китайскую шкатулку, томики Блока, Чарской и Зайцева и любимую куклу, с которой не расставалась никогда. Киев понравился ей сразу. Ей понравилось всё: и дивный городской парк, и величие Днепра, и птицей взмывающая над ним ввысь Лавра, поражающая своим великолепием... Понравился и дом тётки, радушно принявшей её. Просторная квартира насчитывала восемь комнат, не считая кухни и ванной, а проживало в ней на момент приезда Нади четыре человека: сама тётушка Анна Кирилловна, Фёдор Степанович, его престарелая мать Мария Тимофеевна и горничная Стеша, бойкая, похожая на цыганку девица. Сын Марлинских Родион, юнкер, находился в то время в военном училище и лишь изредка навещал родных. Его комнату и отвели Наде.

Уклад жизни в доме Марлинских был расписан строжайшим образом. Фёдор Степанович привык жить по распорядку, и, кажется, ничто не могло заставить его нарушить оный. Потомок запорожских казаков, он начинал служить по военной линии, продолжая семейную традицию, несколько лет провёл в Сибири,

где квартировал его полк, там тяжело заболел и, с трудом поправившись, решил сменить характер деятельности. История занимала Марлинского с давних пор, а потому решение это далось ему легко. Фёдор Степанович сделался настоящим историком-учёным. Ему не нужна была шумная слава, ему не достаточно было работать с готовым материалом, собранным его предшественниками, он самоотверженно ездил по разным медвежьим углам, собирал всевозможные документы и предметы старины, несчётное количество часов просиживал в архивах... Когда ему предложили кафедру в Киевском университете, Марлинский долго колебался, полагая, что преподавание будет отвлекать его от дальнейших исследований, но всё же согласился, сочтя, что просвещение и воспитание юношества — также его святой долг. И лекции Фёдора Степановича пользовались большим успехом. Они принесли ему известность, а вместе с ней — как преданных почитателей, так и непримиримых врагов. Профессора считали его ретроградом, черносотенцем и монархистом, поэтому после революции тотчас отставили от службы. Марлинский тяжело переживал случившееся. На происходящее в России он смотрел с глубокой мрачностью, был раздражён и большую часть времени проводил в своём кабинете.

Тётушка же Анна Кирилловна оказалась женщиной мягкой, открытой, ласковой. Высокая, широкая в кости, по складу фигуры она была очень похожа на свою сестру, а, вот, лицо оказалось совсем иным: широкое, с довольно крупными, но очень красивыми чертами — типично русское лицо. Высокий лоб скрывала густая чёлка таких же пшеничных, как и у Нади, волос, а глаза смотрели покойно и ласково. В каждом жесте её, в каждом слове и взгляде чувствовалась мягкость, неторопливость, выдержанность. Анна Кирилловна всячески старалась окружить вниманием мужа, как-то

ободрить его, но Фёдор Степанович при каждой такой попытке лишь обречённо взмахивал рукой и вновь скрывался у себя в кабинете, где погружался в чтение толстых томов, из которых делал многочисленные выписки. Лишь жене было позволено заходить к нему, и она заходила почти на цыпочках, боясь нарушить его сосредоточенность, ставила на край стола поднос с чашкой кофе. И он машинально выпивал его, машинально кивал Анне Кирилловне в знак благодарности.

Сама Анна Кирилловна практически ничем не увлекалась. Всю свою жизнь она посвятила мужу, создавая все условия для того, чтобы ему было комфортно работать, чтобы ничто не мешало ему. Наде казалось, что даже единственный сын для неё стоит на втором месте после Фёдора Степановича. Анна Кирилловна жила жизнью мужа, его интересами. Своих же интересов у неё, по видимости, почти не было. Она могла часами сидеть у окна, наблюдая течение жизни. Единственным её увлечением было вышивание. В доме было много разнообразных панно, вышитых рукой Анны Кирилловны, и Надя разглядывала их с восхищением — сама она никогда не умела так виртуозно работать иглой и ниткой.

Хозяйством в доме занималась Мария Тимофеевна. Не то, чтобы Анна Кирилловна сторонилась домашних дел, просто свекровь осознавала себя хозяйкой дома и, привыкнув всем управлять и за всем следить, не желала, чтобы невестка теснила её, а та, обладая большой деликатностью, помогавшей ей сглаживать любые острые углы и избегать конфликтов, не перечила, тем более что Мария Тимофеевна, в самом деле, прекрасно вела хозяйство. Правда, в последнее время она начала сдавать, подводило сердце, и она уже сама иногда просила невестку помочь ей. Мария Тимофеевна принадлежала к породе старых

аристократок. Она никогда не бывала при дворе, но её легко можно было принять за бывшую фрейлину, придворную даму — царственная осанка, сохранённая даже в преклонные годы, несмотря на всевозможные недуги, гордое, красивое лицо, лишённое, правда, надменности и заносчивости, внутреннее благородство, выражавшееся в манере держать себя, в манере говорить. Прадед её был Екатерининским вельможей. При Павле его сослали в Сибирь, при Александре вызволили оттуда, и с той поры семейство Марии Тимофеевны не покидало Украины.

По вечерам семья собиралась в просторной гостиной, где над каминной полкой висел большой портрет Государя Императора. Анна Кирилловна склонялась над вышиванием, Мария Тимофеевна отдыхала, откинувшись в глубокое кресло и прикрыв глаза, либо читала какую-нибудь духовную книгу, а Надинька наигрывала что-нибудь на стоявшем здесь же фортепиано или также предавалась чтению. Иногда к ним присоединялся и Фёдор Степанович, и тогда все внимание было приковано лишь к нему. Он рассказывал то о запорожских временах, то о смутном времени, находя в истории объяснения нынешнему положению России, проводя параллели, предсказывая тяжёлые испытания и уповая на лучший исход. Фёдор Степанович говорил вдохновенно, самозабвенно, словно обращался не к окружающим, а к невидимому собеседнику, которого хотел в чём-то убедить. Видно было, что он очень страдал.

В какой-то день Марлинский вернулся откуда-то до крайности раздражённый. Вместе с ним был его старинный друг, врач из госпиталя Великой Княгини Ольги Александровны Никифор Захарьевич Матушенко, полный, словоохотливый хохол с зычным тенористым голосом. Анны Кирилловны не было дома: вместе с Марией Тимофеевной они поехали навестить знакомых,

чей сын погиб во время последнего наступления. Мужчины быстро прошли в кабинет Фёдора Степановича, но громкие их голоса были хорошо слышны из-за двери в гостиную, где сидела, склонившись над книгой, Надя.

— Чёрт знает что! — гремел Марлинский вне себя от ярости. — Паяц! Ничтожество! Ярмарочный фигляр!

— Тише, тише, — вкрадчиво увещевал Матушенко. — Умерь свой пыл.

— Умерить пыл?! Ну, конечно! Боже, до чего же нужно было дойти, чтобы во главе величайшего государства, талантливейшего и могучего народа встал жалкий адвокатишка! Жидишка с припадками неврастеника! Скажи мне, как врач, этот человек нормален? Я спрашиваю тебя, нормален?!

— Я хирург, а не психиатр. Впрочем, я слышал, что Александр Фёдорович, в самом деле, страдает какой-то нервной болезнью.

— Идиот! — вскрикнул Марлинский отчаянно. — Этот балаганный шут явился с твёрдым, как сказали нам, намерением положить предел домогательствам сепаратистов, а что в итоге?! Стал перед ними же заискивать!

— Да, «щирые» оказались людьми дошлыми, поняли, на чём его ущучить. Засыпали беззастенчивой лестью... «В силу ваших исключительных дарований вы не можете не понимать...»

— Тошно-то как! Как тошно! Этот истерик кривлялся перед ними, как старая дева на выданье, упивался собственным словоблудием и алкал лишь их восторженных одобрений!

— И получил их!

— Ещё бы! Этот мерзавец сдал все позиции! Вчистую! Предоставил широчайшие возможности для самостийной демагогии! Как же! Не мог же он обмануть ожиданий людей, которые так восхищались его

талантами! О, какой стыд! Какой стыд! Нет, это конец, это конец! История превращается в балаган, народ обезумел, царя нет... Мы летим в бездну, Никифор Захарьевич, в чёрную, страшную бездну, и никакая сила не сможет остановить!

— Успокойся, — голос Матушенко звучал миролюбиво. — Как врач, могу тебе сказать, что такие сильные переживания крайне не полезны для твоего сердца. В наши дни надо быть философом, смотреть на всё сквозь пальцы.

— А я не хочу смотреть на всё это! — гроыхнул Марлинский. — И пусть моё сердце разорвётся на части! Это будет для меня великим счастьем! Потому что я ничего так не хочу сейчас, как сдохнуть! Царя с семьёй отправили в Тобольск, ты слышал?

— Разумеется.

— Зачем? Зачем Тобольск? Почему не Крым? Они не пощадят его, нет, не пощадят... Ох, Боже мой, Боже мой... Наши блестящие военачальники! Как они могли попасться на эту гнусную удочку?! Переворота захотели! В военное время! Скинули Царя, теперь, вот, локти кусают!..

— Ты всё слишком близко к сердцу принимаешь, Фёдор Степаныч. Ну, хотя бы взять наших «щирых»? Что тебе за беда, что они хотят быть незалежными? В конце концов, украинцы всегда тяготели к свободе. Эту тенденцию поддерживали Шевченко, твой коллега Костомаров...

— Да как ты не можешь понять! — Марлинский с силой ударил чем-то по столу. — Свобода? Незалежность? Украинская государственность? Неужели ты не понимаешь, что это чушь? Украина никогда не была самостоятельным государством! Была Запорожская Сечь! Но Сечь — не государство! Это анархия, это бедлам! И ничего иного, кроме Сечи, на Украине быть не может!

— Что же, ты отказываешь украинцам в способности построить своё государство?

— Да, отказываю! Украина, если она даже отделится от России, никогда не будет самостоятельной. В ней воцарится хаос, чтобы установить элементарный порядок, нужна будет внешняя сила. Прежде такой силой были поляки, но они погубили своё государство именно отсутствием сильной центральной власти, шалыхтой, сеймом, вносившим лишь хаос в жизнь Речи Посполитой. Потом была Россия. Россия гибнет. По той же причине. Мы отвергли сильную центральную власть, предпочтя несчётное количество говорунов, которые митингуют теперь на каждом шагу и ведут страну к полному распаду. Украина сама по себе существовать не сможет. Ей нужен хозяин. И этим хозяином будут в ближайшее время немцы. Ваш Шевченко болван, хотя и талантлив. Но слушать следовало бы не его, а Гоголя. Гоголь не одобрял Шевченко, Гоголь говорил, что не может быть Украина оторвана от России, потому что это будет трагедией для обеих... Гоголь предвидел всё это, предвидел эту проклятую путаницу... Собрались бить антихриста, а побили неантихристов... Помнишь? Вот она — всевеликая русская путаница, в которую все втянуты, все запутаны, и не найти ни концов, ни начал! Помните юрисконсульта? «Спутать, спутать — и ничего больше, ввести в это дело посторонние, другие обстоятельства, которые запутали бы сюда и других, сделать сложным, и ничего больше». Вот, и спутали! Всех спутали! Всё спутали! И только бьёмся мы беспомощно в чужих липких сетях, всё более запутываясь, и нет спасения...

— Фёдор Степаныч! — выдохнул Матушенко. — Ей-богу, друже, нельзя же так мрачно смотреть на вещи! Ведь этак же просто и жить нельзя!

— Именно. Нельзя... — Марлинский помолчал. — Погладила нас жизнь против шерсти... Эх! Эти

ничтожества со своим фигляром долго не продержатся. Нам осталось только увидеть финал этого пошлейшего балагана, а потом...

— Что потом?

— Потом придут большевики, — просто ответил Фёдор Степанович. — Придут и умоют кровью всех нас, всю Россию, так что кости наших предков восплачут под землёй от ужаса. Я понял, что это конец, не сегодня. Но ещё в феврале. А окончательно понял это, когда увидел, как сносят памятник Столыпину. С каким грохотом рухнул он в вырытую яму! Будто бы всё тысячелетнее русское царство обрушилось в могилу! И так и было! Так и было! Его придвинули вплотную к этой могиле выстрелом в киевском театре... Жидишка убил великого русского государственного деятеля, единственного человека, которому дано было удержать Россию от несчастья, который даже и теперь смог бы вывести наш корабль из шторма, при молчаливом одобрении изрядной части придворной камарильи, русской по названию! Вот она, трагедия: два полюса, ненавидящие друг друга, соединились безумно и обрушили царство! Одни по глупости, другие из кровной ненависти к России. И первые, по мне, ответственны больше... И вот, этот памятник... Кругом стояла толпа, хихикали, отпускали мерзкие шуточки, и едва ли половина понимала, чья эта статуя. Привязали к шее верёвку, чтобы тащить... «Казнили»! Посмертно... А в газетах утром ликовали: повешен и исчез навсегда главный враг России! Вот, примета революции! Отвратительного восстания черни! В Париже революционная толпа играла, как в мяч, черепом великого Ришелье, а у нас... У нас всё будет страшнее, чем в Париже. Велика высота, на которую может подняться русских дух, но чудовищна пропасть, в которую он может провалиться. Да ещё когда жидишки руководят... Рука Божья больше не ведёт Россию,

потому что Россия отдалась во власть сатане, и самое страшное ещё впереди.

— Фёдор Степанович...

— Я не боюсь за себя, Никифор Захарьевич. Меня, скорее всего, убьют, потому что я не привык прятаться и притворяться. Это меня несколько не пугает, я готов к этому. К тому же свою жизнь я прожил. Прожил честно, и краснеть мне не за что. Но Родион... И Аня... И эта девочка, её племянница. Что станет с ними? И с миллионами таких, как они? Об этом я думать не хочу. Не могу.

Надя на цыпочках вышла из гостиной и прошла в свою комнату. Сердце её бешено колотилось, а в горле стоял ком. Впервые в жизни ей было так страшно, так горько. Мрачные картины, нарисованные Марлинским, потрясли её. И потрясли боль и отчаяние самого Фёдора Степановича, звучавшие в его надрывном голосе, обжигавшие, словно огнём. Наденька опустилась на кровать, подобрала ноги под себя и задумалась. Неужели всё, действительно, так чудовищно? Почему Фёдор Степанович говорит такие ужасные вещи? Ах, как жутко всё, как жутко... Её охватила тревога. За мать, отца и бабушку, оставшихся в Петрограде, за бабушку Ольгу Романовну и её семью, за всех близких и дальних, но всё же дорогих. Ей стало мучительно жаль Марлинского, и кузена Родиона, и саму себя...

Пророчества Фёдора Степановича стали сбываться быстро. В Петрограде пало Временное правительство, и к власти пришли большевики. Из Могилёва вдова главнокомандующего генерала Духонина привезла в Киев тело своего мужа. Она нашла его на перроне, проткнутого штыками, с выколотыми глазами и папиросой во рту... Генерала хоронили тайно, глубокой ночью, не оставив даже могильного холма, чтобы украинские большевики не совершили ещё больших надругательств. За несколько дней до Нового года

«украинцы» ворвались в госпиталь княгини Барятинской, выгнали всех раненых офицеров, разграбили все вещи, издевались над сёстрами. Потрясённый Матушенко рассказывал, с трудом сдерживая волнение:

— Во главе этого отряда стоял полковник из полка Императрицы! Вы можете представить себе! Этот негодяй вёл себя самым оскорбительным образом! Он позволил себе вызывающе говорить с княгиней!

— Что же будет с ранеными? — сплеснула руками Анна Кирилловна. — Ведь им же некуда идти! Госпиталь был последним пристанищем для них!

— Да, да... Там жили даже их семьи, изгнанные со служебных квартир солдатами. Теперь они на улице... Кое-кого княгиня разместила в собственной квартире, но это же капля в море! Ах, какая низость! Полковник — и так вести себя с ранеными товарищами, с дамами! Как издевались над бедными сёстрами! Один из докторов просто слёг с нервной болезнью от этого.

— Чудовища! — воскликнула Мария Тимофеевна. — Фёдор, почему ты молчишь?

— А что я должен сказать? — сухо произнёс Марлинский, но видно было, как дёрнулось его усталое, осунувшееся лицо. — Я уже всё сказал. Это только начало... Нам предстоят времена куда более страшные.

— Не будем об этом сейчас, — мягко произнесла Анна Кирилловна, положив ладонь на руку мужа. — Сегодня, в конце концов, новый год... И как бы то ни было, а нужно встретить его. Стеша весь день возилась на кухне, пыталась что-нибудь создать из наших скудных запасов, поэтому пройдёмте к столу.

За новогодним столом собралась вся семья Марлинских. Настроение, однако, было далеко не праздничное. Ждали прихода большевиков. Лишь Стеша оставалась бодрой и даже веселой. Весь день она посвятила стряпне, желая лишний раз блеснуть

своим недюжинным кулинарным талантом. Задача была не из лёгких, поскольку из еды в доме имелась лишь картошка, кофе, орехи, немного сахара. Но Стеше удалось раздобыть к тому несколько яиц и средних размеров рыбёшку, подаренную ей ухажёром-маляром. И вот из этого всего было сотворено подлинное пиршество в составе трёх блюд, среди которых почётное место занял картофельный торт.

— До деревни надо подаваться, — говорила Стеша, раскладывая столовые приборы. — В городе ныне мор, что в голодный год. Скоро собак глотать учнут.

— Стеша, ты просто чудесница, — улыбнулась Анна Кирилловна, оценив праздничный стол. — Как только тебе удалось создать такую красоту при нашей скудости!

Стеша довольно улыбнулась, блеснув красивыми зубами, тряхнула чёрными кудрями:

— Да это что! Это так... Кабы мне маслица ещё!

— И мясца, — засмеялся Матушенко.

— Стеша, садись с нами, — пригласил Марлинский, чуть улыбнувшись тоже.

— Что вы, Фёдор Степанович, — горничная покачала головой, но было видно, что остаться ей очень хочется. — Не полагается. Я уж на кухне...

— Садись, Стешенька. Ты нам всегда как родная была, а теперь какие могут быть условности? Глупости всё это.

— Спасибо, — поблагодарила Стеша и расположилась в углу стола, радуясь, что, наконец, удостоилась сидеть вместе с господами, которых искренне любила и уважала.

— Прежде, чем начать, — негромко заговорила Анна Кирилловна, — я хотела бы, Никифор Захарьевич, посоветоваться с вами.

— Слушаю вас? — Матушенко отложил вилку.

— Говорят, большевики будут со дня на день. Надо бы Родю спрятать куда-нибудь.

— Матушка! — нахмурился Родион. — Я вам уже сказал, что не надо меня прятать! Я сражаться буду.

— С кем это ты сражаться удумал? — одёрнула его бабка. — Один против всех пойдёшь, чтоб тебя на штыки подняли? Изволь слушать старших, мой дорогой. Глупая смерть доброму делу не подмога.

— Вы, разумеется, правы, Анна Кирилловна, — задумчиво произнёс Матушенко. — Если бы наш госпиталь не разогнали, то можно было бы спрятать Родиона там, а теперь... Хотя, пожалуй, есть человек, который может помочь. Лодыженский. Юрий Ильич.

— Ах... Я слышала о нём, — сказала Мария Тимофеевна. — Ведь он начальствует в лазарете российского общества Красного Креста, не так ли?

— Именно! Я знаю, что там многие скрываются сейчас. Полагаю, что и Родиону найдётся место. Завтра же узнаю. Кстати, Фёдор Степанович, быть может, тебе тоже скрыться? С твоей репутацией...

— У меня репутация честного человека. С такой репутацией жить, конечно, нельзя! — резко произнёс Марлинский. — Я никогда ни от кого не скрывался и сейчас не буду. К тому же не хочу занимать чужого места. Лазарет не резиновый. А есть люди, которым убежище нужно гораздо более моего.

— Воля твоя, — пожал плечами Никифор Захарьевич.

Стрелка часов неумолимо скользила к двенадцати. Когда до нового года осталось четверть часа, Фёдор Степанович поднялся, держа в руке бокал, наполненный наливкой, остатки которой Стеша заботливо сберегла для праздника, и заговорил своим хрипловатым низким голосом:

— Друзья мои, я не смогу сегодня сказать ничего хорошего, а для плохого — не время. А потому пускай

лучше скажет за меня великий наш гений, скажет Гоголь, — Марлинский откинул назад посеребрённую сединой голову и после небольшой паузы продолжил, воскрешая в памяти слова великого писателя: — Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскресенья воспряднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов! Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, — доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреодолимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможно ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна

душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресенья Христова воспризднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспризднуется Светлое Воскресенье Христово!»

Во время этого монолога лицо Марлинского, постаревшее буквально за считанные недели, разгладилось, а при последних словах глаза его влажно блеснули. Вся его сухопарая фигура была пряма, седые до плеч волосы обрамляли усталое лицо с острым, горбатым, совсем гоголевским носом. Наде подумалось, что в образе дядюшки в это мгновение есть что-то удивительное, сильное, прекрасное, что похож он на рыцаря, и что некая трагическая печать уже лежит на его челе. На её глазах навернулись слёзы, но в этот миг часы пробили двенадцать раз, бокалы сдвинулись. Все старались изобразить подобающее празднику веселье, но у каждого на сердце лежал тяжёлый камень, и весёлости не выходило. Наступил 1918-й год...

Через некоторое время большевики спровоцировали восстание рабочих «Арсенала». Украинские войска устроили осаду завода и подавили восстание. Большевики, окружившие Киев со всех сторон, ответили на это наступлением и бомбардировкой города. Непрерывно ухали тяжёлые орудия, реяли аэропланы, сбрасывавшие снаряды на улицы древней столицы.

Взрывы, зловещий свист гранат и шрапнелей, грохот рушащихся зданий, пулемётный гвалт и вопли раненых — ото всего этого можно было повредиться в рассудке. Обыватели боялись оставаться в своих квартирах и прятались в подвалах. В подвал спустились и Марлинские. Туда вскоре стали поступать раненые, среди которых были офицеры. На улицах шли перестрелки, и раненых и убитых было много. Украинцы несколько раз брали большевиков в плен и расстреливали, выстроив вдоль стены. Выходить из убежища было крайне опасно, но нужны были продукты и медикаменты. Один из раненых сообщил, что поблизости магазины разбиты, и можно свободно брать продовольствие.

— Я сбегаяю, — тотчас оживилась Стеша. Ей порядком надоело сидеть в душном подвале, её энергичная натура требовала дела.

— Я с тобой, — решила Надя.

— Барышня, вам-то зачем? Я споро оборочусь!

— Нет, нехорошо, чтобы ты одна шла, — покачала головой Надя. Ей нравилась Стеша и хотелось пойти с ней. К тому же сидеть в подвале было ужасно скучно.

— Надюша, я считаю, что тебе лучше остаться, — заметила Анна Кирилловна. — Я отвечаю за тебя перед твоей матерью. Ты слышишь, что творится там? Стрельба! Взрывы! Вдруг что случится?

— Вдвоём идти безопасней, — возразила Надя. — И еды мы сможем принести больше. У нас ведь ничегошеньки нет.

Она всё-таки настояла на своём и отправилась вместе со Стешей. Улицы города производили пугающее впечатление: осколки стекла и снарядов, кровь, мёртвые тела, не смолкающий обстрел... Через всё это две девушки бегом побежали вдоль домов к ближайшему магазину. Их обогнал какой-то офицер и вдруг упал, сражённый шальной пулей прямо в голову.

Пули свистели. Стеша бежала вперёд, непокорные волосы её растрепались, а щёки горели. Надя старалась не отставать от неё и не смотреть по сторонам, чтобы не видеть страшных картин.

Магазин оказался заперт. Недолго думая, Стеша схватила булыжник и разбила им витрину.

— Стеша! Разве можно? Ведь это воровство...

— И что же? Все эти магазины и склады всё равно будут разграблены. Народ ныне шибко оголодалый и безо всяких понятий. А мы что ж? Война, барышня, есть война. Стойте здесь с нашими лукошками, а я вам в них покладу всякой всячины, — Стеша пробралась в магазин и в считанные минуты доверху набила корзины продуктами. — А теперь, барышня, айда, покуда чего не вышло!

И снова припустились по улицам. Посреди дороги лежал убитый. Стеша перескочила через него, словно то было бревно в лесу, а Надя остановилась, вдруг растерявшись, испугавшись чего-то. Горничная ухватила её под локоть сильной рукой и потянула за собой:

— Да очнитесь вы, барышня моя нежная! Убьют же!

В подвале их ожидали с волнением. Стеша гордо демонстрировала добычу с видом бывалого охотника, хвастающего пойманной дичью, рассказывала подробно о происходящем на улицах. Ничего-то не пугало её, не огорчало, не приводило в уныние. Немного грубоватая, громкоголосая, Стеша всё время суежилась, приглядывала за ранеными, пыталась развеселить «честное общество» смешными историями, которые умела рассказывать удивительно комично, заряжала всех своей неукротимой энергией. Надя немного завидовала такому лёгкому характеру, которому всё нипочём, и была благодарна Стеше уже за то, что она есть, потому что без неё в этом подвале было бы ещё мрачнее и безотраднее.

Две недели длилась осада. Две недели великий город находился под перекрёстным огнём. Две недели разрушался он беспощадно. Две недели гибли и гибли без вины люди. Люди погибали на улицах и площадях, куда выгонял страх погибнуть под обломками рушащихся знаний, в подвалах и погребах. В Божиих храмах, кресты которых стали лучшим прицелом для большевистских орд. Наконец, украинская армия бежала, и большевики заняли город. Марлинские покинули подвал и поднялись в свою квартиру. В ней царил настоящий кавардак, потому что при обстреле один из снарядов пробил крышу. Обдумать, как быть с полуразрушенным жильём не успели.

В тот же вечер на квартиру явились несколько красноармейцев во главе с евреем-комиссаром, который с порога осведомился:

— Где здесь профессор Марлинский?

Фёдор Степанович сидел в усыпанной битым стеклом гостиной, в длинном пальто, положив ногу на ногу, и невозмутимо взирал на вошедших.

— Я профессор Марлинский. Я так понимаю, это арест?

— Правильно понимаете. Вы опасный контрреволюционер, и мы не можем позволить вам оставаться на свободе в нашей стране, — это было сказано с апломбом и театральным жестом. — Пройдёмте!

Фёдор Степанович неспешно поднялся, оправил пальто. К нему бросились мать и жена, но он знаком остановил их.

— В их стране нам места нет, — криво усмехнулся он. — Аня, передай Родиону моё благословение. Прощайте, матушка.

Мария Тимофеевна простёрла к нему руки, а затем закрыла лицо так, что лишь полные отчаяния глаза провожали высокую фигуру сына, уводимого в

неизвестность. Анна Кирилловна бросилась следом, но муж приказал ей не терпящим возражений тоном:

— Аня, останься с мамой. Никуда не ходи. Прощай.

Первые четверть часа после произошедшего в доме царила гробовая тишина. Затем Анна Кирилловна болезненно согнулась, накрыв голову руками, и не заплакала даже, а заскулила по-бабьи:

— Пресвятая Богородица, ну, почему же он такой упрямый?! Почему ему не жалко ни себя, ни нас?! Если бы он принял предложение Никифора Захарьевича, если бы скрылся... Ему уехать надо было! Я ведь говорила ему! Я говорила!

— Молчи, Аня, — тихо произнесла Мария Тимофеевна. Лицо её было бледнее полотна, а губы, которые она нервно покусывала, вздрагивали. — Наревёшься ещё, успеется... Надо же... Надо же делать что-то! — она резко поднялась, прямая и твёрдая, как её сын.

— Куда вы, матушка?

— Пойду к княгине Марии Сергеевне. Может быть, она сможет помочь!

— Ах, да чем же она поможет? Её госпиталь закрыли, её муж — офицер, близкий к Царской семье!

— Не останавливай меня, Аня, — отозвалась Марлинская холодно, надевая шубу. — Я не могу сидеть, сложа руки. Я должна идти, делать хоть что-то.

— Тогда и я с вами пойду.

— И я, — сказала Надя с дрожью в голосе. — Я не могу оставаться здесь...

К княгине Барятинской они отправились вчетвером. Стеша не захотела оставлять «барынь и барышню», к тому же заявила, что лучше сумеет сговориться с разными шалыми, если таковые встретятся по дороге.

Княгиня Мария Сергеевна Барятинская все последние дни жила как на вулкане. Её муж, флигель-адъютант Императора и его товарищ по детским играм,

был тяжело ранен и не мог даже подняться с постели. Неподалёку большевистский патруль расстрелял пятерых офицеров, и княгиня с ужасом думала, что та же участь может постигнуть её супруга и тех нескольких его сослуживцев, которых они после закрытия госпиталя приютили в своём доме. Страшно было и за дочь. За девочкой присматривали старушка няня и гувернантка-француженка, не пожелавшая покинуть свою воспитанницу, хотя французский консул обеспечил беспрепятственный проезд до границы своим соотечественникам.

Мария Сергеевна отличалась твёрдым и уравновешенным характером. Она рано потеряла родителей и привыкла к испытаниям. Праправнучка великого Суворова, княгиня всегда была близка ко Двору, а замужество и вовсе ввело её в ближний круг Императорской Семьи. Правда, Барятинские оставались вдали от дворцовых интриг. Князь долгое время служил в Туркестане, и Мария Сергеевна была с ним, мирясь с весьма тяжёлыми условиями жизни, которые, тем не менее, привели к её тяжёлой болезни. С началом войны Анатолий Барятинский отправился на фронт, а княгиня окончила курсы сестёр милосердия и поступила в госпиталь Великой Княгини Ольги Александровны. Оба они исполняли свой долг, служили своей Родине и сохраняли преданность и любовь к Императорской Семье даже в ту пору, когда многие отвернулись от неё.

Со свойственным ей мужеством княгиня до последнего отстаивала свой госпиталь, защищала раненых, для которых предоставила даже собственную квартиру. Обездоленные офицеры и их семьи стекались под её крыло. Княгиню не раз предупреждали о том, что подобная благотворительность может довести до беды, но Мария Сергеевна не могла нарушить своего долга, отказать людям, пришедшим к ней за помощью. Она уповала лишь на Бога и на молитвенное

заступничество Святителя Николая, уже однажды спасшего её в железнодорожной катастрофе своими молитвами перед Божьим престолом.

И беда, в самом деле, обходила стороной дом Барятинских. Проходила по самому краю, холодя душу, но не трогала. А, между тем, на улицах города лежали сотни трупов. Войдя в город, большевики первым делом расстреляли митрополита Киевского Владимира. Этот достойнейший иерарх был переведён сюда из Петрограда по настоянию Императрицы, оскорблённой тем, что он резко протестовал против влияния Распутина и не признавал его святости. Семидесятилетнего старика, чьи покои находились в Киево-Печерской лавре, вытащили из постели и, отведя в лес рядом с монастырём, убили. Такая же участь постигла многих...

Мария Тимофеевна долго уговаривала княгиню пойти во дворец, куда свозили арестантов, и попросить, чтобы её сына освободили. Барятинская поначалу сомневалась — слишком очевидной была напрасность такого похода, слишком опасен он был. И тогда гордая Марлинская выронила свою трость, без которой не могла ходить из-за болезни ног, и встала на колени. Мария Сергеевна тотчас подняла её и, облачившись в платье сестры милосердия, вышла следом за ней на улицу.

Февральская вьюга бушевала на улицах, похожих на поле брани, выла отчаянно, словно оплакивала всех безвинно умученных и убиенных. До дворца добирались долго. Запыхавшаяся, едва живая Мария Тимофеевна осталась снаружи под присмотром Стеши, а Анна Кирилловна и Надя последовали за княгиней во дворец. Картина, представшая их взору, была чудовищна. Весь парк был обращён в братскую могилу. Тела лежали грудami, обезображенные, заоченевшие — их невозможно было счесть. В холодном воздухе носился

запах смерти, запах крови, запах, который, должно быть, стоит на бойнях. Здесь и была бойня. Бойня, на которой нелюди в человеческом обличье убивали людей. Среди убитых было много офицеров. Восьмидесятичетырехлетнего генерала протащили за ноги по улице и размозжили голову... От страха Надя стала твердить про себя «Богородицу», зубы её стучали, как от озноба. Княгиня же шла вперёд, твёрдо, сохраняя спокойное выражение лица.

Всем этим адом заправлял полковник Муравьёв, командующий красными войсками. Выходец из хорошей семьи, он дослужился в войну до звания командира дивизиона, а теперь беззастенчиво главенствовал над большевистскими бандами, проливавшими реки крови. Правой рукой его был матрос Ремнёв, которого боялись даже сами большевики. Он был первым, кого увидели женщины, войдя во дворец. Истинный бандит по виду, он восседал в роскошном кресле, крутя в униженной перстнями руке золотую табакерку.

— Мы бы хотели узнать о судьбе гражданина Марлинского, арестованного несколько часов назад, — сказала Мария Сергеевна.

Ремнев указал хлыстом на следующую дверь, бросил хрипло:

— Туда!

В следующем помещении за столом, заваленным грязными бумагами, сидела и писала что-то какая-то девица.

— Мы ищем гражданина Марлинского, — повторила княгиня.

Девица посмотрела на вошедших устало, затем перевела взгляд на список, махнула рукой:

— Ищите в парке...

Анна Кирилловна покачнулась. Надя поддержала её под локоть, чувствуя, что ещё немного, и сама она лишится чувств от царящего вокруг ужаса.

Выйдя из дворца, Мария Сергеевна сказала:

— Примите мои глубочайшие соболезнования. Я сожалею, что не сумела помочь. Я думаю, не стоит сразу говорить Марии Тимофеевне... Её реакция может быть непредсказуема.

— Вы правы, конечно... — еле слышно отозвалась Анна Кирилловна.

Марлинская ждала их в страшном волнении. Она пристально вгляделась в их лица, словно ища прочесть в них ответ, спросила отрывисто:

— Что? Говорите, что? Только не пытайтесь обмануть...

— Мария Тимофеевна, для вашего сына будет сделано всё, что можно.

— Вы его видели?

— Нет, но нам обещали...

— Аня, это правда?

— Да, матушка, нам обещали... — деревянным голосом отозвался Анна Кирилловна. — Нам нужно возвращаться. И княгиню ждут дома.

Мария Тимофеевна как будто поверила сказанному и не проронила ни слова. Но стоило лишь немного отойти от страшного места, она вдруг резко остановилась и воскликнула:

— Зачем вы обманываете меня? Зачем?! — глаза её наполнились слезами. — Я ведь чувствую, чувствую, что его нет больше! Скажите мне правду! Он убит?! Скажите, умоляю вас!

Княгиня Барятинская опустила голову:

— Да, это так... Его тело, как и тела других несчастных, находится где-то в парке. Но я прошу вас не ходить туда сейчас!

— Ах, княгиня! Ну, зачем же вы не сказали мне всего сразу?! — Марлинская всплеснула руками. — Я бы сказала этим убийцам, что думаю о них! Что ж... Пусть хотя бы вернут мне его тело! Я хочу, чтобы мой сын был

похоронен по-христиански! — с этими словами она почти бегом бросилась назад во дворец.

Стеша помчалась за ней. Анна Кирилловна пожала руку княгине:

— Простите, Мария Сергеевна, что побеспокоили вас. Спасибо вам за всё. Возвращайтесь в город, а мы уж тут теперь сами... — она всхлипнула и заспешила следом за свекровью. Надя последовала за ней.

И снова потянулся страшный парк, снег перемешенный с кровью, чёрные груды трупов, остеклевшие глаза и искажённые смертной мукой лица, скрюченные пальцы, оскаленные зубы, глумливые, нетрезвые солдаты... Только теперь четыре беззащитные женщины шли медленно, вглядываясь в лица покойников, ища среди них родное. Вьюга слепила глаза, а слёзы замерзли на ресницах, но никто не смел сказать убитой горем матери, что сейчас не время искать тело её сына, что лучше вернуться в город... Она шла вперёд, опираясь одной рукой о руку Стеши, другой — о свою трость. Прямая, бледная, страшная в своей безысходной скорби и решимости. Какой-то солдат крикнул с издёвкой Наде:

— Милая, вон твой жених! Он тебе улыбается, но тебя не видит!

Он отпустил ещё несколько похабных шуток и вразвалку направился ко дворцу. Надя бесчувственно шла следом за тёткой, удивляясь тому, что способна выдерживать весь этот кошмар. Она, тургеневская барышня, выросшая в холе и неге, не знавшая прежде ни горя, ни лишений, сторонившаяся всего печального и мрачного и заболевавшая даже от слишком трагических романов, она шла теперь среди подлинного крошечного ужаса, по крови, которой перепачкались уже её ботинки, и не теряла сознания. Да она ли была это? Нет, то была уже иная Надя, новая Надя, незнакомая, непонятная...

Они плутали среди мертвецов долго. На часы никто не смотрел, и Надя не могла сказать с уверенностью, сколько времени прошло, прежде чем раздался тихий вскрик Анны Кирилловны. Она узнала мужа. Узнала длинную фигуру, костюм (пальто, очевидно, украл кто-то из убийц), длинные седые волосы, смёрзшиеся теперь и перепачканные чёрной кровью... Мария Тимофеевна сделала несколько шагов в сторону тела, задрожала вся, схватилась за сердце. Трость её упала на снег, и сама Марлинская, тихо застонав, стала оседать на землю. Стеша попыталась удержать её, но сил не достало.

— Матушка! — Анна Кирилловна бросилась к свекрови, упала на колени, склонилась к ней и тотчас отшатнулась. Лицо Марии Тимофеевны было неподвижно, губы посинели, и взгляд остановился. Больное сердце старой женщины не выдержало. Анна Кирилловна закрыла лицо руками и заплакала, раскачиваясь из стороны в сторону. Стеша мелко закрестилась:

— Господи, что ж это деется... Барыня умерла... Барыня... Анна Кирилловна, голубушка, уйдёмте отсюда!

— Куда же я уйду от них, Стеша? Похоронить нужно... По-христиански, — хрипло отозвалась та.

Надя почувствовала сильное головокружение, но сумела не поддаться страху и ужасу, взяла себя в руки полным напряжением воли. Она не должна была, не имела права лишиться чувств теперь, стать ещё одной бедой для Анны Кирилловны и Стеши. Она должна выдержать всё, помочь им... Но откуда вдруг взялись силы в ней? Откуда воля такая?! Не ведает человек своих сил, своего предела, пока не пробьёт час испытаний, и тогда-то проявляется весь человек, и тот, что казался сильным и похвалялся отвагой, вдруг сникает и трусит, а тот, кого, как свечу, и ветерком

слабым задуть могло, выстаивает и выносит такие тяготы, что никогда бы не поверил сам, скажи ему кто прежде, что хватит сил ему вытерпеть их.

До сих пор не могла понять Надя, как пережила ту кошмарную ночь, как не сошла с ума, не слегла с нервным расстройством. Всё это время она жила, как будто в некоем замороженном состоянии, в полусне. И только это странное притупление всех чувств дало возможность жить, делать что-то, помогать слёгшей от горя тётушке. И, вот, слушая чеканный шаг тысяч вражеских ног, марширующих по Киеву, Надя заплакала, первый раз с той кошмарной ночи. Обняла верную Стешу, проронила:

— Слава Богу... Теперь хоть Фёдора Степановича и Марию Тимофеевну похоронить сможем...

Так, с похорон и панихид начиналось владычество немцев на Украине. Немного было в Киеве семей, где бы после большевистского террора не оплакивали своего покойника. В саду дворца чёрные, сложенные горем фигуры искали своих близких, на погостах множились могилы, в храмах шли заупокойные.

Сумрачным утром опустили в землю два простых, дощатых гроба, взвились к серым нависшим облакам с голых деревьев, клокоча, чёрные вороньи стаи, закурился кафельный дым... Родион, снова облачившийся в юнкерский мундир, бросил первую горсть земли. Никто из коллег и учеников не пришёл проститься с профессором Марлинским. Лишь доктор Матушенко провожал старого друга в последний путь и пытался утешать его вдову, едва державшуюся на ногах. Никифор Захарьевич предоставил в распоряжение Марлинских, не могших оставаться в полуразрушенной и разграбленной мародёрами квартире, своё скромное жилище, находившееся совсем рядом с лазаретом, и стал лично следить за пошатнувшимся здоровьем Анны Кирилловны. Тем не менее, после похорон Надя и Стеша

отправились на квартиру. Нужно было забрать кое-какие вещи и решить, как быть с нею дальше.

— Я так думаю, — рассуждала дорогой Стеша, к которой уже вернулась её обычная энергичность и беззаботность, — не будет же барыня и Родион Фёдорович теперь до конца дней пользоваться добротой доктора. Значит, надо квартиру в порядок приводить. У меня ухажёр есть, Гришака-маляр. Он для меня всё сделает. Я ему скажу, чтобы он пару толковых работников сыскал, и пушай потрудятся.

— Стеша, это было бы замечательно, но у нас нет денег, чтобы заплатить им, — ответила Надя. — Чтобы восстановить всё, нужно много денег.

— Правда ваша, барышня, — вздохнула Стеша. — Тогда поступим проще. Ту часть квартиры, которую снарядом разворотило, нужно пока забить, это Гришака сделает и даром для меня. А оставшуюся часть приводить в порядок. С этим мы с вами сами справимся. Али у нас рук нема? Главное, надо библиотеку Фёдора Степановича собрать. Ироды книг-то не читают, не взяли их, но разбросали все. А барин-покойник книги жалел...

С той роковой ночи Надя не бывала на квартире и о том, что в ней творится, знала лишь по рассказам Стеши, а потому робко переступила порог и нерешительно прошла в гостиную. Картина погрома производила гнетущее впечатление. Впрочем, Надя догадалась, что расторопная Стеша кое-что уже прибрала. Книги валялись в куче, некоторые были изорваны, на стенах заметны похабные надписи и рисунки, многие ценные вещи просто исчезли. Больше всего досталось портрету Императора, висевшему над каминной полкой. Какой-то меткий мерзавец упражнялся, стреляя ему в глаза... У Нади сжалось сердце и она без сил опустилась на стул, глядя на изуродованную картину.

— Знаешь, Стеша, если они так ненавидят портрет, что мстят ему, то не пожалеют и самого Императора, — тихо сказала она. — Его постигнет та же участь, — Наде вспомнились слова Фёдора Степановича, мрачные пророчества его, которые так ужасно сбывались, и она заплакала.

Стеша пожала плечами. Она всем сердцем жалела барина и барыню и других пострадавших знакомых, но убиваться по Царю, которого никогда в жизни не видела, ей казалось странным и даже глупым.

— Полно вам, барышня... Такое время сейчас. Обо всех разве наплачешься?

— Неужели тебе, Стеша, никогда не бывает страшно?

— Цыгане народ не пугливый, барышня.

— Да разве ты цыганка?

— А то как же! По матери, — Стеша лукаво улыбнулась. — Отец мой денщиком при Фёдоре Степановиче состоял, а на матери моей супротив отцовской воли женился. Да и она тоже с родными порвала ради него. Настоящая любовь, барышня. Не то, что у меня. Гришака мой хлопчик гарный, но тёмный. Скучаю я с ним.

— А гадать ты умеешь?

— А то как же! Я всё умею. Дайте-ка мне ручку вашу сахарную!

Надя протянула руку. Стеша провела пальцами по её ладони, сказала задумчиво:

— Тяжелёхонько придётся вам, барышня. Но уж надо потерпеть трошки. А суженый ваш уже рядышком совсем. И ждёт вас с ним дальняя дорога. Не грустите вы, барышня-боярышня! Суженого на кривом коне не объедешь, а от судьбы не уйдёшь. Лучше помогите-ка мне прибраться здесь.

Надя ничего не ответила. Она поискала глазами вокруг и, найдя среди валяющегосяхлама большой

кусок тёмной ткани, завесила им портрет.

— А вот это вы напрасно сделали, — неодобрительно покачала головой Стеша. — Словно заживо похоронили. Не к добру.

Глава 4. Первый бой Добровольцев

6 марта 1918 года. Селение Лежанка

Когда в станице Егорлыцкой было объявлено, что армия всё-таки держит курс на Кубань, Николай Вигель едва мог сдержать охватившее его волнение. Понятно, конечно, что такие судьбоносные решения принимаются исходя из объективных фактов, взвешивая все «за» и «против» и прислушиваясь к мнениям других начальников, а не из одного рождённого бессонницей разговора с каким-то офицером, но всё-таки Николай не мог не ощущать своей сопричастности к решению Верховного. Пусть на самую ничтожную каплю, но и его слово прибавило веса екатеринодарскому плану, и это ощущение своего участия в столь важном деле приятно щекотало нервы.

Объявление о выступлении внесло заметное оживление в ряды Добровольцев. Близость «настоящего дела» бодрила, и не терпелось многим поквитаться с «товарищами».

Из Егорлыцкой путь лежал в направлении зажиточного и густонаселённого селения Лежанка, расположенного в той части Ставропольской губернии, которая узким клинышком разделила Донскую и Кубанскую области. Известно было, что в Лежанке красные сосредоточили большие силы, состоявшие не из плохо организованных отрядов местных жителей, но из солдат 39-й пехотной дивизии, отодвинутой сюда с фронта ещё приказом Керенского, прославившейся своей лютостью и наводившей ужас на весь Северный Кавказ.

— Наконец-то, сегодня бой будет! — радовался кадет-чернецовец Адя Митрофанов. — Прихлопнем мы в

Лежанке «товарищей», а, господин поручик?

Николай дружески потрепал мальчугана за плечо:

— Не терпится вам, Митрофанов, добрый сабельный удар схлопотать? Не юрите в петлю.

— Так я им и дался! — гордо фыркнул Адя. — Я их сам рубить буду! У меня рука твёрдая, и глаз меткий!

Вигель с удивлением посмотрел на горящего жаждой подвигов кадета. Откуда такая недетская твёрдость, боевитость в нём? И даже — не жесткость ли? Вспоминал Николай свой первый бой, в котором привелось сойтись с насевшим противником в рукопашной. Первого своего убитого — немецкого солдата. Целую неделю преследовало Вигеля его лицо, и не мог он преодолеть подавленности от совершённого, пусть и в бою, но всё-таки убийства. Война есть война, и позже исчезло это чувство отвращения от пролития крови врага, и не вздрагивали более нервы, но память того первого раза, той тяжести от содеянного, лёгшей на душу, осталась. А ведь был в ту пору Николай не юнцом, а зрелым мужчиной, хоть и совсем штатским, ещё московским адвокатом, а не солдатом. А этот пятнадцатилетний мальчишка с загорелым, весёлым лицом — кажется, вовсе не ведал таких терзаний. Для него война уже была ремеслом. Родился ли таким этот казачок, или в Чернецовском отряде возмужал так скоро?

— Запомнят они меня! — весело посулил Митрофанов большевикам и побежал по ухабистой дороге в расположение своего полка.

— Герой... — слышался рядом сумрачный голос полковника Северьянова. — Всё же паскудство, дорогой Николай Петрович, что эта проклятая смута калечит души этих чистых детей.

— Эти дети полны любовью к Отечеству...

— И ненавистью, поручик. Ненавистью, желанием мщения. Когда эти чувства переполняют души детей,

мне, признаться, становится не по себе. А вам? Признайтесь, ничего не дрогнуло в вас, когда сей отрок хвастался своим навыком к убийству?

Внутренне Вигель разделял опасения Северьянова, но всё же возразил, более стараясь успокоить себя, нежели полковника:

— Я думаю, Юрий Константинович, вы слишком большое значение придаёте его словам. Обычная мальчишеская бравада и только. Митрофанов — славный юноша, и будет в своё время, как я думаю, прекрасным офицером. Вы и сами говорили так.

— Возможно, возможно... — неопределённо откликнулся полковник, заложив за спину руки.

С кадетом Митрофановым и полковником Северьяновым судьба свела Николая по дороге на Дон. Как и Вигель, Юрий Константинович пробирался в Добровольческую армию с Украины. Свой чин он в отличие от поручика скрывал под штатским пальто, явно с чужого плеча, но прямизна атлетической фигуры и походка выдавала в нём офицера. Северьянов подошёл к Николаю на одной из залузганных железнодорожных станций, где Вигель ждал прибытия поезда, прикидывая, удастся ли втиснуться в него. Осведомился негромким приятным баритоном, пристально глядя из-под надвинутого до самых бровей котелка:

— Не боитесь так откровенно щеголять погонами, поручик? Здешний контингент питает к ним большую неприязнь, — кивнул в сторону большой группы солдат, теснившихся на перроне.

— Разве только здешний? — горько усмехнулся Николай.

— Вы правы. Такое впечатление, что нынче вся Россия рехнулась... Позвольте осведомиться, куда держите путь?

— Предполагаю, что в Ростов... к родне. А вы?

— Предполагаю, что в Новочеркасск... к жене. Так что будем с вами попутчиками. Признаться, я рад этому обстоятельству, поскольку хорошая компания всегда украшает дорогу.

— Не боитесь ехать в компании опасного попутчика? Я имею в виду вашу конспирацию.

Северьянов сдвинул котелок на затылок, и Николай смог, наконец, разглядеть его открытое лицо с карими мягкими, под стать такому же тембру голоса, глазами и щёткой тёмных усов с проседью. Вигель подумал, что полковник, судя по физиономическому анализу, вероятно, очень симпатичный человек, с которым можно иметь дело. Юрий Константинович снял шляпу, обнажая коротко стриженую голову, и заметил, чуть улыбнувшись:

— Удивительно неудобный головной убор. Никогда прежде не приходилось носить и, надеюсь, не придётся. То ли дело фуражка... Ах да, вы что-то спросили? Про опасного попутчика? Не беспокойтесь, поручик, для меня вы опасности не составите, а, вот, я, пожалуй, смогу быть вам полезен.

Вигель вопросительно приподнял брови.

— Точнее, не я, а мой Ангел-Хранитель, — пояснил полковник и сделал кому-то знак.

От группы солдат отделился долговязый молодец в распахнутой шинели. Лицо его было небрито, а тёмные глаза смотрели лукаво и весело.

— Что угодно господину полковнику? — негромко спросил он, приблизившись и с любопытством разглядывая Николая.

— Вот, Николай Петрович, познакомьтесь с моим, а теперь и вашим Ангелом-Хранителем, — сказал Северьянов. — Денщик мой, Филька. С Четырнадцатого с ним неразлучны. В Прусских болотах вместе погибали да не погибли, а теперь, вот, он меня от смерти выручает.

— Долг платежом красен, — осклабился денщик. — Что ж я, ваше благородие, свинья какая, чтобы позабыть, как вы меня ранетого до лазарета сами тащили, не бросили? Вы нашего брата, солдата, всегда берегли... Не то, что другие. Вы уж на товарищей-то моих люто зуб не точите, — кивнул он на стоявших поодаль солдат. — Их тоже понять можно. Устали, дюже устали от этой войны. У всех-ить хозяйство, бабы, ребятишки... А тут мости да мости кой год костями чужую землю. Озлились, знамо дело.

— Что ж, думаешь, не придётся больше мостить? — спросил Вигель.

— Нет, ваше благородие, увольте. Я Юрия Константиновича по гроб жизни добром вспоминать буду, и жаль мне будет проститься с ним, но к Каледину служить с ним не пойду.

— Почему?

— Филимон в мире пожить хочет, — ответил Северьянов за своего денщика. — Сам он крестьянин области Всевеликого Войска Донского, у его отца там хозяйство, брат старший сложил голову при последнем наступлении, и, кроме Фильки, у старика помощников больше нет. Поэтому Филимон проводит нас до родных краёв, а там мы с ним простимся, хотя и мне с ним расстаться горько будет.

— Мир — дело хорошее, — пожал плечами Николай. — Но неужели ты думаешь, что вам дадут жить в мире? Придут большевики, и что тогда?

— Так и пускай их приходят... — отозвался Филимон. — По мне так всё одно, большевики, альбо иной кто, лишь бы жить да работать не мешали.

— А если станут мешать?

Филимон прищурился:

— И-и-и, ваше благородие, пускай их попробуют. Нынче мужик не тот, что до войны. Мы нынче пороху понюхали, и у каждого с войны оружие какое ни на есть

припасено — так ломанём, что дюже огорчатся пробовальщики. Уж мы нынче своего не отдадим. Ни большевикам, ни кадетам, ни лысому чёрту! С нами теперь ухо остро держи. Нас не тронь, так уж и мы не обидим, а уж коли тронут...

Совсем рядом раздался гудок приближающегося поезда, и вся толпа, затопившая перрон, ринулась к нему, ревя, бранясь и распахиваясь. Поезд был уже полон, но этот факт никого не останавливал. Озверевшие люди, разом возненавидевшие друг друга в этот миг, рвались в двери, лезли в окна, забирались на крыши.

— Куда лезешь, сволочь!

— Какая гнида здесь сапогом в морду тычет?! Зашибу!

— Ай-ай-ай, задавили!

Всеобщий гвалт, густо приправленный сквернословьем, поднялся на перроне, и, казалось, что посадка эта неминуемо закончится смертоубийством. Филька выждал немного и сказал:

— Теперь айда!

— Да куда ж?..

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие, устрою в лучшем виде!

Позже Николай никак не мог внятно объяснить, каким чудом они трое умудрились втиснуться в один из вагонов и вместе с ещё двумя солдатами занять уборную и запереть её дверь прямо перед носом у наседавшей массы. Ощувив себя в относительной безопасности, Вигель почувствовал, что одежда его насквозь пропиталась потом. Полковник Северьянов утирал кровь, струящуюся из ссадины на лбу.

— Ну-с, Николай Петрович, каковы впечатления? — улыбнулся он, садясь на пол и переводя дух.

— Я был уверен, что нас раздавят.

Филька хмыкнул:

— Обижать изволите, ваше благородие! Сказал же, в лучшем виде устрою. Битер зие, как герман поганый говорит. Тут, конечно, дух скверный, но зато никто не наседает.

— И тут охвицерьё! — буркнул хмурый молодой солдат с белёсыми волосами, зло поглядывая на Вигеля. — Никуда от вас, чертей, не денешься. Моя бы воля...

— Потише, браток, — миролюбиво обратился к нему Филька. — Мы нынче в одной лодке, а, вернее, в одном нужнике, и у нас общая цель — отстоять его от чужих посягательств, чтобы проделать наш путь в сносных условиях. Предлагаю в связи с энтаким делом установить временное перемирие!

— Ваш денщик прирождённый дипломат, Юрий Константинович, — заметил Вигель.

Белёсый солдат скорчил презрительную мину и хотел что-то сказать, но его товарищ, сбитый мужик с обожжённым лицом, дёрнул буяна за рукав:

— Помалкывай, оголец! Товарищ верно рассуждает. С офицерьём мы ещё посчитаться успеем, как до места доберёмся, а туточки учинять разборов не будем, тем более, что их трое, и господин, вон, руку из кармана своего пальто не вынимает — того гляди палить начнёт.

— Я ему пальну! Там за дверью наших вона сколько! Да мы...

— Охолони, тебе говорю, — снова одёрнул старший. — Хочешь, как в бочке с селёдкой ехать? Застолбили место, сиди и не рыпайся.

Белёсый обиженно хлюпнул носом и, забившись в углу, стал полным ненависти взглядом следить за своими попутчиками.

— Такой, вот, прирежет ночью и не задумается, — шепнул Николай Северьянову.

Полковник провёл пальцами по усам:

— Вполне возможно. Что ж, будем спать по очереди. В конце концов, могло быть хуже.

Филька достал из кармана кисет и обратился к мрачным солдатам:

— Что, братцы, махорки не хотите ли?

— Вот, это дело, — кивнул старший, захватывая пригоршню ладонью-лопатой и засыпая в скрученный из обрывка газеты кулёк. — Вижу, ты малый неплохой.

— Да и ты, дядя, тоже! — обнажил зубы Филька. — Может, познакомимся? Путь, чай, неблизкий!

— Егором меня звать. Член РКП(б), — последнее было присовокуплено со значением и явным вызовом. — А оголец этот, жены моей племяш Ермоха...

— Тоже член?

— Не дорос ещё, — фыркнул Егор. — Так, сочувствующий...

— Да я поболе твоего... — загудел из угла Ермоха.

— Не вякай, — цыкнул Егор.

Поезд тронулся. Северьянов расстегнул пальто, под которым неожиданно оказался форменный китель, усмехнулся:

— А котелок я, кажись, обронил...

— Неудивительно, — откликнулся Вигель, прикидывая, как бы прилатать наполовину оторванный рукав.

— А что, поручик, правда, у вас в Ростове родственники?

— Знаем мы этих родственников! — пробурчал Ермоха. — Атаман Каледин да енерал Алексеев — вот, ваши родственники! К ним под крылышко норовите!

— Правда, — ответил Николай, не обращая внимания на комментарии белёсого солдата. — Неблизкие. Родня мачехи. Вот, рассчитываю узнать от них что-нибудь об отце. Он в Москве, и я очень давно не имею от него вестей. А у вас, в самом деле, жена в Новочеркасске?

Лицо полковника просветлело:

— В самом деле. Полгода не виделись... Вот, как приедем, милости прошу ко мне. Я вас представлю ей. Вы увидите, как она будет рада вам. Наташа всегда рада гостям, у неё такой характер... — Юрий Константинович осёкся, по-видимому, сочтя невозможным обсуждать любимую жену в присутствии случайных попутчиков. Помолчав, он извлёк из внутреннего кармана кителя фотокарточку и протянул её Вигелю. — Удивительная женщина, не правда ли?

Не согласиться с этим утверждением, должно быть, сумели бы немногие, потому как женщина, взглянувшая на Николая со снимка, отличалась редкой, благородной красотой: безукоризненно правильные, мягкие черты немного печального лица, тёмные волосы и тёмные же глаза, бархатные и спокойные. За свою жизнь Вигель видел многих привлекательных женщин, но должен был признать, что ни одна из них не могла сравниться с супругой полковника Северьянова.

— Прекрасное лицо, — искренне восхитился Николай, возвращая Юрию Константиновичу портрет.

— Когда-нибудь позже я вам расскажу о ней, — тихо пообещал полковник. — Верите ли, мы вместе уже восемь лет, а я всё ещё не могу поверить в то, что она моя жена, в то, что именно мне выпало счастье быть с нею...

Подошедший Филимон шёпотом доложил:

— Потолковал я с нашим попутчиком. Думаю, с его стороны опасности для нас нет, хоть он и большевик. Родом они со ставропольщины, крестьяне, но хозяйство у них худое. По всему видать, работники из них ледащие, а то бы на такой-то земле жили как у Христа за пазухой. Офицеров и дворян ненавидят люто. Эксплуататоры, говорят, кровь трудящихся пьют, говорят. А сами, по всему видать, не из тех, кто с сошкой, а кому — лишь бы с ложкой!

— Какой же я эксплуататор, — усмехнулся Северьянов, — если у меня все предки, включая отца, землю в поте лица пахали... Чёрт возьми, ведь осатанеть же можно от этой глупости!

— Да не принимайте к сердцу, ваше благородие. Дурни они, замороченные. Ничего, глядишь, образумятся... Энто, ваше благородие, от войны всё. Когда б не энта война, так разве ж очумел бы наш брат так? Всё окопы доняли... А в окопах их вроде как енералы и офицеры держали, вот, они и злобствуют, не разбирая правых и виноватых. Время нужно, чтобы эти раны теперь зализать, мир нужён. А вы, вот, ваше благородие, на Дон спешите, а ведь там енералы за войну ратуют. До победного конца! За верность союзникам, в рот им дышло! А народ от войны устал и потому за большевиками идёт, что они ему мир сулят. Вот, сказали бы ваши енералы, что, мол, замиряемся...

— Всё, Филька, — Северьянов болезненно поморщился. — Не хватало только ещё мне от тебя политическую лекцию выслушивать! Все-то политиками стали, все знают, что делать, а Россия разваливается, а Россию враг топчет.

— Я вам, ваше благородие, не про политику, — покачал головой Филька. — Я вам про то, о чём наш брат страждет, стало быть, народ. Нешто вам это знать не надобно? Ведь вы же с народом воевать хотите, а с ним не воевать надобно, а общий язык искать!

— С кем искать общий язык?! — лицо полковника побагровело. — С Ермохами?

— Ваше благородие, при чем здесь Ермохи? Вы подумайте, мы с вами всю войну прошли и с полуслова друг друга понимали, а теперь что коса на камень находит! А я ли вам враг? Я большевиков не люблю. Повидал их и добра от них не жду. Но а вы-то что хотите? Свергнуть большевиков? А дальше? Продолжать войну? Данке шот, так герман поганый

говорит! Ведь энто она, проклятушая, нас доняла! Из-за неё раздор! Мир надобен, Юрий Константинович! Когда бы ваши енералы на мир пошли да землю нам дали, так и я б ваш был! И все, все!

— Землю только власть дать может, а власти у нас нет!

— Есть, большевистская.

— Самозваная!

— Но — власть!

— И ты, Филька, веришь их посулам?

— Не дюже верю, да ведь вы-то и того не сулите. И как же мне за вами идтить? Вы не серчайте, Юрий Константинович. Вы для меня навеки, что отец родной. Потому и болит у меня за вас душа.

— Я не сержусь, Филька, — отозвался Северьянов, но Вигель краем глаза заметил, что от волнения у полковника задрожали руки, и он поспешно спрятал их в карманы. — Но прошу тебя впредь этой темы больше не касаться. Вы ещё знать не знаете, что такое большевики. Думаете, это так! Игрушки! Такая власть, сякая — моя хата с краю! Ан нет-с! Не так всё! И очень скоро и ты, и все вы это поймёте. Да поздно будет... Вот, тогда поговорим, коли живы будем. А теперь довольно!

— Как прикажете, ваше благородие... Только вот, энтакая незадача выходит у нас: вроде как и твоя правда, и моя правда, и везде правда — а нигде её нет.

— Ты скажи лучше, как бы нам кипятком разжиться? И как, вообще, мы отсюда выберемся?

Филька пожал плечами и кивнул на небольшое оконце:

— Делов-то, ваше благородие. Если уж забраться сумели, нешто обратно тяжеле окажется? — отодвинувшись, он свернулся клубком, демонстрируя гуттаперчивость своего длинного тела, поднял ворот шинели и вскоре задремал.

Его примеру последовали и попутчики-большевики.

— Счастливые люди... — с лёгкой завистью заметил Вигель, сцепив пальцы под затылком. — Деревенские умудряются покойно спать в любых условиях. Мне бы это спасительное умение!

— Спасительное? Ну-ну... Некогда в Гефсиманском саду в свою последнюю ночь молился Тот, кто сам был Спасением. А ученики, которым Он заповедал ждать его и бодрствовать, тоже покойно спали... Завтра всю Россию распнут на кресте, а все будут спать, — полковник обхватил руками колени, глядя перед собой, и кажется, ни к кому не обращаясь. — Он думает, что я не понимаю, не желаю понять, что мир нужен, как воздух. Что войну продолжать просто невозможно в сложившихся условиях. И она не продолжится, потому что некому будет продолжать... Сбылась мечта этих сукиных сынов, и война внешняя породила усобицу. Но, чёрт возьми, лучше бы продолжилась война! Даже в ней не прольётся столько крови, крови лучших сынов России, как если сойдутся в битве Россия красная с Россией белой... О, как они давно об этом мечтали! Знаете ли вы, Николай Петрович, что за прокламации распространяли ещё при убиенном царе Александре? Чёрным по белому там было написано, что для успеха революции необходимо втравить Россию в масштабную внешнюю войну!

— В написании этих прокламаций, кажется, подозревали Чернышевского...

— Кто их составлял не суть важно. Важно, что они уже тогда поняли! Понимаете? Уже тогда — знали! И нет бы нам — уразуметь, а мы... — Северьянов потёр пылающие щёки. — Глупец Плеве настаивал на маленькой победоносной войне, и мы получили Пятый год... Что ж, не самая большая беда, быть может, раз эта война привела к власти такого человека, как Столыпин. Но неужели мало было самого урока! Он

думает, я не понимаю... Не понимаю, как разорительна война для хозяйства, для мужика. Я сам — мужик! Мой отец пахал землю, я вырос в деревне, я всё это знаю не хуже этих демагогов от сохи...

— Так вы, что же, полковник, выступаете за сепаратный мир? — осторожно осведомился Николай. — Но ведь это значит отдать исконно русские территории немцам! Закабалить себя на десятилетия!

— Закабалить? Нас уже закабалили, поручик. Враги, худшие немцев, страшнее которых нет никого и ничего! И для того, чтобы биться с ними, можно и с немцами замириться. Пусть берут, что им нужно, а нам теперь для другого нужны силы. Заодно и выбить этот «мирный» козырь у господ большевиков.

— Юрий Константинович, но ведь большевики действуют в интересах германского генштаба! Так неужели мы...

— Да плевали они на германский генштаб! В своих интересах они действуют! Понимаете? В своих! Не гнушаясь ничем! А немцы ещё пожалеют, что разбудили это лихо, когда оно перекинется к ним во всём своём безобразии.

— Нет, всё же заключение мира, это... Ведь это же измена союзникам, это позор для России!

— Это всё звонкие фразы, дорогой Николай Петрович, — сурово ответил Северьянов. — Позор можно пережить, а, вот, гибель лучшей части народа, духа его — очень сомнительно! России, прежней России уже нет. Нужно строить её заново. По крупицам! А вы — война... Вы думаете, мне легко далась эта мысль о необходимости мира? Я всю жизнь отдал военному делу. И, поверьте, не с целью протирать штаны в штабе! Я боевой офицер, и война моё ремесло, но не могу я зажмуриться и не видеть очевидного. Это, если угодно, моя личная трагедия, поручик. Я разорван надвое... Как офицер, я не могу поддерживать мир, и

всё моё нутро восстаёт при мысли о нём, сгорает от стыда, но, как человек, привыкший смотреть на вещи трезво, я понимаю, что мир необходим. Я еду на Дон, чтобы вступить в Добровольческую армию, считая это святым своим долгом, а при этом понимаю, что там вынужден буду скрывать собственные взгляды, потому что за них меня, пожалуй, немедленно окрестят большевиком! Дом, разделившийся в себе, не устоит... Вот и я чувствую, как под ногами моими колеблется земля. Вы, кажется, не понимаете меня, но это и лучше для вас.

— Мне кажется, что в нашем положении просто нужно отложить вопросы о мире и многом другом. Решение о мире может принимать только верховная власть, а не мы и не наши вожди. Так какой смысл травить душу? Вы, как я понимаю, не согласны с провоенной позицией генерала Корнилова и других, но, посудите сами, даже если бы они думали иначе, то разве могли бы откровенно говорить об этом? Тогда многие офицеры и общественные деятели отвернутся от нас, и союзники уж точно не окажут никакой помощи. И разве можем мы согласиться с большевиками? Наше положение безвыходно. Но вы сами сказали, что война, в любом случае, уже не может продолжаться, так к чему думать о ней? А к тому моменту, как нам удастся создать новую армию, если удастся, конечно, кто знает, как изменится мир. Может быть, и война закончится...

— В умении логично рассуждать вам, поручик, не откажешь. Всё-то у вас по полочкам...

— Просто я привык решать задачи по мере их поступления, не забегая вперёд. На данный момент у нас задача добраться живыми до Новочеркасска. В более дальней перспективе — вступить в ряды Добровольцев и бороться с большевиками там, где укажет командование. А в более далёкое будущее я

предпочитаю не заглядывать. До него легко можно попросту не дожить и совершенно невозможно вообразить, что в нём нас ожидает.

— Скажите, поручик, кем вы были до войны? Вы же не кадровый офицер, я не ошибаюсь?

— Я закончил юридический факультет.

— Юрист? Никогда бы не подумал! Нынче все юристы, как бешеные собаки. Хлебом не корми — дай побрехать, блеснуть речистостью! А вы как будто нарочно политики избегаете.

— Я её, в самом деле, избегаю. Политикой пусть занимаются политики. А я пока не в том чине, чтобы рассуждать.

— Скажите, поручик, а если бы настала мирная жизнь, вы бы вернулись к своей практике?

— Может быть... Но мне отчего-то кажется, что эта жизнь не настанет ещё очень долго...

Ночью Вигелю всё же удалось забыться коротким сном, но и сквозь него он продолжал слышать монотонный стук колёс, какие-то движения и голоса, доносившиеся с крыши вагона и из-за двери уборной, зычный храп Егора...

Первая часть пути прошла на удивление гладко. При остановках на различных станциях проворный Филька легко выбирался в окно, покупал нехитрую снедь, разживался кипятком, после чего Егор и Ермоха втаскивали его обратно. Провизия закупалась на средства офицеров, а разделялась поровну между всеми пятью спутниками. В обмен на это большевистствующие солдаты соблюдали нейтралитет и честно обороняли дверь в уборную от попыток своих давящихся в коридоре товарищей занять её. На подъезде к области Всевеликого Войска Донского они, по ставшему модным в те дни выражению, испарились, дружески простившись с Филькой.

— Вот, подумайте, ваше благородие, ведь они, в общем-то, обыкновенные русские люди, — говорил последний, качая головой. — Может быть, даже и неплохие. Только одурманенные, озлётые. Жаль их...

Северьянов промолчал. Он очень хорошо запомнил планы Егора «посчитаться с офицерём» и ни малейшей жалости к питавшим подобные намерения товарищам не испытывал.

— Эх, Юрий Константинович, — вздыхал между тем Филька, почёсывая покрытый длинной щетиной подбородок, — скоро и мы с вами расстанемся. Вот пересечём границу, так и «фидерзейн», как герман поганый говорит... Дюже я скучать по вам буду, ваше благородие, дюже...

— Так поезжай с нами, — чуть улыбнулся Северьянов.

— Нет, Юрий Константинович, — Филька понуро опустил голову. — Навоевался я, не взыщите. Да и отцу пособить надо. Чего он там с маткой да Нюркой наработает? А мне уж год дом родной всякую ночь снится, амбар наш, сенцо душистое... Мечем мы его, мечем, а снопы — как холмы высоченные! И скотинка наша тоже снится. Корова наша, кормилица. Она телушкой за мной, как привязанная, ходила. Что дитё за таткой! Мордой влажной тыкалась... Я ж ить дольше года дома не был, стосковался, ваше благородие... Эх! А братушки уж не увижу, даже могилки нет... Всех-то нас перепыхала энта война.

На очередной станции выбрались на перрон. Здесь нужно было пересест на другой поезд. Филька неотступно суеился вокруг своего полковника.

— Что ж ты, Филимон, не идёшь в свою деревню? — спросил Северьянов. — Отсюда несколько вёрст до неё, если я не путаю?

— Так точно... Да Бог с ней... Не убежит теперь уж! — махнул рукой денщик. — Я прежде вас провожу,

а уж потом домой... Бог знает, может, в последний раз видимся с вами! — он шмыгнул носом, утёрся рукавом.

— Полно, Филимон, — полковник хлопнул его по плечу. — Что уж мокредь разводить? Даст Бог, свидимся ещё и в лучшее время.

— Так точно, ваше благородие... Юрий Константинович, вы ж мою деревеньку знаете, так, если что, мало ли... так вы всегда самым дорогим гостем будете! — цыганские глаза Фильки влажно заблестели.

— Спасибо, братец, — ответил тронутый полковник, а затем крепко обнял и расцеловал своего Ангела-Хранителя. — Прощай, Филька! Будь счастлив!

— И вы тоже, Юрий Константинович...

Офицеры втиснулись в поезд и, пробравшись в купе, притулились у окна. Здесь давка была несколько меньшей, чем прежде, но всё же яблоку было негде упасть, и большинство пассажиров вновь составляли солдаты, дезертиры и отпускники, которые, впрочем, всё же остерегались открыто нападать на офицеров на территории Всевеликого Войска Донского. Поезд тронулся, Северьянов помахал рукой Фильке, а тот всё шёл рядом с вагоном, провожая своего полковника, пока, наконец, перрон не окончился. Поезд уже растаял вдали, а долговязая фигура солдата всё возвышалась на краю полустанка...

Казалось, что нелёгкий путь подходит к концу, но опасность поджидала путников на вольном Дону. Состав был внезапно остановлен прямо посреди степи и атакован красными, чей бронепоезд шёл навстречу. Раздались пулемётные очереди и одиночные выстрелы.

— Кажется, приехали... — проронил Северьянов, привычно нащупывая в кармане револьвер.

В купе вошли четверо: двое казаков, матрос, обвешанный пулемётными лентами и ещё один молодой человек в офицерской форме, но без погон.

— Ваши документы! — потребовал он очень высоким неприятным голосом.

Полковник протянул ему бумаги своего спутника и свои.

Толпа, сгрудившаяся позади четвёрки, довольно шипела, отпуская по адресу офицеров всевозможные ругательства и угрозы.

— Что с ними валандаться? Отправить к Духонину в штаб и шабаш!

— Могу я узнать, с кем имею дело? — спросил полковник проверяющего.

— Комиссар отряда красных партизан Стружков, — отозвался тот. — С какой целью вы прибыли на Дон?

— Чего их спрашивать! Знамо, с какой целью! — загалдела толпа.

— Мы возвращаемся с фронта к родным. Это противоречит закону?

— Знаем мы ваших родных, — ухмыльнулся матрос, в точности как совсем недавно Ермоха. — Каледин ваша родня!

— Вы оба арестованы, — заявил комиссар. — Препроводить их в тюрьму!

— Только зря время переводить и место занимать, — проворчал матрос, и толпа недовольно загудела согласно с ним. — Расстрелять и дело с концом! А лучше на штыки, чтоб патроны не тратить!

— Не рассуждать! — вскипел Стружков. — Здесь я отдаю команды!

— Да у нас уже полна тюрьма этих «родственников»!

— Вот и хорошо! Заложники нам пригодятся! А расстрелять завсегда можно. Хоть всех зараз!

— Неплохо бы!

— Выполнять!

Вигелю и Северьянову проворно скрутили за спиной руки и тычками в спину погнали сквозь глумящуюся

толпу солдат, из которой летели плевки, камни и сыпались удары.

Тюрьма, расположенная в ближайшей станице, ещё совсем недавно была постоянным двором и представляла собой двухэтажное здание, обнесённое высоким забором. Пленников, оборванных, перепачканных грязью и окровавленных, втолкнули в комнату на втором этаже, где уже находилось несколько человек: три офицера, двое штатских и юноша-кадет.

— Вот так-так! — воскликнул плотный, приземистый прапорщик с пунцовым лицом. — Нашего полку прибыло! Где это вас так угораздило, господа? Доктор, что вы стоите? Успеете ещё постоять в скорбной позе, когда нас будут расстреливать. А пока окажите помощь господам!

Стоявший со скрещёнными на груди руками врач поднял голову, словно очнувшись, подошёл к новоприбывшим, покачал головой:

— Эк они вас!

— Ерунда, — мотнул головой Вигель, доставая платок и утирая кровь с лица. — Всего лишь ссадины... А, вот, господину полковнику, кажется, перебило руку.

— Камнями швыряли? — осведомился кто-то.

Северьянов кивнул, придерживая больную руку.

— Пойдёмте, я осмотрю, — сказал доктор и, усадив полковника на единственную в комнате кровать, принялся за осмотр.

Вигель отошёл к окну, мгновенно отметив на нём решётки, и, вглядевшись в мутное стекло, поморщился от собственного вида: рукав кителя был оторван окончательно, один глаз заплыл чернотой, из рассечённой губы текла кровь.

— Вот, возьмите, господин поручик, — подошедший кадет, ещё совсем мальчик, протянул ему свой платок.

— Благодарю.

— Вас комиссар Стружков захватил?

— Он.

— Редкая сволочь! — подал голос прапорщик. — Бывший хорунжий! С фронта лататы задал, а теперь своих к стенке ставит! Ух, попал бы он в мои руки, изрубил бы в куски...

— Ну, а вы как здесь очутились? — спросил Вигель кадета. — И как ваше имя?

— Кадет Донского Императора Александра Третьего кадетского корпуса Митрофанов Аркадий, — по-военному чётко представился юноша. — Я хотел попасть в отряд есаула Чернецова и сбежал из дома.

— Зачем сбежали? — не понял Николай.

— В Добровольческую армию принимают лишь с семнадцати лет. А мне... Мне почти уже шестнадцать! Я хочу защищать Россию! Вот, и сбежал. Так многие делают... Но прежде чем добрался до отряда, оказался здесь.

Вигель отнял от лица платок и внимательно посмотрел на кадета. Совсем мальчик. Всего пятнадцать лет. Чистая, высокая душа. Лицо, ещё не тронутое бритвой, румяное, пышущее здоровьем. Звонкий, ещё только ломающийся голос. И вот, пойдёт этот прекрасный отрок, у которого впереди целая жизнь, в бой, будет убивать, терять товарищей, а, может быть, сам падёт сражённый штыком или пулей, или же зарубленной чьей-то остро наточенной шашкой. Во имя России... Страшно!

— Рад познакомиться с вами, Аркадий, — сказал Николай. — Николай Петрович Вигель, поручик Корниловского полка.

— Вигель? — переспросил Митрофанов. — Постойте, постойте... А не родственник ли вы Ольги Романовны Вигель, сестры Надежды Романовны Рассольниковой?

— Точно так, — кивнул Николай. — А вы знаете семейство Рассольниковых?

— Конечно! — радостно подтвердил кадет. — Мы с Сашей однокашники, и я часто бывал у него в доме. Какое удивительное совпадение! Саша рассказывал мне о вас. Что вы были тяжело ранены... и про Ударный полк... Мы так хотели быть, как вы!

— Действительно, тесен мир... — Вигель опёрся ладонями о подоконник. — А что, Саша тоже партизанит? Ему ведь, кажется, нет и пятнадцати...

— Скоро будет! Он тоже хотел бежать, но Надежда Романовна прознала, поэтому я сбежал один. Но, я уверен, он тоже вырвется, тем более, что Митя уже месяц обороняет подступы к Новочеркаску.

— Митя? Да ведь он же учился в гимназии накануне войны...

— Он окончил её и поступил в Павловское училище два года назад. Хоть и «с вокзала», а в учёбе преуспел. А теперь вернулся и вступил в Добровольческую армию.

— Вот оно что! Митрофанов, да вы просто кладёшь новостей! Ради Бога, рассказывайте обо всём, что здесь происходит! Мы же столько времени провели в пути, питаюсь скудными слухами! Что Корнилов? Алексеев? Добровольческая армия? Что наши, Корниловцы? Каково положение на Дону? Какие настроения? Все ли здоровы у Рассольниковых, и нет ли у них сведений из Москвы? — разом завалил Николай вопросами нежданного собеседника, а тот, счастливый встречей и возможностью рассказывать, отвечал обстоятельно:

— Корнилов недавно прибыл на Дон!

— Слава Богу! — выдохнул Николай, чувствуя, как с души свалился камень.

— Корниловцы постепенно стягиваются в Новочеркасск.

— Полковник Неженцев?

— Здесь!

— Митрофанов, за такие известия вас бы расцеловать!

— В остальном обстановка трудная. Наши силы невелики, офицеры и казаки не спешат вступать в ряды Добровольцев. Чернецов... Знаете ли вы Чернецова? Нет? Выдающийся человек! У нас его называют донским Иваном Царевичем. О, я вам ещё расскажу о нём! Он такие славные дела свершает, что дух захватывает! Чудо и только! Большевики его как огня боятся! Он перед офицерами речь держал, и что вы думаете? Из нескольких сотен три десятка только откликнулись на его призыв!

— Позор! — гневно выдохнул Вигель.

— Так точно, господин поручик! Красные со всех сторон подбираются к Новочеркасску, но наши пока их держат. Митя рассказывал, какие жестокости творят эти изверги-большевики. Нам с Сашей рассказывал, остерегал... Матери не говорил, чтобы не пугать лишний раз. Только мы с Сашей всё равно решили за Россию воевать, и ничто нас не остановит! — в глазах кадета блеснула решимость. — Мы даже клятву дали друг другу! И, если надо, так и погибнем за Родину.

Господи, в их ли лета готовить себя к смерти?.. Русские мальчики с горячими сердцами, неужели суждено вам сложить головы в этой окаянной бойне? И кто воспоёт ваш святой подвиг? Они ещё и не понимают даже, что такое смерть. Мечтательные, чистые мальчики...

— А что Каледин?

— Туго атаману приходится, — серьёзно ответил Митрофанов. — Так и напирают красные, а казаки отмалчиваются. Осуждают его, что «кадетов» привечает. И оружия... Очень мало оружия! А Чернецова он благословил. Чернецов — первый из казачьих командиров!

— Из Москвы какие вести?

— В Москве большевики, и связи почти нет. Тут я вас порадовать не могу. Я не слышал, чтобы Надежда

Романовна от сестры вести получала в последнее время. Хотя я точно знать не могу. Сами же Рассольниковы все здоровы.

— Спасибо вам, Митрофанов, за ваш рассказ. Теперь хоть буду знать, что здесь творится.

— Если это знание нам пригодится, — сказал, подходя, Северьянов. Рука его была перевязана какой-то тряпкой.

— Каков вердикт почтенного доктора? — осведомился Вигель.

— Он фельдшер, а не врач... Схватили его до кучи. А рука... Ушиб, и только. Поручик, я так понимаю, что вы уже успели войти в курс дел?

— О да! Кадет Митрофанов представил мне полный отчёт, господин полковник!

— Если я успел понять вашу логику, дорогой мой правовед, то вы теперь должны полагать, что сведения о положении на Дону на данный момент вторичны, а первично наше собственное малоприятное положение заложников?

— Именно так я и полагаю, Юрий Константинович, — согласился Николай.

— И что же вы думаете о нашем положении, Николай Петрович?

— Думаю только одно: надо бежать из этих апартаментов и как можно быстрее, — пожал плечами Вигель.

— Разумно, а план у вас есть?

— Пока нет, — сознался поручик.

— Разрешите мне сказать, — попросил кадет.

— Извольте, — кивнул Северьянов.

— В коридоре есть окно, — горячо зашептал юноша. — На нём решётки нет. Окно выходит во внутренний дворик. Там в заборе одна доска надломлена и болтается на одном гвозде. Охраны во

дворе никакой, и в коридоре — невелика. Если воспользоваться моментом, то можно бежать!

Полковник многозначительно посмотрел на Вигеля:

— Вот, достойное будущее нашей армии. Когда же вы успели всё это заметить, мой юный друг?

— Когда ходил оправляться. С доской в заборе просто повезло. Я как раз шёл мимо окна и увидел, как девушка отодвинула доску и шмыгнула во двор. Это же гостиница бывшая. Её хозяин теперь живёт в пристройке, а девушка — его дочь. Вероятно, она опасается ходить здесь, вот, и пользуется лазейкой.

— Ну, а это-то вы откуда узнали? — улыбнулся Николай.

— Я слышал, как солдаты говорили. Один заметил, что у хозяина дочка хороша собой, а другой ответил, что неплохо бы провести её в их с отцом апартаментах...

— Сволочи! — выругался Вигель. — Но вы, Митрофанов, просто клад. Вот уж, кому дан талант, тот будет атаман! Быть вам атаманом! Скажите только, почему же вы не попытались бежать до сих пор?

— Одному невозможно, а подходящей компании ещё не нашёл, — сияя от похвалы, ответил кадет.

— В таком случае, считайте, что компания у вас есть, — сказал Юрий Константинович. — Сегодня вечером попробуем притворить ваш план в жизнь. И если он удастся, то мы с поручиком ваши должники. И я лично буду ходатайствовать о вашем поощрении.

— Рад стараться, господин полковник!

Задуманное предприятие решено было отложить до вечера, когда бдительность охраны ослабевала. Полковник Северьянов достал из кармана блокнот и, написав что-то, вырвал листок, сложил его вчетверо и протянул Вигелю:

— Окажите мне услугу, Николай Петрович. Если мне не суждено будет добраться до Новочеркасска,

передайте эту записку моей жене.

— Непременно, Юрий Константинович, если доберусь сам, — ответил Николай, пряча записку.

Когда стемнело, и беглецы уже отсчитывали минуты до решительного момента, на окраине станицы слышались выстрелы. Митрофанов одним прыжком оказался у двери, из-за которой доносились быстрые шаги и голоса. Через несколько мгновений он обернул взволнованное лицо и сообщил:

— Господа, вблизи станицы замечен чернецовский отряд! В соседней станице партизаны вздёрнули нескольких большевистских агитаторов! А здесь теперь переполох! Готовятся отражать возможное нападение...

В комнате поднялось оживление. Славил отчаянных партизан и их доблестного командира, высказывали уверенность, что и местных большевиков во главе с предателем Стружковым вздёрнут, а узников освободят. Лишь тучный прапорщик криво усмехался, а затем бросил:

— Чему радуетесь? Конечно, весёлую кампанию товарища Стружкова вздёрнут, но прежде она выведет в расход нас! Неужели вы думаете, что господа большевики оставят партизанам заложников, которые смогут пополнить их ряды? Так что молитесь, если верите, своим небесным покровителям!

Все затихли, ожидая необратимой развязки, и она настала. Дверь в комнату распахнулась, и появившийся в проёме матрос, щегольнув фиксой, скомандовал:

— На выход, контра! По одному!

Пленники понуро стали выходить в коридор. Вигель, Северьянов и Адя шли последними. Всё шло не так, как было намечено, но отступить от плана было поздно. Оказавшись в узком проходе, Николай тотчас заметил нужное окно и, когда колонна, замыкаемая обвешанным оружием солдатом, проходила мимо него, резко развернулся, одним ударом сшиб не ожидавшего

нападения охранника с ног и, высадив разлетевшееся со звоном окно, выпрыгнул во двор. Следом выскочил юный кадет. Полковнику Северьянову повезло меньше. К нему уже бросились двое, но Юрий Константинович успел выхватить винтовку из рук поверженного Вигелем солдата и произвести несколько выстрелов, одним из которых был убит матрос с фиксой. Во двор полковник выпрыгнул уже под градом пуль. Под этим же градом беглецы опрометью пересекли двор, и памятный Митрофанов слёту нашёл и отодвинул нужную доску в заборе. В темноте обогнули станицу. Возле одной из хат переминались с ноги на ногу две лошади. Беглецы переглянулись и, ни слова не говоря, ринулись к ним. Лошади были осёдланы и, видимо, с минуты на минуту ожидали своих хозяев. Последние, услышав удаляющийся стук копыт, выбежали на улицу и стали стрелять вслед, но и на этот раз Бог оберёг отважных от свинца.

— Нам бы теперь добраться до партизан! — говорил Адя, сидевший на лошади позади Вигеля. — Теперь бы меня точно не отправили домой!

Николай не ответил. Он подумал, что для этого мальчика-кадета всё нынешнее смертельно опасное приключение всего лишь увлекательная, захватывающая игра, и он теперь должен быть как никогда счастлив, потому что показал себя настоящим мужчиной, героем, спасшим жизни двум офицерам, проявившим находчивость, наблюдательность и храбрость. Побольше бы таких молодцов, и не устояли бы красные... Затем мысли обратились к оставленным товарищам по несчастью: тучному прапорщику, бледному запуганному фельдшеру... Что стало с ними? Им вряд ли удалось избежать уготованной им горькой участи.

Когда-то в детстве Николенька спрашивал Анну Степановну, читавшую ему вслух святые книги, в

которых описывались чудеса святых Божьих угодников, почему же теперь чудес нет, и та неизменно отвечала:

— Чудеса есть всегда. Чудеса окружают нас. Но мы не замечаем их или не верим им. Мы всё хотим чудес бессмысленных, каких-то фокусов. А у Бога все чудеса несут в себе глубокий смысл, они происходят не тогда, когда нам этого хочется, но когда это нужно Богу, а, значит, и нам.

И всё же Николай слабо верил чудесам. Но, ступив на землю Новочеркаска, не мог не расценить это, как подлинное чудо. Поэтому прежде всех он отправился в храм, чтобы возблагодарить Бога за своё чудесное спасение.

В столицу Всевеликого Войска Донского в первых числах января Вигель и Северьянов прибыли вдвоём. Адя Митрофанов остался в отряде Чернецова, который всё-таки отыскал. Дорогой офицеры решили, что, по прибытии, сразу доложат о себе в штаб Добровольческой армии, но, прежде чем поступить на службу, возьмут десятидневный отпуск, дабы перевести дух после столь долгих мытарств, навестить родных и привести в надлежащее состояние личные дела, поскольку никому неизвестно, что ожидает впереди.

Новочеркасск, белый от снега, сияющий в свете солнечных лучей, был запружен людьми: множество офицеров, штатских, сёстры милосердия, казаки, текинцы в выделяющихся ярких одеждах и высоченных папах... А посреди них попадались и расхристанные, распущенные солдаты, до поры до времени сдерживающие свою ненависть, понимая неравенство сил, но ждущие своего часа, алчущие крови... Повсюду были расклеены призывы вступать в Добровольческую армию, в партизанские отряды. Но мал был эффект от этих призывов. Вигель сразу заметил огромное количество кофеен, заполненных кутящими офицерами. Вид их казался Николаю глубоко отвратительным,

особенно, при воспоминании о пятнадцатилетнем мальчишке, сбежавшим из дома, чтобы сражаться за спасение России... Мрачнел, глядя на этот постыдный разгул, и полковник Северьянов.

— Бог ты мой, какой невиданный позор... — говорил он страдальческим голосом, пощипывая ус. — До какого же свинства докатились наши господа офицеры! Даже на то, чтобы уж не Россию, но самих себя, своих родных защищать, их не хватает! Смотрите, смотрите, поручик, как пропивается наша с вами Родина! Стыдно, дорогой Николай Петрович, невыносимо стыдно...

— Безбожный пир, безбожные безумцы!
Вы пиршеством и песнями разврата
Ругаетесь над мрачной тишиной,
Повсюду смертью распространённой!
Средь ужаса плачевных похорон,
Средь бледных лиц молюсь я на кладбище,
А ваши ненавистные восторги
Смущают тишину гробов — и землю
Над мёртвыми телами потрясают!
Я заклинаю вас святою кровью
Спасителя, распятого за нас:
Прервите пир чудовищный, когда
Желаете вы встретить в небесах
Утраченных возлюбленные души...

— Вот-вот, пир во время чумы, — вздохнул Юрий Константинович. «Итак. — хвала тебе, Чума!/ Нам не страшна могилы тьма,/ Нас не смутит твоё призванье!/ Бокалы пеним дружно мы/ И девы-розы пьём дыханье, — / Быть может... полное Чумы!» Но Бог им судья. Каждый должен отвечать лишь за себя. И мы с вами пойдём по тому пути, за который не стыдно будет дать ответ, когда, может быть, по прошествии времени,

наши потомки, лишённые своего Отечества, станут вопрошать: «Где же вы были?» И мы ответим, что сражались до последней капли крови, а не топили горе в вине и объятиях потаскух, забыв свой долг.

Побывав в штабе Добровольческой армии офицеры расстались с тем, чтобы встретиться вечером за ужином у Северьянова и его очаровательной жены.

Если дневной Новочеркасск произвёл удручающее впечатление, то ночной привёл Вигеля в отчаяние. Проносились и исчезали в ночной мгле сани, светились огнями публичные заведения, набитые до отказа. Из какой-то ресторации выкатилась шумная компания, состоявшая из двух офицеров и трёх дам. Все пятеро были сильно навеселе. Впереди нетвёрдой походкой шёл высокий, крепко сложенный поручик с лихо закрученными усами и смоляным чубом. Николай остановился, чувствуя неистребимое омерзение от вида мертвецки пьяного офицера с аксельбантами, место которого, по его глубокому убеждению, было на фронте. Сорвать бы погоны с него, чтобы мундира не позорил! Вероятно, взгляд Вигеля был настолько красноречив, что пьяный поручик тоже остановился против него, покачиваясь и щуря осоловевшие глаза:

— Поручик Дорохов, к вашим услугам... — представился, икнув.

— Поручик Вигель, — отозвался Николай и попытался пройти, обогнув крупную фигуру офицера, но тот неожиданно преградил ему путь:

— Ну, вот, толькоознакомились, и убываете! Нехорошо-с! Куда вы идёте, поручик, а? Наплюйте на всё и айда с нами! Покутим напоследях, раз уж от этой проклятой жизни иной радости нет!

— Нам не по пути, поручик, — холодно ответил Николай.

— Не по пути... — протянул Дорохов. — А какой у вас путь? Какого чёрта вы смотрите на меня с таким

высокомерным презрением, а?! Думаете, я меньше вашего под немецкой шрапнелью и газами гнил?! Шиш! За такой один взгляд я мог бы дать вам пощёчину, а потом пристрелить на дуэли!

— Я не стал бы вас вызывать.

— Это почему же?

— Дуэль в военное время, когда каждая жизнь на вес золота, противоречит моим принципам. Позвольте мне пройти.

— Не позволю!

— Жорж, оставь его! — крикнул разъярившемуся поручику его приятель, и бывшие с ними дамы подхватили: — Поедем, Жорж! Не надо ссор!

— Оставляю, но пусть он вначале скажет вслух то, что думает, а не держит свой камень за пазухой, — огрызнулся Дорохов.

— Извольте, — откликнулся Вигель, стараясь сохранять самообладание. — Я считаю, что долг всякого офицера сегодня быть в рядах Добровольческой армии, а гульбище в кабаках в столь тяжёлое время — позор, чина офицера недостойный. Завтра в город придут большевики, и вы встретите их не с оружием в руках, а в пьяном безобразии, и в этом безобразии, убитые ими, предстанете на Божий суд. Достойное завершение пути!

— Вам бы проповеди с амвона произносить! Хватит! К псу ваши речи о долге и чести! У нас теперь право на бесчестье даровано, или вы не слышали?! Кончилась Россия! Приказала долго жить! Сдохла! Перед своей Родиной я выполнил долг. Но больше у меня её нет! Моя Родина своих обязательств по отношению ко мне не выполнила, а потому я больше никому и ничего не должен! Ни России, ни этому ничтожному монарху, ни шулерам-политикам, ни вашим неудачникам-генералам!

Вот оно... «Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен я за тобой идти...»

— Это ваше дело.

— Именно! Моё! — Дорохов зачерпнул рукой рыхлый снег, провёл им по горящему лицу и спросил уже спокойно: — Сколько вам платят в вашей Добровольческой армии?

— Разве это имеет значение?

— Стало быть, за идею на рожон лезете. Похвально... — поручик усмехнулся. — Вот, значит, ваш путь. Торный... Что ж, не смею задерживать. Идите, Вигель, своим узким путём, а мы, с вашего позволения, отправимся своим — широким и пьяным! Бон шанс, поручик!

Дорохов наконец уступил дорогу, подхватил под руки двух своих дам и плюхнулся в подъехавшие сани.

«Словно купчик московский», — подумал Вигель, продолжив путь. Какая страшная и чёрная бездна должна быть в душе человека, сознательно обрекающего себя позорной и бессмысленной гибели... Жить нельзя, так хоть кутнуть перед смертью. Пир во время чумы! Безумие!.. Или рассчитывает всё-таки увернуться от красного молоха и остаться жить? С такими мыслями подошёл Николай к дверям квартиры Северьяновых и позвонил. Дверь открыл сам хозяин. В новом мундире, гладко выбритый и посвежевший, он словно помолодел.

— Ну, вот, наконец, и вы, дорогой друг! — с улыбкой приветствовал Юрий Константинович гостя. — Что же вы так долго?

— Прошу меня извинить. Меня задержала неприятная стычка с одним гулякой.

— Надеюсь, ничего серьёзного?

— Просто обменялись мнениями.

— В таком случае прошу к столу! — полковник взял Николая под руку и ввёл в небольшую гостиную. Это было очень уютное помещение, обставленное с безупречным вкусом. На полу расстелен мягкий ковёр,

на окнах висели плотные тёмно-зелёные шторы, на стене, над небольшой вазочкой с засушенными цветами полукругом развешены семейные фотографии в изящных рамах. Посреди гостиной стоял стол, а над ним нависал зелёный абажур, из-под которого струился мягкий свет.

Навстречу вошедшим поднялась хозяйка, и Вигель подумал, что в жизни она ещё прекраснее, нежели на виденном им снимке. Наталье Фёдоровне Северьяновой было уже за тридцать, и красота её была в зените. То была красота подлинная, зрелая. Удивительным было в ней всё: и лицо богини, обрамлённое густыми, аккуратно уложенными тёмно-русыми волосами, и безупречная осанка, царственная стать и поступь. Было в этой женщине, кроме красоты, истинное благородство, достоинство, чувство меры во всём, ум и тонкий вкус. «Королева! — мелькнуло в голове у Николая. — Если и есть на свете идеал женской красоты, то она его воплощение, совершенство». Впрочем, поручик тотчас устыдился своей мысли, вспомнив о Тане. Но, подумав, решил, что ничего предосудительного в его восхищении Натальей Фёдоровной нет, потому что это восхищение объективно и сродни восхищению, испытываемому при виде совершенного творения природы или же великолепного произведения искусства.

Между тем, Северьянова приблизилась и, подавая руку, произнесла вкрадчивым, негромким голосом:

— Здравствуйте, Николай Петрович! Очень рада видеть вас в нашем доме. Муж много рассказывал о вас...

Она была одета в длинное шёлковое платье тёмно-зелёного цвета с широким корсажем и высоким воротом. Рукава, широкие сверху, спадали до локтя колоколами, а затем резко сужались.

Вигель учтиво поклонился и поцеловал хозяйке руку:

— Счастливи быть вашим гостем!

За ужином говорили мало, отдавая должное праздничной трапезе, казавшейся после долгих голодных недель царским пиршеством. Вигель замечал, с каким обожанием смотрит полковник на свою красавицу-жену, и рисовал в воображении картины собственного будущего семейного уюта.

— Прежде за этим столом собиралось гораздо больше людей, — сказала Наталья Фёдоровна.

— Да, было время, — согласился Северьянов. — Даст Бог, ещё и вернётся. И снова оживёт твоя зелёная гостиная, Наташа.

— Нет, Юра, возвратиться ничего не может. Хотя бы потому, что многих, кто так часто бывал за этим столом, смеялся, шутил, уже нет на свете. Можно только начать сызнава. Сызнава наладить нашу тихую жизнь, и чтобы новые друзья приходили в наш дом.

— Я думаю, что один друг у нас уже есть, — улыбнулся Юрий Константинович. — Мы можем рассчитывать на вас, поручик?

— Ваш гость, — кивнул Вигель.

— В нашем доме вы теперь всегда званный, — сказала Наталья Фёдоровна, глядя на Николая своими бархатными шоколадными глазами.

— Благодарю за такую честь! У вас очень гостеприимный дом, — заметил Николай.

— Это целиком заслуга Наташи, — откликнулся Северьянов. — Она любит, чтобы рядом были люди, и люди тянутся к ней. До войны редкий вечер у нас кто-нибудь не засиживался. Друзья, знакомые... Наташа была душой любой компании. Был и тесный кружок самых близких... Да, вот, с этой войной разбросало нас. «Иных уж нет, а те далече»...

Вигель подумал, что многие мужья, имея такую необыкновенно красивую жену, вряд ли стали бы одобрять такое гостеприимство и чрезмерное внимание к ней. Но полковник Северьянов, по-видимому, свято верил своей супруге, а к тому же — настолько любил её, что просто не мог подозревать за ней дурное.

После ужина заговорили о текущем положении дел в России и на Дону. Наталья Фёдоровна откинулась на спинку кресла, сложила руки на груди и, чуть отбросив назад голову, спросила:

— Что же теперь будет со всеми нами? У меня ощущение, точно мы живём уже не на земле, а в каком-то межуточном пространстве, словно мы подвешены в нём на невидимых нитях, и нет ни земли под ногами, ни неба над головой. Только хаос... Скажите мне кто-нибудь, Бога ради, откуда вдруг взялись вокруг эти страшные, страшные, страшные, искажённые злобой лица, обезумевшие? Ведь их не было только год назад! И вдруг хлынули, затопили собой всё! Солдаты... Все пьяные, непотребные... И некоторые офицеры тоже... Откуда это всё взялось? Почему? Что это за страшная болезнь? Почему вдруг грязь, сквернословие, хамство и жестокость вошли в обычай? Я не понимаю, не понимаю...

Чётко очерченный профиль Северьяновой был неподвижен, глаза смотрели перед собой, и, казалось, что все её вопросы были обращены в никуда, и ответов на них она не ждала.

— Безобразное взяли за образчик... Почему?

— Я некогда прочёл у Аксакова одну фразу. Не поручусь за точность цитаты, но смысл: человек, отринувший образ Божий, неминуемо возревнует об образе зверином. По-моему, это мы и наблюдаем, — задумчиво ответил Вигель.

Наталья Фёдоровна резко обернула к нему лицо и горячо высказала:

— Да! Именно! Бога не стало, и не стало образа... И все, все самые чёрные глубины, словно лава из горнила вулкана, выплеснулись наружу, испепеляя всё живое... Но почему? Ведь они все — русские. И крещёные... И вдруг Бога не стало! У красных Бога свергли, у нас... У нас ведь тоже у многих Бога нет. Я знаю... Да и, если бы был Бог, так неужто таким теперь был бы Новочеркасск? Никогда! Безбожно всё... — почти простонала она.

— Ты права, Наташа. наших ничтожных сил теперь хватит лишь для сохранения нашей собственной чести, на то, чтобы принять распятие и тем напомнить... — полковник запнулся. — Хотя кому нужно это напоминание? Разве что, когда-нибудь потом, после нас... Россию мы не спасём. Для того, чтобы спасти Россию, нужно служение, равное ежечасному предстоянию перед Богом, святое служение. А этого нет и не будет...

— Один священник, с которым мне довелось встретиться, когда я выбирался из Киева, рассказывал, что в немецком лагере после революции девять из десяти пленных солдат, ранее исправно принимавших причастие, немедленно отказались от него, — вспомнил Николай.

— Народ-богоносец... — покривил губы Северьянов. — Только и ждёшь теперь от него штыка в брюхо. Я всю жизнь с солдатами душа в душу жил. Я с ними из одного котла ел! И не потому, что этого требовал политический момент, а потому, что никогда не ощущал большой разницы между ними и собой. И у них, и у меня отцы и деды простыми мужиками были, мы из одного теста слеплены. Вся разница, что они остались землю пахать и пахали бы, если б не эта несчастная война, а я Михайловское училище окончил и офицерские погоны надел. Это придворные генералы, навроде Брусилова и другие флюгеры, чуть ветер

сменился, пошли симпатии солдатской массы заискивать! И их ещё на руках носили! — полковник поднялся и заходил по комнате, заложив за спину руки. — Бонч-Бруевич, мерзавец, в пятом году целую брошюру выпустил, как чернь восставшую давить, а тут среди первых возопил, что надо предателей-генералов, Корнилова и других, судить и казнить! Встретился бы мне этот Бонч в бою или на узкой дорожке... А Духонина — на штыки! И скольких ещё! И эти хамелеоны оказались друзьями народа! А мы — его врагами! Они все бантики себе красные понацепляли, дрянь такую... У меня в глазах от них рябило! А я не стал! Пусть меня на штыки, но я в этой подлости не участник! А знаете, как полковник Тимановский ответил, когда ему попытались всучить такой бант? «Моя кровь краснее вашего банта!» То-то! То-то, что наша кровь краснее! Вот, они хотят её нам пустить!

Наталья Фёдоровна встала, подошла к мужу и, положив холёную, мягкую руку ему на плечо, промолвила:

— Успокойся, Юра. Не мучай себя... Это я, глупая, зачем-то начала говорить о страшном. Разбредила тебе неосторожно душу. Успокойся. Может быть, ещё не всё так безнадёжно, а просто глаза наши замутились и видят только тьму, не замечая проблески света. Ведь вот же не иссякло ещё милосердие Божие. И ты вернулся. И поручик встретился со своей невестой. И мы опять собрались под нашим зелёным абажуром... Значит, ещё не конец, и есть надежда.

Северьянов поднёс к губам руки жены:

— Прости, Наташа. Занесло меня. Накипело... Оставим, в самом деле, эту мрачную тему. Не будем больше... Ангел мой, может быть, ты споёшь нам? Я столько времени не слышал, как ты поёшь, я так скучал по этим мгновениям...

— Конечно. Нашу любимую.

Полковник на миг покинул гостиную и возвратился назад, держа в руках гитару с голубой лентой. Супруги сели рядом, повернувшись лицом друг к другу. После затейливого проигрыша, Северьянов заиграл мелодию известного романса, столь часто исполняемого на концертах Верой Паниной, и Наталья Фёдоровна запела негромко, но сердечно:

— Не уходи, побудь со мною,
Здесь так отрадно, так светло,
Я поцелуями покрою
Уста и очи, и чело...

Как подходили эти строки уютной зелёной гостиной, где так отрадно и светло становилось каждому, кто заходил на огонёк. Вигель слушал, как зачарованный, а взгляд его будто бы намертво приковался к лицу Натальи Фёдоровны, и она тоже время от времени переводила свои шоколадные глаза от лица мужа на Николая и выводила:

— Не уходи, побудь со мною,
Я так давно тебя люблю,
Тебя я лаской огневою
И обожгу, и утомлю...

И подтягивал вслед за женой помолодевший полковник:

— Побудь со мной, побудь со мной...

В какое-то мгновение в голове Вигеля пронеслась дерзкая мысль, что Наталья Фёдоровна обращается к нему. Николай удивился нелепости собственного предположения и решил, что, вероятно, просто устал и

порядочно выпил в этот вечер, и поэтому в голову лезет всяческая чушь.

— Не уходи, побудь со мною,
Пылает страсть в моей груди.
Восторг любви нас ждёт с тобою,
Не уходи, не уходи...

Поздно ушёл в тот вечер поручик Вигель из дома Северьяновых, чувствуя, что, пожалуй, позволил себе недопустимо расслабиться, разнежиться, и теперь придётся тяжело собираться вновь, чтобы, не дай Бог, не впасть в соблазн оттягивания начала службы, ради которой он приехал в Новочеркасск, и погрязания в простых человеческих радостях, начинающихся как будто с невинных мелочей и поблажек, дозволения себе, по совести заслуженного отдыха и других заслуженных же прав. Так и начинается расхолаживание, заканчивающееся пьяными кутежами в кабаках, пиром во время чумы. В зелёной гостиной Николай решил больше не бывать и с прекрасной хозяйкой не видеться.

Через неделю Николай переехал в Ростов, где на улице Парамонова уже налаживалась работа перенесённого туда штаба армии. Оттуда Вигель был немедленно командирован на фронт, откуда возвратился лишь в феврале. А через несколько дней армия покинула Ростов и ушла в степи... За предшествующие этому событию недели Николай воочию увидел, какая судьба уготована ему и его соратникам и близким большевиками и их озверевшими приспешниками. Судьба несчастных, чьи изуродованные, нагие тела были свалены штабелями на платформе станции, с которой удалось выбить красных. Судьба одиноких Добровольцев, случайно забредших в

рабочие кварталы Ростова, пугающий Темерник, и не вернувшихся оттуда. Добровольцев убивали в самом Ростове, их городе, и с этим ничего невозможно было поделать. Двух рабочих, убитых в перестрелке с юнкерами, с разрешения Донского правительства, хоронили, как царей, их провожали целые толпы, огромная демонстрация двигалась по городу, проклиная «корниловщину», выступали с речами звонкие ораторы, призывающие к расправе с «врагами народа». А, между тем, этих «врагов» день за днём продолжали убивать. Убивать без разбора и с изощрённой жестокостью. Отдельные местности на подступах к Ростову неоднократно переходили из рук в руки, и всякий раз Добровольцы находили там обезображенные тела своих товарищей, которые с трудом можно было опознать. Четвертованные, ослеплённые, с отрезанными ушами и носами, подвергнутые нечеловеческим мучениям до смерти и бесстыдному глумлению после — такова была участь Добровольцев. Погибших лютой смертью отправляли в Ростов, подчас сложив в какой-нибудь товарный вагон, чтобы не привлекать внимания. Отпевали почти тайно, чтобы не вызвать нежелательных эксцессов... Среди убитых был старый приятель Вигеля. Прощаясь с ним, он думал, что так могут окончить свои цветущие дни Адя Митрофанов и братья Рассольниковы, и ещё многие дети, мечтающие защищать Россию. Не пощадят изверги ни лет их, ни невинности... А сами они, насмотревшись этого ужаса, ужели не станут мстить? Какое страшное увечье суждено их неокрепшим душам... Каждый день приносил новые жертвы, и сердце привыкало к ним, ожесточалось и жаждало отмщенья. Вспоминался риторический вопрос Натальи Фёдоровны: «Откуда это взялось?» Откуда взялась эта невиданная, первобытная жестокость к живым и ещё более дикая страсть к надругательству над мёртвыми?

Или глумясь над убитыми врагами, они хотят продемонстрировать презрение к смерти вообще? Да нет же! Своих они хоронят с помпой и сами смерти боятся... Может, этот страх смерти порождает это полное отсутствие почтения к ней? Вигель прошёл почти всю войну, видел много жестокости, но ничто не могло сравниться с теперешним. Не осталось, кажется, никаких барьеров и явилась в бывших людях безумная страсть преступления, чудовищная жажда надругаться сразу и надо всем, кануть в самую чёрную бездну, как сбесившиеся гадаринские свиньи... Но пока эти свиньи бросаются не с горы в обрыв, но на людей, и рвут, и бесчинствуют, и нет ни конца этому, ни противоядия... А всего страшнее становилось от мысли, что все эти неописуемые и кошмарные дела творят над русскими людьми русские же. И не было сил объяснять, размышлять, а являлась какая-то пустота, тупость, и уже не в силах был противостоять острый ум бывшего правоведа миру, из которого право улетучилось, а остался хаос, кровавая оргия, бесовские пляски на костях... Добровольцы гибли, но продолжали сражаться. Замёрзшие, голодные и оборванные, всё ближе и ближе отступали они к Ростову, а Ростов, защищаемый ими, не имел нужды вспоминать о них и, как Новочеркасск, предавался позорному пиру во время чумы... Но, вот, настал и для него день расплаты. Армия покидала его стены.

Эвакуация города была поручена генералу Маркову. Казалось, что в ту мартовскую ночь Ростов вымер. Темны были его окна, тихи улицы, и лишь ветер носил по ним пыль и снег. И только центральная улица продолжала жить. То там, то здесь мелькала высокая белая папаха Сергея Леонидовича, слышался его резковатый, громкий голос, перекрывавший шум собравшихся войск и гул редких выстрелов, отдававший команды, распекавший кого-то, отпускавший свои

никогда не иссякающие шутки, что прибавляли бодрости людям. Энергичный, стремительный, уверенный в себе, он, кажется, ни секунды не мог оставаться на одном месте. Он весь был само движение, «сплошной порыв без перерыва», как метко окрестили его. И лихорадочность этих часов была естественным для него состоянием. В октябре Пятнадцатого года 4-я стрелковая дивизия в районе Чарторыйска, прорвала фронт противника на протяжении восемнадцати верст и на двадцать с лишним верст вглубь. Не имея резервов, Брусилов не решался снять войска с другого фронта, чтобы использовать этот прорыв. Между тем, противник бросил против «железной» все свои резервы. Не теряющий бодрости, Марков, бывший в авангарде, докладывал по телефону командиру дивизии Деникину: «Очень оригинальное положение. Веду бой на все четыре стороны света. Так трудно, что даже весело стало!» В этих словах был весь Сергей Леонидович, прозванный «богом войны». Очутись он, свято чтущий суворовские заветы, постигший суворовскую науку побеждать, в золотом веке Екатерины, то, должно быть, стяжал себе славу, сравнимую со славой многих тогдашних полководцев. Но, как сказал поэт, «плохая им досталась доля», и теперь этот блестящий командир должен был использовать свой военный талант в усобной войне, в которой даже победа неизбежно горчит.

Армия уходила поспешно, эвакуация не была подготовлена должным образом. Кто-то стал грузить пулемёты на грузовые машины. Тотчас из тьмы возникла вездесущая фигура Маркова:

— Какого чёрта?! Это еще что? Вы с ума сошли? Ведь я сказал, что у нас нет бензина! Перегрузить на лошадей! А автомобили взорвать!

— Ваше превосходительство, достать лошадей и повозок невозможно, — виновато произнёс кто-то.

— Чушь! — жёстко ответил Марков и, подойдя к пожарному сигналу, прикрепленному к столбу, ударом разбил стекло. Не прошло и четверти часа, как примчалась пожарная команда.

— Стой! — приказал Сергей Леонидович. — Распрячь лошадей!

— Но ваше превосходительство, это невозможно! — запротестовал бренд-майор. — В городе может начаться пожар и...

— Без вас потушат! Распрячь лошадей, я сказал!

Лошади были распряжены, а пожарные стали в строй пулеметной команды Первого офицерского батальона...

Так, вьюжной февральской ночью, год спустя после тысячекратно проклятой революции, начался Поход. Поход тысяч отчаянных против бесчисленных полчищ. Поход тысяч не сдавшихся, готовых принести себя в жертву во имя грядущей России.

Несмотря на всю горечь, гордость наполняла сердце поручика Вигеля. Гордость — быть в числе этих тысяч. Идти в последний, может статься, поход бок о бок с такими вождями, как Корнилов, Марков, Деникин, такими героями, как Кутепов и Тимановский... Мальчишки юнкера и кадеты ликовали, предвкушая предстоящий бой. Взбодрился и Николай, радуясь, что у Похода явилась конечная цель, что не придётся скрываться от красных бандитов в зимовниках. Дело всегда предпочтительнее пустому ожиданию. А хороший бой — губительному для духа сидению в окопах.

Да и погода наудачу установилась. День выдался слегка морозным и ясным. Солнце припекало уже повесенному, и время от времени дул слабый ветерок. Добровольцы шли бодро, слышались разговоры, шутки, смех. Вдоль строя проскакал Верховный с несколькими текинцами, с трёхцветным полотнищем российского

флага, развевающимся на ветру. Все взоры устремились
вслед генералу, и грянул под высоким синим небом
марш Корниловского полка:

Пусть вокруг одно глумленье,
Клевета и гнет
Нас, Корниловцев, презренье
черни не убьет.

Вперед, на бой, вперед на бой, кровавый бой.

Верим мы: близка развязка
С чарами врага,
Упадет с очей повязка
У России, да!

Вперед, на бой, вперед на бой, кровавый бой.

Русь поймет, кто ей изменник,
В чем ее недуг,
И что в Быхове не пленник
Был, а — верный друг.

Вперед, на бой, вперед на бой, кровавый бой.

За Россию и свободу
Если в бой зовут,
То Корниловцы и в воду,
И в огонь пойдут.
Вперед, на бой, вперед на бой, кровавый бой.

Село Лежанка простиралась в низине. Бескрайняя
равнина на подступах к ней гребнем вздымалась вверх.
Эту возвышенность от селенья отделяла небольшая,
заболоченная речушка Средний Егорлык,

перегороженная плотиной с дамбой, находившейся чуть западнее, возле кирпичного завода. Позади селения также наблюдалась возвышенность, поросшая деревьями и кустарником. Едва Добровольцы стали подниматься на гребень, с которого, как на ладони, прекрасно просматривалась лежащая внизу местность, как со стороны селения раздались орудийные выстрелы. Немедленно была определена стратегия: Офицерский полк атаковал противника в лоб, Корниловцы — в районе дамбы, левый фланг достался партизанам генерала Богаевского.

Потрясающее впечатление производил Офицерский полк! Сформированный из одних офицеров, так что седые полковники командовали взводами, он беззвучно двигался цепью по вспаханному осенью чёрному полю, местами покрытому белыми островками снега. Чеканный шаг, словно на параде, винтовки у ноги, суровые лица... Впереди — опираясь на палку, с неизменной трубкой в зубах, имеющий более десятка ранений и повреждённое позвоночника — бесстрастный полковник Тимановский. Они шли по низине, а из-за реки, с возвышенности, на которой стояла Лежанка, по ним вёлся ураганный ружейный огонь. Но большевистские стрелки меткостью не отличались — пули свистели мимо. Части полка совершали перебежки шагом. Налетел, не выдержав, раздосадованный Марков, выругался:

— Когда же вы, наконец, будете делать перебежки бегом! — и сам повёл первую роту к мосту, защищённому пулемётами и хорошо скрытой цепью.

Остальные части залегли у реки. Наступление замедлилось. На подмогу Марковцам с грохотом помчался автомобиль Партизан.

Артиллерийский огонь большевиков, кажется, был совершенно бесприцелен. Как выяснилось потом, его корректировал взмахом картуза какой-то мужик,

сидевший на вышке. Зато белая артиллерия не давала промахов. Батарея подполковника Миончинского, состоявшая из юнкеров лихо работала под ружейным обстрелом красных.

Но, вот, наконец, ринулись через ледяную реку Марковцы. Это полковник Кутепов, устав от пассивного томления, повёл за собой свою третью роту. Увидев стремительную атаку Офицерского полка, Верховный, бывший в это время со своими Корниловцами, скомандовал:

— Возьмите Лежанку!

— Ура! — грянули они и бросились вперёд.

Большевики отступали панически, бросая оружие.

— Бегут! Бегут! — слышались радостные крики.

Селение было взято. Победительные белые рати, потерявшие в бою лишь трёх человек, вошли в Лежанку. Корниловцы остановились на окраине села, неподалёку от мельницы. Вигель придиричиво оглядел подобранную в брошенном красными окопе винтовку. Как известно, лучший трофей в бою — это оружие. Особенно, если оружия катастрофически не хватает. В этом Николай убедился ещё в первые месяцы войны, когда не перестроенная на военные рельсы промышленность не успевала снабжать армию нужным количеством вооружения, и безоружные солдаты шли в атаку, надеясь подобрать винтовки павших товарищей.

Из-за хат вывели полсотни пестро одетых людей, безоружных, с опущенными головами. Это были пленные, которых Верховный приказал не брать, поскольку отягчать ими и без того большой обоз кочующая армия не могла. На танцующей серой кобыле выехал бледный полковник Неженцев, едва заметно покусывающий губы:

— Желающие на расправу!

Николай отвёл глаза. Нет, это не к нему... Конечно, война есть война, и пленных брать в сложившейся

ситуации невозможно, но расстреливать безоружных он, поручик Вигель, не будет. Между тем, набралось человек пятнадцать охотников. Николай знал, что у некоторых из них большевики убили кого-то из родных. Теперь они мстят. А после родные этих испуганно смотрящих пленных будут мстить белым. И не будет этому конца, всё утонет в мести... Смертники казались жалкими, и трудно было теперь, глядя на них, различить в них черты беспощадных врагов. Такие же русские люди... Но тут же припомнились изуродованные тела друзей, складываемые в товарный вагон для отправки в Ростов. Уж не эти ли терзали их?! А если не они, так неужели и у тех были такие лица?! Нет, среди них невиновных нет... Если эти и не терзали, то растерзают непременно, и не может быть жалости к ним. Смертники... А кочующая армия, юные кадеты и юнкера, погибающие каждодневно, орошающие своей кровью эту бедную землю — они не смертники ли? Смертники все... Поднявший меч должен быть готов погибнуть от него.

Затрещали выстрелы, убитые повалились друг на друга, ещё живых — добились...

— Дорого вам моя жинка обойдётся! — зло шептал один из охотников.

Лежанка встречала Добровольцев кладбищенской тишиной. Селяне в панике бежали из родных домов, побросав весь скарб. На улице лежали тела убитых, то там, то здесь раздавались выстрелы — расстреливали большевиков... А, может быть, и не большевиков, а случайных людей, попавших под горячую руку. И жертвы среди таких случайных людей всего горше.

С крыльца одного из домов двое офицеров тащили отбивающегося парня. Следом бежали старики, его родители. Старуха с плачем хватала офицеров за руки, вопила истошно:

— Пощадите, родимые, пощадите! Один он у меня! Не отымайте! Отпустите, кормильцы, век за вас Бога молить буду!

Но на неё не обращали внимания. В этот момент показался невысокий, коренастый полковник в сдвинутой на затылок фуражке. Вигель сразу узнал в нём командира третьей роты Офицерского полка Александра Павловича Кутепова. Несчастные родители, не помня себя от горя, бросились перед ним на колени. Полковник остановился.

— Ваше благородие, господин начальник, простите нашего сына! Из-за товарищей погибает! Он шалый, а душа у него добрая! Простите Христа ради!

Кутепов повернулся к замедлившим шаг офицерам и приказал:

— Отпустите этого болвана! Старики — люди честные.

Пленного неохотно отпустили, и родители увели его, не переставая благодарить «доброго господина начальника».

На площади у дома, отведённого под штаб, были построены захваченные в плен командиры большевистского дивизиона, оказавшиеся офицерами. Проходившие мимо части Добровольцев смотрели на них с ненавистью, доносились угрозы и брань. Стремительной походкой подошёл генерал Марков:

— Это что? — спросил резко, кивнув на пленных.

— Сдались они, ваше превосходительство, — ответил один из караульных.

— Какого чёрта вы с ними возитесь? Расстрелять! — гневно приказал Сергей Леонидович.

— Сергей Леонидович, офицер не может быть расстрелян без суда, — слышался голос Корнилова, подъехавшего в этот момент на своём сером английском жеребце. Верховный спешился и закончил: — Предать полковому суду!

— Воля ваша, Лавр Георгиевич, — пожал плечами Марков.

Подъехала коляска, из которой с заметным трудом выбрался генерал Алексеев. Корнилов быстро скрылся в штабе. Михаил Васильевич, высохший, измученный дорогой, подошёл к пленным, посмотрел на них с горьким упрёком, покачал белоснежной головой, заговорил взволнованно и возмущённо:

— Как могли вы, офицеры русской армии, пойти против своих? Сражаться на стороне извергов, у которых руки по локоть в крови ваших товарищей?! Предать Родину?

Пленные понуро смотрели в землю, неуверенно оправдывались:

— Насильно заставили служить... Не выпускали отсюда... Мы по вам не стреляли...

— «Не стреляли!» — передразнил старый генерал и, раздражённо махнув рукой, тоже последовал в штаб.

Военно-полевой суд, рассмотрев дело пленных офицеров, счёл обвинения в их адрес недоказанными, а потому принял решение простить их и зачислить в ряды Добровольческой армии.

Между тем, расправы в Лежанке продолжались. Из-за угла одного из домов выбежал большевистский солдат. Вигель преградил ему дорогу и выхватил пистолет:

— Стой!

Солдат повалился на колени, заговорил, захлёбываясь слезами:

— Не убивайте, ваше благородие! Мобилизованный я! Не стрелял я! Отпустите!

Николай с удивлением смотрел на лицо солдата. Тоже совсем мальчишка... Над губой еле-еле пух пробивается, нос и щёки в крупных конопатинах, губы крупные распустил, слёзы градом... Мальчишка, совсем мальчишка! Вигель вздохнул и спрятал оружие:

— Иди, Бог с тобой. Твоё счастье, что на меня налетел. Но в другой раз попадёшься — смотри!

Солдат вскочил, посмотрел ошарашено, не веря своему везению, и бросился бежать. В этот момент Николай заметил, как подошедший офицер-марковец выхватил из кармана револьвер. Вигель бросился к нему и схватил за руку:

— Не стреляйте, капитан!

Офицер с досадой оттолкнул поручика, но было поздно: солдат уже скрылся.

— Большевичков защищаете? — зло спросил марковец, сверля поручика глазами.

— Он же совсем мальчишка!

— И что же?

— Любой жестокости должна быть мера. Если мы станем уподобляться им, то чем мы лучше? Нет, мы должны действовать иначе... Нельзя руководствоваться только местью! Это тупик! Даже к врагу должно быть...

— Что?

— Милосердие!

— Ми-ло-сер-дие? — протянул капитан, доставая серебряный портсигар и закуривая. — Кто вас этому учил, поручик?

— Христос, господин капитан.

— Христос... — как-то странно повторил марковец и о чём-то задумался, глядя на Николая сквозь клубы сизоватого дыма. На вид было ему лет сорок, мужественное лицо, обрамлённое короткой, тёмной с проседью бородой, тёмные, тяжело смотрящие глаза, глубокая борозда, рассекающая лоб, будто шрамом, густые тёмные волосы, наполовину седые... Казалось, этот человек очень многое пережил, и, может быть, слишком много горя выпало ему. Капитан стряхнул пепел и, словно очнувшись от своих невесёлых дум, вымолвил: — Вы, может статься, и правы, поручик, но, бьюсь об заклад, долго сохранить ваш милосердный

настрой вам не удастся. Вам, вероятно, просто ещё не пришлось на собственной шкуре испытать «ласку» «товарищей»... Я думаю, мы ещё вернёмся с вами к этому разговору, если останемся живы. Честь имею!

День клонился к концу, загорались огни в домах, занятых Добровольцами, полыхали костры. Николай шёл по улице, перешагивая через простёртые трупы, наступая в лужи крови и чувствуя, как терпкий запах смерти тяжело ударяет в нос. Изредка встречались почерневшие от горя женщины, искавшие среди мёртвых своих родных.

— Поручик! — раздался внезапно оклик полковника Северьянова.

Вигель обернулся и увидел Юрия Константиновича, сидящего на каком-то деревянном чурбане. Полковник курил, и пальцы его, державшие папиросу, нервно подрагивали. Николай приблизился:

— Здравия желаю, господин полковник.

— Без чинов, пожалуйста, — Северьянов поморщился и посмотрел на поручика болезненно-испытующе: — Ну-с? Что скажете?

— Что сказать? Виктория, Юрий Константинович. Расчесали в пух и прах! Вся эта так называемая дивизия разбежалась просто позорно. Верховный прав, это банды, а не армия.

— Виктория... — полковник запрокинул голову. — Знаете, дорогой друг, если мы будем продолжать в таком же духе, то народ окончательно возненавидит нас. Пока его ненависть основывалась, большей частью, на слухах и агитации большевиков, а теперь её укрепит пролитая кровь.

— Что поделаешь, Юрий Константинович, жестокость порождает жестокость...

— Не пытайтесь никогда убеждать других в обратном тому, что думаете сами! — с досадой произнёс Северьянов. — Это нечестно, во-первых, и

неубедительно, во-вторых. Вы же не думаете, что сегодня побили только большевиков?

— Конечно, но...

— Но! Не бей Фому за Ерёмину вину! Старики говорят: большевики-то, как нашу атаку увидели, так и дёру дали, а молодёжь тутошняя, которую они смутили своими митингами и мобилизовали, замешкалась, ей-то пуще всех на орехи и досталось. А сколько и вовсе невинных!.. Разбери их! Да и было бы желание разбирать, когда месть глаза застилает! Ох, поручик, истребим мы друг друга, опустеет наша Россия, и быльём порастёт, и будут на ней пришлые заправлять... Конечно, в жестокости нам с большевиками не тягаться. Куда до них...

— Вот, видите...

— Вижу. Вижу, что ещё хуже.

— Я не совсем понимаю...

— Есть два способа победить жестокого противника. Превзойти его жестокостью или же лишить его поддержки, придерживаясь совершенно обратных методов и тем привлекая население на свою сторону. Отдельные бессистемные проявления жестокости порождают ответную реакцию. Они не запугивают, а раздражают. Запугать и подчинить можно лишь системным террором.

— Юрий Константинович, вас ли я слышу? Вы проповедуете террор?

— Боже упаси! Системный террор — это для большевиков. Они в нём преуспели. А мы не сможем. У нас проявления жестокости обуславливаются не системой, не директивами сверху, а только искалеченной психикой отдельных людей. Эксцессами... Но раз системная жестокость не для нас, то такие эксцессы нужно на корню пресекать! Потому, что они закрывают для нас второй путь! Единственный наш путь! — Северьянов бросил папиросу на землю. —

Скорее бы уйти из этого села! Виктория... Конечно, армии нужна была победа для поднятия духа. Но простите меня, я не могу веселиться победе русских над русскими. И расстрелам безоружных, пусть и вынужденным, радоваться не умею, — полковник резко поднялся. — Знаете, Николай Петрович, я сегодня лежал там, в цепи. Пули надо мной свистели... Лежал и думал, что это мой последний поход. Я последнее время отчего-то точно знаю, что скоро буду убит. И что самое странное, эта мысль меня не только не огорчает, но радует. Я не верю в успех нашего дела, поручик, и меня радует то, что до того момента, когда Россия окончательно сгинет в кровавом болоте, я не доживу, и этого последнего акта трагедии мои глаза не увидят. Об одном жалею — Наташа останется одна. И увидит... — голос Северьянова дрогнул. — Однако, довольно. Я наговорил вам много лишнего. Забудьте! Это всё нервы...

Полковник набросил на плечи шинель и, низко опустив голову, пошёл прочь. Вигель сделал несколько шагов в сторону и остановился, как вкопанный, перед представшим его взору отвратительным зрелищем. Посреди дороги над распластанным трупом стояла жирная, чавкающая свинья... Николай смотрел на её окровавленное рыло, чувствуя, как горлу подступает тошнота. Вот она — гражданская война во всей своей мерзости! Вот она — братоубийственная усобица! Нет, это не парадное шагание по полю, не бой с противником, не даже расстрелы пленных... Но — вырвавшиеся из хлева ненасытные свиньи, рвущие человеческую плоть. Эти свиньи разбрелись теперь по всей России, терзают её тело и смотрят нахально, и чавкают, и не могут насытиться... Лицо революции — вот, оно! — окровавленное свиное рыло.

Николаю стало дурно. Он отвернулся и, стиснув голову, почти бегом бросился куда-то, не думая, куда и

зачем — лишь бы не видеть мерзкой картины... А где-то совсем рядом звонкие голоса кадет распевали тоскливое:

На Родину нашу нам нету дороги,
Народ наш на нас же восстал.
Для нас он воздвиг погребальные дроги
И грязью нас всех закидал...

Глава 5. Пётр Тягаев

Начало марта 1918 года. Петроград

За окном падал, кружась на ветру, дувшем, кажется, сразу со всех сторон, редкий снег. Улица, прежде столь многолюдная, ныне была пуста, точно вымерла. Изредка пробегал, опасливо оглядываясь, втягивая в плечи голову и поднимая как можно выше воротник худого пальто, какой-нибудь полуголодный и запуганный обыватель, вышедший из дома, чтобы найти пропитание, продать что-то, быть может, бесценную фамильную реликвию, чтобы купить мешок полугнилой картошки и тем ещё хоть ненадолго продлить жалкое своё существование. А стоит ли продлевать?.. Пронёсся, взметая снежную пыль, автомобиль. Это — новая власть. Теперь только у них есть автомобили. Есть обильная пища. Есть ценные вещи. Есть всё, что было украдено ими при обысках, сорвано с убитых, отнято у ещё живых... И вжался в стену испуганный обыватель, завидев автомобиль, обронил шляпу, заелозил по земле, поднял. По всему видать, интеллигентный человек. Может быть, ещё недавно клеймил царский режим и жаждал бури. И, вот, грянула она, и сломался он, и не может унять дрожь, рождённую холодом и страхом... В конце улицы появилась плотная, кое-как одетая баба, тянувшая на салазках вязанку дров, поверх которой сидел худенький мальчик, любопытно озираясь по сторонам, вертя головой...

В мутном стекле полковник Тягаев различал своё отражение. Долгое, поджарое тело, в котором за две войны добрый десяток пуль и осколков погостили, и раны эти всё чаще напоминали о себе. В последнем бою взрыв прогремел совсем рядом. Петра Сергеевича

подбросило вверх, ударило о землю и засыпало землёй. Его приняли за мёртвого, но он тихо застонал к удивлению всех. В лазарете полковника сочли безнадёжным: левая рука была раздроблена, и её пришлось отнять, и ещё тяжелее было ранение в голову. Но Тягаев выжил. Лишившись руки и глаза, со страшными болями от полученной контузии, он стал поправляться, томясь одним желанием — вернуться на фронт. Ничего не было важнее для Петра Сергеевича, нежели фронт, война, армия. Военную стезю он выбрал против воли отца и матери и посвятил ей себя всецело. Словом, которое определяло всю его жизнь, был Долг. И не было ничего невозможного, если Долг велел. В лазарете Долг велел Тягаеву выжить и вернуться в строй.

В строй, однако, он вернуться не успел. Роковые мартовские дни застали полковника в Петрограде. И глядя на разверзающееся безумие, ни мгновение не сомневался Пётр Сергеевич, что это — конец. Конец не только монархии, идее которой был предан Тягаев, но России, армии и его самого. Разнузданные толпы солдат бродили по разом ставшим грязными улицам, выпущенные из тюрем бандиты грабили «буржуев», ватаги матросов с визжащими девицами носились на автомобилях, упиваясь вседозволенностью, рядили своих спутниц в золото и бриллианты, выкраденные из чьих-то шкатулок, на каждом углу собирались стихийные митинги, и какой-нибудь прощелыга-оратор верещал нечто истерическое, но электризирующее его слушателей, охотились за городовыми, искали их повсюду, хватали на чердаках и убивали... Создавалось впечатление, словно весь город погрузился в истерику, обезумел. Пели революционные песни, цепляли красные банты, стреляли... Пётр Сергеевич затыкал уши, зашторивал окна и не находил себе места. Наконец, он не выдержал и, несмотря на возражения жены, вышел

на улицу. Офицерская шинель со всеми наградами, включая двух Георгиев, стеклянный глаз, протез вместо руки, скрытый перчаткой: вот он — враг народа, враг свободы, враг собственной страны, ставшей в одночасье чужой. Какое-то тяжёлое, отчаянно-безнадёжное чувство владело полковником, он вышел пытаться смерть, он чувствовал на себе полные злобы взгляды, но тем твёрже становился шаг, тем прямее спина, тем холоднее бледное лицо с поджатыми губами и скорбной складкой меж бровей.

На Невском какой-то иностранный журналист пытался допытаться у толпы, каковы её намерения. Остановленный прохожий недоумённо-насмешливо глядел на него и пожимал плечами.

— Скажите, каким государственным установлением надлежит завладеть? Каким именно? Жилищем полиции, чертогом самодержца, седалищем правительства?

— Не знаю, — широченная улыбка в ответ.

— Я спрашиваю, господин, куда направлено стремление русского народа? — не унимался журналист.

— Да, кажись... никуда!

— Я спрашиваю, что предпринять намерение есть? План действий?

— Какой же план? Пошумят, погуляют и разойдутся.

— Зачем тогда скопление обывателей?

— Это демонстрация! — гордо ответил прохожий и ушёл.

— Демонстрация?! — возмутился иностранец. — Демонстрация есть явление организованное, стройное, врагу страх внушающее! Это не есть политическое выступление! Без объекта выступление не есть акт разума, а утрата разума! Это не революционеры, то есть сволочь, которую надлежит разогнать палками...

На Садовой Петра Сергеевича обступила толпа, сдавила со всех сторон, точно в тисках, загудела угрожающе. Страха полковник не почувствовал. Им владело холодное презрение, читавшееся во всём облике его. Оружие у него было отобрано немедленно, и вот уже чья-то корявая лапа потянулась к погону, и глумливый хохот слышался с нескольких сторон. В этот момент какой-то солдат, по-видимому, совсем недавно прибывший с фронта, в гневе схватил наглеца за руку и со всего размаха ударил кулаком в лицо так, что тот рухнул на землю. Толпа захохотала, тыча в него пальцами, закричала «ура». Только что она собиралась растерзать полковника, а теперь ей не было до него дела. Пётр Сергеевич подошёл к солдату, тепло поблагодарил его. Тот расплылся в улыбке и, чинно приложив руку к папахе, произнёс вышедшее из обихода в окайнные дни:

— Рад стараться, ваше высокоблагородие! Разрешите сопровождать вас во избежание новых... недоразумений?

Тягаев предложение принял. Вернувшись домой, он велел жене напоить чаем и получше угостить гостя. Смутная надежда зашевелилась тогда в душе полковника. Если есть ещё такие солдаты, то не всё потеряно! Это лишь те, что засиделись в гарнизонах, распустившиеся и распропагандированные, утратили человеческий облик, а на фронте всё иначе! Нужно отправить солдат гарнизона на фронт, а фронтовиков перевести в столицу, и железной рукой навести порядок! Только где взять эту железную руку?..

В те дни в Петроград с поручением от командира Уссурийской дивизии Крымова прибыл генерал Врангель. Пётр Сергеевич хорошо знал его со времён учёбы в Академии Генерального Штаба. Близкой дружбы между двумя офицерами не было, но были приятельские отношения и искреннее взаимоуважение.

Оба кавалеристы, прошедшие Русско-Японскую войну, преданные своему делу и Отечеству, широко образованные и отличавшиеся завидными способностями, они легко нашли общий язык. Уже в то время барон обнаруживал в себе явные задатки лидера. Потомок шведских рыцарей, он был аристократ до мозга костей. История его семьи иллюстрировала страницы русской славы: один из Врангелей отличился в русско-турецкую войну, взяв крепость Баязет, другой пленил Шамиля, третий совершил два кругосветных путешествия, составил карты побережья Северо-Восточной Сибири и водных путей Аляски... Его дед, отличившийся при штурме Варшавы и в бою под Варной, был губернатором, бабка приходилась троюродной сестрой Пушкина, дядя состоял в тесной дружбе с Достоевским, а брат, погибший в последнюю войну, стяжал известность, как искусствовед, воскресив многие забытые имена, среди которых — Кипренский, Мартос, Росси, и был удостоен за свои труды орденом Почётного легиона. Сам же Пётр Николаевич, прежде чем посвятить жизнь военному делу, окончил Горный институт. Ему, инженеру, легко давались все точные науки, изучаемые в Академии, а потому он охотно помогал товарищам, не обладавшим такой изрядной подготовкой. Академию барон окончил, показав лучший результат, чем нажил себе завистников. Во всех действиях его присутствовала твёрдость, решительность, быстрота, воля и внутреннее благородство. Он обладал редким даром привлекать к себе людей, притягивать и подчинять их без малейшего насилия. Несмотря на столь завидное положение, никакой надменности и заносчивости в Петре Николаевиче не было. В те благодатные годы друзья называли его просто Пайпер по названию его любимого напитка. Так называл барона и Тягаев. По окончании Академии пути их разошлись, но Пётр Сергеевич не

терял его из виду. Да и трудно было потерять из виду офицера, покрывшего себя неувядаемой славой уже в первые дни войны! В битве при Каушене Врангель получил приказ атаковать вражеский оплот своим эскадром в конном строю. Петру Николаевичу удалось отлично использовать местность: эскадрон неожиданно вылетел напротив немецкой батареи, изумлённые немцы не успели изменить прицел и ударили наудачу. Эскадрон шёл в лоб. Непрерывным огнём были выбиты из строя все офицеры, кроме командира. Коня барона убили под ним прямо перед вражескими траншеями, но он вскочил на ноги и с шашкой ринулся к батарее. Вместе с остатками эскадрона Врангель врукопашную дрался на немецких позициях, и в итоге Каушен был взят.

И вот, теперь Пётр Николаевич Врангель был в Петрограде. Узнав об этом, Тягаев, преодолевая мучительную боль в голове, немедленно отправился к нему. Барон был человеком, которому не изменяли воля и разум в любых ситуациях. Именно такой человек и был нужен, чтобы действовать! Полковник сам точно не представлял, какие действия необходимо предпринять, но знал одно: нельзя сидеть сложа руки, нужно делать хоть что-то. Нужно смело и настойчиво двигаться вперёд, невзирая на результаты, как завещал Филипп Оранский. Тягаев рассчитывал, что совместно с Врангелем они смогут разработать план действий, собрать офицеров, разрозненных и затравленных, наладить работу, необходимую для спасения страны. Не мог, не мог Пётр Сергеевич покорно ожидать своей участи, не мог бездействовать. Вся жизнь его была подчинена Долгу, и перед ним отступала на второй план жена, семья, на которую почти не оставалось времени, и теперь Долг велел искать единомышленников и делать хоть что-либо.

Барон был рад видеть старого товарища. Но ещё больше рад был Тягаев, найдя Петра Николаевича почти не изменившимся со времён Академии. Та же стать, та же спокойная и трезвая уверенность в себе, то же горячее желание действовать, тот же властный и подчиняющий себе взор выпуклых, необычайно светлых глаз... А главное — генеральский мундир с вензелями Наследника Цесаревича на погонах! И никаких красных ленточек! Уже по первому взгляду понял полковник, что не ошибся в своих расчётах.

— Не опасаясь так явно выделяться на общем фоне? — полушутя осведомился Тягаев, обращая внимание на форму барона.

— Ничуть. Я целый день проходил так по городу, и ни один каналья не посмел сделать какого-либо выпада по моему адресу, — ответил генерал.

— И каковы впечатления? От улицы.

— От улицы, от поездов и вокзалов, от всего впечатление одно: это анархия! Это, возможно, конец! Неописуемое что-то! Какая-то вакханалия словоизвержения. Будто бы столетиями молчавший обыватель ныне спешит наговориться досыта, нагнать утерянное время. А эти красные банты! Ты, я вижу, тоже не принял этой новой формы одежды?

— Подобная форма кажется мне... — Пётр Сергеевич помедлил, — низостью!

— Вот! — барон поднял долгий палец. — Трусливость и лакейское раболепие, малодушие, не достойное порядочных людей! Заслуженные генералы покрывают позором свои седины!

— Великий князь Кирилл...

— Слышал! — Врангель поморщился. — До чего же все опустились!

— Россия впервые за долгие века лишилась Монарха. Это великая трагедия.

— Твоя правда. Опасность состоит уже в уничтожении самой идеи монархии, исчезновении самого Монарха. Что должен испытывать русский офицер или солдат, сызмала воспитанный в идее нерушимости присяги и верности Царю, в этих понятиях прошедший службу, видевший в этом главный понятный ему смысл войны... Старшие руководители растерялись и ничего не умеют толком объяснить армии, овладеть её психологией. Зато в этом преуспевают различные тёмные субъекты из Советов и комитетов, чёрт бы взял их со всеми потрохами! — глаза барона блеснули. — Ты не можешь вообразить себе, Пётр Сергеевич, какой эффект в армии произвёл Приказ № 1 Петросовета! Крымов в отчаянии. Я должен был передать его письмо Гучкову. Он пишет в нём, что те, кто втягивают армию в политику, творят преступление.

— Боюсь, ты напрасно потратишь время, — заметил Тягаев.

— Крымов верит Гучкову. Он давно с ним знаком, и тем сильнее потрясён, как мог Александр Иванович допустить выход такого приказа.

— Лично я не верю ни Гучкову, ни кому бы то ни было из этой братии. Гучков, конечно, человек смелый и умный. Я даже готов признать в нём патриота. Но он перешагнул грань, которую не подобает перешагивать порядочному человеку. Борясь с негативными процессами, которые, безусловно, имели место, и отдельными фигурами, взлетевшими недопустимо высоко, он вначале стал бороться с Государем, доходя до самых низких приёмов, а, в итоге, не заметив того, стал бороться и с самой Россией! К слову, насколько мне известно, Гучкова нет теперь в Петербурге.

— Я знаю, — кивнул Врангель и добавил с едва уловимой неприязнью. — Сегодня я был весьма любезно принят Милюковым...

— Милюков — подлец! — вспыхнул Тягаев, чувствуя, как от нервного тика задёргалась щека. — Это он вместе с Гучковым и прочими своей гнусной ложью о сепаратном мире довели армию и всю страну до этого позора! Что же он сказал тебе?

— Сказал, что то, что я пытался донести до него, весьма интересно, — мрачно отозвался барон. — Что он передаст Гучкову. И что их сведения, полученные от других представителей армии, освещают вопрос иначе.

— Интересно, о каких таких представителях идёт речь? Об этой краснобантовой швали? О комиссарах и революционных солдатах?!

— Я задал ему в точности такой вопрос. Он ничего не ответил. Сказал, что Александр Иванович компетентнее его в этих делах, а потому мне лучше дожидаться его.

— Результат будет тем же! Что же, станешь ждать?

— Нет, я получил приказ Крымова немедленно возвращаться в Кишинёв. Сегодня вечером уезжаю.

Тягаев был разочарован. Дела не выходило. Пётр Сергеевич рвался на фронт, но раны удерживали его в столице. В этом, впрочем, полковник находил для себя один плюс: ему не пришлось присягать ненавистному Временному правительству.

Врангель, однако же, вскоре возвратился в Петроград. Не разделяя надежды генерала Крымова на казаков, хорошо зная их психологию, стремление к обособленности и полагая, что они могут легко стать орудием в руках известных кругов, Пётр Николаевич не счёл для себя возможным быть ближайшим помощником Александра Михайловича, и теперь ожидал нового назначения. Оказавшись в столице, Врангель немедленно пригласил к себе Тягаева, и тут речь пошла о том, что с первых революционных дней жгло душу полковника.

— Власть безвольна и бездарна, — говорил барон, шагая по комнате. — Они ничего не могут. Говорить с ними не о чем. Но всего хуже, что это безволие и бездарность поразили и парализовали почти всё общество. Только большевики проявляют активность. Растерянность, безразличие, столь свойственное русским людям, неумение договориться и организовать, какое-то непонятное легкомыслие и болтливость наблюдается кругом! Все говорят о необходимости организовать, все конспирируют на словах, но никакой серьёзной работы не ведётся! В Ставке под руководством Алексеева и Деникина сформировался союз офицеров, ведущий полезную и действенную работу, но здесь, в Петербурге, складывается атмосфера, которая может лишь повредить престижу армии. Завелись непротивленцы, желающие сделать карьеру, принимая революцию. Нам нужна военная организация в столице, располагающая хотя бы небольшими военными силами и могущая выступить в нужную минуту! А такая минута при нынешней власти, а, вернее, безвластии, придёт очень скоро. И нужен вождь, популярный в армии, обладающий твёрдой и непреклонной решимостью, требования которого, опирающиеся на штыки, были бы выполнены.

— Петр Николаевич, да ведь это то, о чём я думаю уже два месяца! — горячо воскликнул Тягаев. — Необходима организация, необходима конкретная и чётко отлаженная работа! И время не ждёт!

— Ты знаешь людей, на которых можно рассчитывать?

— Думаю, что могу ручаться за нескольких, — кивнул полковник.

— Отлично. Ко мне уже обращался ряд лиц из уже существующих организаций и частей столичного

гарнизона. Будем объединять разрозненные группы в единый кулак.

С того дня работа закипела. Барон лично встречался со многими офицерами и скоро установил контакты с целым рядом частей. Ожидая назначения в армию, Пётр Николаевич спешил и попутно искал подходящего человека, чтобы порекомендовать ему налаживаемое дело. Выбор его пал на своего однополчанина графа Палена. Прослужив всю жизнь в гвардии в Петербурге, он был известен, пользовался уважением Петроградского гарнизона, был аккуратен, молчалив и честен. На роль вождя был намечен генерал Корнилов, обладающий исключительным авторитетом в армии и занимающий как нельзя более удобный для намеченного дела пост начальника Петроградского военного округа. Однако, в начале мая Лавр Георгиевич отбыл на фронт, окончательно разойдясь с Советом. Это несколько спутало карты. Было предложено сделать ставку на генерала Лечицкого, авторитет которого был сравним с корниловским. К нему Пётр Николаевич отправился лично. Бывший командующий Девятой армией внимательно выслушал барона, но принять на себя нелёгкую ношу вождя отказался:

— Всё, что вы говорите, совершенно верно. Мы все так думаем. Но я заместителем генерала Корнилова не буду. Я из армии ушёл, так как не мог примириться с новыми порядками. Я старый солдат. Здесь же нужен человек не только твёрдый и честный, но и гибкий. Кто-либо более молодой, вероятно, подойдёт больше.

После отказа Лечицкого решено было всё же войти в связь с Корниловым, продолжавшим поддерживать контакты со многими лицами в Петрограде. Связь была установлена через ординарца Лавра Георгиевича Завойко.

В июне Врангель получил новое назначение и покинул столицу. Дальнейшая деятельность

организации осуществлялась уже без него. Тягаев активно включился в работу, пренебрегая советами врачей, рекомендовавших ему более спокойный и размеренный образ жизни. Время от времени тяжёлые приступы сваливали его в постель. В эти дни ему казалось, что голова разрывается от десятка взрывов, перед глазами всё плыло, и время от времени сознание затуманивал бред, в котором Пётр Сергеевич снова и снова шёл в атаку, ведя за собой своих солдат... Нервы полковника были напряжены до предела. Его раздражала медлительность работы, равнодушие общества, халатность и безответственность отдельных членов организации. Он был уверен, что находишься Врангель в столице, дело пошло бы более быстро.

Всё рухнуло в конце августа, в тот день, когда Корнилов был объявлен предателем. Конфликта правительства со Ставкой именно в это время никто не ждал. Известие о движении на Петроград Крымова застало организацию врасплох. Какой-то неизвестный полковник прибыл к Палену и, отказавшись назвать себя и предъявить документы, заявил, что послан Крымовым, чтобы предупредить о его приближении к городу. Опасаясь провокации, граф отказался от каких-либо переговоров. Дивизия Крымова замешкалась на подступах к столице. Генерал прибыл в Петроград, встретился с Керенским и застрелился со словами: «Я решил умереть, потому что слишком люблю Родину». То был настоящий крах. По городу прокатились аресты. Некоторые члены организации бежали, другие во главе с Паленом вынуждены были скрываться. Тягаев же остался на своей квартире, поскольку просто не в силах был двинуться с места. Нервная обстановка последних дней спровоцировала очередной, сильнейший за последнее время приступ. Когда аресты прекратились, и всё немного утихло, некоторые члены организации вернулись. Оправившийся от болезни Пётр Сергеевич

встречался с ними, отчаянно пытаюсь сохранить хоть какое-то ядро на будущее, не дать делу разрушиться окончательно. К его радости, в те дни в столицу в ожидании очередного назначения вернулся Врангель. Встретились в имении Всеволжского «Рябово», где скрывался Пален.

— Всего несколько месяцев назад Россия свергла своего Монарха, — говорил Пётр Николаевич. — Организаторы переворота желали спасти страну от правительства, ведшего её к позорному сепаратному миру. Новое правительство начертало на своём знамени: «Война до победного конца». Оно оказалось ещё бездарнее прежнего и в считанные месяцы довело фронт до полного разложения.

— Этих подлецов нужно перевешать! — не выдержал Тягаев. — Они должны ответить за весь этот позор, которому они причиной!

— В этом позоре было виновато не одно безвольное и бездарное правительство, — покачал головой Врангель. — Ответственность с ним разделяют и старшие военачальники, и весь русский народ. Великое слово «свобода» этот народ заменил произволом и полученную вольность претворил в буйство, грабёж и убийства. Стало быть, отвечать предстоит всему народу.

— Всем нам, — грустно промолвил Пален.

— Мы, кажется, уже отвечаем, — откликнулся Пётр Сергеевич.

Это была последняя встреча Тягаева с Врангелем. Барон был вызван в Ставку. Там его застала весть о приходе к власти большевиков, после чего Пётр Николаевич подал в отставку и уехал к семье в Крым.

Четыре месяца большевистской власти ознаменовались бессудными расправами, бесчисленным множеством декретов, нарастанием в столице голода. Всё это проходило мимо воспалённого взора Петра

Сергеевича. Он уже не метался, как прежде, не находя себе места, а пребывал в состоянии безысходной тоски, завидуя тем своим товарищам, которые приняли смерть в бою и не узнали этого невыносимого стыда. Он читал книги: римских и греческих философов, Гомера, Марка Аврелия, Данте — часами простаивал у окна, невидяще глядя на пустынную улицу, уйдя в свои безотрадные мысли. Жизнь как будто остановилась, умерла, сохранив лишь уродливые внешние формы.

Снег за окном становился всё гуще, и в комнате делалось всё сумрачнее. Тягаев прислонился лбом к стеклу. В памяти назойливо вертелись строчки Гумилёва, единственного поэта из современников, которого Пётр Сергеевич любил:

Для чего мы не означим
Наших дум горячей дрожью,
Наполняем воздух плачем,
Снами, смешанными с ложью.

Для того ль, чтоб бесполезно,
Без блаженства, без печали
Между Временем и Бездной
Начертать свои спирали.

Для того ли, чтоб во мраке,
Полном снов и изобилья,
Бросить тягостные знаки
Утомленья и бессилья.

И когда сойдутся в храме
Сонмы радостных видений,
Быть тяжёлыми камнями
Для грядущих поколений...

В комнату почти бесшумно, чуть шаркая, вошла тёща, Ирина Лавровна, наклонилась к сидевшей за книгой дочери, заговорила полушёпотом. Последние месяцы в его присутствии они почти всегда говорили только так, боясь раздражить его громкой речью. Тягаев был им за это благодарен.

— Картофель опять подорожал. Эти мешочники просто бессовестны... — шептал влажный, мягкий, вздыхающий голос печальной Ирины Лавровны.

— Что же хотеть от них, мама? Привозя сюда продукты, они рискуют жизнью. Ты же знаешь, как с ними борются власти, — глуховато и устало отвечала Лиза. — Мы платим им за риск, а не за картошку.

— Конечно, но скоро платить станет нечем... Ах, если бы нам удалось сберечь наши драгоценности!

— Не нужно было держать их в ящичке трюмо, мама. Тогда бы их не украли.

— Но кто же мог представить, чтобы такие грабежи? Слава Богу, сами живы остались. Другим повезло меньше... Сегодня я встретила Варвару Алексеевну. Она в отчаянии. Их усадьбу сожгли, брата жестоко убили, о его семье ничего не известно.

— Василия Алексеевича убили?

— Да, да... В собственном доме. Растерзали. За что? Он был таким добрым, весёлым, светлым человеком! Чтил Толстого, сам пахал землю... И вдруг!

Тягаев зло подумал, что, пожалуй, очень жаль, что граф Толстой, так заступавшийся некогда за террористов, не дожил до этих окаянных дней. Было бы очень любопытно послушать, как стал бы он призывать теперь к непротивлению и увещевать новую власть. Скольких честных людей сбил с пути этот сумасшедший старик своей проповедью! Приложил, приложил руку Лев Николаевич к всеобщему краху. Невольно, быть может, но разве снимает это вину? Ах, жалость, что не хлебнул сам не без его участия заваренной каши...

Голоса жены и тёщи звучали спокойно и ровно. Вести о гибели кого-либо уже никого не ужасали, став привычными и повседневными.

— А мальчика живого ещё в мертвецкую снесли. Там и умер...

— У Блока библиотеку сожгли в деревне.

— В самом деле?

— Да, и это не помешало ему назвать то, что происходит прекрасным.

— Бедный человек... — грустно вздохнула Ирина Лавровна. — Мне так жаль его. Он искренний, хороший. Но так наивен! Он не вынесет всего этого. С его-то совестью... Измучается, когда поймёт, как страшно всё оканчивается. А он поймёт. Он так честен, так обострённо справедлив.

Пётр Сергеевич скривил губы. Ему никогда не понятно было увлечение Блоком, владевшее всеми женщинами в его доме. Словно был он им родным человеком. Хороший поэт, конечно, но человек беспутный, заблудившийся сам и умножающий заблуждения в душах других. Жалости к нему полковник не находил. В то время, когда лучших офицеров вдевают на штыки, когда невинных расстреливают и предают пыткам, жалеть о человеке, беда которого состоит в собственной расхристанности, человеку, навлекавшем эту проклятую бурю, Тягаев не мог. Впрочем, жене и тёще мыслей своих он не высказал, не желая спорить по не столь уж важному вопросу.

— Знаете, мама, что Александр Александрович сказал Маяковскому? Я, — сказал он, — как и вы, ненавижу Зимний и музеи. Но разрушение так же старо и традиционно, как строительство. Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете, проклятия времени не избыть. Разрушая, мы остаёмся рабами старого мира, нарушение традиций — та же традиция. Одни будут

строить, другие разрушать, поскольку всему своё время под солнцем, но все будут рабами, пока не явится что-то третье, равно не похожее на строительство и на разрушение...

— И что же такое это третье, по его представлению?

— Думаю, он и сам не имеет представления об этом. Он только чувствует так. Грезит...

— Я думаю, Лиза, что грёзы опасны. Все последние годы наши просвещённые умы только и делали, что грезили. И выдавали свои грёзы за правду. И грёзам верили. И, вот, из этого дурмана пришло нечто чудовищное, небывалое. Пришло, чтобы поглотить нас с нашими снами наяву.

— Мама, не переживайте. Вам это вредно.

— Это всем вредно, Лиза. Скажи, как ты думаешь, откуда взялась эта ненависть? Почему они нас так ненавидят? Почему им такое безумное удовольствие доставляет терзать нас, глумиться над нами? Я могу понять жажду отнять какое-то имущество. Это естественно, когда так велик разрыв между материальным положением разных слоёв. Но за что терзать? За что расправляться так жестоко? Откуда такая жажда крови и чужой муки? За что они нам мстят?

— За то, что эти руки, эти пальцы
Не знали плуга, были слишком тонки,
За то, что песни, вечные скитальцы,
Томили только, горестны и звонки.
За всё теперь настало время мести.
Обманный нежный храм слепцы разрушат,
И думы, воры в тишине предместий,
Как нищего, во тьме меня задушат...

— ответил Тягаев словами Гумилёва и обернулся.

Лиза сидела в похожем на трон кресле с прямой, высокой спинкой, величественная и суровая. Её трудно было назвать красивой. Её фигура, не полная, но широкая в кости, крупная, отличалась крепостью и силой. Лицо, слегка продолговатое, рано состарившееся, умное, с аккуратно уложенными каштановыми волосами, носило на себе отпечаток строгости и усталости, даже когда она улыбалась. Впечатление суровости усиливал нос, правильный, но со слегка нависающим кончиком, придающим ему схожесть с клювиком небольшой птицы. Таков же был нос и у её матери. Правда, Ирина Лавровна была гораздо более хрупкого сложения, и лицо её казалось нежным, ранимым, а ясные глаза под стать голосу — всегда увлажнёнными. Лиза же всем видом своим производила впечатление силы, твёрдости, хладнокровия и властности. Она подняла глаза на мужа, констатировала бесстрастно:

— Наконец, ты изволил обратить на нас внимание.

Хотела ещё что-то добавить, но её перебила мать, заговорив взволнованно:

— Как это верно, Пётруша! Обманный нежный храм слепцы разрушат! Но всё-таки это стихотворение не объясняет лютой ненависти и жестокости.

— Я не утверждаю, что объясняет. Просто мне вдруг пришли на память эти строки.

Ирина Лавровна склонила голову набок:

— А мне кажется, я знаю, почему они так ненавидят нас... — голос её заколебался. — Мы — зеркало, в котором они отражаются во всём своём безобразии. Нет, нет, мы зеркала тусклые... А одно есть, чистое — Бог. Они, прежде всех, Бога ненавидят. Потому что он всю черноту, всю мерзость их отражает. А следом и нас. Мы им не за богатство, не за положение ненавистны. Нет! Они зеркало разбивают! Чтобы уже ничто, никто не был укором, не пробуждал в них совести. Они в нас себе

такой укор чувствуют и простить его не могут. Отсюда такое дикое стремление уничтожить! И уничтожить жестоко, надругаться, чтобы осознать свою силу, чтобы кровью душу залить, опьянеть от неё, и уж обезопасить себя тем от голоса совести. Они не нам мстят, а собственной совести. Её они ненавидят, а мы голос её, её воплощение, а потому так терзают нас! Уничтожить, да-да-да... Уничтожить Бога, церкви, иконы, праведников и тех, кто хоть и грешен, но ещё Богу верен, ещё не почернел до конца... Вот в чём дело! — глаза Ирины Лавровны расширились, речь была сбивчивой, сумбурной. — Они всё святое в себе убить хотят, но прежде должны истребить его снаружи, чтобы ничто не напоминало... А мы напоминаем... И они мстят!

— Осатанели они, вот и всё, — отозвалась Лиза, пристукнув крупной ладонью по ручке кресла.

Ирина Лавровна всхлипнула, зябко передёрнула плечами:

— Холодно у нас...

— Да, правда, — согласилась с ней дочь, поднимаясь резко, не касаясь руками подлокотников. — Надо затопить камин. Я принесу дров.

— Я сам принесу, — сказал Пётр Сергеевич.

Не набросив шинели, он лишь прикрыл башлыком погоны, которые не пожелал спарывать, несмотря на все настояния жены, и спустился вниз. Холодный ветер освежил его. Трудно было носить дрова, имея единственную руку, но не мог полковник допустить, чтобы этой тяжёлой работой занималась жена, не мог позволить себе обратиться в калеку. Он — мужчина, хозяин дома, муж, офицер. И нет важности, что жестоко искалечила его война, своего долга он не забудет и не нарушит. Посмотрев на окна своей квартиры, Пётр Сергеевич заметил, что жена наблюдает за ним. Ему вдруг стало совестно перед ней. Что хорошего видела Лиза от него за их супружескую жизнь? Он пропадал в

далёких и опасных экспедициях, выбирая местом службы наиболее трудные районы, на войнах... В кой-то веки добравшись до дома, пропадал в офицерских кружках, обсуждая необходимые для армии реформы, участвуя в их разработке. Даже будучи дома, мыслями он всегда оставался далеко, мысль работала, мысль требовала действия. Даже и поженились они наскоро, и через три дня Пётр Сергеевич отбыл к месту службы. Правда, Лиза никогда не жаловалась, лишь изредка прорывались нотки раздражения на невнимание мужа. Она была слишком гордой, чтобы просить его ласки, его любви. Шутка ли сказать — женщина с высшим образованием, с научной степенью, преподавательница Ксениинского женского института, знакомая со многими поэтами, писателями, политиками, известная в петербургских кругах... Она знала себе цену, она была царицей, она никогда бы не уронила своего достоинства до того, чтобы устраивать сцены или ластиться. Да, кажется, последнего и не умела. Тягаев знал, что жена его отнюдь не бесчувственна, что ведомы ей и любовь, и жалость, но за всю их совместную жизнь не видел он её слёз, не слышал ласковых слов, будто бы стеснялась она их. Лиза, вообще, не любила нежностей, сердилась на них. Превыше всего для неё было её дело, и в этом они были очень схожи. Прожив вместе почти двадцать лет, Пётр Сергеевич не мог сказать уверенно, любил ли он её когда-нибудь по-настоящему. Уважал, восхищался, был благодарен за многое... Но любил ли?

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов
Живёт в таинственном мерцанье
Её расширенных зрачков.
Её душа открыта жадно
Лишь медной музыке стиха,

Пред жизнью дольней и отрадной
Высокомерна и глуха...

Странная женщина была Лиза. Столько величия и неприступности было в чертах и движениях её, что едва ли кому-то могло прийти в голову, что к ней можно обратиться на «ты», допустить фамильярность, приласкать... Как из мрамора отлита. Правда, случись интересной беседе, и оживает гордое изваяние, и молнии сияют в глазах, и щёки краснеют, и блещет удивительный её ум, налитанный энциклопедическими знаниями. И как прекрасна она в такие мгновения! Может быть, такой будет она и сегодня, когда вечером придут близкие друзья...

Гости должны были собраться к восьми часам. К этому времени Лиза и Ирина Лавровна приготовили скромный ужин. Жена старательно уложила красивые волосы, надела тёмно-серое платье, очень идущее ей, и словно помолодела, оживилась. Подойдя к Пётру Сергеевичу, она чуть улыбнулась, и что-то похожее на нежность мелькнуло в её глазах.

— Почему ты так смотришь на меня? — спросил он, целуя ей руку.

— Мне вдруг показалось, что ты — совсем прежний. Красивый мужчина, блестящий офицер, мечта любой женщины...

— Полно тебе, Лиза. Калека не мечта женщины.

— Ты плохо знаешь женщин, друг мой. Раненый рыцарь всегда более любим, чем рыцарь без единой царапины. Раненый рыцарь, кроме восхищения, внушает ещё и участие. Женщины наделены большим воображением. Раненый рыцарь для них непременно будет окружён ореолом мученичества, подвига.

— Откуда ты только всё знаешь? — попытался шутить Тягаев, краем глаза взглянув на себя в

висевшее на стене зеркало. Как будто бы ничего особенного. Разве что тёмная черкеска красит, подчёркивая фигуру и оттеняя бледность лица.

— Я всё знаю, мой дорогой, — устало ответила Елизавета. — Ты сам говорил, что у меня неженский ум. Можешь мне поверить, ты сейчас более чем когда-либо можешь покорить женское сердце.

— Уж не ревнуешь ли ты? По-моему, вблизи нас нет ни одной женщины!

— Я этому рада. Нет, я не ревную... Просто смотрю на тебя и понимаю, насколько безжалостны годы ко мне. Право, я могла бы стареть медленнее и красивее.

— Я не помню, кто это сказал, но время никогда не безобразит, а только безвременье. А ты красива. Особенно сегодня. И это платье идёт тебе необычайно. По-моему, я прежде не видел его.

— Мой дорогой, это платье куплено ещё до войны, и я не раз надевала его. Ты просто не замечал.

— Прости.

— Тебе не за что извиняться, мой раненный рыцарь.

Тягаев почувствовал прилив нежности к жене. Удивительно родной увиделась она ему в эту минуту. Он хотел обнять её, но в дверь позвонили, и из прихожей раздался радостный голос Ирины Лавровны:

— Миша пришёл!

Миша был квартирантом в доме Тягаевых. Ирина Лавровна не могла отказать в комнате племяннику своей старой подруги. К тому же она очень привязалась к Мише, обожала его, как сына, и считала едва ли не ангелом. Справедливости ради, сойти за ангела Мише было довольно легко. Тонкий, изящный молодой человек с ясным, немного застенчивым выражением лица, он был чрезвычайно скромн и молчалив, а к тому же обладал дивным хрустальным голосом. Собственно, именно голосом и зарабатывал он на жизнь, концертируя по разным городам.

Войдя в комнату, Миша поприветствовал Лизу и Петра Сергеевича, перед которым несколько робел, и подошёл к камину. Следом появилась Ирина Лавровна, увещевая сокрушённо:

— Мишенька, голубчик, как же это можно, право? Без шапки! И в таком худом пальто! У вас на волосах иней! Ведь вы простудитесь! Ведь у вас куртка была? На меху. Куда вы надевали?

— Продал, Ирина Лавровна! — Миша робко улыбнулся. — Весна уже, перемогусь. А к следующей зиме что-нибудь справлю.

— Вы с ума сошли! — Ирина Лавровна приложила руки к груди. — Зачем вы это сделали?! Ещё только начало марта! Так холодно!

— Да, — кивнул Тягаев. — Вы погорячились, по моему. Я бы, конечно, одолжил вам мою шинель, да она офицерская, как бы неприятностей вам не вышло.

— О, я бы никогда не принял, Пётр Сергеевич! И не стоит беспокоиться. Скоро уже совсем станет тепло. А сегодня просто мне долго пешком идти пришлось, вот и замёрз. Трамвай остановился посреди пути, и ни с места... Ирина Лавровна, у меня там в мешке консервы. Возьмите, пожалуйста. Мясные.

— Боже мой, голубчик, откуда?

— В концерте сегодня пел. Вместе ещё с несколькими артистами. Криницына была и другие. Вот, нам за это паёк выдали. Там консервы и сухари, кажется.

Ирина Лавровна исчезла в прихожей, оттуда раздался её радостный голос:

— Да ведь это настоящее богатство, Мишенька!

— Вы половину про запас отложите, а остальное сегодня на ужин. Всё-таки праздник, так давно их не было!

— Спасибо вам, милый, — сказала Ирина Лавровна, возвращаясь и целуя Мишу в голову. — Вы очень

славный. Грейтесь, голубчик, грейтесь. И приходите на кухню за кипятком!

Следом за Мишей явился ротмистр Гребенников, служивший долгое время под началом Тягаева. Ещё молодой человек, невысокий, необычайно живой и подвижный, шумный, он обладал лёгким и уживчивым характером, был смешлив и остроумен, лицо его невозможно было назвать сколь-либо красивым, но в нём было что-то забавное, озорное, почти детское и вызывающее симпатию. Володя Гребенников возвратился с фронта ещё осенью, тотчас примкнул к офицерской организации, остатки которой сохранялись в Петрограде, хотя не вели никакой значимой работы, сменил мундир на гражданское платье, устроился работать в какую-то контору и под этим прикрытием конспирировал, выуживал всевозможные сведения, вертелся, как белка в колесе, не теряя обычной весёлости.

Он даже не вошёл в квартиру, а ворвался, влетел в неё, на ходу сбрасывая засаленный тулуп, извлекая из карманов водку, вино и чай, гомоня и пританцовывая.

— Где вы раздобыли? — осведомлялась Ирина Лавровна, расставляя на столе принесённый алкоголь.

— Где раздобыл, там больше нет! — беззаботно откликнулся Володя. — Я ведь знаю, что никто, кроме меня, не принесёт! А какой праздник без водчонки? Ведь это же несерьёзно, позвольте заметить!

— Что, есть какие-нибудь известия? — спросил Пётр Сергеевич.

— Известия... — Володя поморщился. — Господин полковник, вы же знаете, какое наказание теперь с известиями. Еле доходят, да и те не проверишь. Организация наша приказала долго жить. Конспирируют, ждут какого-то похода на Петроград... Нет, позвольте вам заметить, дела здесь делать нельзя.

Славно, что барон Врангель теперь не здесь. Решительно.

— Ты уверен, что это так славно? Откуда ты знаешь, что теперь с генералом?

— По последним данным, он в Крыму.

— И большевики — в Крыму. Говорят, там массовые расправы над офицерами.

— Даже если и так, то генерал из этой передраги выйдет невредим! Решительно!

— Почему ты так уверен?

— Да крепко его ангел его бережёт, позвольте заметить! Нет, Пётр Сергеевич, не может такой человек погибнуть бездарно от рук какой-то мрази. Никак не может! Вы бы видели его, когда мы в Галиции сражались! Ночь, немцы по нам стреляют. Мы на полянке в лесу сидим, чай пьём. Вся бригада наша тут же, лошади. Вдруг — бах! Снаряд разорвался! Прямо рядом с нами. Несколько человек и лошадей покалечило. Солдаты всполошились, иные уже в лес стреканули. А генерал невозмутимо за стол сел и чаю потребовал. Ещё один снаряд совсем рядом с ним ударил, осколок возле него упал. Так он подобрал его и солдатам кинул: «Бери, ребята, горяченький, к чаю на закуску!» Грохнули все, успокоились разом, и уж никакой паники! Да что говорить! Я бы вам случаев таких столько привести мог! С генералом ничего не случится, я уверен. Решительно. А в Петрограде совсем делать нечего, позвольте заметить.

— Что же ты предлагаешь? — осведомился Тягаев.

— А я ещё ничего не предлагал, — лукаво улыбнулся Гребенников. — Кстати, у нас в конторе место освободилось. Не желаете ли занять? Какой-никакой паёк. Лишним не будет.

— Всё возможно. Только ты мне зубы не заговаривай. Сам-то что надумал?

— Пётр Сергеевич, мне думать зело легко, позвольте заметить! Я ж, что перст, один. В поступках своих волен, что птица. Правда и подстреленной и изжаренной птицей до срока стать не хочу. Я, господин полковник, еду-еду, не спешу! Вот, пока тихо-мирно в конторе покручусь ещё. Пока снег не сойдёт, по крайности. А так ведь не всё сумрак, и солнышко проглянет. А проглянет солнышко, так уж и тикать можно. Только бы оказии дождаться подходящей — и айда!

— И куда же?

— Вестимо, на Дон, господин полковник. На Дону наша рать собирается. Да и барон, раз он в Крыму, чует моё сердце, туда подастся. Не останется в стороне.

— Стало быть, на Дон?

— А то куда же? Лишь бы оказия представилась. А не то поспешишь — и напрямик к Духонину в штаб. Я запрягать долго буду, а уж поскачу затем скорее ветра. А вы как, господин полковник? Не хотите в том же направлении отправиться?

— Когда оказия представится, тогда и видно будет, — уклончиво отозвался Тягаев, смутно чувствуя, что ротмистр темнит.

— Оказия представится.

— Решительно?

— Решительно. А вы пока насчёт конторы подумайте, Пётр Сергеевич.

— Я тебя понял, Володя, — кивнул Тягаев. — Я подумаю.

Гребенников повеселел и, покосившись на накрытый стол, спросил:

— А где же, чёрт побери, наш морской волк? Военному человеку непозволительно опаздывать и заставлять ждать себя голодных товарищей!

— В самом деле, запаздывает Борис Васильевич, — заметил полковник, взглянув на часы. — Но мало ли что.

Вот, Михаилу пришлось сегодня несколько кварталов пешком пройти, трамвай остановился. Может, и Кромину не повезло.

Капитан первого ранга Кромин был частым гостем в доме Тягаевых. Дружба их завязалась двенадцать лет назад. Тогда Тягаевы обосновались на новой квартире, и, по счастливому совпадению, молодой моряк оказался их соседом. Так же, как и Пётр Сергеевич, он лишь недавно возвратился с Японской войны, и боль поражения, потеря флота с не меньшей силой жгла ему сердце. Они подружились сразу и крепко. Часами велись жаркие разговоры о положении дел в армии и во флоте, ругали нерешительность и бездарность военного руководства, продумывали необходимые реформы, обращались к примерам прошлого. Вскоре судьба развела их. Кромин увлёкся наукой и скоро отправился в продолжительную экспедицию, Тягаев, уже довольно помотавшийся по разным гарнизонам, решил поступать в Академию. Женившись, Борис Васильевич переехал на другую квартиру, а затем и вовсе получил назначение на Черноморский флот, где и прослужил всю войну. Правда, дружба Тягаева и Кромина не ослабла, они часто писали друг другу, и Кромин, бывая в Петербурге, всегда навещался к Тягаевым, хотя застать дома Петра Сергеевича у него получалось редко. И, вот, теперь Борис Васильевич приехал в столицу. Приехал, чтобы забрать младшего брата жены, юного гардемарина, и переправить его в Гельсингфорс к живущим там родным. По прибытии Кромин сразу дал знать о себе, и Тягаев ожидал его с нетерпением: как-никак не виделись дольше трёх лет! Да и многое мог порассказать Борис Васильевич о положении дел во флоте, в Севастополе...

Кромин опоздал почти на полчаса. Вошёл, отряхиваясь от снега, подтолкнул вперёд себя раздумывавшегося с холода парнишку-гардемарина:

— Вот-с, господа, рекомендую вам будущую гордость флота российского! Евгений Ромуальдович Викланд, брат супруги моей.

— Здравия желаю! — бодро отдал честь гардемарин.

— И вам, голубчик, не хворать, — улыбнулась Ирина Лавровна. — Проходите к огню, грейтесь.

— Покорнейше благодарю!

Кромин поклонился хозяйке, поцеловал руку:

— Великодушно извините нас, Лизонька, за опоздание! Бог знает, что в городе творится! Транспорта никакого, единственный извозчик, который нам встретился, заломил такую цену, что я просто из принципу пешком предпочёл идти!

— Что поделаешь, друг мой, анархия! — усмехнулся Тягаев. — Чертовски рад видеть тебя, ей-богу!

— Я не простил бы себе, если б уехал, не повидавшись!

Обнялись крепко.

— Ну, что ж мы в прихожей? Пройдём в комнату!

Борис Васильевич разгладил густые усы, завитые на концах, и прошёл следом за хозяином своей тяжеловатой походкой. Невысокий, кряжистый, похожий на простого русского землепашца, Кромин не чужд был при этом некоторой барственности. Одет каперанг был в мундир, но погон на нём не было.

— Пришлось-таки спороть, как видишь, — словно извиняясь, сказал он Тягаеву. — Сам понимаешь, за офицерские погоны можно и штыком в брюхо схлопотать. А мне ещё мальчонку вывезти надо. Чёрт знает, что творится! Эмилия, должно быть, сходит с ума. В Севастополе получил от неё последнее письмо. Умоляла вызволить брата и ехать немедленно к ней. Бедняжка, после падения Риги ей пришлось перебраться в Гельсингфорс. Счастье ещё, что это

случилось уже после всех кровавых событий, которые были там.

— Почему она не поехала с тобой в Севастополь?

— Я сам этого не захотел. Эмилия женщина нервная, болезненная. Она привыкла жить в семье, с матерью и сестрой. К тому же у нас двое детей. Ей было бы трудно приспособиться к жизни в Севастополе. Нам обоим так спокойнее было.

— Стало быть, вы теперь едете в Гельсингфорс? — спросила Лиза.

— Точно так-с, Елизавета Кирилловна. Уже и документы выправил.

— И что же, насовсем? — осторожно поинтересовался Тягаев.

— Как судьба распорядится, — пожал плечами Кромин. — Разве можно сейчас с уверенностью говорить о чём-то? Хотя не буду врать, к тихой гавани я покуда не готов. К большевикам на службу идти не могу, в наёмники как-то не хочется... В общем, ничего не знаю пока. Вот, отвезу Женьку к родным, переведу дух, успокою Эмилию, осмотрюсь, а там буду путь искать.

— Господа! — раздался звонкий голос Гребенникова. — Это просто возмутительно, наконец! Борис Васильевич, мы вас уже и так заждались! — подойдя, он протянул каперангу руку. — Здравствуйте! Господа, вы тут секретничаете, а всё, между прочим, простывает!

— Господа, прошу к столу! — позвала Ирина Лавровна.

— Что происходит в Севастополе? — спросил Пётр Сергеевич за ужином.

— То же, что и везде, — ответил Кромин. — С той поры, как Колчак вынужден был оставить пост, на флоте совершенная анархия началась. Он ещё как-то сдерживал её, а без него... — Борис Васильевич махнул рукой. — Мы, старшие офицеры, пытались уговорить его

остаться, но он был непреклонен. Неподчинения он не мог вынести. Уехал... Впрочем, навряд ли он сумел бы остановить эту волну, разве что замедлить немного. Быть может, он и верно сделал, что не стал дожидаться конца. Только, вот, где он теперь? В Америке? Или шут знает где ещё? Сколько лет стоял наш флот у берегов Севастополя! Сколько побед одержал! Как гордо реял флаг Андреевский! А теперь — что? Корабли не выходят в море, матросы делают, что хотят, командиры боятся сделать замечание им! Правда, среди матросов есть и те, которые понимают всё, которым смута не по нутру. Я говорил с такими, они осуждали своих ошалевших сотоварищей. Но только антер ну! Как только доходило дело до какой-нибудь забастовки, и они принимали сторону бастующих, боясь, чтобы их не заподозрили в сочувствие «офицерью» и контрреволюции! Вообразите, всякий нормальный, трезвый человек вынужден стал подчиняться негодяям и безумцам «страха ради иудейска»! И тот матрос, который с глазу на глаз со мной возмущался разрухой, назавтра, чтобы не отстать от своих, вынес бы мне смертный приговор! Но самое любопытное, что многие из этих людей сами не понимают, что с ними творится, будто скрутила их болезнь неведомая! Иду я однажды по палубе и едва не споткнулся о спящего часового. Стою, смотрю на него. Наконец, просыпается. И, видать, ещё не до конца очнувшись, перепугался, вскочил, вытянулся, дрожит, потом обливается: «Не понимаю, как это случилось, ваше превосходительство! Я всегда был исполнительным, честным матросом, ваше превосходительство! Это случилось со мной в первый раз! Сжальтесь, ваше превосходительство! У меня жена, дети...» И вдруг осёкся! Очнулся, понимаете ли, и вспомнил, что теперь офицер — ничто, что теперь он сам — хозяин. И сразу распустился, и совсем другим тоном уже заговорил: «Что вы на меня уставились,

командир? Я просто на минуту расслабился! Что здесь плохого!» Сукин сын! — Кромин выпил рюмку водки, поморщился. — А один как-то сказал мне, что сам себя боится...

— Эти люди, действительно, больны, — промолвила Лиза. — Их поразили трихины...

— Что, простите? — вскинул голову Гребенников, уже порядком стреляющий глазом.

— Это из Достоевского. Разве вы не помните?

— Простите, Елизавета Кирилловна, я не книгочей.

— Напрасно! Вот, постойте-ка, я вам прочту сейчас! — Лиза быстро встала и, подойдя к книжному шкафу, извлекла из него пухлый, зачитанный том Достоевского, открыла одну из заложённых страниц. — Слушайте! «Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для

чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спасти во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса...»

— Да... — протянул Гребенников. — Иногда невредно почитать книги. Смотри-ка как, а! Точно всё про нас! Решительно! Хорошо бы оказаться в числе этих нескольких избранных, однако!

— Успокойтесь, ротмистр, нам это не выгорит, — сказал Тягаев. — Мы с вами люди не чистые!

— Что правда, то правда, — легко согласился Володя. — Водчонки не желаете?

— Не откажусь!

— Керенский, мерзавец, — раздражённо заговорил Кромин, — впустил в страну всю эту сволочь! Большевиков-с! Ленина с Троцким! Меня исключительно занимает один вопрос, этот негодяй сотворил всё это сознательно или он совсем идиот?!

— Вскрытие покажет, как говаривал один доктор, меня штопавший, — невозмутимо откликнулся Володя.

— Он не только запустил их! — горячо поддержал Кромина Пётр Сергеевич. — Он же раздал рабочим оружие «для обороны столицы от Корнилова»!

— Мерзавец!

— И с этим-то оружием они и вышли в октябре! О, попался бы мне в руки, этот господин первый министр! Я бы его повесил, я бы... Раздавил, как гадину! — Тягаев сжал кулак.

— Господин полковник, а не составить ли нам список, кого первоочерёдно надо повесить? — пошутил Гребенников. — Я предлагаю Троцкого!

— Ленина! — вскрикнул гардемарин.

— Молодец, юноша! — одобрил Володя. — А что, Евгений, видали вы Ленина?

— Так точно! Мы с товарищами ещё шутку выкинули тогда, нас чуть под орех не разделали!

— Ну-ка? — нахмурился Кромин. — Рассказывай, братец, что ты накуролесил. Слава Богу, сестра твоя тебя не слышит.

— Да ничего такого... — гардемарин слегка смутился, но тотчас оживился вновь и принялся рассказывать. — Мы тогда у дома Кшесинской были! А на балкон Ленин со своими приспешниками вышел. Как пошли кривляться да кричать! Толпа собралась на них поглазеть. Дядька какой-то головой качал: «Ишь, его разбирает, сердечного! Точно кликуша на церковной паперти!»

Гребенников расхохотался:

— Браво! Так и есть! Продолжайте, юноша!

— Там спор ещё завязался! Старуха спрашивает, из каких они будут, не из итальянцев ли? Кто-то сказал, что французы...

— Жиды, — весомо заявил Володя.

— А господин какой-то шутами их обозвал. А мы с Николашей развеселились и пошутковать решили. Как начал Ленин кулаками по балюстраде шарахать, так мы давай Бог орать: «Браво, Кшесинская!»

— Ай да молодцы! — покатился ротмистр со смеху.

— Уши бы тебе надрать за такие шутки, — буркнул Кромин. — Что, не побили вас?

— Собирались, — признался гардемарин. — Но милиция арестовать успела!

— Ещё не легче! Как же вас отпустили?

— Да очень просто... Они суд открытый учинили. Зашумели там, что мы контрреволюционеры. А мы, не сморгнув, объяснили, что в столице впервые, что указали нам дом знаменитой балерины, что стояли далече и, увидав в темноте танцующую фигуру, искренне подумали, что то и есть Кшесинская. Ну, они только руками развели и отпустили.

— Ай да гардемарин! — Гребенников уже корчился от хохота, и остальные присутствующие не могли сдержать улыбок. Женя же был страшно доволен и чувствовал себя почти героем.

— А всё-таки, господа, что же будет теперь, как вы полагаете? — спросил Кромин, когда всеобщее веселье прекратилось. — С Россией?

— Болящий до смерти на выздоровление надеется, — отозвался Тягаев. — Но можно быть уверенными, что времена ждут нас очень тяжёлые. России, которую мы знали и любили, больше не существует. Нам предстоит ещё многое перенести, многое сделать. Боюсь, правда, что в итоге большая часть наших усилий пропадёт зря. Может быть, когда-то всё и образуется, но увидим ли мы это счастливое время?

— Да, — вздохнул Гребенников. — И наша правда будет, да нас тогда не будет...

— Во всяком случае, всем нам потребуется всё наше терпение и мужество, — заключил Тягаев.

— За терпение и мужество! — Гребенников поднял рюмку.

— Ты бы не частил так, Володя. Развезёт, — заметил Пётр Сергеевич. Он поднялся из-за стола и прошёл по комнате. Ему страстно хотелось говорить обо всём и сразу, им владело нервное возбуждение, а голова уже

была немного затуманена выпитым спиртным. Понемногу раздражаясь, Тягаев заговорил: — Мы ни к чему оказались не готовы! Сначала не готовы оказались к Японской войне, затем не успели достаточно подготовиться к Германской... К революции мы тоже оказались не готовы! А почему? Почему нас всё и всегда застаёт врасплох?! Потому что мы не умеем слушать мудрецов, которые прозирали это загодя, потому что не знаем себя! Сунь Цзы дал прекрасную заповедь победы: «Знай своего врага, знай самого себя, и победа твоя станет неизбежной!» А что же мы? Своих врагов мы знаем лишь в общих чертах. Поверхностно. А чаще лишь в карикатурном виде, хотя они совсем не карикатурны! Над большевиками смеялись! Шуты! Покуролесят да канут в небытие! А они не были шутами! Скорее шутами были мы все! Белыми клоунами, трагическими, нелепыми, невольными... Нас сделали клоунами! Мы стали клоунами, потому что вся Россия обратилась в балаган! Все эти заговорщики, пламенные трибуны, певуны, лучшие умы России — они были шутами! И даже не замечали этого! Не замечали, что они — смешны! А потешались над теми, кто совсем-таки не был смешон, но кто, в результате, посмеётся последним... Над большевиками... Шуты, говорите? Эти шуты истребят всё и вся, не остановятся ни перед чем. Они шуты, быть может, но лишь в той мере, в которой шутот считается дьявол... А мы! Как смешны мы были в своих надеждах! У меня, впрочем, не было их, но и я, должно быть, смешон... Нет, мы не знаем своего врага. Но больше того, мы самих себя не знаем! Не знаем своего народа, своей души... Мы слепцы, тычемся по углам, а поводыри наши оказались столь же слепы, и повели нас в пропасть...

— Полноте, господин полковник, — возразил Гребенников. — Можно подумать, что большевики знают народ!

— Они знают худшие черты его, его бездну. И к ней взывают не без успеха!

— Достоевский предсказывал, что толпа пойдёт за тем, кто провозгласит право на бесчестье, — подтвердила Лиза. — В каждом человеке живёт зло. Его нужно лишь разбудить и вооружить идейным оправданием, и оно утвердится. Ты прав, если ты грабишь, потому что грабишь награбленное, ты прав, если ты убиваешь, потому что ты убиваешь врагов, своих поработителей и так далее. Это и есть революционная мораль. Право на бесчестье величайший соблазн. В душе народной разбудили беса, и вот результат.

— Ах, Елизавета Кирилловна, я, по чести сказать, не люблю чертовщины и лишней философии. Бесы, бездны... По мне, так просто бить надо всю эту сволочь, не рассуждая и не рассусоливая и все дела. Решительно!

— Верно! — воскликнул гардемарин.

— А, по-моему, — неожиданно подал голос Миша, — совершенно бесполезно бороться со стихией. Её нужно просто переждать, перетерпеть, пережить... Революция, большевизм — это именно стихия! Блок очень точно показал её в «Двенадцати». Весь этот ветер, вьюга, безумие...

— Ересь это! — жёстко заявил Кромин.

— Нет, позвольте не согласиться с вами! Наш народ — правдоискатель. Он ищет правду. Единую для всех, как едино солнце! Которая бы разом согревала всех! Уже в самом этом искании зарыто зерно великого соблазна!

— В ваших словах есть доля правды, Мишенька, — согласилась Елизавета. — Большевики очень тонко играют на этой черте. Они и сулят как раз всеобщую правду на земле! И сулят вдохновенно!

— А мы и посулить не можем! — нервно вскрикнул Тягаев. — И вдохновения у нас нет! Слов обжигающих нет! А кому нужна правда без красивой оболочки?!

— Помилуйте, что такого особенного обещает эта сволочь? Врут изрядно и что же? — недоумевал Володя.

— Они зовут к себе всех трудящихся и обременённых, провозглашают равенство всех рас, объявляют мир хижинам и войну дворцам, обещают, что последние станут первыми. Рай на земле! Не будет ни богатого, ни бедного, все блага делятся поровну, насытятся алчущие и жаждущие, и не надо будет добывать хлеб в поте лица своего, потому что явятся машины.

— Елизавета Кирилловна, да ведь это — чушь!

— Хуже, Володя, это — плагиат. Плагиат из Священного Писания. Подмена последнего! Чушь? Да! Но какой великий соблазн! И народ — верит! Верит! Народу обещают сытость и равенство. А заплатить за это надо всего лишь одним — отречься от воли своей, стать рабом! Потому что единственный возможный рай на земле — рай рабов! Единственное возможное равенство — равенство посредственностей и нищих! Это опять — Достоевский! Великий Инквизитор! Нет у свободного человека заботы непрерывней и главнее, нежели найти перед кем пасть на колени! Выбор между сытым рабством и голодной волей!

— Всё так, Елизавета Кирилловна, — сказал Кромин. — Только большевистское рабство в отличие от инквизиторского голодным будет! Оно началось уже!

— Но народ они соблазняют именно сытостью! — Лиза разгорячилась, покраснела, и в страстности своей похорошела, как бывало обычно, когда дело доходило до таких споров.

— Самое великое искушение, которым дьявол искушал в пустыне Христа: обрати камни в хлеб, поклонись мне, и дам Тебе власть над всеми царствами

мира... — тихо заговорил Миша. — Христос отверг искушение, а Россия не устояла. Пошла за призраком всемирной правды, за призраком Христа...

— За антихристом! — констатировал Кромин.

— Так идут державным шагом,
Позади — голодный пёс,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от поли невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной поступью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос...

— Оставьте, чёрт побери, ересь эту!

— У Матфея сказано: придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос» и многих прельстят. Ведь это именно об этом стихе!

— А, по-моему, это как раз и есть прельщение! Прельщение человеком, впавшим в прелесть, — заявил Тягаев. — Уверен, он ещё расскается в этих строчках.

— Думается, Александр Александрович, сам точно не знал, что хотел сказать, когда писал эту поэму, — вздохнула Ирина Лавровна. — Ему это так свойственно! Простите, господа, я устала и оставляю вас.

— Доброй ночи, мама, — кивнула Елизавета, остальные присутствующие поднялись, провожая пожилую даму.

Когда Ирина Лавровна ушла, спор продолжился.

— Я верю и верю всем своим существом: наступит день, и Россия в горести и стенании отвернётся от своих обольстителей, — говорил Миша. — Быть может, к этому часу она будет вся истерзанной, поруганной. Но это будет великий день воскресения духа! Россию

охватит страшная скорбь и раскаяние. И все жертвы, приносимые теперь, станут для неё светлым лучом, за которым она потянется к вечному солнцу, к Источнику жизни и радости. И это произойдёт тем быстрее, чем явственнее зло будет лишь с одной стороны! Мы не должны умножать его! Не должны уподобляться врагам! Не должны мстить! Но принимать бич Божий со смирением... И молиться, чтобы Богородица заступилась за Россию! И она заступится!

— Нет! — воскликнул Тягаев, чувствуя как клокочет всё внутри, как дрожит голос, как слёзы подкатывают к глазам. — Нет! Это всё иллюзии! Прекраснодушные надежды, которыми приятно себя тешить, с которыми легче жить! Богородица не заступится за нас! Потому что мы не заслужили Её заступничества! Не заслужили! Мы позволили врагам Бога и России бесчестить наши святыни! Мы оказались безвольны и растерянны, маловерны и, наконец, трусливы! Нам не хватило мужества защитить свою страну! И своего Царя! Мы позволили лишить себя всего! Чести! Родины! Государя! Мы сами отдали всё на поругание! И за это мы прокляты! — Пётр Сергеевич уже кричал, не слыша своего крика, не владея собой. — Прокляты! Оглашены! Бог отвернулся от нас! И молитв наших не слышит! И поделом! Наше место теперь в притворе, наше дело теперь отмаливать иудин грех, каяться и смывать позор кровью, своей и вражеской... Вы призываете к непротивлению? Ложь! Именно за него и достойны мы проклятия! За равнодушие! За расслабленность! И не отказом от борьбы мы можем и обязаны заслужить заступничество Богородицы! А борьбой! В смертельной схватке искупить грехи перед Богом и Отечеством! А иначе — конец! Конец! Не достойны мы ни жизни на этом свете, ни спасения на том! А достойны только презрения и анафемы! — полковник глухо застонал и закрыл лицо рукой.

На некоторое время повисло молчание. Тягаев немного успокоился, вернулся к столу, выпил полбокала вина и глубоко вздохнул.

— Я, в общем и целом, согласен с тобой, Пётр, — задумчиво протянул Кромин, постукивая пальцами по столу. — Наша вина велика. Перед Родиной, перед Богом... Но вины перед отрекшимся Государем я не чувствую.

— Вот как?

— Прости, но я полагаю, что отречение было предательством со стороны Императора. Во всяком случае, актом малодушия, которое непростительно для государственного мужа. Я всю жизнь служил Царю верой и правдой, но сейчас я сомневаюсь в том, что в России должна быть, во что бы то ни стало, возрождена монархия.

— Что ты говоришь! — возмутился Тягаев.

— Я говорю, что последние годы самодержавия ярко показали его упадок. Все эти Распутины, Вырубовы, Штюрмеры, Протопоповы и прочая дрянь довели Россию до революции! Великая трагедия в том состоит, что в столь тяжёлые для России годы, во главе её оказались неуравновешенная несчастная женщина, доведённая до нервного расстройства болезнью своего единственного сына, но при том наделённая сильной волей, и добрый, но слабый мужчина, подчинивший свою волю её.

— Я просил бы тебя, Боря, быть более корректным в выборе выражений. Я присягал Государю, а после не присягал никому, а потому не позволю отзываться о нём непочтительно, — холодно сказал Тягаев.

— Я сказал правду, Пётр. Верноподданнические чувства святы и прекрасны, но нельзя на реальность закрывать глаза. Вся эта министерская чехарда! Этот кружок Императрицы! Этот гнусный «старец»! Пётр, ты не можешь отрицать, что всё это нанесло колоссальный урон монархии. Большой, нежели все революционеры.

Государь не умел выбирать себе окружения. Именно поэтому в критический момент с ним никого не оказалось рядом, все предали его и оставили. Это личное несчастье Императора, но главное, что это несчастье России. А этот гуманизм! Мягкость! Если бы он подавил всю эту шушеру твёрдой рукой, а не цацкался с ней!

— О, да! Я согласен! Слишком добр был Государь! Нужно было больше вешать! А он жалел своих подданных!

— Своих подданных лучше было пожалеть, когда их, как пушечное мясо бросали в атаки в обе войны, посылали на убой только потому, что Государю было неудобно сменить штабную, теплохладную заваль на более молодых, умелых и талантливых людей! Сколько жизней сгубили зазря? А ведь это система была! Везде! Множили бездарность повсеместно! Если и отправляли в отставку кого, так тотчас находили ему другое тёплое место! И всё это как ком росло! И доросло, наконец! А у Государя не хватало воли, чтобы разогнать всю эту камарилью и заменить её людьми грамотными и дельными. А ведь они были! Пусть и не так много, как хотелось бы, а были! Скажешь, что я неправ?

Тягаев нервно покусывал губу:

— Я не утверждаю, что всё было прекрасно и идеально. Были ошибки. И даже непростительные... Но Государь желал только блага своей стране и народу. И потом, Боря, как офицер и монархист, я не считаю допустимым обсуждение личности Императора, во-первых. Во-вторых, считаю величайшей подлостью то, как повели себя отдельные старшие начальники и деятели в истории с отречением. В-третьих, учитывая нынешнее положение Августейшей Семьи, опасность, которая ей угрожает, по нашему общему допущению, я считаю, что мы не имеем право судить Императора. У нас грехов больше... Наконец, дело не в личности

Монарха, а в самой монархии. Никакого иного строя в России быть не может.

— Монархия не может существовать без личности. Я не против монархии, но я не вижу фигуры, которую можно было бы возвести на престол. Великий Князь Михаил отрёкся. Николай Николаевич тоже не проявил достаточного мужества, подчинился Временному правительству. Так кому же прикажешь присягнуть? Великому Князю Кириллу, щеголявшему красным бантом и предавшему своего Царя? Покажите мне личность, и я с готовностью присягну ей и буду служить, как пёс! А коль нет её, так все разговоры о монархии — это пока что лишь прекрасная мечта, идеал, к которому, быть может, стоит стремиться, но который реальности не должен заслонять. А реальность такова, что монархия пала! И я не считаю, что падение её есть и конец России! Россия больше монархии!

— Больше. Но, тем не менее, я никогда не отрекусь от своего Государя и останусь верным своей присяге. И я боюсь, что падение монархии есть событие, гораздо более страшное и губительное для России, чем ты себе это представляешь...

Гардемарин нетрезво икнул, и продекламировал слегка заплетающимся языком:

— Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жён
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мёртвых тел
Начнёт бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;

И зарево окрасит волны рек...

Лиза хлопнула в ладоши:

— Всё, господа, довольно! Не хватало ещё нам здесь перессориться! Вот, господин ротмистр уже устал от наших разговоров, — кивнула она на Гребенникова, мирно дремавшего, положив голову на стол.

— А я ведь предупреждал, что развезёт, — покачал головой Тягаев, поправляя съехавшее на бок пенсне. — И всё-таки...

— Прошу тебя, Петруша, оставим этот разговор. Уже очень поздно, и мы, может быть, в последний раз собрались сегодня вместе. Не будем портить этой встречи.

— Ты права, Лиза. Мы слишком распалились... Не стоило...

— Давайте лучше попросим Мишеньку спеть нам что-нибудь. Миша, мы просим вас!

— Ваша воля для меня закон, Елизавета Кирилловна, — чуть улыбнулся Миша и, немедленно сев за фортепиано, скользнул тонкими пальцами по клавишам и затянул своим удивительно красивым, редким по тембру и чистоте голосом:

— Замело тебя снегом, Россия...
Закружило седой пеленой,
И слепая, жестокая сила
Панихиду поёт над тобой...

За окном свистела вьюга, тихо потрескивал камин в полухолодной, сумрачной комнате, из обстановки которой часть мебели уже была обменена на скудную снедь, за скромным столом, быть может, в последний раз, сидели три русских офицера, юноша-гардемарин и

строгая, отчего-то торжественная в эту минуту женщина с усталым взором, и звучала, щемящая сердце, песня... От этой песни у Тягаева ком подкатил к горлу, и по щекам потекли слёзы, коих ничуть не было стыдно ему в это высокое, светло-скорбное, удивительное мгновение.

Глава 6. Подснежники

16–17 марта 1918 года. Дон

Ох, и опростоволосилась ныне доблестная конница полковника Гершельмана! Надо же было так бездарно отдать большевикам важный стратегический объект, утром почти без боя занятый Корниловским полком... С каждым днём всё тяжелее становилось положение кочующей армии. Из Екатеринодара доходили туманные и тревожные слухи. Красные наращивали силы. Некто Автономов, «главнокомандующий войсками Северного Кавказа», собрав эшелоны бывшей Кавказской армии, вёл успешную борьбу с кубанской столицей. Большевистские бронепоезда контролировали железнодорожные линии, что создавало огромную угрозу для Добровольцев. Армия готовилась к серьёзным боям, рассчитывая пополнить до предела оскудевшие запасы оружия на отбитых у красных станциях. Линию Екатеринодар–Тихорецкая решено было переходить в районе станицы Выселки. Последнюю-то и заняли утром второго марта Корниловцы, после чего двинулись дальше, оставив заслоном дивизион Гершельмана. Но заслон по каким-то лишь ему известным причинам покинул вверенную ему станцию, и она тотчас была вновь занята крупными силами противника. Выселки нужно было вернуть, во что бы то ни стало, и генерал Богаевский получил приказ выполнить эту задачу силами своего Партизанского полка.

Ночь выдалась тёмной и холодной. Партизаны смертельно устали, а в два часа этой беспросветной ночи уже ожидала их команда: «Подъём!» А вслед за ней — долгий семивёрстный путь до брошенной

конницей станции, а там бой... И, может быть, для кого-то мучительная команда «подъём!» прозвучит среди кромешного мрака в последний раз... Но никакая мысль, никакое волнение не могло теперь лишить бойцов сна. Хоть на несколько часов дать отдых усталым членам, забыться... Как быстро пройдут они, что и не почувствуешь, но ни секунды из них не уступить...

В детстве Саша Рассольников засыпал на мягкой перине, под тёплым одеялом. И перед сном мама на цыпочках входила в комнату и ласково целовала его в лоб. Тогда Саша часто не мог уснуть. Едва мама уходила, он затепливал свечу и, достав из-под подушки очередную книгу, набрасывался на неё со всей страстью, и детское воображение рисовало картины далёких стран, опасных приключений и подвигов, в которых он всегда был рядом с любимыми героями. Ах, что это были за удивительные книги! Дюма, Майн-Рид, Вальтер Скотт, Стивенсон, Жюль Верн... Саша буквально кожей ощущал всё, что приходилось испытывать героям, вместе с ними он сражался и погибал в боях, защищал честь прекрасных дам и служил благородным суверенам, путешествовал по диковинным землям Африки, Австралии и других стран, попадал в штормы и воевал с бледнолицыми на стороне индейцев... Увлечение Жюлем Верном породило в мальчике любовь к географии, он с интересом сам составлял карты, отмечая на них маршруты подлинных и литературных путешественников, старался узнать как можно больше о далёких землях и населяющих их народах. Из книг вывел Саша твёрдое понятие о долге и чести и мечтал во всём следовать примеру отважных героев, быть таким же сильным, храбрым и благородным, как они. Ах, что это были за герои! Айвенго, Квентин Дорвард, капитан Дик Сэнд... И ведь многие из них были совсем немного старше самого Саши! И он мог бы стать таким! Не может быть, чтобы в такое прекрасное время, когда

совершается столько открытий, не стало места подвигу и приключению! Не раз думал Саша просто-напросто сбежать из дома, поступить юнгой на какой-нибудь корабль и уплыть к далёким берегам, не раз рисовал себе план такого побега и даже делился им с лучшим другом Адей Митрофановым, но тот рассудил, что из этого плана ничего не выйдет. Адя, бывший на год старше, всегда отличался рассудительностью. Он не увлекался романами и чужестранными героями в той мере, что Саша, а руководствовался примерами из родной истории: он никогда не разлучался с книгой о Суворове, зачитывался жизнеописаниями героев 1812-го года, обороны Севастополя, Кавказской войны, русских первопроходцев... По его просьбе, отец, сотник Лейб-гвардии Казачьего полка, выписывал для него специальные журналы, и Адя прочитывал их от корки до корки. А Саша всё бредил благородными рыцарями, пробовал сочинять сам, читал другу свои первые стихи и рассказы. Сочинял он их тоже ночью, тайком. И эти ночные бдения были счастливейшими мгновениями его жизни! Проносились незаметно часы, и, вот, уже первые проблески зари розовели за окном, и тогда только голова Саши касалась подушки, и он засыпал, полный восторженных мечтаний. А утром мама никак не могла добудиться спящее мёртвым сном чадо, закрывавшееся с головой одеялом, жалобно хныкающее, потому что ему не дали досмотреть сон, и оно совершенно не выспалось, и, наконец, встающее с больной головкой.

То ли дело теперь... Стоило четырнадцатилетнему кадету прилечь в каком-нибудь сарае, на полу, укрывшись шинелькой, и сон мгновенно смаривал его, не оставляя времени для мыслей, впечатлений и стихов. Настала та жизнь, о которой они с Адей так грезили...

Когда-то мальчики поклялись, что всегда будут верны друг другу, что никогда не изменят примерам своих благородных и отважных героев и во всём будут

следовать им, и когда-нибудь обязательно станут такими же. Первую скрипку в их дуэте всегда играл Адя. Он с самого раннего детства знал, что пойдёт по стопам отца, как тот пошёл в своё время по стопам деда. Адя с детства превосходно держался в седле, обучился владению шашкой, непрестанно закалял и укреплял своё сильное, мускулистое тело. Саша же колебался: ему хотелось стать то путешественником и исследовать новые земли, то посвятить жизнь морю, то вместе с другом служить богу Марсу. А ещё ему хотелось сочинять. Рой мыслей носился в голове, он исписывал целые тетради, на уроках постоянно отвлекался на посторонние предметы и получал выговоры от учителей. Ко всему прочему, Саша не отличался крепким здоровьем. Врачи находили у него угрозу чахотки, мальчик часто простужался и, случалось, подолгу не выходил из дома. Но это несильно смущало его. Ведь и Суворов в детстве был хилым и болезненным, но преодолел все недуги и стал величайшим полководцем.

Конец всем сомнениям положила война. Не сговариваясь, мальчики единодушно решили ехать на фронт. Тайком от родных они собрали всё необходимое, оставили прощальные записки, сели на поезд и... доехали лишь до третьей остановки, откуда были водворены домой, где их ожидал весьма нелёгкий разговор с родителями. Особенно нелёгким был он для Саши, чья семья, в отличие от Митрофановых, никогда не была связана с военным делом. В семье Рассольниковых царил матриархат. Мать, женщина решительная и умная, заправляла всем. Она рано лишилась родителей, которых совсем не помнила, и воспитывалась в семье старшей сестры, муж которой был известным в Москве меценатом. Замуж она вышла поздно и переехала из столицы вначале в Новороссийск, а оттуда в Ростов, где её супруг, скромный инженер-

путеец из захудалого дворянского рода, получил должность. Афанасий Демьянович был человеком от природы мягким, нерешительным, мнительным. Он всегда боялся кого-нибудь задеть или обидеть, старался избегать малейших конфликтов, был тих и смирен. Пожалуй, единственным удовольствием, которое он себе позволял, была карточная игра, ради которой раз в неделю собиралась небольшая компания таких же простых чиновников, как и сам Рассольников. Жены Афанасий Демьянович побаивался и право решения всех вопросов с лёгким сердцем оставлял за ней, поскольку сам решений принимать крайне не любил. В этом браке родилось трое детей: старшая дочь Люба, восемнадцати лет выпорхнувшая замуж за посватавшегося к ней коммерсанта, средний сын Митя, с юных лет увлекавшийся изучением флоры и фауны и собиравшийся посвятить всю жизнь естествоиспытательству, и младший Саша, самый болезненный, ранимый и самый любимый матерью и отцом. И, вот, вдруг последний огорошил родных решением идти по военной стезе и просьбой, если уж его не пустили на фронт, разрешить ему поступать в Донской кадетский корпус, расположенный в Новочеркасске. Мать пришла в негодование:

— Ты ещё ребёнок! У тебя слабое здоровье! Я тебе запрещаю!

Но Саша знал, что он уже не ребёнок, потому что через несколько лет он войдёт в возраст, когда его любимые герои совершали свои подвиги. И он знал, что слабое здоровье не может быть помехой, потому что Суворов... Про Суворова мать слушать не захотела:

— Всё! Довольно! Это твой друг Митрофанов морочит тебе голову! Сашенька, у тебя может быть прекрасное будущее! Ты можешь писать, ты... — она гневно обернулась к мужу. — Афанасий Демьянович,

что ты молчишь? Или тебя совсем не касается судьба твоего сына?! Отец ты ему или нет!

Отец сразу занервничал, заговорил сбивчиво, а затем попятился к двери:

— Прости меня, солнышко! Мне нужно срочно на службу. Ждут-с...

Мать ничего не сказала, тяжело опустилась в кресло:

— Что-то мне дурно... Люба, принеси мои нюхательные соли, — она всхлипнула. — Смерти вы моей хотите...

— Матушка, не нужно... — осторожно попросил Митя, длинный и худой юноша, которому гимназический мундир, который он носил последний год, уже заметно стал тесен и сковывал движения.

— А ты?! Ты что, поддерживаешь безумное решение этого глупого ребёнка? — рассердилась мать.

— Не вижу в нём никакой трагедии. Он ведь не на фронт отправляется, а в кадетский корпус. Что в этом такого? Когда он его закончит, война уже закончится. Он получит хорошее образование, а потом решит, куда ему дальше идти. Может быть, он и не захочет продолжать военную карьеру. К тому же корпус расположен недалеко, и вы будете видеться. И там он окажется не один, а с Адей...

— Ох уж мне этот Митрофанов! Это всё его влияние!

— Матушка, вы несправедливы к нему, — мягко продолжал убеждать Митя вкрадчивым голосом. — Адя очень самостоятельный и ответственный мальчик. На него можно положиться. Зачем останавливать сейчас Сашу? Запретами ничего нельзя добиться.

— Хватит! Ты ещё учить меня будешь! Запретами не добьёшься! Это тебе в гимназии наговорили такой либеральной ерунды?!

— Это не ерунда! — покачал головой Митя. — Вы же не хотите, матушка, чтобы Саша опять сбежал. Давайте

выберем из двух зол меньшее. Пусть учится военному делу в полной безопасности и рядом с нами, а там видно будет.

Саша на протяжении всего этого разговора, от исхода которого зависела его судьба, молчал, предоставив старшему брату убеждать расстроенную мать, которую внутренне жалел, так как был уверен, что на войну он непременно попадёт. Убеждать рассудительный Митя умел, и, в конце концов, Надежда Романовна, всплакнув для порядка, отпустила сына в кадетский корпус.

Так началась новая жизнь. В корпусе мальчики сидели за одной партой и спали на соседних койках. Более дисциплинированный, сильный и ловкий Адя всячески помогал своему другу, опекал его, как старший брат. Здоровье Саши в корпусе даже несколько окрепло, он научился более внимательно относиться к урокам и не плавать во время них мыслями в далёких океанах. Успехи его, правда, оставляли желать лучшего, но в корпусе кадета Рассольникова полюбили за талант. Он сочинял стихи ко всем праздникам, неплохо рисовал, пел чистым, колокольчатым голосом — ни одно из культурных мероприятий, требующих фантазии и проявления творческих талантов, не обходилось без его участия. Мать радовалась достижениям сына и даже сказала однажды, что, наверное, была права, когда так противилась его поступлению в корпус.

А тем временем война продолжалась. И входила горем в дотолё мирные и счастливые дома, приземляя детские мечты. Погиб в бою Степан Прокофьевич Митрофанов, и в тот день, когда трагическая весть достигла Новочеркасска, Саша впервые видел слёзы на глазах своего друга. Адя мужественно встретил несчастье и, поцеловав доставшуюся ему в наследство отцовскую шашку, поклялся прожить жизнь так, чтобы

отцу на небесах никогда не пришлось бы стыдиться своего сына.

Поразительное известие получил Саша из собственной семьи: окончивший гимназию Митя вопреки всем чаяниям родных, не советуясь с ними, уехал поступать в Павловское военное училище...

— Сбежал, как мальчишка! — плакала мать, нюхая свои соли. — С ума все сошли с этой войной! Старший брат от младшего заразился... А ведь был такой умный, осторожный ребёнок! Почти совсем взрослый! И вдруг...

Саша всеми силами изображал сочувствие материнскому горю, но внутренне ликовал и восхищался братом, которого всегда, хотя и очень любил, считал немного занудой, педантом, чуждым романтизма. Он никак не мог понять, как можно с таким интересом изучать строение клеток каких-то организмов, читать толстенные научные тома о жизни млекопитающий и устройстве растений... Иногда брат пробовал рассказывать что-то и начинал вдохновенно сыпать словами, которых никто из окружающих не мог понять. Несколько раз Саша пытался читать его книги, но начинал клевать носом на первой же странице. А Митя читал их легко, отмечая наиболее важное, делая закладки в нужных местах, а всё свободное время пропадал в лаборатории. Наблюдая за удивительным трудолюбием и сосредоточенностью брата, Саша решил, что Митя просто необычайно умен, и сам он сущий оболтус рядом с ним. А всё-таки было что-то неправильное в Митиной всегдашней правильности и правоте! Хоть бы раз ошибся, позволил себе какой-то порыв! И, наконец, позволил. Вдруг и сразу. И ведь мог же, в конце концов, стать врачом, которые на фронте всегда нужны, а он проявил несвойственный для себя максимализм... Саша терялся в догадках, чем мог быть вызван такой поступок, и страшно радовался ему.

Адя тоже одобрил решение Мити, заявив, что каждый порядочный человек должен теперь стремиться на фронт. А положение на фронте, между тем, не радовало. Захлебнулось столь успешное вначале наступление, и в Карпатах, прикрывая отход основных сил армии, погибла героически почти вся 48-я дивизия, прозванная «Стальной». А вскоре все газеты написали о подвиге её славного командира, генерала Корнилова, сумевшего, несмотря на все опасности, едва оправившись от ран, бежать из немецкого плена и добраться до своих. Саша и Адя наперебой читали друг другу новые и новые подробности этого беспримерного дела. Позже стали известны другие детали биографии отважного генерала. Служил в Туркестане, исследовал ранее неизученные земли Азии... Афганистан, Индия, Китай, Кашгария — названия далёких и загадочных краёв будоражили воображение. Кашгария! В самом слове — сколько поэзии, манящей загадочности! Саша понял: вот он, герой настоящий, не выдуманный, сумевший соединить две стези, между которыми столь долго разрывалась его собственная мечтательная душа, стези путешественника-исследователя и воина! Вот — живой пример для подражания! Саша боготворил Корнилова, а потому, когда подлый предатель Керенский выдвинул против Верховного свои гнусные и лживые обвинения, а затем арестовал его, мальчик переживал это, как личную трагедию. «Дело Корнилова» так потрясло его, что он слёг и несколько дней был настолько болен, что едва мог подняться с постели.

Но, вот, грянула весть: Вождь в Новочеркасске! Бежал и, счастливо избегнув многочисленных опасностей, добрался до Дона. Добрался один, дабы не подвергать опасности сопровождающих. Сердце Саши трепетало. Он понимал, что теперь начнётся та брань, к которой они с Адей готовили себя. Во имя Чести и

России! И теперь стыдно было спокойно жить в Новочеркасске, когда рядом фронт. Того же мнения придерживался и Адя. Правда, был он менее эмоционален, став со смертью отца сдержаннее и взрослее, но решение его было твёрдым: немедленно вступать в ряды Добровольцев и отправляться бить большевиков в отряде славного есаула Чернецова. Слово с делом у друзей расходилось редко. Не откладывая в долгий ящик, они записались в армию, приписав себе для верности по три года, и стали ждать отправки на фронт, разместившись в общежитии. Но... Однажды утром за сыновьями явились перепуганные матери, открывшие истинный возраст своих отпрысков. Резвый Адя, едва завидев мать, мгновенно смекнул, что к чему, и, ни слова не говоря, выпрыгнул в окно. А Саша замешкался... Он пытался убедить офицера разрешить ему остаться, умоляя позволить защищать Россию, даже спрятавшись было под кровать, но офицер остался непреклонен и отправил кадета домой. Этого досадного мешкания Саша не мог себе простить. Адя отправился воевать без него, а он, как дезертир, вынужден оказался и дальше просиживать штаны в корпусе!

В корпусе, впрочем, Саша, как и другие кадеты, задержался недолго. Под угрозой захвата Новочеркасска большевиками и, принимая во внимание перенос ставки в Ростов, корпус был временно распущен. Накануне в Офицерском собрании состоялся последний бал, данный женой атамана Каледина Марией Петровной. От парадных мундиров, кителей и доломанов рябило в глазах. Особенно живописно смотрелся текинец, ординарец Вождя. Присутствовал также однофамилец Верховного, подполковник Черниговского гусарского полка. Virtuоз-балалаечник есаул Туроверов, высокий художавый брюнет, играл под аккомпанемент рояля. И очаровательная падчерица полковника Грекова, Вавочка, с восторженным лицом

задно танцевала мазурку, и нельзя было, глядя на неё, не любоваться ею, не верить в лучшее, не заражаться её неиссякаемой жизнерадостностью...

После этого бала кадет Рассольников вынужден был возвратиться в родительский дом, где обеспокоенная мать не спускала с него глаз, и куда в самом конце декабря вернулся так и не успевший окончить училища Митя, возмужавший и похорошевший. Длинный, стройный, одетый в юнкерский мундир, отпустивший мягкие, как пух, усы, брат смотрелся настоящим молодцом.

— Чтобы не было лишних вопросов, — с порога заявил он, — говорю сразу: я приехал, чтобы вступить в армию. Решение своё не изменю, а потому прошу его не обсуждать.

От такого кавалерийского наскока мать растерялась и даже забыла всплакнуть, только прижала руку к сердцу и поникла седеющей головой. Саша вдруг заметил, что она сдала за последние два года, похудела и состарилась, пожалел её всем сердцем и почти простил недавнюю обиду, и всё же главная забота его осталась неизменна: добиться разрешения стать Добровольцем. Приезд брата и его решение были кстати. Вечером Саша уже делился с Митей своими переживаниями и чаяниями. Брат сидел в кресле, положив одну руку на острое колено, а второй подперев склонённую голову, смотрел из-под очков усталыми светлыми глазами.

— Я понимаю твою горячность, стрелок, — мягко сказал он, припомнив детское прозвище Саши, — но понимаю и мать... Ты её радость, её самая большая любовь. Каково ей будет, если тебя убьют? А если убьют нас обоих? Кто у неё останется? Любка со своим прохиндеем-муженьком? Она его нам и ставит в пример, а ведь сама презирает, потому что он трус и подлец... Тебе ещё нет пятнадцати. У тебя ещё всё

впереди. Успеешь навоеваться... Не бойся, хватит на твой век приключений — ещё надоест успеют. Не лезь поперёк батьки в пекло, стрелок.

— Профессор, как ты можешь давать мне такой совет! — возмутился Саша. — Адя сейчас уже, наверное, большевиков бьёт с Чернецовым, а я?! Как я ему в глаза смотреть буду?! И другим?!

— И он тоже хорош... Спешит мать сиротой оставить.

— Если ты так рассуждаешь, то на кой ты-то идёшь в армию?! Оставайся с матерью, исследуй своих жуков или кого там ещё! Зачем тебе армия?

Глаза Мити посуровели:

— Если я иду в армию, значит, так нужно. Объяснить этого я не могу... К тому же я, в конце концов, старше тебя. Я уже мужчина, а ты...

— Ты юнкер «с вокзала», а я кадет третьего года обучения. Так что могу тебе дать фору! — запальчиво воскликнул Саша.

— Да? — Митя лукаво улыбнулся, поднялся с кресла и вдруг подхватил брата на руки и посадил его на массивный гардероб. — А теперь покажи мне фору, стрелок!

— Шутки у тебя глупые, профессор, — насупился Саша. — Ишь вымахал...

Митя весело расхохотался и, поставив брата на пол, сказал примирительно:

— Не дуйся, стрелок! Просто хвастунов принято учить.

— А я не хвастаю! Вот, если бы на шашках!

— Изрубил бы родного брата! — снова засмеялся Митя. — Ладно, дуэлянт, решение принимать тебе, в конечном счёте. Я тебя из-под кровати вытаскивать за уши не буду, торжественно обещаю!

— И на том спасибо...

А после нового года в Ростов неожиданно приехал пасынок московской тётушки, георгиевский кавалер поручик Николай Вигель. Для Саши, однако, главным было не дальнее родство и не георгиевский крест на груди молодого офицера, а то какого полка он был. «Корниловец» — это слово действовало магически. И награду получил из рук самого Вождя! Едва Вигель переступил порог квартиры Рассольниковых, как Саша буквально приклеился к нему. Оказалось ко всему, что поручик видел Адю! Вместе с ним бежал от большевиков! И подтвердил, что Адя теперь у Чернецова. Вот, повезло-то! Уже и подвиг успел совершить, и от красных утечь, и сражается с ними! А Саша всё сидит под домашним арестом — ах, как обидно!

Вечером состоялся семейный ужин, переросший в семейный совет. Семья Рассольниковых собралась в полном составе и, конечно, приглашён был московский родственник. После ужина, за которым мать была как-то подозрительно весела, отец неуверенно сказал:

— Любочка хочет сообщить нам нечто важное...

Люба, сухопарая молодая женщина, которую братья ещё как будто совсем недавно дёргали за косы, с лицом правильным, но недобрым, поднялась из-за стола. От матери она унаследовала железный характер и волю, но не переняла мягкости обхождения, ласковости, женственности. Она никогда не плакала, говорила резко и отрывисто, была подчёркнуто сухой и жёсткой. Не передалась ей и барственность Надежды Романовны. Можно было сказать, что природа допустила большую ошибку, дав Любе женское тело при совершенно мужском естестве.

— Мы с Осипом Яковлевичем уезжаем за границу, — коротко сообщила сестра.

— Вот как? — поднял голову Митя. — И давно вы с Осипом Яковлевичем это решили? — осведомился он,

недобро покосившись на деверя.

Сестриного мужа братья Рассольниковы не любили. Вёрткий и хитрый коммерсант, довольно состоятельный, он казался им чужеродным и даже враждебным элементом. Зато Люба быстро нашла с ним общий язык и легко согласилась на брак, невзирая на то, что Осип Толмач был на пятнадцать лет старше её и не отличался приятной наружностью. Она быстро вникла в его дела, и теперь его коммерция стала в равной мере и её. И сейчас Осип Яковлевич сидел рядом с женой, плешивый, с навислыми над небольшими глазами бровями и выпяченной нижней губой, сложив руки на выпирающем брюшке и выражая собой полное равнодушие к происходящему вокруг.

— Решили давно, но не представлялось удобной возможности, — ответила Люба, делая небольшой глоток белого вина. — Да к тому же нельзя было бросить дела, не обезопасив капитал.

— Капитал... — присвистнул Митя. — Ты, сестрёнка, становишься настоящим финансистом!

— Кто-то должен думать и о материальном благополучии, а не только об отвлечённых понятиях. Ты за свою жизнь пока ничего не заработал, а потому тебе сложно понять, что такое капитал для деловых людей. Мы его не вдруг нашли, а годами зарабатывали. Точнее, Осип Яковлевич зарабатывал. И мы не могли позволить, чтобы он достался каким-то молодчикам...

— Я не понимаю, как вы можете думать о каких-то капиталах, когда кругом гибнут люди! Когда Россия гибнет! — воскликнул Саша возмущённо.

Люба посмотрела на него снисходительно:

— Ты ещё слишком юн, чтобы рассуждать.

— Если люди хотят гибнуть, то это их право, — присовокупил Толмач. — А другие люди предпочитают жить. Жить безопасно и хорошо!

— Знаете, господин Толмач, — произнёс Вигель ледяным тоном, — когда я вижу людей, подобных вам, я становлюсь большевиком!

— С чем вас и поздравляю, господин поручик!

— Воин врагов побивает, а трус корысть подбирает! Капиталы, говорите?! Вокруг Ростова гибнут люди! Мальчишки шестнадцати лет! Они своей кровью защищают этот город! А я слушаю вас и думаю, на кой чёрт?! Чтобы вы и вам подобные спасали свои капиталы и жили сытно?! Да капли их крови не стоит ни один из вас! Вы от своих капиталов не отжалели ни гроша армии, которая спасает вашу шкуру ценой жизней искренних и честных патриотов! Так пусть бы пришли большевики, пришли и прервали эту вашу сытую жизнь, которая нам так дорого обходится! — последние слова поручик почти выкрикнул вибрирующим голосом.

— Какая пламенная речь, — поморщился Толмач. — Вам бы на митингах ораторствовать, да-с... Из уважения к вашим боевым подвигам и расстроенному состоянию оскорбление, мне нанесённое, я вам прощаю.

— А я не спрашивал вашего прощения, — бросил Вигель.

Саша мысленно аплодировал ему. Пусть, пусть с ним, четырнадцатилетним кадетом не считаются, как со вздорным мальчишкой, но с боевым поручиком да к тому бывшим юристом им так легко не справиться.

— И тем не менее, я вас прощаю, — с едва заметной издёвкой ответил Осип Яковлевич. Говорил он тягуче, словно жуя что-то, и от этого слова его и весь образ становился ещё неприятнее. — И не надо, не надо страшить меня большевиками. Что есть такое эти... ммм... большевики? Так... Кучка обнаглевших разбойников, пена черни, выбившаяся на поверхность, когда котёл с варевом достиг наивысшей точки кипения. Всё это, поверьте мне, несерьёзно и недолговечно. Покуролешат немного, дурную силу

сбросят, дадут выход накопившемуся зверству, заскучают и, зевая, разбредутся по домам. И настанет вновь обыденная жизнь, потому что её никто не может отменить, потому что она есть закон природы, который эти беспорточники и крикуны хотят поломать. Но поломать закон природы невозможно, следовательно, вся эта чушь скоро кончится. Как кончается любая эпидемия... Помните холеру? И задача разумных людей не рваться в холерную зону, где нет ничего, кроме заразы и смерти, а пересидеть эту неприятность за спасительными кордонами, что мы и намереваемся сделать, потому что...

Николай поднял руку, останавливая этот растянутый монолог:

— Дальнейшие пояснения ни к чему. Вашу логику я понял. Только у вас в ней есть одна досадная прореха.

— Какая же, позвольте полюбопытствовать?

— Некуда возвращаться будет из-за кордона!

— Почему, Николай Петрович? Любая эпидемия проходит...

— Верно. Но она проходит не сама по себе, а только в случае организованной борьбы с нею. Болезнь нужно истреблять, заражённых ею лечить, налаживать санитарные условия. Если же пустить её на самотёк, то кончится всё неминуемо тем, что она просто-напросто завладеет всем организмом и уничтожит его. Более того, не имея никакого сдерживания, она перекинется на других. Не останется ни единого здорового, но одни заражённые. И после этого даже кордоны не помогут, зараза перекинется через них, потому что ей некому будет противостоять.

— Так я и не говорю, что борьба не нужна. С болезнями борются преимущественно врачи. Им и карты в руки. Вам, то бишь... А нас в это грязное дело путать не надо. Кордоны, говорите, не спасут? Может быть. Но в таком случае спасёт океан. Можно ведь и за него

уплыть. На крайний случай. С капиталом везде прожить можно!

— Ну, и подлый же вы человек, Толмач... — покачал головой Митя. — И ты, сестра, ему под стать.

— Дмитрий, я просила бы тебя... — начала мать неуверенным, что бывало нечасто, тоном.

— Не просите, матушка. Я никогда не поверю, что вы можете сочувствовать подлым мыслям, высказываемым за этим столом. В присутствии людей, вставших на пусть Добровольчества, этот господин мог бы, по крайней мере, держать их при себе.

— Стало быть, молодой человек, вы тоже ввязались в эту авантюру? Примите мои соболезнования. От вас не ожидал. Вы мне прежде казались человеком разумным.

— И что же кажется вам неразумным в моём поступке? — Митя всем корпусом развернулся к Толмачу, крылья его тонкого, острого, похожего на птичий, носа заколебались.

— Предмет, ради которого вам пришла блажь положить вашу молодую жизнь.

— Конкретнее?

— Ради чего вы хотите умирать, господа? Ради спасения чести господ генералов, которые профукали всё, что только возможно было?

— Не смейте! — вскрикнул Саша, которому в этот момент более всего захотелось вlepить пощёчину негодяю, ведшему бессовестные речи без тени стыда, но с видом полного самодовольства.

— Посмею, юноша! И не перебивайте старших, будьте столь любезны! Итак, ради чего? Ради отрекшегося Государя, от которого даже ваши генералы отвернулись в трудную минуту, и который никогда не способен был вести дела столь большого предприятия, как Россия? Ради книжных понятий о чести и долге? Кому долг? Да нет никого, кому бы вы были что-то должны! Всё сгнило давно! Честь? Смешное

слово! Этим словом, господа, особенно часто пользуются неудачники, вы заметили? Все свои провалы они объясняют этим понятием! Они, де, сохранили честь! А толку-то от их чести?! Они, де, погибли с честью! На чёрта нужна такая честь?! Война должна вестись ради победы, а не для того, чтобы благородно сдохнуть! А вы именно для последнего стараетесь! А на самом деле гибель с честью, которую вы так воспеваете, это глупость! Это — поражение! А поражение — позор! И позор-то вы пытаетесь прикрыть фиговым листом чести! Дурачье! Знаете, почему большевики сегодня на гребне? Потому что они не морочат ни себя, ни других дурацкими понятиями! Им честь не нужна! Победителю честь не нужна, но только проигравшим! Вы — проигравшие! Ваша борьба с большевистской заразой приведёт только к вашей смерти! А уж после вас эти калифы на час сами собой свалятся с пьедестала. Народ наш глуп и подл! Шалый народ! Пошалит, да и на печь завалится лапу сосать. И плевать ему станет и на большевиков, и на вас. А без подпитки зараза издохнет. И тогда мы, разумные люди, сохранившие своё достоинство, вернёмся и будем жить-поживать. Охота кому-то теперь смерти искать — пожалуйте! На доброе здоровье! Я глупости не препятствую! Только не надо пытаться глупость навязывать мне!

— Вы, по-моему, Осип Яковлевич... не того... Перебрали... — пробормотал отец и, опасливо покосившись на жену, извинившись, вышел из комнаты.

Вигель поднялся из-за стола и, отойдя к окну, промолвил:

— Вам, господин Толмач, никогда не понять, за что мы теперь пойдём на рожон. Слово «честь» для вас попросту совершенно непонятно, поскольку вы с этим понятием не знакомы. Я думаю и слово «Россия» для вас пустой звук. Россия для вас предприятие, на котором

можно увеличить капитал. А мы идём в бой именно за Россию... За ту, которая была у нас, за ту, которую мы чаем узреть в будущем. В память о наших отцах и дедах, которые построили для нас Великую Россию, разорённую теперь подлецами и трусами. В память товарищей, павших за неё, принявших мученическую смерть от большевиков. Сегодня, к вашему сведению, в Темернике убили юнкера. Совсем мальчика... Убили жестоко. Описывать его страшной гибели в присутствии дам я не стану... Его хоронили тайком. И мать горько рыдала над гробом... Вот, за эти слёзы мы должны идти в бой.

— И множить слёзы?

— Слёзы будут умножены в любом случае. Не мы развязали эту бойню, но те, кто нам противостоит. Они алчут нашей крови, и мы вынуждены защищаться. Лучше погибнуть в бою, чем быть растерзанными озверевшей сволочью...

— Всё-таки погибнуть! Победить вы не хотите!

— Мы трезво смотрим вперёд и знаем, сколь невелики наши силы. Но не вам упрекать нас в отсутствии желания победить! Не вам, ещё более сократившим наши шансы на победу, отказав в помощи, которая была нам так нужна! Вы говорите, что гибель всегда поражение, а поражение — позор... Ложь! Ложь, потому что и Христос был распят, распят, чтобы искупить грехопадение людей и спасти их, и дать свет их сердцам на века вперёд, дать путь заблудшим и надежду отчаявшимся. Христос был распят, но именно благодаря этому победил! И Христовым путём сегодня идём мы. Помните ли вы слова Апостола: «Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям — соблазн. Эллинам — безумие». Для вас наша проповедь безумие, но для нас единственная Истина.

— Вольным воля, — пожал плечами Толмач. — В таком случае я оставляю свои благие намерения

попытаться спасти моих... родственников. Ради любезной Надежды Романовны и Любви Афанасьевны я готов был помочь им покинуть Россию и пережить всё эту... чушь, но думаю, моё щедрое предложение не встретит здесь сочувствия.

— Правильно думаете! — воскликнул Саша. — Мы не крысы, как вы, чтобы бежать с тонущего корабля! Мы ещё поборемся за его спасение!

— За крысу вам, молодой человек, отдельная благодарность.

— В самом деле, матушка, — сказал Митя, — неужели вы думали, что мы с Сашей согласимся уехать из России? Ведь я сказал вам, что решения своего не изменю. Я последую туда, куда пойдёт армия... Тошно тому, кто сражается, но тошнее тому, кто останется.

— Ты не изменишь, — всхлипнула мать. — Но Санечка! Сыночек! — она обратилась к Саше. — Я тебя Христом Богом заклинаю, поезжай! Поезжай с Любашей! И мы с папой поедем... Ну, пощади ты меня! Не разрывай сердце матери! Хочешь, я на коленях тебя просить буду?

Саша сглотнул комок, образовавшийся в горле, и, собрав всю волю в кулак, сказал, стараясь, чтобы голос его звучал твёрдо и басовито:

— Не просите, матушка. Лучше благословите меня, и пусть ваше благословение меня сохранит! — он легко опустился на колени рядом с Надеждой Романовной и опустил голову. — Если Митя и Адя идут, то я не могу остаться. Мы с Адей клятву друг другу дали. Если вы не позволите, я найду способ сбежать, вы меня не удержите... Благословите, матушка!

Мать заплакала, обняла Сашу, уткнулась лицом в его русые волосы:

— Что же вы со мной делаете, дети? За что вы так со мной?..

Подошедший Митя тоже встал на колени:

— Благословите, матушка!

Материнский взгляд был полон отчаяния и страдания, и всё же она взяла себя в руки и, по очереди поцеловав, перекрестила сыновей:

— Сохрани вас обоих Господь Иисус Христос и Пресвятая Богородица!

Саша прослезился и приник к груди матери:

— Не плачьте, матушка! Всё хорошо будет! Вот увидите... Вы ведь и в корпус меня отдавать не хотели, а я там поправился... Всё хорошо будет...

Отец стоял в дверях, и по его дряблему лицу катились слёзы. Кажется, даже строгую Любу тронула эта сцена, и на лице её проступила грусть. И лишь её муж продолжал, как ни в чём не бывало, пить вино и с аппетитом уминать остатки трапезы.

Незадолго до оставления Ростова в город вернулся Адя, и Саша уже не мог смотреть на него иначе, нежели снизу вверх. Друг детства был теперь в его глазах настоящим героем, закалённым в боях и лишениях. В поход они отправились вместе и отныне вновь были неразлучны. В Ольгинской кадеты оказались в Партизанском полку генерала Богаевского, а брат Митя — в юнкерском батальоне генерала Боровского. Когда покидали станицу, Адя ни с того, ни с сего спросил стоявшую у дороги согбенную старуху, опирающуюся на клюку:

— Что, бабка, не скажешь, что нас ждёт?

— Со смертью своей вечерять идёте, соколики... — прошелестела та и перекрестила кадетов дрожащей рукой.

Адя потом сердито ругался:

— Каркает ещё, старая карга...

Саша ничего не ответил. Кажется, наконец, сбывалась его мечта. Он шёл воевать. Пусть и не с тем врагом, с каким собирались три года тому назад, но так ли это важно? Теперь уже всё по-настоящему. Всё ясно

и просто. Есть жестокий, кровавый и подлый враг. Есть низкие предатели. И все они чёрной стаей заполонили Родину, бесчинствуют на родной земле. И велика их тёмная сила, и несть им числа. «Тьма», как обозначали несметные полчища противника в старину. Тьма окутала Русь. И этой тьме противостоит малочисленная, но сильная духом светлая рать, белая рать! Разве не так было во всех книгах, где честные и благородные герои противостояли несоизмеримо сильнейшим, коварным и беспощадным врагам, едва ли не в одиночку вступая в единоборство со злом? И эти герои преодолевали все невзгоды, горечь утрат и измен и побеждали! Так будет и теперь! Так будет, потому что добро и благородство всегда побеждает злобу и предательство! И, может быть, ради этого самому Саше суждено сложить голову, но разве это важно? Ведь он погибнет за Россию и за идущих впереди на смертельную битву героев, настоящих белых рыцарей! Вон промчался вдоль строя Верховный со своим неизменным конвоем и развивающимся на ветру знаменем, и сердце забилося учащённо. «Так за Корнилова, за Родину, за Веру...» Разве этого мало? Да хоть сейчас готов был отдать жизнь кадет Рассольников. А совсем рядом проскакал к своему идущему в авангарде полку великолепный Марков, «шпага генерала Корнилова»... А впереди — командир Партизан Богаевский... И храбрый есаул Лазарев, и предводитель чернецовцев Власов... Что за люди! Какое счастье шагать с ними в одном строю, делать одно общее дело, служить одной идее, сражаться за Великую Россию! И так легко на душе от этого ясного сознания происходящего: великая брань Добра со Злом, Света и Тьмы начинается. И он, кадет Саша Рассольников один из ратников Добра и Света, и Тьма не страшит его, и незнаемое прежде упоение охватывает душу от постижения этого высшего смысла.

За три недели похода Партизанский полк не участвовал в серьёзных боях. Основную тяжесть несли Корниловцы и Марковцы, молодёжь же, большей частью, держалась в резерве. Адя, правда, успел принять участие в небольшой вылазке чернецовцев, а Саше не досталось и того. А ему так хотелось побывать в бою! И не просто побывать, но совершить подвиг! Показать всем, на что он способен! И чтобы Верховный узнал и оценил по достоинству... Саше было обидно, что за столько времени он даже ни разу не видел Вождя вблизи.

На ночлегах кадет Рассольников доставал из ранца пухлую записную книжку в кожаном переплёте. Её подарила ему мать на День Ангела, и Саша делал в ней рисунки, вёл дневниковые записи и писал стихи. Накануне, на ночлеге в хуторе Березанском ему впервые за время похода не спалось. Он сидел у разведённого костра вместе с Адей, ещё несколькими кадетами и примкнувшими к ним Митей и невестой Николая Таней. Сам поручик Вигель в ту ночь был в карауле и прийти не мог. Саша тайком набрасывал Танин портрет, загораживая рисунок рукой, чтобы кто-нибудь не подсмотрел.

— Что ты там пишешь опять, стрелок? — добродушно спросил брат.

— Стихи... — соврал Саша.

— Ты бы хоть почитал нам что-нибудь. Может, из тебя Боян нашего похода выйдет!

— В самом деле, прочитайте! — присоединилась к просьбе Таня. — Я ведь ваших стихов никогда не слышала, а мне интересно.

Саша зарделся, и Адя, заметивший это, сейчас же подтрунил:

— Эк ведь покраснелся, как маков цвет! Что ты, право, хочешь, чтобы мы все тебя упрашивали? Читай уж без стеснений! Твои стихи ведь даже начальство в

корпусе хвалило! Читай! — настойчиво потребовал друг, и Саша решился:

— Я вам из последнего прочту... Днями написал... Вы не судите строго, я сам знаю, что править нужно, — он открыл нужную страницу и начал читать прерывистым от волнения голосом:

— Во имя Чести и России,
Во имя правды на земле,
Навстречу страшным тёмным силам
В предательства холодной мгле,
Идут на битву рати света
С одной любовью беззаветной
К несчастной Родине своей...
Везде гонимы, в окруженье
Врагов несём своё служенье,
И души рвутся от потерь.
Пусть полон смутой тихий Дон,
Но нас на брань ведёт Корнилов,
И значит, соберём мы силы,
Как рыцари былых времён,
И знамя гордое поднимем
В степи, где смерть нас сторожит,
И бой за Русь последний примем,
Чтоб с честью голову сложить...

Саша не заметил, как голос его, вначале неуверенный, стал громким и чётким, и как сам он, вдохновившись, поднялся на ноги и читал уже по памяти, не глядя в книжку. Когда он закончил, вначале повисло молчание. Затем подошедший капитан Марковского полка с густыми тёмными волосами, разбавленными частыми седыми прядями, похлопал кадета по плечу:

— Берегите вашу голову. Держу пари, что из вас выйдет настоящий поэт! — с этими словами он исчез во мраке.

— Да, стрелок, это и впрямь уже совсем не то, что я от тебя слышал прежде, — похвалил Митя. — Это уже поэзия...

— Он и в корпусе прекрасно писал! — гордо сказал Адя, радуясь за друга. — Пиши, дружище! Только голову давай всё же не слагать! Теперь нам просто обязательно надо победить, чтобы ты стал таким же знаменитым, как Давыдов, как Гумилёв! А вы, Таня, что скажете?

Таня ласково улыбнулась, подошла к Саше и по-сестрински поцеловала его в лоб:

— Вы умница, Сашенька! Продолжайте, пожалуйста! Храни вас Господь!

Позже, когда все уже разошлись спать, кадет Рассольников продолжал сидеть у костра, вороша в нём палкой и сочиняя всё новые и новые строфы. О рыцарстве и подвиге он писал и прежде, но только теперь эти фантастические образы обрели подлинную почву, и оттого совсем иначе зазвучали Сашины стихи...

Утром какая-то сердобольная казачка, утирая слёзы, сунула кадету в ранец горбушку хлеба и шмат сала.

— Что вы, мамаша?

— Жалко мне вас, чадунюшек... Осподи, ведь малые совсем! Как представляю, что и мой так же... Ох ты, миленький! Бери, бери, кушай! Ты на сына моего похож... Что за жизнь настала, ох, осподи... — казачка обняла Сашу, как родного. От неё сладко пахло свежим хлебом, а руки её были горячие, словно она грела их у печи. — Спаси тебя Христос, чадунюшка!

И вот — новый ночлег. Станица Журавская: темень, холод... Грязный пол какого-то сарая, под головой — ранец... Хлеб с салом по-братски разделили с Адей, а голод всё равно не утихал. Только во сне и не

чувствовался... Этой ночью Саше снилась мама. Ещё молодая, весёлая, с блестящими зелёными глазами, копной пшеничных волос и певучим голосом... Милая мама, прости, что обидел тебя, что причинил такую боль, пойми...

— Подъём! — прорезала ночь боевая команда.

Саша с трудом разомкнул глаза. Уже пора... Выдвигаться к Выселкам... Кажется, сегодня, наконец, ждёт кадета Рассольникова серьёзное дело. Сейчас он полежит ещё минуточку и встанет... Только минуточку... Когда-то в детстве Саша умолял будившую его маму: «Ну, пожалуйста, ещё полчаса... Ну, хоть десять минуточек...» Только минуточку... И сон снова заволок едва забрезжившее сознание. Внезапно кто-то грубо толкнул его в бок.

— Поднимайся ты, сонная тетеря! — сердитый Адин голос над самым ухом. — Эх ты, воин! Первый свой бой проспал!

Саша резко сел, ошалело посмотрел на друга:

— Как проспал?!

— Проснулся, наконец! — усмехнулся тот. — А я уж думал холодной водой тебя окатить! Дрыхнешь тут, как сурок, а наши уже из станицы уходят! Шевелись живее!

Саша молниеносно вскочил, подтянул ремень и, подгоняемый Адей, выбежал из сарая. Сонные, зевающие Партизаны вяло тянулись по дороге, поёживаясь от холода.

— Насилу добудились всех, — говорил Адя, бодрый, словно ему ничего не стоил этот мучительно ранний подъём. — Командир уже почти отчаялся! Будят этих сонь, а они обратно храпеть! Сонное царство! Насилу их офицеры на ноги поставили! А я гляжу: тебя нет! Ну, думаю, точно: смотрит наш пиит свои грёзы — кинулся тебя расталкивать.

— Спасибо, — искренне поблагодарил Саша, с ужасом представив, какой был бы стыд, если бы полк

ушёл без него и сражался, пока он мирно спал в сарае.

По мере пути не выспавшиеся бойцы приходили в себя, бодрились.

— Веселей! Веселей! — подбадривал идущих рядом товарищей Адя. — Что вы как осенние мухи? Этак вас красные голыми руками перехлопают! Эх, всё хорошо, — заметил он, обращаясь к Саше, — вот только дурно, что без завтрака! Брюхо подвело, чёрт... У тебя сала вчерашнего не осталось?

— Нет, мы вчера всё умяли, — виновато ответил Саша.

— Погорячились мы с тобой... Надо было хоть горбушку про запас оставить...

Но не о еде были теперь мысли кадета Рассольникова. Он волновался перед грядущим боем, первым настоящим боем в его жизни. Для Ади это было не в диковинку. Чернецовский партизан, он уже успел поднатореть в военном деле. А Саше предстояло держать самый серьёзный в жизни экзамен. Экзамен на мужество. И он боялся не выдержать его, перепутать что-нибудь, замешкаться, ударить в грязь лицом...

Дорога до Выселок заняла три часа. К станции подошли уже засветло, хотя генерал Богаевский рассчитывал атаковать станицу ещё в темноте, чтобы избежать лишних жертв среди своих подчинённых. Тишина утра не нарушалась ничем, кроме скрипа колёс орудий батареи. Партизаны развернулись редкими цепями и без звука двинулись к кажущимся погружёнными в сон Выселкам. Артиллерия заняла позицию и выпустила первый залп по станице. В тот же миг всё ожило, и с длинного гребня холмов, примыкавших к селу, обрушился свинцовый дождь из пулемётов и ружей. Стреляли из крайних построек, окопов, из зданий паровой мельницы и цементного завода.

— Ура! — грянули Партизаны и ринулись в атаку, но тотчас стали падать, сражённые свинцом.

— Ура! — кричал Саша и бежал под огнём вперёд, стараясь не отстать от Ади и лишь краем глаза замечая падающих рядом товарищей.

В довершение неудачи над горизонтом возшло солнце, ударившее в глаза артиллерийской батарее. На ровном и широком поле редёющие цепи Партизан были для противника, как на ладони. Их расстреливали на выбор, без всякого труда. И всё-таки неслись вперёд отважные Чернецовцы под командованием бравого есаула Власова.

— Ура! — кричал Адя, и вторили ему другие голоса.

Внезапно командир остановился, как вкопанный, и рухнул замертво на землю. Большевистская пуля сразила его наповал.

— Командира убили! — слышалось кругом.

— Вперёд! — чей-то уверенный голос.

— Вперёд! — воскликнул и Адя, рванувшись к селению, подавая пример другим. Ах, как блестели в этот миг его глаза! Сколько воли и отваги было на мужественном лице! Саша не отставал от друга ни на шаг, и вдвоём они ворвались в станицу, а за ними ещё несколько человек.

— Ура-а-а!

Но слишком малы были силы Чернецовцев. Цепи Партизан не выдержали сплошного огня, откатились назад, поредевшие, и залегли в ложину. Чернецовцев обстреливали со всех сторон.

— Отступаем!

Отступаем?.. Разбиты?.. Побеждены?.. Не может быть! Ведь вот, уже пробились в станицу! И теперь отдать?.. И отчаянно вскрикнул Саша, бросившись навстречу огню, надеясь выбить с позиций засевших там красных:

— Вперёд!

И вдруг острая боль пронзила плечо, а вслед затем ударило, обожгло живот. Саша охнул и повалился навзничь.

— Сашка! — заорал Адя, бросаясь к нему. — Дружище, ты что? Ты не умирай! Мы же поклялись всегда быть вместе... Сашка!

— Отступаем!

Спешно уходили из станицы Чернецовцы, не в силах противостоять врагу столь малым количеством. Сыпались пули вокруг.

— Ты погоди... Я тебя вытащу... — говорил Адя, глотая слёзы.

— Брось меня, — тихо сказал Саша. — Уходи... Уходи, Адя! А то и тебя...

— Дурак! — зло закричал Адя, взваливая его на плечи. — Вместе — так до конца!

От резкой боли Саша потерял сознание. Он пришёл в себя уже в лощине, увидел рядом с собой перепачканное лицо друга и с облегчением подумал, что тот жив. Слышались ружейные залпы, пулемётное стрекотание и уханье орудий. Сыпались, словно град, пули, взрывая землю, а подчас задевая кого-то из лежавших рядом. А над всем этим простиралось безучастно ясное небо, высокое, синее... Саше мгновенно вспомнил Андрея Болконского под Аустерлицем. Князь успел совершить подвиг, а он, кадет Рассольников так и не успел, и не скажут о нём: «Какая прекрасная смерть!» И противник не великий Бонапарт, а банда мерзавцев, у которых нет никаких правил, кроме озверелой жестокости... Саша впервые почувствовал такое острое омерзение к большевикам. И так нестерпимо жалко было мучительно умирать теперь от раны в животе, практически ничего не успев в этой жизни...

— Напророчил я себе, — прошептал раненый поэт. — Видать, не стать мне Гумилёвым...

— Замолчи ты, — раздражённо бросил Адя. — Я тебя ещё на ноги поставлю! Смотри у меня!

— Что... наши?

— Туго... Сыплют сволочи красные по нам без продыху. Краснянского убили... На левом фланге пулемёт поливает. Часть наших с ним перестрелку ведут. Да он с прикрытием! А нам укрыться негде! И лопат нет, чтобы окопаться. Лежим здесь мишенью, как дураки последние... А до них доберись! Они укрытые!

— Не переживай, Адя... Корнилов помощь пришлёт... — тихо откликнулся Саша, закрыл глаза и снова потерял сознание.

А помощь уже шла. Едва узнав о тяжёлом положении Партизан, Верховный отправил им на выручку своих Корниловцев, только накануне занимавших несчастную станцию, и Офицерский полк во главе с Марковым, и выехал к месту сражения сам.

И, вот, уже стройные цепи Марковцев двинулись прямо на станицу. Широко расставив ноги и не выпуская трубки изо рта, спокойно стоял под огнём и наблюдал за действиями полка, загораживаясь ладонью от солнца, полковник Тимановский, время от времени отдавая краткие распоряжения:

— Капитану Сидорову — взводом двигаться во второй линии, параллельно первой на дистанции двести шагов!

С востока, в тыл большевикам неожиданно и стремительно ударили Корниловцы. Красные дрогнули. Шедший им на выручку бронепоезд был остановлен метким огнём батареи Миончинского. В это же время у залегших цепей Партизан появился Верховный с конвоем и знаменем. Его присутствие вдохновило изрядно побитых воинов. Все взоры мгновенно обратились к нему. Заметив обходной манёвр Корниловского полка, Лавр Георгиевич сказал:

— Ну, слава Богу, наконец-то Неженцев догадался! Теперь будет немного полегче нашему левому флангу...

Спешившись, Верховный быстро пошёл вдоль цепей. Свистящие вокруг пули он не замечал. Он твёрдо знал, что тучи пуль не опасны, а опасна одна единственная, от которой, когда придёт срок, ничто не спасёт. Знал генерал и то, как важен для бойцов личный пример командира, его присутствие рядом, и что иногда одно его появление, несколько ободряющих слов способны поднять дух и вдохновить на победу. Всё это знал Корнилов, а потому так часто прибегал именно к этому методу воздействия на своих воинов. Потому и теперь шёл он вдоль линии фронта, не скупясь на ободряющие слова для Партизан, смотревших на него с такой верой и преданностью. Каждый, к кому подходил он, пытался встать и отдать честь, но Верховный не терпящим возражения тоном приказывал:

— Лежите, лежите, господа! — а от внимательных его глаз не ускользало ни малейшей детали. У одного из бойцов заметил генерал не поставленный прицел: — Почему не поставлен прицел? И вы жарите без прицеливания? Вот тебе и стрелок! То-то большевики все убегают от нас... Поставьте, господа, на восемьсот!

Казалось, будто бы электрический ток мгновенно прошёл по цепям, и вот, ожившие, вновь поднялись Партизаны и ринулись вперёд, и опять в авангарде рвался на приступ несгибаемый Чернецовский отряд, понесший этим роковым утром самые тяжёлые и невосполнимые потери. Через несколько минут находившийся в резерве отряд есаула Романа Лазарева уже ворвался в Выселки, а следом за ним потекли в село и остальные части. Сам Лазарев, уже раненый, зычным голосом отдавал приказы и сыпал отборной бранью.

Наиболее упорно сопротивлялся цементный завод. Ни на мгновение не стихал ведущийся оттуда огонь.

Около часу дня войска пошли на него в атаку. Вместе с ними бросился туда по железнодорожной насыпи и Верховный. Вокруг падали убитые и раненые, вперемешку лежали на земле сражённые Добровольцы и большевики. Наконец, завод был взят. Красные бежали, бросив винтовки и раненых...

Корнилов в сопровождении адъютанта-текинца подошёл к заводу. Навстречу ему вывели рослого, мрачного человека с опущенной головой.

— Кто он? — спросил Верховный.

— Немчура поганая, — сквозь зубы процедил наполовину седой офицер-марковец. — Пулемётчиком был у «товарищей», сволочь...

— Вы кто такой? — по-немецки обратился Лавр Георгиевич к пленному.

— Я — баварец! — вскинул голову тот.

— Зачем же вы вмешиваетесь в наши дела?

— Меня заставили большевики, — невозмутимо отозвался немец, вертя в руках трубку.

— Заставить вас они никак не могли, если бы этого не хотели вы! Расстрелять! — вспыхнув, крикнул Верховный.

— Ваше Высокопревосходительство! Разрешите мне расстрелять его! — слышался звонкий, почти детский голос.

Корнилов окинул взглядом подошедшего кадета Чернецовского отряда. Ему было на вид лет шестнадцать, но война уже загрубила мягкие, нежные черты румяного лица, ожесточила взор светлых глаз... Лавр Георгиевич нахмурился:

— Как ваше имя, господин кадет?

— Митрофанов, Аркадий, — представился партизан, отдавая честь, и повторил: — Разрешите, Ваше Высокопревосходительство! Эта сволочь столько моих друзей сегодня положила...

— Хорошо! Но только не тратить много патронов! — отрывисто приказал Корнилов и поднялся на завод.

На втором этаже обнаружилось логово немца. Из бочек цемента он устроил непреступную крепость. Горы гильз, выпущенных во время боя, лежали на полу. Указывая на место, где стоял пулемёт, офицер сказал:

— Посмотрите, Ваше Высокопревосходительство, что наделал один немец сегодня!

Осмотрев всё, Лавр Георгиевич вздохнул:

— Да, да, я заметил это сразу, потому и направил сюда всю силу. Надо быть немцем, чтобы выбрать такую великолепную позицию. «Товарищи» бы сами не сообразили!

По дороге на станцию к Верховному подвели ещё двух немцев.

— Расстрелять! — коротко приказал генерал.

— Что делать с ранеными, Ваше Высокопревосходительство?

— С ранеными мы не воюем. Послать им пищу, и пусть врачи, если у них будет время, перевяжут их, — ответил Корнилов. Расправы с ранеными он считал делом позорным, равно как и мародёрство, и жестоко преследовал подобные стихийные проявления. Совсем недавно двое мародёров, очернивших своим поведением образ армии, были расстреляны в назидание другим.

На станции были обнаружены два вагона со страшным грузом. В них красные сложили, как дрова, своих убитых, намереваясь, видимо, переправить куда-то, но при поспешном бегстве бросили их.

— Ваше Высокопревосходительство, посмотрите, сколько успела армия накопить сегодня «товарищей»! — с удовлетворением заметил марковец, постукивая длинными пальцами по крышке серебряного портсигара, который он крутил в руке.

— Да, основательно... — согласился Лавр Георгиевич. Никакого удовлетворения от созерцания этой картины он не испытывал. Да, никаких цацканий с большевистскими бандами быть не может, и борьба должна вестись до полного их уничтожения, но не мог забыть Верховный, что по ту сторону не немцы и не иные пришлые захватчики, но свои, русские, обезумевшие в эту страшную годину, не мог забыть, что русская кровь льётся теперь с обеих сторон, и тяжёл груз этой пролитой крови. Ещё раз взглянув на вагоны с трупами, генерал грустно произнёс: — А ведь лучший материал с обеих сторон уничтожается! Как это жаль...

После осмотра завода Корнилов верхом въехал в станицу. Там Верховного нагнала жидкая цепь Партизан.

— Зачем генерал срамит нас? — ворчал раненый в ногу начальник штаба полка ротмистр Чайковский, ковыляя по полю и глядя вслед летящим крупной рысью Главнокомандующему и его конвою. — Он-то ведь конный, а мы пешие — поди угонись!

Последние отряды красных были окончательно вытеснены из станицы, Добровольцы преследовали их несколько вёрст. В самом селении время от времени слышался треск выстрелов: расстреливали не успевших сбежать большевиков...

Верховный поблагодарил всех за одержанную победу и уехал назад в Журавскую, следом потянулись построившиеся в колонны войска.

Адя Митрофанов шагал по пыльной дороге, слегка припадая на оцарапанную пулей и наскоро перевязанную собственноручно ногу. Кто-то предложил ему сесть на край санитарной подводы, но он отказался. Ему не нужен был отдых. Ему хотелось снова и снова идти в бой, крошить большевиков и быть, наконец, убитым самому. Но прежде нужно было разыскать Сашу, узнать, как он... Если бы только выжил! Господи,

Всемогущий, сотвори это чудо! Возьми мою жизнь, но сохрани его! — рвался отчаянный вопль из груди Ади. Ему казалось, что в несчастный этот день раскололась, разделилась надвое его жизнь, что-то надломилось в нём... Когда? Тогда ли, когда увидел мертвенно бледное лицо любимого друга, и взвыл от боли оттого, что не сам он оказался сражён вражеской пулей?

До чего же странная штука судьба... Сколько раз был Адя на волосок от смерти! С самого детства он любил риск, ничего и никогда не боялся. Сильный и выносливый, мальчик во всём старался походить на отца. Вместе они охотились в степи, вместе объезжали лошадей, которых Адя полюбил самой нежной любовью. Верность глаза и твёрдость руки с ранних лет отличала мальчика. Отец считал его прирождённым воином. Правда, однажды случилось несчастье: не в меру ретивый конь чего-то испугался и сбросил Адю на землю. Мальчик сильно расшибся, был повреждён позвоночник, и несколько месяцев он провёл прикованным к постели. Врачи не предрекали ничего хорошего, но они не знали характера Ади. Решив что-то, он никогда не сворачивал с пути, не пасовал ни перед какими трудностями. Медленно, но верно он восстанавливал былую силу и ловкость, разрабатывал повреждённые члены, и, вопреки протестам матери, вновь сел в седло. И как упоительно было после стольких месяцев неподвижности снова ощущать радость владения своим телом, мчаться на резвом скакуне по просторам донской степи, вдыхая аромат трав, слушая свист ветра в ушах! А рядом мчался отец, молодой и красивый, и что-то кричал зычным голосом. Отца Адя обожал, с ним проводил всё время, когда тот не был в отъезде, о нём тосковал, его похвалой дорожил. Мать огорчённо вздыхала:

— Батькин сын... Эх, когда б нам ещё дочурочку...

Но Господь, благословив Митрофановых хорошим сыном, оставался глух к мольбам матери и других детей ей не подарил. Дарья Пантелеевна чувствовала себя одинокой, видя, как сын всё более и более отдаляется от неё, мужая до срока. Скуп был Адя на ласку: чмокнет мать, как подобает, в сухую щёку, скажет что-нибудь невнятно и исчезнет — в степях, на реке, у друзей, в ночном с отцом...

Гибель отца на фронте стала первой тяжёлой утратой для юного кадета. Прежде смерть была где-то далеко. Она приходила в чужие дома, о ней говорилось в книжках, но это было совсем другое. Адя был уверен, что отец погиб, как герой, но боль от этого не становилась слабее. Горько было думать, что отец никогда не увидит, каким молодцом стал сын, не потреплет по голове, не похвалит, улыбаясь в усы. А Адя так мечтал, чтобы он гордился им!

С той поры многое довелось увидеть и пережить Аде. И самым ярким из пережитого было время, проведённое в отряде есаула Чернецова. То был настоящий казак, краса и гордость Дона. Бывший командир партизанского отряда Четвёртой Донской казачьей дивизии, он покрыл себя неувядаемой славой рядом блестящих дел в войну и умножил её отчаянными вылазками против красных на родном Дону. Благодаря личной храбрости, большому опыту в партизанской войне и блестящему составу рядовых отряда, Чернецов легко побеждал большевиков, в то время не любивших отрываться далеко от железных дорог. Об его манёвренных действиях говорили и свои, и советские сводки, вокруг его имени создавались легенды, его окружала любовь партизан, переходящая в обожание и глубокую веру в его безошибочность. Он стал душой донского партизанства, примером для других отрядов, сформированных позднее. С открытыми флангами, без обеспеченного тыла, он каким-то чудом неизменно

громил встречные эшелоны красных, разгонял их отряды, брал в плен их командиров и комиссаров.

Однажды на станции Дебальцево большевики задержали поезд партизан, состоявший из паровоза и пяти вагонов. Василий Михайлович с невозмутимым видом вышел на платформу. К нему тотчас подскочил член военно-революционного комитета:

— Есаул Чернецов?

— Да, а ты кто? — небрежно осведомился командир.

— Я — член военно-революционного комитета, прошу на меня не тыкать!

— Солдат?

— Да.

— Руки по швам! Смирно, когда говоришь с есаулом! — грозно рявкнул Василий Михайлович.

Член военно-революционного комитета мгновенно вытянул руки по швам и, вытянувшись по стойке «смирно», испуганно посмотрел на Чернецова. Два его спутника — понурые серые фигуры — потянулись назад.

— Ты задержал мой поезд?

— Я...

— Чтобы через четверть часа поезд пошел дальше! — приказал Василий Михайлович, поднимаясь в вагон.

— Слушаюсь!

Не через четверть часа, а через пять минут поезд отошел от станции в направлении Макеевки. Там, на митинге в «Макеевской Советской Республике» шахтеры решили арестовать Чернецова. Враждебная толпа тесным кольцом окружила его автомобиль. Василий Михайлович спокойно вынул часы и заявил:

— Через десять минут здесь будет моя сотня. Задерживать меня не советую...

Рудокопы хорошо знали, что такое сотня Чернецова. Многие из них были искренно убеждены, что Чернецов,

если захочет, зайдет со своей сотней с краю и загонит в Азовское море население всех рудников...

Путь партизан-чернецовцев был овеян всевозможными легендами, но каким кратким был этот славный и беспримерный путь! Во время боя под станицей Глубокой Адя Митрофанов находился рядом с командиром. Василий Михайлович был ранен. Спасти его юные партизаны не могли, но не смели и покинуть в этот грозный момент. Они сражались отчаянно и были захвачены в плен вместе с Чернецовым. Тогда Адя второй раз оказался в большевистском плену. Ни малейшего страха он не чувствовал, отчего-то будучи уверенным, что, сбежав один раз, сбежит и в другой, и уж непременно сумеет вызволить своего командира. На удивление так и вышло. Воспользовавшись удобным моментом, Чернецов и часть его отряда сумели бежать. Дабы не подвергаться лишнему риску, решили временно распылиться, выбраться из опасной местности, а после воссоединиться. Очень тревожно было Аде оставлять своего командира, но приказ есть приказ... Кадет Митрофанов и двое его товарищей стали пробираться к Новочеркаску. Василий Михайлович отправился в родную станицу. Позже Адя узнал, что там Чернецов был предательски выдан большевикам и изрублен их главарём Подтёлковым... Так закончил свой героический путь донской Иван-Царевич. Это был тяжёлый удар для всех Добровольцев и для большей части казачества. Для Ади же эта утрата была сравнима лишь с потерей отца. Теперь он мечтал отыскать негодяя Подтёлкова и убить его в бою, отомстив за смерть Василия Михайловича.

Участие в партизанском отряде закалило юного кадета, окончательно выплывала из него сильного, отважного и подчас беспощадного воина. Теперь Адя очень хорошо знал, что такое смерть. Он не раз сам чудом ускользал от неё, он закрывал глаза своим

убитым друзьям, он сам не раз убивал в бою... Встретившись после всего пережитого, с лучшим другом Сашей Рассольниковым, он немного взгрустнул об утерянных грёзах, которые ещё так живы были в чистом и невинном сердце Саши, сердце мечтателя и поэта, восторженном, сострадающем... Он обрушил на Адю целый водопад вопросов, умоляя подробно рассказать обо всём. И Адя рассказывал, временами начиная раздуваться от гордости, вдохновенно, а то вдруг сникал и умолкал, вспомнив лица убитых друзей... Саша ещё не ведал изнаночной стороны войны, её горя и грязи. Ему война всё ещё казалась захватывающим приключением в духе его любимых романов, а сам себя он представлял не то юным и благородным шотландцем Квентином Дорвардом, не то Бог ещё знает кем, а на деле больше всего походил на Николеньку Ростова, такого же наивного и чистого мальчика, готового всем услужить, со всеми поделиться последним, всех жалеющего и прощающего, и мечтающего о подвиге... Саша слушал друга, широко распахнув свои серые глаза, в которых читалось искреннее восхищение, от которого Аде делалось порой даже неловко. Тогда он впервые подумал, что, пожалуй, не стоило бы Саше заниматься военным ремеслом, что это не его стезя. Если крепкий, сильный Адя выглядел года на два старше своих лет, то хрупкий, болезненный Саша, младший его на год, казался совсем ребёнком.

Во время похода кадет Митрофанов всячески опекал своего друга, старался всегда быть рядом с ним, чтобы защитить в случае нужды. Он всё время чувствовал, будто Саше грозит какая-то опасность, а тот словно и не замечал этого. «Очарованный партизан» — прозвали его в полку.

— Вот, закончится наша одиссея, — любил мечтать Саша, — и когда-нибудь мы будем рассказывать внукам об этих славных делах, показывать им места нашей

боевой славы. Я напишу большую поэму и расскажу в ней обо всех боях и героях... Пройдут годы, и новые кадеты выберут военную стезю, вдохновлённые нашими подвигами. Ах, как это будет хорошо!

Бледное, худое лицо его с острым подбородком оживлялось и светилось, а из груди, между тем, рвался с трудом сдерживаемый кашель. Саша простыл ещё в самом начале похода и с той поры кашель не покидал его, и Адя беспокоился, как бы он не перерос в чахотку, которая некогда уже угрожала другу. А сам Саша и тут не проявлял ни малейшего волнения, никогда ни на что не жаловался. Даже война не заставила его спуститься с облаков, он и её видел сквозь призму своих грёз.

Сколько раз смотрел Адя в лицо смерти, а она не трогала его. Но протянула свою беспощадную руку в первом же бою — к Саше — и потянула за собой... И рядом был Адя, и ничего не смог поделать... Когда тащил раненого друга на себе через всё простреливаемое со всех сторон поле, думал, что уж тут несдобровать, не вывернуться — ан и тут ни одна пуля не царапнула. Уже позже в лощине шрапнелью едва задело ногу... А сколько ещё жизней забрал сегодняшний бой! И каких жизней! Есаула Власова, полковника Краснянского, батальонного командира Марковцев Курочкина... А сколько рядовых Партизан! Сколько ставших родными ещё при жизни Василия Михайловича Чернецовцев, с которыми столько вёрст бок о бок пройдено! Не уместалось в голове! А сколько ещё раненых... Тех, которые не выживут в условиях похода, тех, что останутся калеками...

А ещё вдруг всплыло перед глазами лицо расстрелянного немца. Плоское, гладко выбритое, бульдожье... Аде приходилось убивать в бою, но убийство в бою — это и не убийство никакое. В тебя стреляют, ты стреляешь, ты рубишь, и тебя рубят. Поединок, жар схватки, и даже лица противника не

видишь... А здесь совсем не то. Адя хотел убить этого немца, лишившего жизни столько его друзей. И убил. Убил впервые в жизни. Они стояли друг против друга. Безоружный, флегматичный немец и мальчик-кадет с револьвером в руке. Лицом к лицу. Глаза в глаза. Верховный приказал не тратить много патронов. Адя последовал указанию скрупулёзно. Он потратил один единственный патрон, выпустив его в большую, крутолобую голову немца. «Верный глаз», как прозывал его Саша, осечек не давал. И рука не дрогнула. И ничего не ощутилось внутри, кроме опустошённости. Рухнул на каменный пол бездыханный немец, уставясь куда-то мёртвыми глазами, выпала со звоном из его руки трубка, а Адя не почувствовал ни малейшего облегчения. Посмотрел на мертвеца равнодушно и побрёл своей дорогой, приволакивая ногу.

Он не понял, почему вдруг оказался лежащим на земле. Шедший позади офицер проговорил:

— Сморило казачка... — поднял ослабевшего Адю и усадил-таки на край санитарной подводы. — Сиди уже, герой, — добро и устало усмехнулся.

В Журавскую въехали, когда солнце уже садилось, и кадет Митрофанов, успевшей оправиться от недавней слабости, бросился искать лазарет, где должен был находиться его раненый друг. Сердце бешено колотилось, и единственная мысль стучала в висках: что если опоздал?..

У самой двери лазарета столкнулись лицом к лицу с Николаем Вигелем. Поручик, тоже недавно вернувшийся из Выселок, уже всё знал. Вдвоём они вошли внутрь... Лазарет представлял собой печальное зрелище. На голом полу лежали тяжело раненые бойцы: преимущественно Партизаны и несколько Корниловцев. Раны их были перевязаны кое-как, многие повязки успели насквозь пропитаться кровью и гноем.

Некоторые раненые бредили, другие просто стонали, третьи уже не издавали ни звука...

— Воды, воды... — умолял кто-то.

Какой-то раненый в грудь капитан увещевал лежащего рядом кадета с забинтованной головой:

— Да не кричите же вы так, голубчик. Всем здесь плохо, не вам одному...

— Простите, господин капитан... Не могу... Сам себя не чувствую...

Между страждущих людей суетились две сестры милосердия.

Осторожно обходя корчащиеся от боли и лежащие неподвижно тела, Адя и Вигель прошли в глубь хаты, где в углу сразу заметили длинную фигуру Мити, склонившуюся над укрытым шинелью братом. Саша был в сознании. Увидев Адю, он слабо улыбнулся посиневшими губами, но ничего не сказал. Адя присел на корточки, крепко сжал ледяную руку друга. Лицо Саши стало ещё более тонким и детским. Все черты его, искажённые мукой, заострились, а глаза расширились и смотрели как будто удивлённо и непонимающе.

— Как ты? — тихо спросил Адя.

— Хорошо... Сегодня Христа увижу... — последовал едва слышный ответ, произнесённый чужим голосом.

— Врач осмотрел его? — спросил Николай Митю.

Тот мотнул головой:

— Здесь и врачей-то нет...

— Как нет?! — вскинулся поручик. — У нас восемь врачей! Во-семь! Как же их здесь нет?!

Митя пожал плечами.

— Я этого так не оставлю!

— Тише, господин поручик. Врач моему брату уже не поможет...

— Разве кто-то может знать...

— Я — могу, — глухо ответил Митя. — Я же естественник. Я анатомию знаю лучше, чем вы римское

право, и не хуже врачей... И я знаю, что рана моего брата смертельна.

Вигель помолчал, потом круто развернулся:

— Как бы то не было, а врач должен быть! Это кабак, чтобы не было врача! Я немедленно доложу Верховному! — с этими словами он ушёл.

Саша облизал пересохшие губы и заговорил чуть слышно, прерывисто, тяжело дыша:

— Мне всё свет какой-то видится... Вы не плачьте... Адя, ты прости, что я клятву нарушил...

— Замолчи... — сквозь зубы простонал Адя.

— Нет, я сейчас говорить ещё буду... Пока ещё могу... А то ведь потом уже и не смогу сказать... Я вас всех так люблю... Митя, ты скажи маме, что я её люблю, и отдай ей мою книжку со стихами... Сохрани её, пожалуйста... Они ещё слабые, но мне они дороги...

— Обещаю, стрелок, — ответил Митя.

— Вы сражайтесь дальше... До победы! Она обязательно будет... Победа... Наша... Уже и весна пришла... Весна всегда приходит. Иногда с запозданием... Она придёт... Наша весна... И сойдут снега, и первые цветы пробьются к небу... Вроде бы такие слабые против зимы, а поднимаются и побеждают... Вы заметили, что весенние цветы всегда — белые? С виду слабые, а победительные... Чистые и белые... Как Христовы ризы... Первые цветы весны, зарок её победы... Мы и есть первые цветы, поднимающиеся наперекор всему из-под снега. Подснежники...

В этот момент послышался шум, и на пороге лазарета возникла невысокая, гневно жестикулирующая фигура Верховного, а с ним ещё трое: начальник походного лазарета доктор Трейман, ещё один врач и поручик Вигель.

— Как это понимать? Объясните! — негодуя разносил генерал медиков. — Ведь это же чёрт знает

что такое! Чтобы тяжелораненые не имели врачебной помощи при наличии в армии восьми врачей!

— Простите, Лавр Георгиевич, но восемь врачей на несколько разбросанных по разным хатам лазаретов, на такое количество раненых и больных среди беженцев не так уж и много, — пытался оправдываться Трейман. — Как я должен...

— Не желаю слушать ваших объяснений! — резко оборвал его Корнилов. — Как обеспечить раненых своевременной помощью врача, забота ваша, а не моя! Вы отвечаете за лазарет, а я за всю армию! Если вы не можете справиться со своими обязанностями, то эта должность не по вас, и мне придётся принять в связи с этим соответственные меры! Впредь подобного повторяться не должно! Вы поняли меня?

— Так точно. Я приложу все усилия, чтобы раненые получали помощь быстрее.

— Приложите, доктор, приложите!

Трейман и сопровождающий его врач занялись осмотром раненых. Корнилов глубоко вздохнул и оглядел скорбное помещение, переполненное искалеченными, окровавленными, умирающими и уже умершими людьми.

— Какого полка раненые? — спросил он.

— Партизанского! — слышались голоса.

— Корниловского! — прибавили несколько.

Верховный низко опустил голову и медленно пошёл вдоль раненых, бросая на них быстрые, полные боли взгляды.

Едва слышав его голос, Саша вздрогнул:

— Адя, это бред, или...

— Нет, он здесь...

— Кто?

— Корнилов!

Саша ещё шире распахнул глаза:

— Что он делает? Говори, Адя, говори...

— Он идёт сюда!

Генерал, действительно, приближался к углу, в котором лежал умирающий кадет... Митя поднялся, выпрямился и, отдав честь, произнёс, стараясь, чтобы голос его не срывался:

— Ваше Высокопревосходительство, здесь мой брат... Кадет Партизанского полка Александр Рассольников. Он умирает... — он запнулся, но договаривать было не нужно. Верховный всё понял без слов. Подойдя к страждущему, он взял его за руку и, склонившись к нему, произнёс негромко:

— Вы и ваши товарищи совершили сегодня настоящий подвиг. Я благодарю вас за службу!

— Рад стараться, Ваше Высокопревосходительство... — выдохнул Саша, и губы его дрогнули в радостной улыбке. — Я счастлив, что умираю за Россию и за вас...

— Поправляйтесь, голубчик! — голос генерала дрогнул, и Адя, не сводивший с него глаз, был поражён, увидев, как по впалым, смуглым щекам этого сурового человека покатились слёзы.

— Я постараюсь, Ваше Высокопревосходительство... — прошептал Саша и закрыл глаза. — Спасибо вам... — голос его прервался, и узкая мальчишеская грудь перестала колебаться дыханием.

Адя не сразу понял, что друг его умер, а, поняв, застонал и, отвернувшись, зарыдал, содрогаясь всем телом. Никогда кадет Митрофанов не рыдал так отчаянно и безутешно. И даже стыд, что его видят и слышат столько людей, не мог заставить его взять себя в руки. Между тем, Верховный протянул руку, закрыл Сашины светлые глаза, перекрестился, прошептал короткую молитву, и, не поднимая головы, направился к выходу. Вигель последовал за ним, но Лавр Георгиевич приказал:

— Не ходите за мной, поручик. Здесь вы нужнее...

Перед самым заходом солнца на местном кладбище служили панихиду и хоронили убитых. Их было шестьдесят человек, из которых половина пришлась на Партизан... Гробы делать было некогда, поэтому хоронили всех в братской могиле: клали рядом по семь одетых в рубища покойников, присыпали землёй, затем клали ещё по семь поперёк первых... Никакого памятника ставить было нельзя: большевики непременно раскопали бы могилу и надругались над телами. Даже холм пришлось сравнять с землёй. Верховный приказал на шею каждого убитого надеть дощечку с надписью имени, чина и места гибели, чтобы однажды родные смогли перезахоронить дорогой прах в лучшем месте. Сам он вместе с другими генералами присутствовал на похоронах, отдавая последнюю дань павшим героям...

Точно окаменев, смотрел Митя, как хрупкое тело брата исчезло под землёй, как заравнивали могильный холм... Даже своей могилы не досталось Саше, даже креста не стоит над местом, где он упокоился... На губах Митя всё ещё чувствовал холод от заledenевшего братнего чела, холод последнего целования... У края могилы стояла сестра Таня Калитина и горько плакала. Подойдя к Мите, она сказала:

— Улетел наш ангел... Я как чувствовала... Он же не жил, а парил над землёй... Очарованный, щедрый, ласковый... Его земля не держала, вот, Бог его и призвал, забрал своего к себе... Теперь наш Сашенька со Христом, на лоне его радуется, а мы плачем... Ангел, чистый ангел... Ему там хорошо...

До слуха Мити долетали всхлипывающие слова Тани, но он не отвечал. А она гладила его по плечу, точно желая утишить разрывающую сердце боль. Её жених, поручик Вигель, тоже опустил руку ему на плечо, вздохнул тяжело, но ни слова не произнёс,

видимо, понимая, что все слова бесполезны и не находя нужных. Вдвоём они и ушли, разошлись и все прочие, а Митя опустился на колени, приник губами к холодной земле. Он был совсем один. Даже Адя Митрофанов исчез куда-то. Митя и не заметил, был ли он на похоронах. Солнце давно погасло, и унылый месяц скупно просвечивал сквозь набежавшую дымку. Плечи юнкера дрожали от безмолвных рыданий. Он проклинал себя за то, что не сумел отговорить брата от опасного похода, уговорить послушаться мать... Мать! Боже, как теперь показаться ей на глаза? Ему, не сумевшему уберечь её отраду, её самого дорогого мальчика, её Санечку? Ах, как они оба были жестоки к ней... Особенно он, Митя! Мать мечтала, что он станет учёным, а он одним махом перечеркнул все эти надежды, все собственные блестящие перспективы и надел мундир юнкера, столь чуждый ему... Саша тогда принял это решение брата за взрыв патриотизма и был восхищён, и Митя не разочаровывал его, никому не поверяя истинную причину своего внезапного порыва.

С юных лет он был погружён в естественные науки: штудировал многочисленные книги, наблюдал за жизнью флоры и фауны, как в естественных условиях — в степи, так и в лабораторных. В лаборатории Митя имел возможность наблюдать различные опыты, которые ставил профессор Безбородов, привечавший способного мальчика и щедро делившегося с ним своими знаниями, позволяя даже проводить некоторые опыты самостоятельно.

— Учитесь, учитесь, бесценный отрок Дмитрий Афанасьевич! — басил профессор, вскидывая ровную лопатку тёмной бороды. — Забери меня холера, если из вас не выйдет перворазрядный естествоиспытатель или же, по крайности, превосходный хирург! Вы, может статься, пробьётесь к новым вершинам, сделаете открытия, к которым лишь подбиралось моё поколение.

Из вас выйдет настоящий учёный, если вы не станете лениться, и, может статься, я ещё успею с гордостью сказать, что вы были моим учеником!

С ленью Митя был не знаком. В отличие от брата он был очень строг к себе, поднимался аккуратно в определённый час и также ложился, всё время его было расписано, каждому делу отводился свой час, и поэтому Митя Рассольников успевал абсолютно всё и никогда не опаздывал. В гимназии он был одним из лучших учеников, и, казалось, всё предвещало ему в скором будущем университетскую скамью и годы учёбы на естественном факультете. И всё бы произошло непременно так, разве что с поправкой на войну и уклоном от сугубой науки к медицине и конкретно хирургии, если б в расписанную и продуманную до мелочей жизнь не вошла, не считаясь ни с чем и ни с кем, любовь...

Её звали Полиной, она была десятью годами старше Мити, но при этом незамужней. Полина получила образование в Москве и теперь, возвратившись в родные пенаты, читала лекции на женских курсах и занималась репетиторством, обучая юных учениц иностранным языкам и азам естественных наук, которые знала на удивление глубоко. Митя познакомился с нею случайно, заглянув однажды к приятелю гимназисту. Полина обучала французскому сестру последнего. Митя намеревался зайти всего на четверть часа, но впервые нарушил график и остался на обед, во время которого не сводил глаз с молодой женщины. Лицо её нельзя было назвать правильным, но оно отличалось необычайной яркостью: тёмно-рыжие волосы, густые настолько, что их едва-едва держала красивая китайская заколка, с помощью которой они были собраны в причёску, зеленоватые, умные глаза, крупный нос, характерный для Кавказа, загадочная улыбка... Дополнялось всё это глубоким грудным

голосом. Полина говорила немного, медленно, взвешивая каждое слово и всегда по существу, не рассыпаясь, а попадая точно в цель. Во всём её облике чувствовалась уверенность в себе, подкреплённая подлинным умом и обширными знаниями в самых различных областях.

После обеда Митя вызвался проводить Полину до её дома, и она приняла это предложение с благосклонностью. Дорогой они много говорили. Причём впервые Митя говорил о предметах, интересных для себя, о науке, и не встречал в ответ округлённых, ничего не понимающих глаз и желания сменить тему, но полное внимание и понимание. Полина прекрасно знала естественные науки и обсуждала их легко и даже страстно. Митя был восхищён. Он готов был вести этот разговор бесконечно, но не бесконечной была дорога, которой они шли. Остановившись у дома, где квартировала Полина, Митя, переминаясь с ноги на ногу, спросил:

— Наша беседа была столь насыщенной, что мне жаль прерывать её... Смогу ли я увидеть вас вновь?

— Гора с горой не сходится, а человеку с человеком как не сойтись? К тому же живя в одном городе, — чуть улыбнулась Полина, оправляя свой длинный зеленоватый, под цвет глаз, шарф. — Вы можете навестить меня, если захотите. Я буду рада вам.

Митя не продержался и дня, и уже следующим утром явился к ставшему дорогим дому, пряча под форменной тужуркой букет ландышей. Ему показалось, что явиться в гости к женщине без цветов было бы неприлично, несмотря на то, что визит его продиктован, разумеется, лишь общностью взглядов и интересов и желанием продолжить научную беседу. В том, что причина его увлечения Полиной лежит именно в этой плоскости (много ли найдётся женщин, знающих таблицу Менделеева!), Митя старался убедить себя

всеми силами, но внутренний голос нашёптывал совсем иное...

Она возникла на пороге в китайском халате, наглухо запахнутом и перехваченном поясом, подчёркивающим тонкую талию, и с прежней заколкой в волосах:

— Ах, это вы! — приятно улыбнулась.

— Прошу извинить, если не ко времени... — Митя протянул букет, чувствуя, что стал краснее варёного рака.

— Ах, какая прелесть! Благодарю! Нет, вы как раз вовремя, проходите!

Она жила в маленькой, скромно, но со вкусом обставленной квартире. Мите сразу бросилось в глаза обилие книг, просторный письменный стол, печатная машинка и... микроскоп. Удивительная женщина, ничего не скажешь! Пока оробевший гимназист рассматривал жилище, хозяйка сварила кофе в турке, разлила его по изящным чашечкам и подала к столу вместе со сливками, сахаром и миндальными пирожными:

— Угощайтесь!

— Покорнейше благодарю...

Митя совсем растерялся, не знал, о чём заговорить, и уже ругал себя за то, что пришёл. Но Полина начала разговор сама. Она принесла изрядно зачитанный научный журнал и попросила юношу прочесть одну из статей и высказать своё мнение. Сама хозяйка, по-видимому, прочла её не один раз и успела испещрить многочисленными пометками. Митя углубился в чтение и настолько увлёкся, что позабыл недавнюю робость и принялся вдохновенно излагать свой взгляд на предмет, выраженный в статье. Полина извлекла длинный мундштук, закурила, согласно кивая красивой головой.

— Да, — заключила она, — ваш профессор Безбородов прав, из вас выйдет настоящий учёный.

— Очень надеюсь на это, — ответил Митя, потупившись. — Скоро я закончу гимназию и, наверное, отправлюсь в Москву поступать в Университет.

— Непременно поедете! И поступите! И закончите в числе лучших учеников. У вас талант, Митенька. И жадность к познанию, а, значит, всё у вас получится.

Как-то сам собой разговор от предметов научных перешёл к семье. Митя коротко рассказал о своих родителях и брате, промолчав о сестре и её «буржуе»-муже.

— Вы, Митенька, счастливый, — вздохнула Полина, стряхивая нагоревшее с папироски в пепельницу из слоновой кости. — У вас прекрасная семья. А мои родители давно умерли... Мой отец был скромный и добрый человек. Земский врач. Очень набожный. Он даже стал церковным старостой... А в юности был народником. За это его сослали на какое-то время в глубинку. Там он женился на дочери местного священника, у них родился сын, но вскоре умер. Всего у родителей было шестеро детей, но уцелела одна я... Наверное, отец бы так и жил в той деревне среди тёмного люда, постепенно забывая когда-то приобретённые знания, отучаясь читать книги и газеты, интересоваться общественной жизнью... Он мне, знаете ли, напоминал некоторых персонажей Чехова. Я боюсь таких людей...

— Почему?

— Страшно, когда человек зарывает свой талант в землю. Страшно, когда он живёт среди болота и не пытается выбраться из него, ни к чему не стремится, ни о чём не мечтает, а если и мечтает, то о чём-то приземлённом, повседневном и скучном... Митенька, это же смерть заживо, разве вы не понимаете? Правда, местные жители очень любили отца. Он их лечил почти бесплатно, слушал все их жалобы на жизнь. Он никому не умел отказывать. Вначале он пробовал просвещать...

их. Но у него ничего не вышло, и он как-то опустил... А ведь в молодости был очень красив! Его дед по линии матери происходил из довольно знатного грузинского рода. Бабушка тоже была очень красивой. Говорят, я немного похожа на неё...

— А как вы оказались на Дону?

— Мой младший брат тяжело болел... Ему был противопоказан северный климат. Поэтому родители решили перебраться на юг... Впрочем, брата это не спасло. Через год он умер, а следом за ним ушла и мать. Отец продолжал врачебную практику, никому не отказывал... Для меня он сделал всё, что мог: научил всему, что знал сам, продал все ценные вещи и отправил учиться в Москву. Он знал, что я способная, что эти вырученные деньги не пропадут даром. Таким образом, я получила образование и вернулась сюда, к отцу... Недавно я его похоронила...

— Мне очень жаль...

— А я жалею только об одном... Ошибка природы: я родилась женщиной. А надо бы мужчиной. Тогда бы я могла составить вам конкуренцию на научном поприще, — Полина лукаво улыбнулась. — Как вам такой расклад карт?

— Я предпочёл бы не конкуренцию, а альянс. Думаю, он принёс бы больше плодов.

— Разумно, — согласилась Полина.

В следующий раз они встретились в парке, и Митя катал её на лодке по ещё холодной глади пруда, в которую она погружала свою красивую руку. Её волосы пламенем горели на солнце, а по губам бродила странная улыбка. Она казалась воплощённой загадкой, Джокондой, тайну которой люди пытаются постичь веками. Сердце Мити учащённо билось. Впервые в жизни науки не шли ему на ум, он всё яснее осознавал, что к Полине его влечёт вполне земное желание, естественное для становящегося мужчиной юноши. И

время от времени являлись ревнивые мысли: что если у неё есть кто-то? Ведь она тоже земная женщина, женщина зрелая, придерживающаяся передовых взглядов, сильная и самостоятельная личность... И кто для неё Митя? Мальчишка гимназист, с которым забавно скоротать время? Несколько раз Митя зарекался не ходить больше к Полине, но ничего не мог с собой поделать и шёл вновь. А она встречала его всегда радушно, с охотой вела глубокие, интересные беседы, угощала кофе, который очень любила... Митя страшился, что об этих встречах станет известно. Хотя ничего предосудительного в них не было, но ведь злые языки пустят такую молву... И как это скажется на Полине? На её репутации?

А Полину репутация, кажется, не волновала вовсе... Митя узнавал её всё с новых сторон. Оказалось, что она ещё сочиняла стихи в духе декадентов. Прочтя их, Митя подумал, что Полина, должно быть, не верит в Бога. Даже икон не было в её маленькой квартире... Это открытие не ужаснуло юношу, поскольку вопросы веры никогда не тревожили его, и всё-таки он спросил:

— Скажите, Полина, вы разделяете учение Дарвина?

— Вы не это хотели спросить, Митенька, — снова промелькнула загадочная улыбка по губам. — Вы хотели узнать, верую ли я? Для вас это важно?

— Нет... В общем-то...

— А для меня важно, — неожиданно сказала Полина. — Мне очень важно понять, верую я или нет. А я не могу этого понять. Мои родители были людьми набожными, а я... А я Бога не знаю. Но и отринуть не могу. Один мудрый человек советовал: на вопрос, есть ли Бог, всегда отвечайте утвердительно. Если Его нет, то вы ничего не теряете. А если Он есть, то от отрицательного ответа теряете многое. Разумно, не правда ли? А я не могу... Мои родители любили уповать на загробную жизнь, где всем воздастся... А я не хочу

ждать загробной жизни, которой, может быть, нет никакой! Я хочу, чтобы здесь, в этой жизни, всё было иначе...

— Вы революционерка? — неожиданно догадался Митя, вновь ничуть не ужаснувшись этому предположению.

— Когда-то была пламенной... В пятом году... Ах, как тогда кровь горяча была! У меня, Митенька, наследственность: отец-народник. Он, правда, потом набожным стал, но в нём это как-то уживалось... Вы знаете, в русском человеке поразительно могут уживаться противоположности... Я в пятом году стала членом партии социал-революционеров. Так до сих пор и состою... Хотя и пассивно.

— Вы эсерка? — поразился Митя, мгновенно вспомнив вереницу террористических актов, шлейфом тянувшихся за этой партией.

— Да. Вас это пугает?

— Нет...

— И не должно пугать. Агитировать вас я не буду. Не хочу совращать малых сих... — и снова странная улыбка (не над ним ли смеётся?). — Пусть этим другие занимаются.

Их встречи продолжались месяц, пока однажды Митя случайно не увидел её на бульваре под руку с каким-то господином. Они о чём-то оживлённо беседовали. Затем незнакомец остановил извозчика, помог Полине сесть, устроился рядом, приобняв и украдкой поцеловав её. Митя замер на тротуаре. Проезжая мимо, Полина заметила его, обернулась, но кони быстро унесли её прочь.

Домой он вернулся, как громом поражённый, заперся у себя в комнате, соврав родным, что должен заниматься, и повалился на постель, чувствуя, как полыхает голова. Митю душила ревность и обида. Она просто смеялась над ним всё это время, держала рядом

от скуки! Он бросал ей несправедливые обвинения, представлял, как придёт к ней, и выскажет всё, обличит её лживую натуру, порывался написать... К утру горячка прошла, и Митя решил ограничиться тем, чтобы просто никогда больше не видеться с Полиной и скорее забыть её. Шёл последний гимназический месяц, а он, как идиот, не мог сосредоточиться, и в первый раз за всё время учёбы получил неуд, чем изумил педагога, обеспокоенно посоветовавшего юноше побыть пару дней дома и поправить здоровье, видимо, расстроенное чрезмерным умственным напряжением:

— Вы, Рассольников, должно быть, просто переусердствовали в своём стремлении к знаниям. Передохните, покажитесь доктору. Так ведь и загнать себя недолго. У вас прекрасные способности, вам ни к чему перегружаться. Нагрузки надо соизмерять, учитите это.

А за неделю до выпуска Митя получил от неё письмо. Ровные строки, чёткий почерк с нажимом...

«Мой искренний и дорогой друг Дмитрий Афанасьевич!

Я пишу Вам это письмо, потому что завтра покидаю Ростов, и не могла не проститься с Вами. Мне бы не хотелось, чтобы Вы думали обо мне дурно. Если я чем-то и виновата перед Вами, то невольно. Я не обманывала вас никогда, Митенька. Я искренне привязалась к Вам и, знайте, что после смерти отца у меня в этом городе не было человека роднее, чем Вы. Но, подумайте сами, что могло быть между нами? Слишком большая пропасть разделяет нас. В моей жизни было много дурного, было и хорошее. И Вы — часть этого хорошего. Время, проведённое с Вами, я всегда буду вспоминать с благодарностью и самым светлым чувством.

Человек, с которым Вы видели меня, скоро станет моим мужем. Он журналист, член нашей партии... Я не люблю его, но он, кажется, любит меня... Мы были

некогда очень близки с ним в Москве и вместе ездили в Париж. А теперь он приехал специально за мной. Только до Парижа теперь не добраться из-за войны, а потому нас ждёт Петербург (никогда не назову этот город Петроградом — режет слух, глупо!).

Не держите зла на меня, Митенька, и простите, если обидела Вас нечаянно. И знайте, что, когда завтра я сяду в поезд, я буду жалеть, что рядом со мной не Вы, когда я буду идти по улицам столицы, я буду вспоминать аллею парка, по которой мы с Вами шли... Знайте, что в те часы, когда мы были вместе, я любила Вас, и только это чувство удерживало меня от необдуманных поступков, которые могли бы испортить Вам жизнь. Знайте ещё, что я буду часто порываться написать Вам, но никогда больше не напишу, чтобы Вы скорее забыли меня. Целую Вас в лоб, Митенька... Я не знаю, есть ли Бог, но, если Он есть, да сохранит Вас!

Ваша Полина».

Последнее видение её было в гомоне и дыме вокзала. Митя бежал по перрону, расталкивая толпу, и вглядываясь в отходящий поезд, и в одном из окон он разглядел любимый горбоносый профиль с копной тёмно-рыжих волос, заколотых длинной китайской заколкой...

Эта встреча разом изменила всю его жизнь. Он понял, что не поедет поступать в Университет, потому что там, где прошло несколько лет её жизни, в сутках езды от столицы, где теперь живёт она, среди наук, о которых столько было говорено с ней, ему никак не удастся забыть её. Равно невозможно дольше находиться в Ростове, скрывать, как раскалывается надвое некогда безмятежная душа. Нужно было срочно бежать куда-то, забить голову и душу ранее незнакомым делом, и так забыть, перемолоть, пережить...

Едва закончив гимназию, он, ничего не сказав родным, сел на поезд и уехал поступать в Павловское военное училище. Вступительные экзамены он сдал успешно, не подвело и здоровье, и, вот, бывший естественник, сугубо мирный человек Митя Рассольников облачился в мундир юнкера и начал с жаром осваивать военные науки и дисциплины.

Несколькими годами раньше в этом училище преподавал будущий Белый Витязь Сергей Леонидович Марков. В Павловском он читал курс лекций по военной географии, в Михайловском артиллерийском — по русской военной истории. Сергей Леонидович имел большой преподавательский талант, его лекции имели неизменный успех, а потому память о нём в училище была ещё очень жива. Рассказывали, что подполковник Марков, не терпевший формального отношения к делу, вносил в преподавание живой дух, связывавший все, что давалось предметом военной географии, с реальной жизнью, с войной, со всеми деталями, с которыми сталкивается офицер на войне. Он привлекал к себе внимание юнкеров своими манерами, живостью, энергией, красивой и образной речью, и в результате интерес к преподавателю перекидывался и на его предмет. Один из выпускников училища, раненый на войне и теперь вернувшийся в родные пенаты в качестве ротного командира, любил вспоминать, как умел Сергей Леонидович коротко, выпукло и ясно рисовать жизненные картинки, в которых участвовали леса, реки, болота, горы, ресурсы районов, само население, благоприятно или неблагоприятно относящееся к армии.

— «Вообразите» или «фантазируйте» — говорил он нам и, нарисовав картину, спрашивал: «Как вы поступаете?», — с ностальгией рассказывал ротный. — Для пояснения он приводил примеры из военной истории, касающиеся действий мелких воинских частей,

то есть таких, начальниками каких могут быть молодые офицеры. Так он развивал у нас между прочим два важных чувства: наблюдательность и соображение. «Что требуется от разведчика? — спрашивал. — Ответ: знать местность, население и... быть наблюдательным во всем и всегда». А ещё любил задавать во время занятий неожиданные вопросы, обращаясь к кому-нибудь из нас. Беда, если юнкер не даст ответа, но хуже, если он что-то ответит, лишь бы ответить. Подполковник Марков не стеснялся и отчитывал круто. Он не ценил формального запоминания предмета, а глубину его осознания и усвоения, признавал продуманные, серьезные ответы. А как-то возьми и спроси: «Скажите, о каком событии теперь много пишут газеты?» Мы ошеломлены! До чтения ли газет нам было? А подполковник тут же объяснил: юнкерам и офицерам необходимо всегда быть в курсе всех важных событий, особенно могущих вызвать войну; ничто не должно смутить офицера, привести его в растерянность, так как в любой момент и в любом положении офицер должен быть готов к выполнению своего долга, сохраняя полное спокойствие духа. Зная, где и какие произойдут события, он подготовится к ним морально не только сам и подготовит к ним своих подчиненных, но и возьмется за учебник военной географии, тактики и другие книги. «Читать нужно всегда и много!» — говорил он нам... Это было счастье — учиться у такого преподавателя!

Митя очень жалел, что не застал такого счастья. Всё, что оставалось, это штудировать выдержавший два переиздания курс военной географии России, составленный Марковым совместно с подполковником Гиссером. Свою преподавательскую деятельность Сергей Леонидович всегда дополнял написанием подобных курсов, и юнкер Рассольников со

свойственным ему прилежанием внимательно изучал их.

С самым же их автором судьба свела его в Новочеркасске, куда Митя приехал в декабре Семнадцатого. Перед этим он побывал в Ростове, и, по иронии судьбы, первым человеком, встреченным в родном городе, была та, которую он так старался забыть. Они приехали одним поездом и столкнулись лицом к лицу на вокзале.

— Митенька? Вы? Помилуйте, да что же это? Вы и вдруг юнкер? Неужели вы забросили науку?

— Какая уж теперь наука! Наука одна осталась: наука побеждать. И её забыли благополучно... А вы какими судьбами здесь, Полина? Сопровождаете вместе с мужем господина Савинкова? — Митя скривил губы. Имя террориста-романиста в армии было ненавидимо. Демонический Жорж, каковым он представлял себя в повестях, подписанных псевдонимом «Ропшин», один из бесов революции умудрялся, в реальности, вечно оставаться в дураках у других бесов. Вначале он был обманут Азефом, затем — Керенским. Последнее уж и совсем не делало чести знаменитому авантюристу. Ему, неуловимому организатору убийств крупных сановников, проиграть партию какому-то неврастенику-адвокатишке, какому-то словоизвергательному ничтожеству! Став военным министром Временного правительства, Борис Викторович пытался создать триумvirат из себя, Керенского и Корнилова и выступал между последними посредником. Но Керенский поставил ультиматум, и Савинков мгновенно отрёкся от Верховного. Впрочем, это «Жоржу» не помогло, и министерского поста он лишился. И, вот, теперь этот политический труп, убийца и средний руки литератор явился на Дон, надеясь занять определённое место здесь и возобновить игру.

— Я не понимаю, Полина, что может быть у вас общего с этими людьми? — говорил Митя. — Посмотрите вокруг! Вот она, ваша революция! Нравится вам? Довольны вы?

— Не ломитесь в открытые ворота, Митенька, — откликнулась Полина, поправляя изящную шляпку. — Я не довольна, и мне не нравится. И к Борису Викторовичу я не имею никакого отношения. Я приехала сама по себе.

— Зачем?

— Потому что здесь мой дом.

— А что же ваш муж?

— У меня нет мужа.

— Как? — опешил Митя.

— Я передумала и не стала за него выходить. Мы прожили вместе год. Потом встречались, как друзья... Послушайте, Митенька, здесь не лучшее место для разговора. Может быть, вы проводите меня?

— Конечно, — кивнул юнкер и, подхватив её довольно увесистый чемодан, последовал за нею. — Вам, должно быть, тяжело носить такую ношу?

— Я привыкла.

— Что у вас там?

— Книги, Митенька. Я их перевожу с места на место, боясь, что пропадут. Многие принадлежали ещё моему отцу, а на одной есть дарственная надпись мне от Толстого. Я однажды была в его московской квартире. Там многие интересные люди собирались. Крестьяне... Все к нему шли, все просили помочь... Денег просили многие. Но он не всем давал. Только когда видел подлинную нужду. Зато слушал — всех... Станный был человек... И великий...

Митя с удивлением смотрел на Полину. Эта женщина виделась с Толстым, разговаривала с ним, а прежде никогда не упоминала об этом, и рассказывает так, словно о чём-то обыденном...

Вдвоём они поднялись в знакомую квартиру. Здесь, видимо, кто-то изредка прибирался в отсутствие хозяйки, и всё же во всей обстановке чувствовалось запустение: чехлы на мебели, пыль, тусклые окна... Полина отдёрнула шторы, приоткрыла окно, морозный воздух хлынул в комнату. Через несколько мгновений чехлы были решительной рукой сброшены на пол, а через четверть часа квартира наполнилась привычным горьким запахом кофе и лёгкого табака. Полина опустилась на низкий диван, положив ногу на ногу, и заговорила ровно:

— Мы окончательно рассорились с ним в марте... Все так радовались революции, так воспевали её! Даже монархисты... Какая-то всеобщая истерика... Я не люблю истерики. Не люблю пустозвонства. Не люблю толпы. Быть в толпе. Понимаете, Митенька? Народ обращается в толпу, и, если вы оказываетесь в этой толпе, то теряете свою личность, становитесь частицей массы, отрешаетесь от «демо» и приобщаетесь к «охло». Я так не могу. Я не могу бежать туда, куда несутся сломя голову все. Если все, то не я. А ещё у меня под окнами городского растерзали... Он был простой деревенский мужик. У него была жена, двое ребятишек... Он никому не сделал зла! А они набросились на него и... Митенька, я видела это! Это — страшно! Был человек, а осталась... котлета! За что? Он им кричал: «Братцы, помилуйте!» А они убивали... А потом они убили его жену и детей... Топором, Митенька! И все деньги забрали... А какие там были деньги? Гроши! А ещё, у меня офицер один прятался... Раненый. Он в подъезд вбежать успел, а я дверь открыла и втянула его. А они за ним. А у меня пистолет был. Кричу из-за двери: «Если не уйдёте, буду стрелять!» Думаю, хоть нескольких, а успею уложить... А у самой перед глазами городской убитый... Ушли... Офицер два дня у меня перебыл, подлечился и тоже ушёл. А тут

заявляется ко мне мой бывший. Поздравляет... «Бескровная», говорит... А я опять городского и семьёй вспомнила. «Какая ж, — говорю, — бескровная?» А он как раскричался! Ничего, де, дура, не понимаешь! Тут великое событие, о котором несколько поколений лучших людей грезило, свершилось, а ты про мелочи! Вот, уж этих «мелочей» я простить не смогла, выгнала... Потом уроки мне давать некому стало. Зачем теперь уроки? Учёба? Науки? Да здравствует варварство! Теперь все и без наук проживут! С продуктами и дровами совсем худо стало, и не выдержала я: собралась и — сюда. И думаю, неужели мы этого хотели? Мой отец? Я в пятом году? А потом думаю, а как же я могла на другое рассчитывать, зная, что мои же сопартийцы террор осуществляют? Что в этих актах подчас сторонние люди гибнут? Мне же справедливым это казалось... Палачей убивают! Я же сама не видела, как это происходит... Я крови не видела... Тел, бомбами разорванных, не видела, искалеченных прохожих, ни в чём не повинных, не видела... И все мы не видели и не хотели видеть... Словно слепые! А, вот, увидела однажды, и всё перевернулось разом... Жаль, поздно... — Полино уронила голову на руки и замолчала.

Митя вдруг почувствовал томительный прилив нежности к ней. Он сел рядом, обнял её и стал гладить по волосам, утешая, словно ребёнка:

— Бедная моя, хорошая моя... Сколько тебе пришлось пережить...

— Поцелуй меня, Митенька, — неожиданно попросила она, кладя свои тёплые ладони ему на грудь и глядя в глаза. — Поцелуй, пожалуйста.

Не было более счастливого мига в молодой Митиной жизни!..

Утром следующего дня, лёжа рядом с ней и чувствуя необычайный прилив сил, он спросил:

— Скажи, ты правду написала тогда? Ты любила меня?

— Любила, — отозвалась Полина, садясь. — Только мне так стыдно было... Мне и сейчас стыдно.

— Почему?

— Я ведь уже старуха по сравнению с тобой... Разве я тебе пара? Я скверная, Митенька... Вот, и ещё один грех ко всем своим прибавила... Тогда сбежала от него подальше, а теперь... Милый мой мальчик, что нам делать с этой любовью? Бежать от неё... Забыть...

— Зачем, если нам хорошо вместе? Полина, я женюсь на тебе!

Полина грустно засмеялась:

— Нет, Митенька, этого никогда не будет. Я тебе не пара. Тебе жена нужна, а из меня жены не получится. Если хочешь, приходи ко мне просто так... Нет, всё это напрасно... И неправильно... И грешно... И не на радость, а на горе мы встретились.

Митя провёл рукой по её гладкой, нежной коже, зарылся лицом в долгих, прекрасных волосах:

— Полина, я решил вступить в армию.

— Ты правильно решил. Мне тоже нужно искать какое-то дело, чтобы не сойти с ума...

— Полина, дослушай, пожалуйста. Теперь будет война... С большевиками... Может быть, она продлится долго. Но все войны кончаются! И тогда начнётся восстановление всего: государства, искусства, наук... Я вернусь к науке, а ты к преподаванию... Но не это главное. Если я останусь жив, если я вернусь с войны, я хочу, чтобы ты ждала меня, слышишь? Дай мне слово, что будешь меня ждать, что станешь моей женой, и я горы сверну! Полина!

— Я буду ждать тебя, Митенька. Обязательно буду. Кроме тебя мне и ждать некого. Но я не стану твоей женой. Ради тебя самого не стану. Потому что люблю тебя, не стану, — она прильнула к его лицу горячими

губами. — Прости меня, Митенька. Нам вместе быть нельзя... Не мучай меня, если хоть немного любишь! Мальчик мой милый, ты только выживи в этом аду... Пожалуйста, выживи...

Простившись с Полиной и навестив родителей, юнкер Дмитрий Рассольников отбыл в Новочеркасск, где вступил в Добровольческую армию и поселился в общежитии на Барочной улице в помещении, занимаемом юнкерами. Здесь он впервые увидел генерала Маркова. Он лишь недавно приехал в Новочеркасск и, ещё не получив назначения, много времени уделял молодёжи, быстро снискав её уважение и любовь. Сергей Леонидович читал юнкерам лекцию о патриотизме: о прошлом России и положении нынешнем, о том, как во все времена лучшие люди во имя спасения родины жертвовали своей жизнью...

В канун нового, 1918-го года юнкера завершали нехитрые приготовления ко встрече праздника. На столе расставлялась различная утварь и снедь, помещение прибиралось и, по возможности, украшалось. В это время на пороге возникла невысокая, энергичная фигура генерала Маркова. Все дела тотчас приостановились: юнкера смутились и не знали, как вести себя в его присутствии. Но Сергей Леонидович легко рассеял возникшее напряжение:

— Не смущайтесь, господа! Я могу быть полезным и при накрывании стола.

Вскоре стол был накрыт. Разлили глинтвейн, и молодой генерал, занявший, как подобает, место во главе стола, поднял первый тост:

— Я хочу поднять этот бокал, господа, за нашу гибнущую Родину, за Императора и за Добровольческую армию, которая принесет всем освобождение!

— Ура! — грянули собравшиеся.

Этим тостом Сергей Леонидович предложил закончить официальную часть. За ужином началась

неспешная беседа. Мите подумалось, что, должно быть, так многие века назад собиралась дружина вокруг своего князя, и на некоторое время размывались грани между ними, и все сердца бились в унисон, полные одним желанием: спасти Родину. Спасти от ордынских полчищ, от самозванцев — и, Боже, от кого только ещё! А когда привал завершался, князь вёл свою дружину в бой... И сколько славных голов ложилось в тех далёких сечах! Лучших голов... Разве не об этом с такой болью говорил на днях в своей лекции генерал Марков, совершенно чувствуя связь времён, схожесть положений и судеб? Всё повторяется на спирали времени. И, вот, в ночной тишине, в ожидании нового года, дружина внимала своему витязю, а он говорил о сокровенном, о наблевшем, о том, что тревожило каждого:

— Люди жестоки, и в борьбе политических страстей забывают человека. Мы не воры, не убийца, не изменники. Мы иначе мыслим, но каждый ведь любит свою Родину, как умеет, как может. Теперь насмарку идет многолетняя упорная работа. Что там многолетняя! Насмарку идёт то, что созидалось веками! И в лучшем случае придется все начинать сначала... Военное дело, которому я целиком отдал себя, приняло формы, при которых остается лишь одно: взять винтовку и встать в ряды тех, кто готов еще умереть за Родину. Легко быть смелым и честным, помня, что смерть лучше позорного существования в оплеванной и униженной России. Не бойтесь пули, предназначенная вам — она всё равно везде вас найдет... Позор страны должен смыться кровью её самоотверженных граждан. Для себя я не жду уже чего-либо хорошего, но как бы мне страстно хотелось передать всем вам свою постоянную веру в лучшее будущее! Это будущее, чёрт возьми, придёт! Когда? Не знаю! Но оно придёт! Вся история Россия испещрена великими испытаниями, в

которых не раз казалось, что настал окончательный конец её, и всё погибло, но проходила чёрная година, и из пепла, из праха Россия поднималась... Она поднимется и теперь. И пусть мне не суждено увидеть этого, но это будет.

— Но какой же строй должен быть в возрождённой России? — спросил кто-то.

— Сегодня рано говорить об этом... Я могу сказать одно: в этот чёрный период русской истории Россия не достойна ещё иметь Царя. Но когда наступит мир, я не могу себе представить Родину республикой... — Сергей Леонидович помолчал, затем улыбнулся лукаво: — А давайте-ка лучше, господа, отдадим должное празднику! Довольно мрачности, мы покуда не на похоронах!

Один из юнкеров грянул: «Братья, все в одно моление...» — и все тотчас же подхватили бодро: «... Души русские сольём!...»

Под конец застолья Марков сказал обступившим его юнкерам:

— Сегодня для многих из нас это последняя застольная беседа. Многие из собравшихся здесь не будет между нами к следующей встрече. Вот почему не будем ничего желать себе, нам ничего не надо кроме одного: Да здравствует Россия!

— Да здравствует Россия! — эхом повторили юнкера.

Генерал оказался пророком, и наступивший 1918-й год принял обличие смерти, которая, по слову поэта, «жатву жадно косит, косит». Жадный до жертв год одного за другим отнимал у армии вождей и простых воинов. И, вот, ликующе-беспощадный, вырвал из жизни чистую, юную душу Саши, отнял любимого брата... И ничего не напоминает больше о том, что он жил на этой земле, кроме тетради, исписанной округлым детским

почерком, тетради, которую Саша берёг пуще зеницы ока и на смертном одре завещал осиротевшей матери...

Митя вдруг почувствовал, как внутри его что-то хрупнуло. У него пошла кровь горлом, и он поднялся с холодной земли, чувствуя сильнейшую слабость. Неподалёку юнкер разглядел мутным взглядом согбенную фигуру старухи, вздрагивающую от плача.

— Мамаша, что вы? У вас здесь тоже кто-нибудь?.. — окликнул её Митя осипшим голосом, вытирая платком кровь с губ.

— Нет, сыночек, — ответила старуха. — Здесь — никого... А Бог знает, может, в другой такой могилке мои детушки упокоились. И некому ни поплакать о них, ни помолиться... Так я уж над чужими поплачу, может, и о моих кто пожалеет... У тебя-то, сыночек, кто здесь?

— Брат.

— Брат... — вздохнула плакальщица. — Святые угодники, что ж это сотворилось в Божьем мире? А мать жива ль твоя?

— Не знаю... Она в Ростове осталась.

— Сыночек... — старуха вдруг крепко схватила Митю за руку, всмотрелась в лицо. — За что же нам страсти такие? Я жизнь прожила, так и забрал бы меня Господь! Я землю зазря копчу, а детушек наших за что? Слушай, слушай! У меня двое сынков. Обоих я их кохала, на обоих нарадоваться не могла. Потом оба они на войну ушли, а я сиротой осталась... Но миловал Бог: живы сыночки остались. Я уж их домой ждала и не дождалась! Один до этих подался... До нехристей окаянных...

— Большевик?

— Даже дом родной не проведаль... Как в воду канул, и не ведаю, где его носит... Только молю Бога, чтобы отсель подальше...

— Почему так?

— Младший мой сыночек туточки, — всхлипнула старуха. — Погостил у меня три дня и до Екатеринодара подался... В партизанский отряд какого-то Покровского... Вот, и помысли, сыночек: двое кровинушек у меня! И на разных сторонах, друг с другом сражаются! А если оба сгинут? И выйдет так, что друг друга жизни родные братья лишили! Нешто для того я рожала их? Ох-ох-ох, что же это в Божьем мире деется? Брат на брата идёт... Беда... Хоть бы скорее Господь меня прибрал, а то и жить нельзя, гляючи, как сыночки друг друга убивают... И почто вам всем дома-то не сидится? Нешто на войне мало крови пролилось? Раскололи мне сыночки серденько надвое, разорвали без жалости...

Мите хотелось сказать бабке что-нибудь доброе, но слишком черно было на душе, и язык словно прилип к гортани. «Раскололи сыночки серденько надвое...» Так и всю России разорвали без жалости, как материнское сердце этой старухи, и такими же горькими слезами обливается она теперь, оплакивая своих детей, гибнущих по обе стороны фронта, линия которого проходит по людским сердцам и по сердцу самой Родины...

Возвращаясь с кладбище, Митя с чувством мстительного удовлетворения увидел повешенного большевика-комиссара. Виселица была установлена посреди площади, мёртвое тело покачивалось на ветру, и несколько чёрных, гортанных ворон кружили вокруг него. Неправду говорят, будто ворон ворону глаз не выклюет. Большевики, комиссары в чёрных кожанках, каркающие на митингах, озверевшие эти полчища, ругающиеся над трупами, вырывающие им глаза, на кого более похожи они, нежели не на эту чёрную, гортанную стаю? И вот, клюёт теперь ненасытное воронье столь же ненасытного ворона в человеческом обличие... Но удовлетворение от этой картины быстро

сменилось острым омерзением и страхом от той ранее неведомой злобы, которая вдруг захватила душу, томя её непролитой кровью. Боже милостивый, что же это творится с ней, с живой душой, что, страшное и необратимое, происходит с ней?..

На следующее утро армия выступила к станице Кореновской. Крупное селение, похожее на уездный город, было расположено в семидесяти верстах от Екатеринодара, рядом с железнодорожной станцией Станичной. Сюда большевики стянули порядка двенадцать тысяч человек, два бронепоезда и многочисленную артиллерию. Численностью красные вчетверо превосходили Добровольцев, количеством оружия — в десять раз. Командовал всей этой армадой бывший фельдшер кубанский казак Сорокин.

Потрёпанные накануне Партизаны на сей раз были оставлены в резерве, а в авангарде армии шёл Юнкерский батальон генерала Боровского. В двух верстах от станицы наступающих встретил сплошной ружейный и пулемётный огонь. Юнкера рассыпались редкой цепью и двинулись на позиции красных. Позиции эти — окопы, занятые мощными цепями — хорошо просматривались невооружённым глазом. Слева на станцию Станичную наступали Офицерский и Корниловский полки. Их положение сильно затруднялось массированным огнём красных бронепоездов, стоявших на железнодорожном мосту над рекой Бейсужек. Артиллерия не могла дать противнику достойного ответа, так как практически не имела снарядов.

Корнилов поднялся на пригорок, не обращая внимания на свинцовый дождь и предостережения соратников, и стал в бинокль следить за ходом боя. За ним последовал и начальник штаба Иван Павлович Романовский.

На этот раз силы большевиков оказались слишком велики. Под ураганным огнём артиллерии дрогнули цепи юнкеров и Корниловцев и стали откатываться назад, преследуемые лавиной большевиков.

— Ваше Высокопревосходительство! Патроны и снаряды на исходе! Части требуют! Отдавать ли последние? — задыхаясь, спросил присланный из обоза гонец, вжимая голову в плечи, надеясь увернуться от пуль.

— Надо выдать — на станции мы найдём их много, — ответил Верховный.

На холм легко поднялся, поигрывая сжимаемым в руке хлыстиком, невозмутимый Марков в неизменной коричневой куртке на меху и белой папахе.

— А, Сергей Леонидович... — обратился к нему Корнилов. — Кажется, придётся нам здесь ночевать?

— Ночевать не будем! — бодро ответил Марков и, уходя, шепнул нервно Романовскому: — Уведите вы его, ради Бога! Я не в состоянии вести бой и чувствовать нравственную ответственность за его жизнь!

— Попробуйте сами... Говорил не раз — бесполезно! Он подумает, в конце концов, что я о себе забочусь... — отозвался Иван Павлович.

Марков раздражённо взмахнул плетью и, не обращая внимания на огонь противника, вскочил на приземистого, но крепкого коня и, достигнув своего полка, ведущего жаркий бой на подступах к Станичной, спешил и перебежками добирался до передовой цепи.

— Жарко? — крикнул он громко.

— Жара! Да вот патронов нет! — сразу ответило несколько голосов.

— Вот нашли чем утешить! В обозе их тоже нет. По сколько есть?

— Десять, пятнадцать, двадцать... — донеслись ответы.

— Ну, это ещё не так плохо! Вот если одни штыки, то будет хуже. Ну, а теперь в атаку, добывать патроны! — воскликнул Сергей Леонидович и первым бросился вперёд. Цепи, вдохновлённые примером, ринулись следом.

Между тем, Верховный отдал приказ бросить в бой резерв, оставив, таким образом, без прикрытия обоз с ранеными. Оттуда скоро примчался взволнованный гонец:

— Ваше Высокопревосходительство! В тылу возле нас появилась неприятельская конница!

— Передайте Эльснеру, что у него есть два пулемёта и много здоровых людей. Этого вполне достаточно. Пусть защищаются сами. Я им ничего дать не могу.

По счастью, конница, принятая за неприятельскую, оказалась тремя сотнями казаков станицы Брюховецкой, шедших на подмогу армии.

Включение в бой резерва обозначило переломный момент сражения. В то же время Марковцы, перейдя реку вброд, взяли мост и станцию. Красные отступили, отошёл назад и их бронепоезд. Однако значительные силы большевиков продолжали оставаться в станице и упорно сражались на подступах к ней. Дважды за этот день входили юнкера в Кореновскую и дважды вынуждены были отступить. Теперь жидкая цепь лежала под огнём, ожидая приказа. Белый дым от шрапнели окутывал серое поле, испещрённое рытвинами, покрытое чёрными фигурами, сражающихся людей...

— Ох, и дерутся сегодня большевики! — присвистнул лежавший рядом с Митей юнкер-константиновец.

— Ничего удивительного... Они ведь тоже русские... — отозвался другой.

При этих словах Мите вспомнилась сухая фигура старухи, бредущая меж крестов и оплакивающая убивающих друг друга сыновей, которых она родила и вскормила своим молоком... Несчастливая Россия... Но это воспоминание мгновенно было втеснено другим: мертвенно бледное лицо убитого брата встало перед глазами, и Митя со злостью впился пальцами в землю. Долго ли ещё лежать так?! Нужно наступать! Бить этих мерзавцев! Отомстить за Сашу! Тетрадь брата Митя спрятал под мундиром, прямо на груди, словно прижимал к сердцу Сашу... Наконец, прозвучала команда:

— Юнкера, в штыки!

Вот, это дело! В рукопашной схватке только и облегчиться душе! И первым вскочил Митя на ноги и ринулся со штыком наперевес навстречу плотным красным цепям. В человеческом месиве раздавались крики и стоны, кто-то падал под ноги бегущим, блестела на солнце окровавленная сталь... Митя споткнулся о раненого в грудь солдата. Тот хрипел, захлёбываясь кровью.

— Издыхаешь, сволочь?! — выкрикнул юнкер, не узнавая собственного голоса. — Поделом! Помни моего брата!

Перешагнув и, орудуя штыком, двинулся дальше. Большевики откатывались к станице, уже в нескольких шагах были её белые хаты. Митя не узнавал себя. Никогда не думал он, что может так желать чьей-то крови. Ведь он никогда не любил войны, он мечтал о мирной профессии, мечтал помогать людям, спасать жизни... И, вот, вместо этого он отнимает чьи-то жизни, убивает людей... Но полно! Какие же это люди? Это бандиты, негодяи, изуверы, убийцы Саши и многих других! Предатели России! О пролитии их ли крови печалиться? Когда их так много, а нас счесть по пальцам, и цепи наши редуют под их страшным огнём...

Их ли жалеть, когда у них бронепоезда, а у нас нет даже снарядов, а потому идём в штыки, как во времена Суворова? Нет, чиста совесть Мити. Он и идущие рядом стройные юноши-юнкера, едва вступившие в жизнь, противостоят в одиночку сразу нескольким солдатам... Красным солдатам... Интересно, как они выглядят? Какие у них лица? Не различить в угаре сечи! Грубые, искажённые ненавистью, звериные? А какое выражение лица теперь у самого Мити? Какие глупости лезут в голову... А руки действуют машинально, пробивая путь в станицу...

Юнкер Рассольников первым прорвался в Кореновскую. Бой закипел уже на улицах. За каждый дом. На Митю бросился солдат в засаленной гимнастёрке. Молниеносная реакция, и штык погрузился во что-то мягкое... В человеческую плоть... Солдат захрипел и повалился на землю. Митя успел разглядеть его лицо. Обыкновенное лицо. Каких миллионы в России. Зачем он ввязался в это безумие? Что привело его сюда? А бой продолжался... Из памяти выплыло лермонтовское «рука бойцов колоть устала». Рука, действительно, начинала неметь. Рядом раздался крик. Это на юнкера-константиновца бросились сразу двое. Митя круто развернулся и поспешил на помощь товарищу. Внезапно он почувствовал мощный удар в грудь, как раз туда, где лежала тетрадь Саши. Взгляд мгновенно заволокло каким-то красным маревом. Больше юнкер Дмитрий Рассольников ничего почувствовать не успел...

А в станицу уже въезжал Верховный, следивший за славной атакой юнкеров. Едва различив генерала Боровского, Корнилов спешил и, заключив его в объятия, расцеловал:

— Юнкера спасли положение!

Станица Кореновская была взята. Армия потеряла до сорока человек убитыми и порядка ста ранеными, но

захватила большой запас оружия: пятьсот артиллерийских снарядов и множество винтовок с патронами. Здесь же пришло сокрушительное известие: Екатеринодар пал... Кубанские Добровольцы под командованием Покровского вместе с атаманом Филимоновым, Радой и правительством покинули город. И вновь встал проклятый вопрос: куда идти дальше измученной походом и боями армии? Деникин и Романовский настаивали на неуклонном движении на Екатеринодар и взятии его, командиры полков Марков, Неженцев, Богаевский и другие, видящие состояние своих подчинённых, не считали такое предприятие возможным и предлагали перейти Кубань и дать армии отдых в горных станицах и черкесских аулах, скорее всего, ещё не тронутых большевизмом. Верховный склонился ко второму варианту:

— Если бы Екатеринодар держался, тогда бы не было двух решений. Но теперь рисковать нельзя. Мы пойдём за Кубань и там в спокойной обстановке отдохнём, устроимся и выждем более благоприятных обстоятельств.

Пятого марта с наступлением сумерек армия покидала Кореновскую. За ней тянулся всё более и более громоздкий обоз. Некоторых умерших от ран воинов похоронить не успели, и генерал Марков обратился к Корнилову:

— Ваше Высокопревосходительство, они увеличивают число повозок. Обоз и без того громаден!

— Везите, Сергей Леонидович! — ответил Верховный. — Тела этих героев мне дороги так, как они сами были дороги мне при жизни. При первой же возможности я их предам земле с воинскими почестями...

Глава 7. Память добра

Март 1918 года. Петроград

Всех неприятней увидеть на пороге своей квартиры Тягаеву было его. Сверстника, сослуживца, старого друга, а теперь непримиримого врага, военспеца формирующейся красной армии Павла Юльевича Вревского. Он явился утром, невозмутимый, сосредоточенный, не испытывающий, судя по виду, никакой неловкости от своего положения, не смутившийся даже тем, как спрятал полковник за спину руку, уклоняясь от рукопожатия.

— Позволишь войти?

— Проходи-те... — не сразу процедил Пётр Сергеевич.

Они прошли в комнату, но Тягаев не пригласил гостя сесть, а остановившись в центре, взглянул вопросительно:

— Что вам здесь нужно?

— Пришёл навестить старого друга, — ответил Вревский, заложив за спину руки.

— Здесь ваших друзей нет. Боюсь, вы ошиблись адресом.

— На «вы», значит? Ну-ну. И охота вам, полковник, ломать комедию?

— Комедию ломаете вы. Зачем вы пришли сюда? Вы же прекрасно знаете, что дружбы между нами впредь быть не может.

— Ничего такого я не знаю, — Павел Юльевич закурил и немного заволновался. — Проклятье! В чём ты, собственно, укоряешь меня? В том, что я продолжил служить новой власти так, как служил старой? В этом моё преступление?

— Это не власть. Это бандиты, которые ежечасно обагрят свои руки кровью ваших товарищей, господин бывший полковник. А вы, служа ей, становитесь соучастником этой бойни. Предателю и палачу в моём доме делать нечего. Попрошу вас его покинуть!

Лицо Вревского покраснело:

— Не смейте разговаривать со мной подобным образом! Я офицер! И в жизни своей воевал и проливал кровь не меньше вашего! Ни за чьими спинами не прятался и пулям не кланялся — вы тому свидетель!

— Тем больнее мне, что отличный офицер, которого я считал другом, оказался изменником.

— Я никому не изменял, господин полковник. Я честно служил своей Родине и продолжаю ей служить!

— Служить Родине под началом её врагов? Немецких шпионов? Интересный способ!

— Большевики вынуждены сотрудничать с немцами, потому что сейчас нет возможности воевать...

— Разумеется! Нужно же истреблять нас!

— Это временные попутчики!

— Скажи мне кто твой попутчик, и я скажу кто ты.

— Немцы дураки! Большевики, как только укрепятся, намылят им шею! И не только им! Но и подлецам-союзникам! И это будет величайшая победа, триумф России!

Тягаев с удивлением смотрел на бывшего друга:

— Павел Юльевич, да вы бредите! Уж не больны ли вы? Россию они победят, прежде всего! России не будет! А потому победит не Россия, а большевизм, эта страшная зараза, которая уничтожает всё живое!

— Как вы можете говорить такие слова, полковник?! «России не будет»! Или вы считаете, что Россия это только мы с вами? Монархия? Аристократия? Россия больше нас всех! Не будет той России, в которой мы выросли, но будет иная, новая, великая, и ей мы будем нужны, и ей я буду служить!

— Вы дурак, простите, — резко оборвал Пётр Сергеевич. — Разумеется Россия это не мы, не Государь Император, не аристократия и интеллигенция. Но, чёрт возьми, по-вашему, Россия — это Бронштейны, Урицкие, Обфельбаумы, Гоцы и прочая «черта оседлости»?! Это Марксы, Люксембурги и Цеткины?! Это та шпана, которую вы выпустили из тюрем и наёмники, которых вы набрали по всему свету?!

— Наёмники? Простите, но латыши, китайцы и другие инородцы служили ещё при Царе. Теперь они служат новой власти, и что же? Мне далеко не всё нравится в том, что делают большевики. Скажу больше, мне очень многое не нравится. Но раз они стали властью, то я буду служить им, чтобы служить России. Если таких, как я, будет у большевиков много, то мы перевесим, в конце концов, и сами де-факто станем властью, и сможем выправить то тяжёлое положение, которое создалось. Но для этого люди нужны! Только так и можно изменить что-то, а не бежать на Дон и в Сибирь, чтобы усугублять разруху и умножать жертвы.

— Помилуйте, уж не меня ли вы хотите сагитировать за большевиков?

— Почему бы и нет?

— Бедный, бедный Вревский... Вы всерьёз полагаете, что сможете перестроить большевиков изнутри? Мой несчастный Павел Юльевич, всё произойдёт как раз наоборот. Вы будете опускаться всё ниже, потому что дурные сообщества развращают добрые нравы. Вы будете служить не России, а её палачам, вы сами станете палачом своих товарищей, потому что они не допустят, чтобы вы остались не замараны кровью. А потом они расправятся и с вами.

— Я бы попросил не оскорблять меня подобным тоном. Даже генерал Брусилов принял советскую власть!

— Да... Надо же было на старости лет, после стольких лет беспорочной службы покрыть славное имя несмываемым позором!

— Послушайте, Пётр Сергеевич, я ведь пришёл к вам, как друг...

— Вы не друг мне. И будьте уверены, господин Вревский, что хотя я и калека, но, Бог мне свидетель, мне хватит и одной руки, и одного глаза, чтобы, пока я жив, пока хоть капля жизни во мне теплится, сражаться с вами, с убийцами и насильниками моей Родины!

— Полковник Тягаев! — Павел Юльевич вздрогнул. — Я не намерен больше слушать ваших оскорблений! Я пришёл к вам с добром! Пришёл, потому что помню добро! Потому что помню, как вы спасли мне жизнь, приняв предназначенный мне удар самурайского меча!..

— Я сожалею, что некогда спас вам жизнь, милостивый государь, — отчеканил полковник. — А добра вы не помните, раз посмели предать своих товарищей, армию и Россию. Убирайтесь вон.

— С удовольствием! — Вревский круто развернулся и ушёл.

— Дурак... — процедил Тягаев ему вслед.

В комнату бесшумно вошла жена:

— Петруша, зачем нужно было разговаривать с ним так?

— А как ещё я должен был с ним разговаривать? — нахмурился Пётр Сергеевич.

— Он был нашим лучшим другом столько лет! Он пришёл к нам, как друг!

— У меня не было, нет и не будет друзей-подлецов. Если вам угодно, он может оставаться вашим другом! Вы, быть может, сожалеете, что когда-то из нас двоих выбрали меня? С ним ваша жизнь, несомненно, была бы счастливей и благополучней! Так ступайте за ним! —

голос Тягаева сорвался. — А мне давно пора быть в конторе! Прощайте!

Пётр Сергеевич стремительно покинул комнату. Елизавета Кирилловна слышала, как хлопнула входная дверь, видела, как муж выбежал на улицу, заметила, как дрожали его плечи. Раненый рыцарь, какие муки владели его истерзанной душой, до какого предела стали натянуты его нервы...

А ты теперь, тяжёлый и унылый,
Отрекшийся от славы и мечты,
Но для меня непоправимо милый,
И чем темней, тем трогательней ты.
И сердце только скорой смерти просит,
Кляня медлительность судьбы...

Эти стихи Ахматовой Елизавета Кирилловна прочла совсем недавно у своей приятельницы, переписавшей их от руки. Прочла и тут же затвердила наизусть, как заучивала многое, благодаря своей прекрасной памяти.

Так дни идут, печали умножая.
Как за тебя мне Господа молить?
Ты угадал: моя любовь такая,
Что даже ты её не мог убить.

Волна нежности к мужу нашла на Елизавету Кирилловну, печальная улыбка скользнула по устам. Она любила его, любила взаправду, любила, как умела, хотя и не могла, как должно, выразить своих чувств. Елизавета Кирилловна от природы стеснялась показывать их. Ни обиды, ни горя, ни ласки, ни безудержного веселья её никто не видел. Всё переживала она в себе, никому не поверяя своих тайн,

не делясь тревогами. Откровенной Елизавета Кирилловна была лишь с матерью, и то — отчасти. Самые сильные чувства не доверялись даже ей. Иногда ей хотелось стать простой бабой, мужниной женой, прильнуть к плечу Петруши, приласкать его, но каждый раз она сдерживала порыв, сомневаясь, что мужу, погружённому в свои дела, нужны её нежности, боясь показаться ему глупой... Показаться глупой Елизавета Кирилловна боялась всегда. Она слишком гордилась своим умом. Гордость эта была оправданной. Немного нашлось бы в России женщин такого широкого кругозора, таких энциклопедических знаний, такой выдающейся образованности, как Елизавета Тягаева. Она легко ориентировалась в истории и философии, прекрасно разбиралась в литературе, искусстве, политике. Она много лет преподавала в институте и писала научные статьи, отличавшиеся глубиной и красотой слога.

Теперь всё это кануло в небытие. Чего только не пришлось пережить Елизавета Кирилловна за последние месяцы! Она дежурила ночью у дома, согласно выпущенному декрету, обязывавшему к этой повинности всех квартирохозяев «под страхом конфискации всего имущества», под этим же страхом чистила улицу от снега, распродала вещи на толкучке... Торговать взялся едва ли не весь город. Начальница Ксениинского института, где преподавала Елизавета Кирилловна, княгиня Голицына некоторое время пекла булки и продавала их на улицах. Вся жизнь изменилась до неузнаваемости, но Елизавета Кирилловна принимала все перемены стоически, благодаря Богу за то, что кроме ума, наделил Он её крепким здоровьем и физической силой, которые так нужны были теперь! О себе она не беспокоилась, но переживала за хрупкую, болезненную мать и своего раненого рыцаря, принимавшего всё так близко к

сердцу, так страдавшего от всего, что творилось вокруг. Все эти переживания были незаметны. Так уж издавна повелось, что все находили возможным нести свои проблемы и печали Елизавете Кирилловне, скрывать на ней свою боль, словно и не предполагая в сильной, гордой женщине таких же, как и у всех, нервов. Главным же страхом её была дочь Надя, отправленная в Киев к сестре. Правильно ли поступила, что в окаянные эти дни, разлучилась с ней? А что теперь в Киеве? А если случится беда, а её, матери, не будет рядом? Гнала от себя Елизавета Кирилловна чёрные мысли, но ночью, как сговорившись, наступали они и терзали душу.

Тоскливо было на сердце. Петруша стал непоправимо далёким. Правда, это случилось не сейчас — давно. Когда точно, Елизавета Кирилловна не могла вспомнить. Да и были ли они, на самом деле, близки? Почти двадцать лет минуло с поры их знакомства. Тогда Петруша был ещё так молод, но уже серьёзен, обстоятелен, предан долгу. Да и сама Елизавета Кирилловна, дочь известного правоведа, не походила на своих сверстниц и тоже отличалась большой серьёзностью, сдержанностью, зрелостью. Она не собиралась замуж, увлечённая науками, но два офицера ходили к ней каждый Божий день: один откровенно ухаживал, другой как будто бы просто шёл за компанию. Елизавета Кирилловна выделила второго. Высокий, стройный офицер с профилем римского патриция, густыми русыми волосами, аккуратной эспаньолкой и тёмно-синими завораживающими глазами. Он говорил глуховатым красивым голосом, слегка отрывисто, улыбался сдержанно, одними уголками губ. Однажды им случилось танцевать на балу в честь именин подруги Елизаветы Кирилловны, и, вальсируя в объятиях Тягаева, она почувствовала себя совершенно счастливой. Тогда они стали видаться

чаще, уже вдвоём, избегая присутствия Вревского, начинавшего понимать, что становится лишним. Елизавете Кирилловне было жаль его, но как известно — «сердцу не прикажешь».

Ни тогда, ни позже не могла она сказать уверенно, любит ли её Тягаев. Она знала лишь то, что сама любила его и хотела быть с ним. Ей было хорошо рядом: молодой офицер оказался интересным собеседником, их объединяли схожие взгляды, далёкие от бытовавшей тогда революционности, общие пристрастия в литературе и интерес к истории. Елизавете Кирилловне казалось, что они хорошо понимают друг друга и уже хотя бы поэтому подходят друг другу. Что-то подобное, должно быть, чувствовал и Пётр Сергеевич. Однажды утром он пришёл к ней и с порога объявил:

— Елизавета Кирилловна, через неделю я покидаю Петербург. Я получил новое назначение. Мне не хотелось бы уезжать, не объяснившись. Елизавета Кирилловна, согласитесь вы стать моей женой?

— Разумеется, Пётр Сергеевич. Я согласна.

Жеманство и кокетство было ей не свойственно. Она отличалась прямотою и всегда точно знала, чего хотела. Она хотела выйти замуж за Петра Тягаева. Удивительно, но даже при этом кратком объяснении не прозвучало ни слова о любви.

Поженились они через полгода, а через неделю Пётр Сергеевич отбыл в Туркестан. Елизавете Кирилловне поехала с ним, но быт, с которым пришлось ей столкнуться, надломил даже её силы: глиняная халупа, нестерпимый жар днём и холод ночи, великое множество всевозможных ядовитых гадов, среда, бывшая совершенно чуждой петербургской учёной даме. Она долго крепилась, но конец её мучениям положил укус скорпиона, от которого Елизавета Кирилловна едва не умерла и долго болела. После этого она вернулась в Петербург и больше не сопровождала

мужа в его командировках, отдавшись любимой работе и дочери. Дочерью, впрочем, больше занималась бабушка, так как Елизавета Кирилловна была слишком занята преподаванием и науками. Напряжённая работа раньше срока состарила её. Отношения с мужем не испортились, в них не было ссор, надрывов, упрёков, в них, вообще, не было ничего яркого. Чувства, которые были, потускнели, стали пресными. Они, как и прежде, придерживались одних взглядов, уважали друг друга, разговаривали, но, по существу, жили отдельно, каждый сам по себе. Елизавета Кирилловна болезненно понимала, что к их отношениям муж тоже относится, как к долгу, исполняет этот долг, но не любит её по-настоящему. Она примирилась с этим, как с неизбежностью. Что поделать, может быть, умные, сильные, гордые женщины просто не созданы для любви? Их можно уважать, можно поклоняться им, но не любить? Пусть так... Слава Богу, что любовь всё же была у неё, что с мужем они прожили столько лет в мире и согласии. Правда, видела она его в эти годы не часто, но и это, быть может, к лучшему, а то, чего доброго, надоела бы ему. Расстояние иногда бывает целительно и благотворно. Они жили, не мешая друг другу, не причиняя друг другу боли — разве так уж мало? И, как бы то ни было, Елизавета Кирилловна была верна мужу, любила его, ждала и будет ждать всегда...

Но теснило что-то сердце ей, и казалось — трагедия, расколовшая Россию, раскалывает безжалостно и их семью. Или она лишь ускорила то, что должно было случиться? Впервые за столько лет поднял Петруша голос на неё! Конечно, у него совсем расшатаны нервы. Но разве железная — она? Упрекнул Вревским... Не жалеет ли... Никогда Елизавета Кирилловна не жалела о том, что не предпочла Вревского. Он был преданный, предупредительный друг, но совместной жизни не вышло бы у них. Слишком

разнились характеры. Для Елизаветы Кирилловны при скупости её на чувства как нельзя лучше подходил именно Петруша, такой же сдержанный, что и она. Правда, Вревскому она была благодарна: как благородно отступил он тогда в тень, оставшись просто хорошим и верным другом — и для неё, и для Петруши. И, вот, теперь Петруша прогнал его. Конечно, не могла Елизавета Кирилловна одобрить того, что Паша пошёл на службу к ненавистным большевикам, но нельзя же и так!

Внезапно под окнами показалась статная фигура Вревского. Он шёл, иногда оглядываясь, затем, подумав мгновение, шагнул в подъезд. Елизавета Кирилловна поспешила к двери и отрыла её ещё до того, как Павел Юльевич успел позвонить.

— Здравствуй, Паша.

— Здравствуй, Лиза. Петра нет?

— Он ушёл... Паша, ты извини его... Он был недопустимо резок.

— Пусть считает меня последним негодяем, если ему угодно. Ты ведь тоже не одобряешь меня, верно?

Елизавета Кирилловна опустила глаза.

— Ладно, я ни в чём не собираюсь вас убеждать. Твой муж когда-то спас мне жизнь, и я не хочу быть у него в долгу. Через десять минут к вам придут. С обыском. Есть приказ об аресте твоего мужа, как опасного контрреволюционера. Я приходил утром, чтобы сказать ему об этом, но он меня прогнал... Скажу честно, я не вернулся бы назад ради него. Сейчас я здесь только ради тебя. Прощай!

Вревский повернулся и стал спускаться по лестнице.

— Паша! — окликнула его Елизавета Кирилловна.

Павел Юльевич остановился, поднял на неё глаза.

— Спасибо тебе! Я хочу сказать, что, как бы то ни было, я никогда не перестану считать тебя своим другом.

— Я рад этому, Лиза. Прощай!

Вревский ушёл. Елизавета Кирилловна метнулась в квартиру. Нужно было срочно сжечь несколько документов и спрятать последние ценные вещи. И на всё это были считанные минуты. Но, главное, нужно было предупредить Петрушу. Многие растерялись бы в такой ситуации, но мозг Елизаветы Кирилловны работал чётко и хладнокровно. Через минуту Ирина Лавровна, спрятав под одеждой ценности, покинула дом и направилась к жившей в соседнем квартале приятельнице. Спешно бросая в камин бумаги, Елизавета Кирилловна, говорила Мише:

— Бегите в контору. Знаете, где она? Отнесите ему документы и деньги. Возьмите там, на столике. Скажите, что дома нельзя появляться. Он должен уехать...

— Я всё понял, Елизавета Кирилловна, — кивнул Миша. — Не волнуйтесь, я всё устрою!

В этот момент на лестнице послышался топот.

— Это они! Мишенька, уходите чёрным ходом! Скорее!

— Иду, Елизавета Кирилловна!

— С Богом!

Несколько красноармейцев во главе с комиссаром вошли в квартиру в ту минуту, когда Миша уже выбежал на улицу. Елизавета Кирилловна встретила их с самым спокойным видом, отвечала на вопросы ровным голосом, уверенно и твёрдо. Когда начался обыск, она бессильно опустилась в кресло, с великим трудом сохраняя невозмутимый вид. Она уже не слышала, что говорили вокруг неё, не видела, как ворошили, выбрасывали из ящиков вещи. Ей не было дела до этого. Елизавета Кирилловна вдруг пронзительно ясно поняла, что больше никогда не увидит своего раненого рыцаря, и от этой мысли хотелось зарыдать, но рыдать в присутствии посторонних было нельзя. Елизавета

Кирилловна покусывала кончики пальцев, а в голове её, как пульс, стучали строчки Ахматовой:

И вот одна осталась я
Считать пустые дни.
О вольные мои друзья,
О лебеди мои!
И песней я не скличу вас,
Слезами не верну,
Но вечером в печальный час
В молитве помяну...

А Миша, между тем, бежал, что есть мочи, скользя по обледенелым тротуарам и задыхаясь. В конторе он застал Петра Сергеевича и Гребенникова и, не переводя дух, рассказал обо всём произошедшем. Ротмистр хватил себя кулаком по колену:

— Ах ты, дьявол их всех разорви! Всё теперь насмарку! Теперь только давай Бог ноги! Решительно!

— Я думаю, нам лучше будет уйти и скрыться порознь, — решил Тягаев. — Уходи ты первым, а я следом.

— Но Пётр Сергеевич...

— Это приказ, ротмистр. Уходите немедленно.

— Слушаюсь, господин полковник, — недовольно отозвался Гребенников, натянул свой засаленный тулуп и выскользнул на улицу.

— Пётр Сергеевич, — заговорил Миша, — Елизавета Кирилловна передала для вас деньги и документы. Пожалуйста, наденьте моё пальто, я надену вашу шинель...

— И что будет?

— Сегодня с вокзала отходит поезд. Один из вагонов занимает Криницына со своей труппой. Она не

откажет вам в помощи, и вы сможете безопасно покинуть город.

— Насколько я помню, вы сами должны были уехать сегодня на эти гастроли?

— Должен был. Но вместо меня поедете вы. Мне в городе ничего не угрожает, а вам оставаться нельзя.

— Нет, друг мой, я не могу принять вашей услуги.

— Умоляю вас, Пётр Сергеевич! Я дал слово вашей жене! Для её безопасности лучше будет, если вы уедете! Позвольте мне выполнить моё слово, господин полковник! Поспешите, умоляю вас!

Тягаев подумал несколько мгновений, затем сбросил шинель и протянул её Мише:

— Идёмте!

Шинель Мише оказалась порядочно длинна, а Тягаеву было тесно в его пальто, но обращать внимание на подобные мелочи обоим было недосуг. Через час они были на вокзале. Известной певицы Евдокии Криницыной Пётр Сергеевич прежде никогда не видел, зато голос её узнал сразу. Больше года назад, когда полуживой, искалеченный, с завязанными глазами, он лежал в госпитале, она приезжала к ним и пела, и навсегда её чудный, звенящий голос врезался полковнику в память.

Криницына оказалась ещё совсем молодой женщиной, к тому же весьма и весьма привлекательной. В ней не было ни капли фривольности, свойственной артисткам, наоборот: черты лица её отличались благородством, а наряд — скромностью. Тягаев невольно залюбовался и перламутровой кожей её, и тяжёлым золотом волос, и тонкими чертами нежного лица, и крупными глазами лани, мягкими, ясными... Миша о чём-то шептался с ней минут десять, после чего певица повернулась к полковнику:

— Вы можете чувствовать себя здесь совершенно в безопасности, Пётр Сергеевич. Проходите в моё купе подальше от сторонних глаз. Поезд, кажется, вот-вот отойдёт.

— Я ваш должник, — учтиво поклонился Тягаев.

— Евдокия Осиповна, благодарю вас от всей души! — воскликнул Миша, целуя Криницыной руки. — Прощайте, божественная! Счастливого вам пути!

— Я предпочитаю говорить «до свидания», Мишенька, — улыбнулась певица. — Уверена, мы ещё споём с вами наш дуэт.

— Непременно, Евдокия Осиповна! Непременно!

Когда поезд тронулся, Пётр Сергеевич почувствовал разом облегчение, грусть и болезненный укол совести. Он вспомнил о жене. Какая всё-таки необыкновенная женщина! Какая умница! Какое самообладание! А он даже ни разу не сказал ей, что любит её. Он даже не простился с ней. Хуже того в последнюю встречу накричал, обидел. Повёл себя, как последний неврастеник и подлец... А теперь как исправить? Нет, никогда нельзя расставаться в ссоре, уходить, не помирившись. Ведь никогда нельзя знать точно, суждено ли вернуться. А, значит, останется ссора, и ничем не загладить вины... Милая, дорогая, святая Лиза, почему всё сложилась именно так, а не иначе? Простишь ли ты? Да ведь ты уже простила, как прощала все бесконечные командировки, своё одиночество... Ты простила, но у совести прощения не будет, и грех перед тобой будет камнем лежать на ней. Лиза, родная, ты только оставайся такой же сильной, ты только выживи в это страшное время, и тогда твой раненый рыцарь однажды встанет перед тобой на колени и попросит простить за всё! Рыцарь... Хорош рыцарь, нечего сказать! Почему, почему всё так? А Павел?.. Ведь не законченный подлец и он! Ведь пришёл же предупредить, ведь даже после пришёл, подавив

обиду... Значит, совесть есть ещё. Как же позволила ему эта совесть служить убийцам Родины? Как мог так затуманиться разум его? И его ли одного? Господи Боже, что же происходит с людьми? Всё смешалось, перепуталось, всё гибнет... И куда и зачем едет он, Тягаев, по подложным, Гребенниковым добытым, документам, в актёрском вагоне, в одном купе с этой волоокой красавицей? Ничего непонятно...

Красавица, между тем, разлила чай, достала из корзины печенье:

— Угощайтесь! — улыбнулась, сияя жемчужными ровными зубками.

— Благодарю вас.

— Мишенька всё рассказал мне. В нашей труппе вы можете себя чувствовать совершенно спокойно. У нас все люди хорошие и весёлые. Вот, только как бы нам вас рекомендовать? Может быть, певцом?

Это предложение развеселило Петра Сергеевича:

— Боюсь, что у меня нет ни голоса, ни слуха.

— Какая жалость. У вас такой приятный тембр. Тогда что же?.. — Евдокия Осиповна задумалась. — А стихи вы читать умеете? Можно выдать вас за мелодекламатора.

— Вот, стихи — умею, — чуть улыбнулся полковник. — И даже — довольно неплохо. Правда, уж не взыщите, Маяковских и прочих футуристов не признаю и не знаю.

— Я сама не люблю их! Я люблю стихи красивые, певучие! Прочтите что-нибудь, окажите мне любезность!

Тягаев ненадолго задумался, решая, чтобы прочесть этой в высшей степени милой, очаровательной женщине. Она смотрела ожидающе, и глаза её казались ещё больше, красивее. Пётр Сергеевич поймал себя на мысли, что невольно залюбовался ею, и само собой пришло на память стихотворение Теофиля Готье:

— Я вас люблю: моё признание
Идёт к семнадцати годам!
Я — только сумрак, вы — сиянье,
Мне — только зимы, весны — вам.

Мои виски уже покрыли
Кладбища белые цветы,
И скоро целый ворох лилий
Сокроет все мои мечты.

Уже звезда моя прощальным
Вдали сияет мне лучом,
Уже на холме погребальном
Я вижу мой последний дом.

Но если бы вы подарили
Мне поцелуй один, как знать! —
Я мог бы и в глухой могиле
С покойным сердцем отдыхать.

Глава 8. Свои

23–30 марта 1918 года. Закубанье

Кладбищенская тишина царила в аулах. Громыхали рассерженно горные речушки, низкорослые деревья казались сухими и безжизненными. На всхолмиях стояли серые, крытые соломой бедные сакли, и минареты таких же бедных мечетей стремились к небу. Капитан Арсентьев толкнул хлипкую дверь одного из убогих жилищ, вошёл внутрь и остановился потрясённый. Груда человеческих внутренностей была разбросана по полу, а у печи лежало тело старика, по-видимому, хозяина дома. Ноги его обгорели, а горло прокололи штыком... Ростислав Андреевич быстро вышел вон. Пройдя несколько шагов, он наткнулся на перепуганную черкешенку. Увидев его, она хотела броситься бежать, но капитан успел схватить её за руку:

— Не бойся, я ничего тебе не сделаю! Скажи, что здесь произошло?

Девушка посмотрела на офицера чёрными, полными страха глазами, ответила дрожащим голосом на ломанном русском:

— Убили всех...

— Кто убил?

— Большевики... Всех, всех убили! — черкешенка заплакала, завывая. — Брата убили! Отца убили! Буржуи, сказали! Штыками кололи... А мы с сестрой в горы убежать успели... Мужчин почти всех убили...

Вспомнилась ночёвка в станице Рязанской, граничащей с аулами. Подозрительно покорные жители её встречали армией хлебом-солью и всё норовили пасть на колени. Знала кошка, чьё мясо съела... Ох, не знали

Добровольцы причины этой покорности! А надо было бы дотла выжечь это бандитское гнездо! Теперь в мёртвых аулах выяснялось, что эта раболепствовавшая накануне станица первой приняла большевизм, и иногородние, объединившись с казаками, напали на соседние аулы. Мужчин истребляли поголовно: в ауле Габукай убили более трёхсот человек, столько же — в Ассоколае... Многих подвергали истязаниям. Спаслись лишь некоторые, успевшие убежать в горы. Несколько дней затем казаки и крестьяне вместе с жёнами и детьми приезжали сюда, грузили на подводы черкесское добро и увозили с собой. Безумные люди! Неужели они думают, что добро, за которое пролито столько крови, не возалчет теперь крови самих убийц? Что это добро не станет жерновом на шее их детей? Черкесы никогда не простят гибели стольких своих братьев, но будут мстить до последней капли крови. Все, оставшиеся в живых, на своих лошадях примкнули к армии с одной целью — отомстить большевикам...

Не так, совсем не так, как ожидалось, встречало Добровольцев Закубанье. Угодила ворона прямо в суп... Думали найти тихую гавань, а угодили в осиный улей, искали отдыха, а, в итоге, что ни день, то кровопролитная сеча... Усть-Лабинская, Некрасовская, хутор Филипповский — каждая верста с боем. От хутора к хутору продирались сквозь большевистское кольцо, орошая землю кровью, теряя людей. Но, вот, дошла обнадеживающая новость: совсем рядом, в шестидесяти верстах ведёт бой отряд Покровского. Хоть бы не разминуться с ним, как уже случилось на Кубани!

А ведь как мечталось о Екатеринодаре... Виделся он измученной армии Обетованной землей, и вдруг это земля растаяла, когда Добровольцы были уже совсем рядом. Не оправдалась и надежда на кубанских казаков. Ростислав Андреевич, впрочем, этой надежды

не разделял. И скептическое его мнение ярко подтвердил один случайно услышанный разговор офицера-корниловца с казаком, у которого он стоял на постое:

— Вот вы, образованный, так сказать, а скажите мне вот: почему это друг с другом воевать стали? Из чего это поднялось?

— Большевики разогнали Учредительное собрание, избранное всем народом, силой власть захватили — вот и поднялось.

Сильный аргумент, ничего не скажешь! Особенно для этого хитрована, чья хата завсегда с краю. Учредительное собрание! Видал он его! Нет, так ничего нельзя объяснить, пустое...

— Опять вы не сказали... Например, вот скажем, за что вот вы воюете?

— Я воюю? За Учредительное собрание. Потому что думаю, что оно даст русским людям свободу и спокойную трудовую жизнь.

Даст! Непременно даст! Держи карман! Откуда этот простой люд знает, даст ему что это самое собрание или нет? Глупо, бездарно... Сулить народу Учредительное собрание всё равно что фигу с маслом... Фигу в ответ и покажут...

— Ну, оно конечно, может вам и понятно, вы человек учёный...

— А разве вам не понятно? Скажите, что вам нужно? Что бы вы хотели?

— Чего? Чтобы рабочему человеку была свобода, жизнь настоящая, к тому же земля...

— Так кто же вам её даст, как не Учредительное собрание?

— В это собрание нашего брата не допустят.

— Как не допустят? Все же выбирают, ведь вы же выбирали?

— Выбирали, да как там выбирали, у кого капиталы есть, те и попадут...

— Да ведь это же от вас зависит!

— Знамо от нас, только оно так выходит...

Земли и воли! — вот, что нужно простому человеку. А все эти собрания видел он в гробу. Он этой всей казуистики не понимает, ему подай что-то, что пощупать можно! А то — после дождичка в четверг! Да, по правде сказать, за эту Учредиловку Ростислав Андреевич и сам бы пальцем не шевельнул. Обозвали-то как... Казённо, слух режет. А куда б лучше — древнее, русское, настоящее — Собор. Русский Народный Собор. Как в прежние века! Созвать такой Собор, и избрать на нём нового Государя, как некогда избрали Михаила Феодоровича! И никаких республик и прочих изобретений всяких суемудрых прожектёров... В России может быть только монархия, только Царь. И лозунг этот, если и не будет всеми принят, то, во всяком случае, ясен будет всем. И не может быть такого, чтобы в такой стране, как Россия, так скудно стало с людьми, чтобы некого было возвести на трон. Конечно, в Династии вряд ли найдётся достойный претендент на престол. Хотя бы потому, что, кажется, никто в ней его по-настоящему не хочет. Никто не хочет принять этот крест. Сколько великих князей, а все занялись этими либеральными игрищами, словно бы они не правящая Династия с трёхсотлетней историей, а рядовые обыватели! Ростислав Андреевич готов был положить жизнь, чтобы спасти Династию, но... как можно спасти тех, кто не желает спастись? Но не свет же клином сошёлся... Перевелись Рюриковичи — явились Романовы. Взамен Романовых неужели не сыщется иной фамилии? Но решить всё может только Собор! Не Парламент! Не Учредиловка! Там русского духа не будет, а, значит, и решение станут приниматься не для русского народа, а в угоду партиям, доктринам,

классам... Русский Народный Собор... И почему никто не додумается до этого? О монархии вслух, вообще, боятся заикаться сами добровольческие вожди. Корнилов провозгласил себя республиканцем. Зачем? И — от души ли? Ему ли иметь что-то против монархии? Кого обмануть хотят, кого перехитрить? Себя самих только... Нет, хитрость — это не наше. Она нам боком выходит. Только чёткие, конкретные и понятные всем лозунги.

Эх, спросил бы этот дотошный казак Арсентьева, за что он воет... Рассказал бы ему Ростислав Андреевич... Всю свою жизнь рассказал бы, и всякому стало бы понятно...

Мать его умерла, когда ему не было и года. Отец, потомственный дворянин, офицер славного Лейб-гвардии Преображенского полка, участник Балканской кампании, был занят на службе, и детство Славика прошло в фамильном имении, расположенном в Орловской губернии, под присмотром бабушки и кормилицы. Мальчик рос серьёзным и вдумчивым, но в то же время резвым, бойким. Он с равным удовольствием блуждал в одиночестве по аллеям парка или сидел с книгой в отцовском кабинете, ходил на охоту с мужем кормилицы и его сыновьями, своими молочными братьями, пропадая в лесах и на болотах по целым дням, предавался играм с деревенской ребятнёй. В нём не было барственной заносчивости, но чувство собственного достоинства было развито необычайно. Он знал себе цену, был целеустремлён, решителен и становился лидером в детских играх не правом рождения, а умением заставить подчиняться своей с самых ранних лет железной воле. Аккомпанементом тем беззаботным годам стали рассказы отца о сражениях на Балканах, о Скобелеве, Черняеве и других героях. Девяти лет Андрей Петрович отдал сына в кадетский корпус. По окончании его Ростислав поступил во Владимирское военное училище, оказавшись в одном

классе с юнкером Александром Кутеповым. Тогда судьба свела их впервые. Ростислав сразу отдал должное дисциплинированному, подтянутому и волевому однокашнику, пришедшему в училище из гимназии, не имея за плечами кадетского опыта. Отсутствие последнего, однако, ничуть не мешало ему: Кутепов был первым учеником и производство в фельдфебели получил, минуя чин старшего портупей-юнкера, что случалось крайне редко. По окончании училища многие молодые офицеры сразу отправились на разразившуюся Русско-японскую войну. Среди них были и Арсентьев с Кутеповым. Оба, оказавшись на фронте, получили назначение в команду разведчиков. Большим разведывательным операциям, как правило, предшествовали ночные вылазки, предпринимаемые силами нескольких человек с целью минимизировать риск для всей команды. Такие вылазки Кутепов всегда проводил лично, взяв с собой одного-двух охотников, среди которых неизменно оказывался и Арсентьев. Ростислав Андреевич особенно любил вспоминать один случай. Японцы выставили заставу из восьмидесяти человек. Среди ночи охотники подкрались к часовому, не заметившему их приближения. Арсентьев оглушил его прикладом, и разведчики во главе со своим бессменным командиром бросились вперёд с криком «ура!». Японцы разбежались, оставив оружие, ставшее трофеем кутеповского отряда. Вскоре пути двух офицеров разошлись. Ростислав Андреевич получил тяжёлое ранение, после которого был признан инвалидом, и целых два года провёл в родном имении, коротая время за чтением книг.

Поправив здоровье, Арсентьев вновь вернулся на службу. Его тянуло к разведывательной деятельности, но командование оставляло исполнительного офицера на штабных должностях. Карьера Ростислава Андреевича явно застопорилась. Он получил чин

капитана, но вскоре произошла история, вернувшая ему погону поручика. История была тривиальной. Два офицера поссорились из-за дамы, последовала дуэль, в которой Арсентьев, будучи близким другом одного из поединщиков, выступил в роли секунданта. Дуэль закончилась плачевно: друг Ростислава Андреевича был убит, а его противник серьёзно ранен, оба секунданта разжалованы. Возможно, Арсентьев никогда бы не простил себе этой несчастной истории, если бы она не свела его с женщиной, которой он вскоре безоглядно отдал сердце и сделал предложение.

Аделаида была прелестным созданием. Невысокая, хрупкая девушка с маленьким, живым лицом на тонкой, нежной шейке, с острым, чуть вздёрнутом кверху, пуговкой-носом, и умными, иконописными глазами под удивлёнными дугами бровей — вот, что увидел перед собой Ростислав Андреевич при первом знакомстве. Аля оказалась скромной, покладистой, начитанной юной особой, получившей прекрасное домашнее образование, талантливо музицировавшей и крайне далёкой от набирающего популярность типа эмансипированных девиц, равно как и от образа светских барышень. Арсентьев был очень удивлён, что такое невинное существо могло стать причиной кровопролитной дуэли. Сама Аля была совершенно подавлена последней, виня себя в случившемся несчастье. Она даже подумывала уйти от мира и посвятить жизнь Богу, но решительный натиск молодого поручика изменил её намерение. Она стала его женой, и Ростислав Андреевич увёз её в своё имение.

Несмотря на служебные неурядицы, то были самые счастливые годы его жизни. Аделаида оказалась не только преданной и любящей женой, но и великолепной хозяйкой. Дом Арсентьевых, запустевший после смерти бабушки без женской руки, теперь расцвёл. Отец,

вышедший в отставку, не мог нахвалиться невесткой и привязался к ней, как к родной дочери.

В Четырнадцатом году со второй попытки Ростислав Андреевич поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. Начавшаяся война поставила его на распутье: сердце офицера рвалось на фронт, разум требовал довести до конца начатое — окончить академию. Начатое Арсентьев оставлять не любил, к тому же надежда получить назначение на фронт, на линию огня, а не в очередной штаб для него, признанного медкомиссией «ограниченно годным» да ещё имеющего служебный проступок, была невелика. Взвесив всё и прозондировав почву, Ростислав Андреевич остался в академии...

В Шестнадцатом году стало известно о появлении в академии нового лектора — молодого генерала, только что приехавшего с турецкого фронта. Слухов о нем было множество, но самого его ещё никто не видел, а потому аудитория ожидала лекции с большим интересом и волнением. Наконец, в широко раскрытые двери вошёл совсем молодой, сухощавый, темноволосый генерал с худым, нервным лицом, черты которого казались заострёнными до резкости. Георгиевский крест, Георгиевская шашка и серая папаха в руке дополняли образ. Крупными нервными шагами лектор прошёл на кафедру и заговорил громким, резковатым голосом:

— Я — генерал Марков, приехал к вам с Кавказского фронта, будем вместе с вами беседовать по тактике, поменьше зубрежа; прошу на лекциях слушать, а главное, почаще меня останавливать; всякий вопрос, всякое несогласие несите сюда, ко мне, не оставляйте его при себе; дело военное — дело практическое, никакого трафарета, никакого шаблона.

Такое начало было собравшимся в диковину, а потому внимание ещё усилилось. Лектор говорил

образно, выпукло, приводя огромное количество примеров из военной истории и личного опыта, почерпнутого из двух войн. Блестящая эрудиция дополнялась меткими и часто резкими умозаключениями. Резкость проступала во всём образе генерала. Даже движения его, жесты, которыми сопровождал он свою яркую речь, были резки и угловаты. Казалось, будто бы на кафедре вдруг запылал факел, обжигая сердца каждого присутствующего. Арсентьев слушал эту удивительную, ни на что не похожую лекцию, боясь пропустить хоть слово. Промелькнула мысль: как щедро одарила природа этого человека, столь многого достигшего и на военном, и на научном поприще к своим неполным сорока годам. А что же сам Ростислав Андреевич? Переступил тридцатилетний рубеж и остался в чине поручика...

Все лекции Маркова сопровождались большим количеством вопросов слушателей. Критика и возражения выслушивались лектором со вниманием и получали подробный ответ. То был обмен мнениями, блестящий поединок, в котором сверкали как мысли генерала, категорически порывавшие со всеми шаблонами прошлого и мятежно ищущие новых свободных путей, так и отклики на них из аудитории. Единой жизнью жили слушатели и лектор, в едином ритме бились их сердца, и эта атмосфера являла собой нечто феноменальное, небывалое.

Последнюю свою лекцию Марков закончил словами:

— Всё это, господа, вздор, только сухая теория! Забудьте все теории, все расчеты. Помните одно: нужно бить противника и, выбрав место и время для удара, сосредотачивайте там наибольшее количество ваших сил... Весь ваш дух должен быть мобилизован на месте удара! Хотя я здесь призван уверять Вас, что ваше счастье за письменным столом, в науке, но я не могу,

это выше моих сил; нет, ваше счастье в подвиге, в военной доблести, на спине прекрасной лошади. На фронте, в окопах — вот где настоящая школа. Я уйду на фронт, куда приглашаю и вас! Идите туда, на фронт, и ловите ваше счастье!

Восхищённые слушатели подняли своего лектора на руки...

После этого поручик Арсентьев отправился на фронт, добившись назначения в воюющую армию, несмотря ни на какие предостережения медиков. В боях Ростислав Андреевич проявил себя наилучшим образом и за проявленную доблесть был награждён Георгиевским крестом, а позже и Георгиевским оружием. Только приказ о производстве в следующий чин всё оставался лежать где-то под спудом. Знать, не всякому казаку в атаманах быть... Это тяготило Арсентьева, раздражало его честолюбие, но, тем не менее, впервые с японских боёв он ощущал себя на своём месте. Штабная рутина была для него мучением, а здесь, ежечасно рискуя собой и отвечая за жизни подчинённых, он чувствовал прилив жизненных сил и уверенности в себе. Лёгкое ранение, обострившее старую контузию, не заставило его лечь в госпиталь — слишком много времени было потеряно и без того — и поручик продолжал воевать.

Революция застала его в Галиции и стала тяжёлым ударом. Рушились вековые устои русского общества, устои, которым был свято верен поручик Арсентьев и его отец. Триада Православие-Самодержавие-Народность не было для него пустым звуком, но своеобразным Символом Веры, и гимн «Боже, Царя храни...» пел он всегда с воодушевлением. Фигура Монарха была для Ростислава Андреевича священной, и её низвержение представлялось кощунством. Крах Самодержавия Арсентьев ощутил, как крах всей Российской Империи, а с нею армии и его самого.

Последующее события показали, сколь верным было это первое осознание произошедшего.

В разгар военных действий на фронте постоянно собирались митинги, уважение к начальству упало до минимума, офицеры стали бояться собственных солдат, ожидая от них удара в спину. Солдаты бросали винтовки, покидали окопы, оставляли фронт... Тыловые ораторы провозглашали:

— Нам чужой земли не надо, пусть она останется под австрияком. И своей земли достаточно, особенно у помещиков! Свою землю защищать будем, а на чужую воевать не пойдём!

В июле Семнадцатого в районе городка Подкамень судьба снова свела Арсентьева с уже получившим чин полковника Кутеповым. Вместе они, сопровождаемые лишь двумя ординарцами, двигались вдоль линии фронта, наблюдая его паническое бегство. Навстречу попадались бегущие солдаты, с руганью бросающие винтовки, и уже не было человеческой силы, способной их остановить. Ростислав Андреевич приходил в отчаяние. Не выдержав, он налетел на солдата сибирского стрелкового батальона:

— Стрелок, как тебе не стыдно бросать винтовку?! Подбери её!

Солдат обернулся, схватил винтовку и кинулся на поручика. Он несомненно убил бы Арсентьева, если бы не меткий револьверный выстрел Александра Павловича.

— Сволочи! В своих стрелять! — в сердцах выругался полковник и, заметив угрожающее движение дезертиров, вскинул руку с пистолетом: — Назад! Всех перебью!

Солдаты разбежались.

— А ведь вы спасли меня, господин полковник...

— Бросьте! Скачите в тыл, где хотите раздобудьте хоть взвод и защищайте переправу через Сереть.

У перелеска за Серетью Арсентьев приказал развернуть два орудия. С ним оставалось шесть человек. На опушке мирно щипали траву брошенные лошади. Внезапно из леса вышла целая толпа солдат.

— Вы куда? — крикнул поручик.

— Да воды испить.

— Назад! В окопы!

— Да пить хочется, ваше благородие, и всех наших офицеров перебило.

— Назад! Мало вам воды в реке?! — ледяным тоном процедил Арсентьев.

— Ступай сам туда, коли охота! Вы войну развязали — вы и воюйте, а с нас хватит!

— Взвод, на картечь! — приказал поручик. — Прямой наводкой по своим отступающим! Огонь!

Орудия развернулись, и над головами толпы пронеслась картечь. Солдаты угрожающе зароптали, но не стали рисковать и мгновенно исчезли в лесу...

В те дни Ростислав Андреевич получил, наконец, чин капитана. Однако это производство, столь долгожданное, в сложившихся обстоятельствах уже мало обрадовало его. Что значил чин, если армия переставала существовать? Напряжение последних месяцев расшатало нервы Арсентьева: он практически перестал спать и всё время держал наготове револьвер. Последней каплей в чаше терпения капитана стало объявление Корнилова изменником и последовавший затем его арест. Волна арестов, призванная очистить армию от сторонников Верховного, прокатилась по всему высшему командному составу. В Бердичеве заключили под стражу командира «Железной» дивизии Деникина и генерала Маркова. Взбешённый до предела Ростислав Андреевич подал рапорт об отставке, ссылаясь на плохое состояние здоровья ввиду обострения последствий старого ранения и незалеченности нового, а также расстройства нервов,

вызванного сложившейся на фронте обстановкой. Прощение капитана было удовлетворено лишь в октябре, и Арсентьев отправился домой, думая, что с военной карьерой покончено навсегда.

Отныне вся забота капитана была о родных: престарелом отце и любимой жене. В последний раз он видел их перед самым отъездом на фронт — заехал проститься на три дня. Отец, страдавший подагрой, бодрился, привычно вспоминал о славных делах Балканской кампании. Старый преображенец, дослужившийся до чина полковника, он очень переживал, что карьера сына, несмотря на большие способности последнего, не складывается. Не хватало ему сущей малости — удачи. Обнадёженный тем, что Ростислав закончил в числе лучших академию, Андрей Петрович уповал, что удача всё же, хоть и с запозданием, улыбнётся ему на войне. И всё-таки старик не мог не волноваться: прошлая война уже едва не стоила сыну жизни, а что-то будет на этой, стольких достойнейших сыновей России уже унесшей безвозвратно? А ещё хотелось Андрею Петровичу повидать внуков, боялся он, что пресечётся славный род Арсентьевых. И хотя ни разу не упрекнул старик нежно любимую невестку, но и она сама, и её муж понимали его печаль. Уезжая на войну, Ростислав Андреевич твёрдо решил, что по возвращении нужно будет им с Алечкой помолиться усердно и произвести-таки на свет наследника. А лучше двух или трёх... То-то у отца радость будет!

Все те три дня Аделаида не отходила от мужа. Держа её в объятиях и глядя в её чистые, преданные глаза, Ростислав Андреевич думал, что, пожалуй, судьба всё-таки не так уж и строга к нему, раз подарила такое сокровище. Ведь ничего не дал Арсентьев своей Але: впряглась она безропотно в хозяйственный воз, порядком расстроенный, и потянула

с весёлостью, безобидно, словно ни к чему ей были столичные улады — театры, концерты и иная разность, круг общения, выходы в свет, положение в обществе, наряды и украшения... У неё даже близких друзей не было, хотя соседей и друзей мужа и свёкра она встречала с неизменным радушием, и те единодушно находили её очаровательной. Выездов куда-либо Аля избегала, предпочитая долгие прогулки верхом по окрестным просторам или пешком — по парку. Она не любила блеска и роскоши, годами нося одно и то же платье. Единственным по-настоящему близким человеком в имении мужа стал для неё местный священник отец Филарет, с которым она подолгу вела беседы о духовных вопросах. Ни разу Ростислав Андреевич не слышал от неё укора, не видел выражения недовольства на её маленьком лице. А ведь было за что укорить! И за невысокий уровень достатка, принуждавший к экономии, и за нелюбимость, и за неудачи по службе... Было время у Али разочароваться в своём избраннике, а она смотрела на него всё теми же любящими глазами, как в первые дни брака, ободряя и укрепляя.

Когда Арсентьев поступил в академию, то хотел взять жену с собой в столицу, чтобы она развеялась, отдохнула от хозяйственных забот. Но Аля лишь покачала головой:

— На кого же я дом оставляю? И папа совсем нездоров. Нет, худо будет, Славушка. Ты поезжай, а я тебя проводить приеду как-нибудь.

Жаль было расставаться, а понимал Ростислав Андреевич, что жена права, и не мог не восхититься её самоотверженности. Аля приезжала в Петроград два раза. Во второй — пробыла там целый месяц, и каким счастливым был он для них обоих!

А потом было прощание в имении... Отец стоял на увитом плющом крыльце, опираясь на массивную

трость. Ростислав Андреевич вскочил на коня и шагом поехал по аллее к воротам. Аля шла рядом, сжимая его руку и не сводя с него глаз. Этой ночью она не спала ни секунды. Утром, когда Арсентьев неспешно завершал свой туалет, Аля надела ему на шею крохотный образок Святого Серафима, которого считала своим покровителем:

— Вот, теперь ничего не страшно... Батюшка не попустит худого. Он тебя защитит...

У ворот Арсентьев остановился, нагнулся, крепко обнял жену, поцеловал её, сказал что-то ласковое и пришпорил коня. А она осталась стоять у ворот, крестя его вослед и тихонько шепча молитвенные слова.

Домой Ростислав Андреевич добрался уже поздней осенью, когда Временное правительство пало, и власть захватили большевики. Он приехал дождливой, холодной ночью. Лошадь устало трусила по дороге. Вот, наконец, показались знакомые очертания усадьбы: ворота, уже почти обронивший свой золотисто-багряный убор сад и... И тут у капитана оборвалось сердце. Он не увидел своего дома. Дома, в котором прошли его лучшие годы, дома, где жили несколько поколений его предков, дома, где ждала его семья... Чёрный обугленный остов взирал на него потухшими глазницами выбитых окон... Поражённый страшной догадкой, Арсентьев покачулся в седле. Он слабо тронул повод коня, въехал в деревню, спешился, прошёл, не чувствуя ног, до избы кормилицы, привязал лошадь к забору и постучал в окно. За окном блеснула свеча, и в омытом дождём стекле показалось дряблое старушечье лицо, вдруг исказившееся испугом и мертвенно побледневшее.

Дверь отворилась, и Ростислав Андреевич вошёл в горницу. Кормилица, вся седая, в одной холщовой рубахе, босая, дрожала, прикрывала рукой рот, из

выцветших глаз её ручьями лились слёзы. С печи свесились две любопытствующие мальчишеские головы.

— Брысь, негодники! — шикнула на них старуха и задёрнула занавеску.

Арсентьев бессильно опустил на лавку, поднял на неё глаза и спросил глухо:

— Никитична, где же все мои?..

Кормилица опустила голову, заплакала ещё горестнее:

— Сыночек мой, родимый мой, всех порешили злодеи! С неделю назад это было... Приехали эти самые антихристы... большаки... Главный у них вёрткий такой, чисто как бес, что в нашей церкви на иконе в аду намалёван... Чёрный такой, бородёшка козлиная, руками машет... Злющий, не приведи Господь! Фамилия ещё не наша какая-то... И выговорить-то неприлично... Не то Липсхер, не то... Как он пошёл со своими тут орудовать! Сход собрали, орут: «Теперь ваше всё! Берите и владейте на вечные времена!» Ну, а наши-то дурни наслушались — что дьявол их обуял. Разгорелись! Как попёрли на усадьбу-то... А батюшка твой, Андрей Петрович с норовом был, за ружью схватился, пошёл на них: «Всех, — шумит, — перевешаю, сукиных детей! На кого руку поднять удумали?!» А этот, прости Господи, главный ихний, щёлк из пистолета и убил родителя твоего... А наши-то от вида крови, что волки, совсем обезумели. А барыня-то, голубушка, от Андрея Петровича не отходила... Так они и её... И привратника... И отца Филарета... Всех забили, Царствие им небесное! А потом грабить кинулись... Телегами всё добро из дома вывозили... А потом подожгли... Так полыхало! Господи! Такое зарево стояло... А твоих мы с дедом Калиной у церкви похоронили... Ночью, чтобы не увидел никто...

У Арсентьева потемнело в глазах. Он хрипло застонал и закрыл лицо руками. Никитична осторожно

подошла, стала гладить его по голове, как когда-то в детстве, причитая:

— Сирота ты мой болезный, горюшко-то горе... Сохрани тебя Царица Небесная!

Ростислав Андреевич поднял на неё потемневшие, мутные, ничего не видящие глаза. Старуха вдруг отёрнула руку и прошептала, испуганно расширив глаза:

— Гляжу теперь на тебя и думаю: уж лучше, если и тебя порешат... Ведь мы тебя так обидели, так обидели, что ты и в жизнь нам не простишь!

Арсентьев тяжело поднялся:

— Замолчи, ради Христа... Что ты говоришь!

Кормилица грузно рухнула на колени, обняла его ноги, зарыдала отчаянно:

— Прости, касатик! Прости, сыночек ты мой родненький! Мои оба уже в земле лежат... На войне убило... Так я рыдала по ним, а сейчас думаю — может, к лучшему... Лучше так, чем мне бы увидеть, как мои сыночки зверями и кровавыми убийцами сделались... Прости, родимый! Всех нас прости! Не мсти никому, Христа ради... Прости-и-и!

Ростислав Андреевич оттолкнул старуху, побрёл, шатаясь, к двери:

— Прощай, Никитична...

— Куда же ты, сыночек? Ведь ты промок до нитки... Простынешь... — бормотала кормилица. — Давай я самовар поставлю, накормлю тебя... Согреешься, отдохнёшь...

Арсентьев ничего не ответил. Выйдя на улицу, он отвязал коня, вскочил на него и пустил рысцей. Дождь хлестал в лицо и смешивался со слезами. Ростислав Андреевич не знал, куда и зачем он гонит измученного коня: лишь бы подальше от страшного пепелища... В ту ночь он стал наполовину седым, а сердце его словно окаменело. Ждать от жизни капитану больше было

нечего. Он ни на что не надеялся в будущем, а от прошлого у него не осталось ничего, кроме образка, повешенного ему на шею заботливыми руками жены. Словно живой мертвец Арсентьев взирал на мир, ставший в одночасье непроглядно чёрным, как пепелище отчего дома, мир, в котором он оказался лишним. И лишь одно желание жило в нём: до последней капли крови биться с теми, кто уничтожил его жизнь, отнял у него всё — дом, семью, Родину, надежду...

В таком состоянии Ростислав Андреевич прибыл в Новочеркасск и вступил в Добровольческую армию. Через несколько дней в распоряжение Первого Офицерского батальона пришёл прибывший на Дон Антон Иванович Деникин. Командир легендарной «Железной» дивизии, генерал, открыто и резко выступивший против развала армии, Бердичевский, а после Быховский узник, ближайший сподвижник Корнилова — он был встречен офицерами с большим энтузиазмом. Антон Иванович неторопливо переходил из комнаты в комнату, разговаривая с ними, изучая быт невеликого пока наличного состава будущей армии. А за ним крупными, нервными шагами шёл до чрезвычайности странный человек. Он не носил ни усов, ни бороды, но явно не брился уже больше недели, был одет в обветшалый, не по росту пиджак и обшарпанные, с длинной бахромой брюки, держал себя свободно и отличался большой живостью. Характерная фигура и мимика незнакомца показалась Арсентьеву до боли знакомой. Этого человека он, абсолютно точно, видел прежде. Но где? Капитан напряг память, и перед взором, как наяву, встала аудитория Николаевской академии, оживлённые слушатели и молодой генерал с угловатыми движениями, легко поднимающийся на кафедру... Марков! Возможно ли? Без усов и бороды, без эполет, аксельбантов и георгиевского оружия, в столь

своеобразном наряде — Профессора, как с уважением прозвали Сергея Леонидовича за всестороннюю образованность и солидный преподавательский опыт в армии, признать было трудно. Но Арсентьев узнал, а, когда генерал, принятый офицерами за адъютанта Деникина, задержавшись в комнате, заговорил, сомнений не осталось, и в душе Ростислава Андреевича впервые за последние чёрные недели шевельнулось радостное чувство: жив удивительный лектор и бесстрашный командир, прославившийся на фронте рядом славных дел...

Между тем, Сергей Леонидович, сопровождаемый любопытствующими взглядами, переходил от кровати к кровати, щупая постели и заглядывая под одеяла.

— А вот у меня, так и подушки нет. Налегке приехал! — весело заметил он.

— Простите! А ваш чин? — осведомился один из офицеров.

— А как вы думаете? — игриво откликнулся Марков, явно получая удовольствие от своего «инкогнито», столь заинтриговавшего присутствующих.

— Поручик?

— Давненько был. Уже и забыл...

— Капитан?

— Бывал и капитаном, — засмеялся он.

— Полковник? — удивление офицеров нарастало.

— Был и полковником!

Даже Арсентьев чуть улыбнулся, развеселившись наблюдаемой сценой.

— Генерал?!

— А разве вы не помните, кто был в Быхове с генералом Корниловым?

— Генерал Марков?!

— Я и есть!

Тем временем, простившись с батальоном, вернулся и начал одеваться генерал Деникин.

— Одевайся, одевайся, буржуй! — смеясь, сказал ему генерал Марков, натягивая на себя заношенное серое пальтишко, рукава которого оканчивались где-то посередине между локтем и кистями руки, а воротник украшался имитацией барашка с вытертыми лысынами...

Естественным образом капитан Арсентьев оказался в Офицерском полку — и вновь под началом своего бывшего однокашника по Владимирскому училищу полковника Кутепова, получившим под команду третью роту.

За время похода Арсентьев стяжал себе славу блестящего разведчика. С разведкой в армии дело обстояло крайне тяжело. Никаких сведений о происходящем даже вблизи её продвижения получить не удавалось, а потому шли наугад, точно в тумане, не зная определённо, что ждет через несколько вёрст. За практически полным отсутствием конницы посылать вперёд разъезды было невозможно, иногда отправляли лазутчиков из опытных офицеров, но те попадали в руки большевиков и принимали мученическую смерть. А Ростиславу Андреевичу везло. Он ходил в разведку несколько раз и возвращался невредимым. Поэтому и теперь, когда явилась нужда, во что бы ни стало, выйти на связь с кубанцами, дабы обе кочующие по степи армии смогли объединить усилия, в разведку был отправлен именно капитан Арсентьев.

Одевшись простым черкесом, Ростислав Андреевич проворно пробирался по гористой местности. Недавняя картина истреблённого аула напомнила ему пепелище родного дома и всколыхнула незаживающую боль. Эту боль не могло исцелить ничего — и пролитая кровь врагов не становилась бальзамом для нанесённой ими страшной раны. Большевиков Арсентьев убивал хладнокровно: в бою и после боя, когда вызывали охотников на расправу. Он убивал хладнокровно, но не

испытывая удовольствия. Он никогда не подходил к телу убитого врага, но, сделав один единственный выстрел, уходил прочь. И ещё было у Ростислава Андреевича табу: раненых он не добивал никогда, считая это поступком, не достойным офицера. Но тех, кто жалел пленных красноармейцев и вступался за них, как тот бывший правовед из Корниловского полка, капитан не понимал. Моралисты! Нашли место и время для отстаивания прав всякой сволочи... Первый раз Арсентьеву довелось участвовать в расстреле ещё когда держался Ростов: на одной из станций захватили нескольких матросов, какую-то бабу-большевичку и смуглого чернявого комиссара... Этот, последний, сразу напомнил капитану описание, данное старухой-кормилицей убийце его отца... Ещё не было приказа о расстреле, ещё только сгоняли с разных сторон захваченных красноармейцев, а Ростислав Андреевич ровным шагом подошёл к комиссару, с ледяным спокойствием выстрелил ему в голову и, круто развернувшись, ушёл. Убивать приходилось не только врагов. И среди Добровольцев встречались отдельные субъекты, не обременённые понятиями чести. Для чего пошли они в армию? Точно, не за идею. Вероятно, было им, по большому счёту всё равно, на чьей стороне быть — лишь бы предаваться всевозможной разнузданности. В освобождённых станицах они, по примеру красных, норовили поживиться за счёт мирных жителей. И, если за то, что армия брала в селениях, станичники получали плату, на которую уходил денежный запас Добровольцев, возимый Алексеевым в специальном чемодане, то грабежи отдельных её представителей могли свести на нет эти усилия по поддержанию достойного образа армии в глазах населения. Однажды Арсентьев застал за грабежом прапорщика, призванного на войну в последний год, а затем оказавшегося в рядах Добровольческой армии, где он

успел уже отличиться не с лучшей стороны. Мародёр не побрезговал даже женским бельём. Ростислав Андреевич сухо процедил:

— Немедленно верните всё это, прапорщик! Или вы не знаете приказа Верховного?

— Они себе ещё наживут! — запальчиво возразил тот. — Ещё не хватало цацкаться со всякой!

Арсентьев смерил мародёра ледяным взглядом, который многих заставлял внутренне поёжиться. Чем этот мерзавец лучше черни, грабившей и жёгшей его собственный дом? И какое право имеет он носить погоны и гордое имя Добровольца?

— Положите всё на место и убирайтесь, — отчеканил капитан. — На первый раз я прощаю вам этот проступок. Но если вы попадётесь мне ещё раз, я убью вас, чтобы вы не позорили армию.

Прапорщик, одетый в казачьи шаровары и полушубок, явно с чужого плеча, зло посмотрел на капитана, побросал награбленное и покинул хату. Но на этом дело не кончилось. Через несколько дней, во время ночёвки в другой станице Арсентьев услышал женские крики. Поднявшись в дом, откуда они доносились, он застал там большой беспорядок. В углу лежала растрёпанная рыдающая баба с разбитым в кровь лицом, у сундука орудовал всё тот же мародёр, а из угла на него смотрела насмерть перепуганная девочка лет четырёх...

— Выйдете за мной, господин прапорщик, — ледяным тоном приказал Ростислав Андреевич.

Тот нехотя поднялся и, смерив капитана ненавидящим взглядом, последовал за ним. На углу дома они остановились.

— Что, под суд меня отдадите? — зло усмехнулся прапорщик. — В нашей армии людей мало, а вы их число ещё сократить хотите?

— Людей мы бережём, а нелюди армии не нужны, — ответил Арсентьев и выстрелил. Мародёр охнул и рухнул на землю...

О произошедшем Ростислав Андреевич доложил начальству, которое признало правильность его действий, хотя на будущее рекомендовало самосуда не устраивать. История стала известной, и с той поры Арсентьев не раз ловил на себе неодобрительные, настороженные взгляды, а однажды прожгла брошенная в лицо фраза:

— Вы просто прирождённый палач!

Фраза эта была сказана каким-то юнцом со смесью страха и восхищения. Ростислава Андреевича передёрнуло:

— В мирное время за подобные слова я вызвал бы вас на дуэль, — отчеканил холодно.

Дожил, называется, до светлого дня. Его, боевого офицера, никогда не кланявшегося пулям и привыкшего в бою прикрывать собой подчинённых, готового всегда положить живот за други своя, в глаза называют палачом! Хороша слава...

А в бою под Филипповским смертельно раненый в живот офицер молил:

— Христиане вы аль нет? Пристрелите кто-нибудь за ради Господа Бога!

Его друг бросился к Арсентьеву:

— Ростислав Андреевич, сделайте вы... Чтоб не мучился и к этим изуверам краснопёрым не попал... Я не могу, а вам же несложно... — и глаза отвёл, протягивая пистолет.

Капитан взял оружие подошёл к умирающему. Развороченное тело, мутные, полные мукой глаза, хриплый голос:

— Спасибо...

Арсентьев нажал на курок и, не задерживаясь, ринулся в бой. Ни малейшего движения души, ни

единого чувства... Словно панцирем покрыто сердце, словно мертво оно, а жизнь продолжается по инерции, по долгу...

Не трепетало оледенелое сердце при расстрелах пленных, не дрожала от вида чужих страданий, не колебалось от угрозы собственной жизни, от близости смерти. Оттого, может, и сама костлявая стала бояться и обходить Арсентьева, и так невероятно удавалось ему выходить невредимым из положений, в которых любой другой непременно был бы убит. Раз за разом испытывал он судьбу. Испытывал и теперь, пробираясь по холмистой местности в поисках отряда Покровского, зная, что вокруг кишат большевики...

— Стой! — рывкнул нежданно чей-то голос совсем рядом.

Капитан обернулся и увидел в нескольких шагах перед собой трёх казаков и солдата. В том, что они — красные Ростислав Андреевич не усомнился.

— Ты кто такой? Откуда? Куда идёшь?

Арсентьев замычал, изображая немного и подпуская их ближе. Он уже заметил, что винтовка есть только у солдата, тогда как казаки вооружены шашками. Любопытно знать, откуда они сами? И далеко ли их основные силы? Не притаилось ли за ближайшими деревьями ещё несколько десятков «товарищей»? Тогда конец. Смерти Ростислав Андреевич не боялся и даже был бы ей рад, но не теперь, когда так необходимо было выполнить данное поручение.

— Ты немой, что ли?

— Притворяется, сволочь!

«Товарищи» подошли вплотную. В одно мгновение Арсентьев выстрелил из зажатого в левой руке револьвера, незаметного под широким рукавом черкески, в грудь солдату, а правой рукой выхватил шашку одного из казаков и нанёс ему мощный удар. Теперь нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь из них

завладел винтовкой. Ростислав Андреевич ринулся вперёд, легко орудуя шашкой, отбиваясь от двух противников и оттесняя их назад. Одному из них удалось слегка рассечь капитану предплечье. В этот момент из-за деревьев выехало несколько всадников. «Конец!» — мелькнула мысль, но Арсентьев продолжил бой. Краем глаза он заметил, как раненый им казак всё-таки дотянулся до винтовки и уже прицелился в него. Ещё секунда и прогремел бы выстрел, но подлетевший всадник сразил казака блеснувшей, как молния, разрезая воздух, шашкой. Несколько выстрелов, и двое других замертво повалились на землю. Ростислав Андреевич утёр пот и, зажимая кровоточащую рану, обернулся к своим нечаянным спасителям. Это был небольшой конный отряд, принадлежность которого определить было нельзя, так как никаких знаков отличия облачённые в черкески люди не имели. Предводитель отряда, невысокий, смугловатый человек с хмурым лицом заговорил первым:

— Кто ты такой?

Не долго думая, Ростислав Андреевич пошёл ва-банк: выпрямившись по-военному, он представился:

— Капитан третьей роты Офицерского генерала Маркова полка Добровольческой армии Арсентьев! К вашим услугам.

Всадники переглянулись, и командир, помедлив, кивнул:

— Полковник Улагай!

Арсентьев облегчённо вздохнул: свои! Снова судьба сохранила Ростиславу Андреевичу жизнь. Аля, милая, дорогая, незабвенная Аля, к твоим ли молитвам так прислушивается Господь? Твой ли святой Заступник, образ которого всегда у сердца, охраняет? Не то важно теперь, а то, что выполнил очередное опасное поручение, которое, вероятно, стоило бы жизни любому другому. Наконец-то в этом большевистском логове —

свои! Кубанцы! Как глоток живительного воздуха для измождённой, находящейся на пороге отчаяния армии!

Всего восемнадцать вёрст разделяло две кочующие армии, но между ними лежала станица Ново-Дмитриевская, где укрепились трёхтысячная, хорошо вооружённая группировка красных. Решено было нанести удар сразу с двух сторон и таким образом не дать большевикам уйти. На рассвете пятнадцатого марта Корнилов двинул войска в путь. Всю предшествовавшую ночь лил, не прекращаясь ни на мгновение, дождь. К утру тучи рассеялись, и показалось солнце, но вскоре ливень, смешанный со снегом, начался с новой силой. Дороги размыло, и в жидкой грязи безнадежно увязали подводы, которые не в силах были вытянуть слабые черкесские лошадки. Тряпье и одеяла, которыми были кое-как укрыты раненые, промокли насквозь. Промокли насквозь и идущие сквозь густой туман Добровольцы. Ветер швырял в лицо хлопья снега, нещадно колот лица, глаза, становилось тяжело дышать. Снега намело на аршин, а к вечеру ударил мороз, и до нитки промокшая одежда обледенела настолько, что полы шинелей ломались с хрустом, как стекло.

В двух верстах от Ново-Дмитриевской передовые отряды армии имели стычку с большевистской заставой, которая поспешно ретировалась. Дорогу к станице преграждала речка Чёрная. Неширокая и мелкая в обычное время, теперь она превратилась в бурный, грязный поток, размывающий берега и сметающий мосты. Армия остановилась перед неожиданным препятствием. Корнилов разослал конные разъезды на поиски переправы, но переправ не находилось.

Ростислав Андреевич чувствовал, как от холода немеет тело, как даже губы сводит от ледяного ветра. Ночь в чистом поле, в объятиях лютующей вьюги готова была расправиться с армией вместо большевиков. В

трёх хатах, стоявших на берегу, по очереди грелись воины. Люди сгрудились у реки, тронутой ледяной коркой, и то там, то здесь мелькала высокая белая папаха генерала Маркова. Арсентьев с трудом отгонял от себя наваливающийся сон. Внезапно в нескольких шагах от себя он заметил крадущуюся фигуру. По всей видимости, это был кто-то из местных жителей. Ростислав Андреевич прыжком подскочил к нему и мёртвой хваткой схватил за плечо.

— Отпустите, господин офицер! — заголосил пленник. — Я не сделал ничего худого!

— Ты реку хорошо знаешь? — спросил Арсентьев.

— А как не знать? Всю жизнь у ней...

— Глубока она?

— Какой там глубока! Воробей пешком перейдёт в отдельных местах в обыденное время!

— Брод покажешь?

— Ваше благородие, пощадите! Семья у меня... Отпустите Христа ради!

Ростислав Андреевич с силой тряхнул пленника и погрозил ему пистолетом:

— Слушай ты! Я тебя зараз могу пристрелить, как пособника большевиков! И, если хочешь жить, то сейчас покажешь брод! И не вздумай хитрить, а то я тебя ко всем чертям в пекло спроважу!

Перепуганного проводника капитан повёл напрямик к генералу Маркову. Сергей Леонидович сурово взглянул на пленника и сказал не терпящим возражений тоном:

— Значит, брод знаешь? Очень кстати! Первым и пойдёшь по нему! А то сунемся вброд по самый рот...

Проводник не посмел перечить и, поникнув, ступил в реку. Генерал неотрывно следил за дрожащей фигурой,двигающейся по ледяной воде, совсем рядом с разрушенным мостом.

— Ценный трофей вы добыли, капитан, — обратился он к Арсентьеву, не переводя взгляда. — К чёрту теперь все поиски переправ! Пока наши разъезды хоть что-нибудь найдут, мы здесь околеем и пропадём не за грош! Будем переправляться здесь!

Слова у Сергея Леонидовича никогда не расходились с делом. Едва приняв это решение, он первым бросился в воду:

— Вперёд за мной!

И первая офицерская рота, подняв над головами винтовки, немедленно последовала за своим командиром и вместе с ним перешла реку вброд. И уже с другого берега раздался его громкий голос:

— Всех коней к мосту! Полк переправлять верхом на крупах!

Началась долгая и тяжёлая переправа. Измученные лошади из последних сил перевозили людей, а некоторые из них, не выдержав, просто ложились в воду и погибали. Наконец, Офицерский полк переправился целиком. Марков усмехнулся:

— Сыровато, господа.

— Так точно, ваше превосходительство...

Уже почти стемнело, а отряд Покровского так и не появился. Переброска остальных частей армии требовала времени, а большевистская артиллерия уже начала громить переправу. Оценив ситуацию, Сергей Леонидович решил:

— Вот что, друзья мои, ждать некого, а в такую ночь без крыши над головой мы тут подохнем в поле. Идём в станицу! Зададим большевикам перцу к сердцу!

Под ружейным и пулемётным огнём офицерские цепи двинулись на станицу. Арсентьев с трудом переставлял начинающие коченеть ноги. Застывшая шинель сковывала движения, и затвор винтовки едва работал. Большевики, не ожидавшие атаки в такую ночь, не сразу сообразили, в чём дело, и, приняв

втягивающийся в станицу полк за своих, приблизились и стали окликать входящих. Подбежал какой-то солдат.

— Какого полка? — спросил его Ростислав Андреевич.

— Варнавинского пехотного, а вы?

— Первого Офицерского! — ответил капитан и выстрелил в опешившего варнавинца.

Штыковой бой развернулся в самой станице.

— Ну, буржуи, сейчас мы вас оседлаем!

— Подождите, краснодранцы!

Огонь вёлся из каждой хаты. Ноги проваливались в ледяное месиво из грязи, снега и льда. В кромешном мраке кипела невообразимая битва, в которой наряду со своими подчинёнными, показывая им пример, сражался отважный генерал, стяжавший в мирное время славу профессора. Где-то ещё можно узреть подобное? Но, вот, какая-то фигура совсем рядом с ним вскинула винтовку, целясь в спину.

— Осторожно! — крикнул Ростислав Андреевич и штыком поразил врага, выстрел которого ушёл в воздух.

Сергей Леонидович обернулся и, мгновенно поняв, что к чему, кивнул Арсентьеву:

— Благодарю вас, капитан! Сочтёмся!

Из ближайшей хаты раздалась пулемётная очередь. Ростислав Андреевич скользнул к ней и бросил в окно припасённую гранату. Из окна повалил дым, из дверей выскочили несколько человек и тотчас были сражены Добровольцами.

Между тем, через реку переправились другие белые части и довершили разгром большевиков. Уничтожить их группировку целиком не удалось, так как отряд Покровского так и не появился.

Всю ночь продолжалась переправа орудий и обоза, вспыхивали мелкие стычки, а красная артиллерия бомбардировала освобождённую станицу. Под утро

жители Ново-Дмитриевской могли наблюдать диковинную картину: по улицам шли обледенелые, белые существа, с сияющими штыками и покрытыми инеем бровями и усами. Ледяное войско шло при этом в ногу, как на параде, а сбоку от него шагал коренастый офицер с сосульками вместо бороды и командовал:

— Ать, два! Ать, два!

Это была рота полковника Кутепова со своим командиром.

— Рота стой! Разойдись!

Ледяные воины рассыпались по тёплым хатам. Капитан Арсентьев снял с себя похожую на металлические доспехи шинель, морщась от боли, стянул с одеревеневших ног сапоги, прислонился к печи и стал растирать ступни, опасаясь обморожения. Кожа местами подозрительно потемнела, но беспокоить из-за этого врачей или сестёр милосердия, занятых размещением вымокших до нитки и обмороженных раненых, Ростислав Андреевич счёл просто неприличным. Сам ототрёт он свои замёрзшие ноги, сам перевяжет пораненное предплечье, благо сохранился санитарный пакет... А потом забудется сном хотя бы на несколько часов... За весь поход не чувствовал Арсентьев такой мёртвой усталости, как в это сумрачное утро. Он и сам не заметил, как провалился в тяжёлый сон, не озаботившись даже поиском еды, хотя уже почти сутки и крошки не имел во рту.

Через день в станице Ново-Дмитриевской состоялось совещание руководителей Добровольческой и Кубанской армий. Со стороны кубанцев на встречу прибыли атаман Филимонов, генерал Покровский, полковник Улагай, представители Рады Рябовол и Султан-Шахим-Гирей, председатель правительства Быч. Ещё недавно Лука Быч провозглашал: «Помогать Добровольческой армии, значит готовить вновь поглощение Кубани Россией». И это мнение

разделялось шумливой, самостийной Радой, готовившей «самую демократическую в мире конституцию самостоятельного государственного организма — Кубани». На представителя Добровольческой армии генерала Эрдели кубанское правительство смотрело косо, ревниво оберегало оно свою власть от вторжения атамана, опасалось Покровского... Все переговоры о формальном объединении армии ещё в то время, когда держались Новочеркасск и Ростов, ни к чему не привели. А после тщетно уговаривал кубанцев чудом пробравшийся в Екатеринодар офицер, посланный штабом Добровольческой армии, повременить с оставлением города, уверяя, что Корнилов уже близко... Корнилова кубанское правительство боялось, боялось, как некогда испугался Керенский, боялось из страха потерять свою мифическую власть. Это настроение Верховный понял и узнал сразу. Так и повеяло на него гнилым духом «керенщины», так и воскресли похороненные, казалось, в последние месяцы всё разъедающие и разлагающие разговоры, демократические вертляния, двоедушные речи, таящие одно лишь желание — сохранить свою власть, пусть самую ничтожную, но свою! И тянут одеяло на себя, и не скажут ничего прямо, а всё уловками, а всё норовя объехать на кривой кобыле! В каждом слове слышал Корнилов старый напев, столь до боли знакомый и ненавистный ему. Такими напевами уничтожили Императорскую армию. И не смог Лавр Георгиевич помешать тому, сам запутавшись в ловко сплетённых вокруг сетях, но уж Добровольческую армию разложить этим безответственным деятелям, уже отдавшим большевикам последний оплот — Екатеринодар — и так расписавшимся в собственной беспомощности, он не позволит.

— Кубанский отряд должен быть влит в состав Добровольческой армии и подчинён общему

командованию, — сходу сказал, как отрезал.

— Боюсь, Ваше Высокопревосходительство, что это невозможно, — ответил Покровский, заметно напряжённый, впервые оказавшись в такой аудитории. — Отряд может быть подчинён общему командованию лишь в оперативном отношении. Кубанское правительство хочет сохранить собственную армию, что соответствует конституции края...

Генерал Алексеев, председательствующий на совещании, окинул Покровского раздражённым взглядом. Вот как трагедия Родины становится удобным временем для удовлетворения чьих-то амбиций... Вчерашний капитан, совсем молодой, а уже генеральские погоны на черкеске! И сколько самоуверенности! А глаза ледяные, металлические... Герой! А в Выселках, которые он бездарно отдал красным, после чего падение Екатеринодара стало неминуемым, местные жители красочно живописали: «Покровцы пропили Выселки!»

— Полноте, полковник, извините, не знаю, как вас и величать. Войска тут ни причём. Мы знаем хорошо, как относятся они к этому вопросу. Просто вам не хочется поступаться своим самолюбием.

Покровский вспыхнул, но ничего не ответил, а Корнилов закончил:

— Одна армия и один командующий. Иного положения я не допускаю!

— Но однако же принцип демократии и конституция суверенной Кубани, — взял слово Быч, — требует сохранения автономности нашей армии.

«Суверенная Кубань»! «Принцип демократии»! О, сколько подобных речей было выслушано в Новочеркасске! Это такие же радетели своей болтовнёй довели Каледина до самоубийства, а Дон и армию до нынешнего состояния. И о чём думают эти деятели? Что в головах у них? Неужели так застилает взор жажда

власти, что и последний разум утерялся? За окнами не смолкает артиллерийская канонада: большевики наносят удары по центральной площади, надеясь попасть в штаб. В любой момент снаряд может угодить в дом и похоронить всех в нём находящихся. А эти господа словно не слышат этого, не понимают и рассуждают так, точно сидят в какой-нибудь гостиной в мирное время.

— Я не намерен командовать какими-то автономными армиями! Извольте, в таком случае, искать другого командующего! — Лавр Георгиевич покосился на атамана Филимонова. Что-то он скажет?

Но атаман упорно хранил молчание. Да и что он мог сказать? Все эти пустые разговоры давным-давно набили оскомину ему самому. Человек широко образованный, окончивший Александровское военное училище в Москве и Военно-юридическую академию, прошедший курс Императорского Археологического института, бывший атаман Лабинского отдела Кубанского казачьего войска, он никогда в жизни не чувствовал себя более нелепо, нежели в последние месяцы, оказавшись избранным на должность Кубанского Войскового атамана. Что такое атаман? Атаман всегда являлся верховной властью, ему, в конечном итоге, подчинялось всё. А как быть атаману, которому ничего толком не подчиняется, потому что кроме него есть ещё Правительство и избранная Рада, которые желают властвовать сами, которым атаман не нужен? Сколько раз пытался Филимонов доказать самозабвенно дебатирующей о каких-то второстепенных вопросах Раде неважность этих вопросов в то время, когда над городом нависла угроза захвата его большевиками! Сколько раз призывал отправиться по станицам, поднять сполох и поставить всё войско «в ружьё»! Но говорильня оказывалась сильнее убеждений, и предложение атамана даже не

поставили на голосование... А все шишки, между тем, сыпались на его голову. Вот, и теперь с укоришной косятся добровольческие командиры... Не понимают. Почему не дождались их прихода в Екатеринодаре? Почему такую волю взяла Рада? Почему во главе войска оказался никому не известный бывший авиатор, не казак Покровский? Будто бы сам Александр Петрович жаждал видеть этого амбициозного капитана на таком посту. Хорошо знал Филимонов цену ему. Виктор Леонидович Покровский был отважен и не лишён полководческого таланта, но при этом слишком честолюбив, падок до славы, жесток и неразборчив в средствах. И отрицательные свойства перевешивали в нём положительные. Такие люди в мирное время незаметны, а в смутную годину всходит их звезда. И произведённый, минуя чин, в полковники, одержав одну блестящую победу, окружённый почитанием Покровский уже чувствовал себя Наполеоном. Нет, никогда бы не вверил Александр Петрович армию в его руки, но беда в том, что иных рук не оказалось. Никто не пожелал взвалить на себя эту ношу! Как мечтал Филимонов видеть командиром кубанских добровольцев доблестного полковника Улагая, и тот поначалу даже согласился, а потом, будучи склонным к резким перепадам настроения, ударился в меланхолию, заявил, что положение безнадёжно, и ушёл с поста. К этому мнению присоединился генерал Чёрный. В отставку подал генерал Букретов. Генерал Гулыга не удовлетворил правительство... Никто не желал оказаться в трудный час на столь ответственной должности. А Покровский, создавший партизанский отряд и разгромивший большевиков под Георгие-Афипской, осыпаемый цветами на улицах Екатеринодара — желал. И его кандидатуру поддержали практически единогласно...

Был на Кубани командир достойный во всех отношениях. Войсковой старшина Галаев. Как и Покровский, он собрал партизанский отряд, отличался отвагой и безусловным талантом командира, но не имел, в отличие от Виктора Леонидовича, схожих пороков. На фоне авантюризма, распущенности и других позорных явлений Галаев отличался благородством, мужеством, неколебимой волей и желанием бескорыстно служить своему народу. Достоянейший сын Кубани, он первым собрал офицеров екатеринодарского гарнизона и своей грудью вместе с ними заслониł город от напора большевиков, вдесятеро превосходящих его отряд численностью, он, во многом, подготовил победу Покровского под Георгие-Афипской. И он, несомненно, был достоин вступить в командование войсками. Но, как часто бывает, на кого надеялись, того и разорвало... Галаев был убит, обороняя Екатеринодар в районе станции Энем. Вместе с ним погибла его соратница, пулемётчица, прапорщик Татьяна Бархаш. Их подвиг был прекрасен в своём чистом порыве, мужестве и красоте и заслуживал того, чтобы из уст уста передавалась легенда о нём из поколения в поколение, чтобы никогда не забыла Кубань своих героев...

Покровский клятвенно обещал отстоять Екатеринодар. Рада продолжала дебатировать. Угар её говорильни не отрезвил даже выстрел Каледина... А, между тем, большевики взяли город в кольцо. А Покровский бездарно сдал им Выселки (никогда бы не произошло такого, будь жив Галаев!)... И решило правительство покинуть столицу во избежание бомбардировки города, жертв среди населения, а также вследствие того, что население края не смогло защитить своих избранников...

— О каком главном командовании можно здесь говорить? — в голосе Верховного слышалось

неприкрытое раздражение. — В обоих отрядах не наберётся людей, чтобы составить два полных полка военного времени. По соединении обоих отрядов у нас будет лишь одна бригада, а вы хотите из неё сделать две армии, а меня назначить главнокомандующим! — повернувшись к Покровскому он резко спросил: — А вы? Позавчера вы должны были поддержать наше наступление от станицы Калужской! Где вы были? Из-за вас эта банда смогла уйти из мышеловки! И нам ещё придётся заплатить за это своей кровью!

Виктор Леонидович смутился:

— Всему виной разлитие рек и метель... Я не счёл возможным выдвинуть отряд в такую бурю...

Генерал Марков хмыкнул. По губам его промелькнула саркастическая нервная усмешка. Он, кажется, хотел сказать что-то, но Корнилов опередил его, отчеканив:

— Я не хочу, чтобы командующие армиями угощали меня такими сюрпризами. Если соединение не будет полным, то я уведу Добровольцев в горы! Михаил Васильевич, ставьте вопрос о движении в горы!

— Простите, но я не понимаю таких требований! — запальчиво возразил Покровский.

— Вы поймёте, молодой генерал, — резко оборвал его Алексеев, — если хоть на минуту отрешитесь от своих личных честолюбивых интересов.

Из-за стола поднялся командир Черкесского полка Улагай и заявил твёрдо:

— Черкесы все до одного преданы генералу Корнилову и желают служить ему.

В этот момент раздался взрыв: стены задрожали, с грохотом разбились ворота, жалобно задребезжали залитые грязью окна.

— Вы уберите своих лошадей, а то останетесь без средств передвижения, — посоветовал Верховный кубанцам, кивнув на привязанных к забору лошадей.

Пожевав губами и пошептавшись с коллегами, Лука Быч произнёс с неохотой:

— Кубанское правительство принимает ваши требования, но устраняется от дальнейшего участия в работе и снимает с себя всякую ответственность за последствия...

— Ну нет! — Корнилов ударил пальцем о стол, звякнув надетым на него перстнем. — Вы не смеете уклоняться. Вы обязаны работать и помогать всеми средствами командующему армией. Иван Павлович, — обратился он к Романовскому, — составьте, пожалуйста, проект договора.

Романовский вышел из комнаты. Лавр Георгиевич устало откинулся на спинку стула:

— Через несколько дней я возьму Екатеринодар, освобожу Кубань, а там делайте, что хотите... — через мгновение лицо неожиданно озарилось. — Если бы у меня было теперь десять тысяч бойцов, я бы пошёл на Москву!

— После взятия Екатеринодара у вас их будет трижды десять тысяч! — заверил атаман Филимонов, радуясь, что судьба армии отныне в руках этого особенного, удивительного человека, проникаясь к нему абсолютным доверием.

Корнилов задумчиво посмотрел вдаль и ничего не ответил. Вернувшийся Романовский зачитал проект договора:

— Первое. В виду прибытия Добровольческой армии в Кубанскую область и осуществления ею тех же задач, которые поставлены Кубанскому правительственному отряду, для объединения всех сил и средств признаётся необходимым переход Кубанского правительственного отряда в полное подчинение генералу Корнилову, которому предоставляется право реорганизовать отряд, как это будет признано необходимым.

Второе. Законодательная Рада, войсковое правительство и войсковой атаман продолжают свою деятельность, всемерно содействуя военным мероприятиям Командующего армией.

Третье. Командующий войсками Кубанского края с его начальником штаба отзываются в состав правительства для дальнейшего формирования Кубанской армии.

Протокол был подписан обеими сторонами.

Глава 9. Евдокия Криницына

— Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвёртый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого, что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели
Ослепительны и легки,
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрее взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьётся в груди моей.

И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага...

Она слушала его заворожено, затаив дыхание, вбирая в себя каждую фразу, каждую ноту, звучавшую в его бархатном, глуховатом голосе. Он читал эти стихи без каких-либо эффектов, ровно, но так напряжённо звучал голос, таким вдохновением освещалось лицо, так глубок и отстранен становился взгляд, что не было сомнений, что каждое слово, написанное поэтом-воином он чувствует совершенно, потому что сам прошёл через этот ад, пережил его, вынес на своих плечах... У Евдокии Осиповны обрывалось сердце. Она готова была встать на колени перед этим человеком и целовать его руку, ту самую, искалеченную. Какое-то ранее неведомое, окрыляющее и душашее одновременно чувство затопило её душу. Ах, если бы никогда не кончалась эта дорога! Если бы всегда быть с ним! Как счастлива должна быть его жена! И он, несомненно, любит её. Ведь жена его достойная, прекрасная, честная женщина. А Евдокия Осиповна... Она не достойна даже быть рядом с такими людьми, разве что служить им... И с новой силой воскресала в израненном сердце неизбывная мука, приведшая её однажды на самый край...

Дунечка Криницына рано осталась сиротой. Отец, мастер на одном из заводов, много пил и однажды, в февральскую стужу, замёрз насмерть. А вскоре не стало и матери, надорвавшейся на нескольких работах и сгоревшей от скоротечной чахотки. Остался хворый младший братец, и ни единого человека, кто бы мог помочь им. Ничего не оставалось Дунечке, как пойти побираться. Имея звонкий голосок, она пела грустные, протяжные песни, и сердобольные прохожие подавали сиротке. Замерзая на холодном ветру, Дунечка мечтала стать артисткой, выступать на настоящей сцене, и чтобы афиши её расклеивали по городу, и непременно были цветы...

Однажды к ней подошёл мелкий, смуглый, чернявый господин с чувственными губами и влажными глазами, заговорил, грассируя:

— Вы, мадемуазель, настоящий талант! Это говорит вам Самуил Кац! Позвольте узнать ваше имя?

— Дуня... — пролепетала девушка.

— Это ничего! Мы вам дадим другое! Вы будете у нас... ммм... Мадемуазель Шанталь! Вам нравится такое имя?

— Я не знаю... Я не совсем понимаю...

— Ах, пардон! Я ведь не объяснил! Я — импресарио. Содержу небольшой хор, в котором юные таланты, подобные вам, расцветают и делают первые шаги к большой славе. Хор выступает каждый вечер, кроме понедельника, в кафе-шантане «Орхидея». Хористки получают жалование, им оплачивают туалет и стол... В общем, наши девушки катаются, как сыр в масле. А если обстоятельства сложатся, так и на большую сцену выходят. Вы согласны, мадемуазель? Подумайте! Сцена! Тепло! Цветы! Поклонники! Слава! Неужели вы хотите и дальше мёрзнуть на улице?!

Мёрзнуть на улице Дунечке не хотелось. Вдобавок братец очень болел, и нужны были деньги на хорошую пищу и лекарства.

Так она оказалась хористкой кафе-шантана «Орхидея». Хор состоял из дюжины девиц, весьма фривольного нрава. Они пили, курили, непристойно выражались и даже дрались между собой. Дунечке это очень не понравилось, но отступить было поздно. Заправляли всем сам Кац, которого все звали просто Мулей, и его жена Дора, расползшаяся поперёк себя шире баба, мать восьмерых детей, безумно ревнующая мужа. Когда на Дунечку надели чудовищное платье, открывающее плечи, грудь и ноги, сердце её упало, но она вышла на сцену со всеми и целый вечер пела для жующей нетрезвой публики. Затем хористки

разлетелись по кабинетам, а Дунечка, окончательно понявшая, где оказалась, бросилась в гримёрную. Её единственным желанием было сбросить с себя отвратительное платье, надеть свою ветхую, бедную одежду и бежать. Но едва она оказалась в комнате, как дверь захлопнулась, и Муля протянул к ней свои руки, чмокая крупными губами:

— Иди ко мне, прелесть моя! Ты была восхитительна! Ты будешь королевой кафе-шантана!

Напрасно Дунечка, плакала и умоляла пощадить её. Хозяин услаждался ею полночи, а из-за стен слышались пьяные крики, песни, хлопки откупориваемого шампанского...

Так начался ад. На другой день её подпоили и втолкнули в кабинет какого-то сладострастного господина, буквально сорившего деньгами. Потом Дора застучала с ней своего мужа и расцарапала ей лицо. Одна из хористок, видя отчаяние Дунечки, пыталась утешать её:

— Что ты так переживаешь? Все мы через это прошли. Сначала больно было, горько было, а теперь привыкли. Даже весело... — а глаза её смотрели бесконечно печально, и не выпускала она из руки прихваченной из зала бутылки вина, пила бокал за бокалом, чтобы ничего не чувствовать.

Но Дунечка привыкать не желала и отправилась на приём к городскому главе, чтобы рассказать ему о бесчинствах, творимых в кафе-шантане, воззвать к закону, попросить заступничества. Старик слушал её сочувственно, качал лысеющей головой и даже прослезился, а когда она закончила, усадил её к себе на колени:

— Бедное дитя, — и стал целовать.

Дунечка вырвалась и в ужасе убежала. Была Страстная пятница. Но кафе-шантан и в этот день был полон. Суетился Муля, продавая своих хористок

похотливым господам разных чинов и званий, свирепела его ревнивая жена, вереща на девиц визгливым голосом, танцевали на сцене полураздетые «нимфы», показывая свои прелести... Едва завидев Дунечку, Муля ухватил её цепкой рукой и потянул в кабинет:

— Где шляешься? Тебя уже ждут! Уже заплачено!

В кабинете сидел сильно захмелевший юнец, видимо, кутящий на родительские деньги.

— Вот, и наша красавица! — слащаво пропел Муля.

Увидев протянутые к ней руки, Дунечка отскочила в сторону:

— Не подходите!

— Ты что?! — зло прищурился Муля. — Только посмей показывать характер!

Тогда Дунечка выхватила предусмотрительно припасённый нож:

— Только подойдите!

Юнец, изрядно перетрухнув, исчез из кабинета, а Муля с угрожающим видом надвигался на девушку:

— Отдай нож, тварь! Отдай!

Она плохо помнила, как полоснула его по щеке, как выпрыгнула в окно, как бежала по улицам. Ей казалось, что за ней гонится целая толпа завсегдатаев похабного заведения. У церкви Дунечка остановилась. Никто не гнался за ней, улица была пустынна, а в церкви шла служба. Самая скорбная в году. В этот день Христос был распят во искупление грехов человеческих... Дунечка рухнула на землю и отчаянно зарыдала, не чувствуя холода, затем поднялась и, шатаясь, побрела прочь...

В ту ночь не стало её братца. Последние недели несчастный ребёнок уже не мог вставать и мучился сильнейшими болями. Он умер, терпя страшные страдания, умер, когда рядом не было ни одного близкого человека, умер в ночь, когда распяли Спасителя, как Он — невинный, как Он — за чужие грехи. Дунечка долго смотрела на худенькое,

прозрачное, неподвижное лицо братца, поцеловала его в холодные губы. Ей незачем, не для кого, невозможно казалось жить дальше...

Река, пересекавшая город, была глубокой, медленной. Дунечка смотрела на её течение остановившимся взглядом. Чёрная вода, словно магнитом, тянула её в свои объятия, обещая вечный покой истерзанной душе. Она уже перегнулась через перила, как вдруг сзади схватили её чьи-то руки. Дунечка лишилась чувств.

Две недели пролежала она в горячке, а, очнувшись, нашла себя на широкой чистой постели, в просторной, хорошо обставленной комнате. Рядом сидела какая-то женщина с лицом полным и добрым.

То был дом человека, который спас её у реки. Им оказался некто Николай Андреевич Криницын, дворянин, человек пожилой и состоятельный. Привезя бесчувственную Дунечку в свой дом, он пригласил врача, велел своей прислуге, Настасье, ухаживать за больной, окружил её всяческой заботой. Но Дунечка после всего пережитого не верила в искренность и бескорыстность такой доброты, дичилась своего спасителя, вела себя с ним неприязненно.

— Зря вы мне утопиться не дали, — сказала она ему однажды. — Я всё равно над собой сделаю что-нибудь. А если вам содержанка нужна, так ищите другую! А с меня хватит!

Криницын погладил густую серебристую бороду, на лице его отразилась искренняя скорбь:

— Боже мой, как же вам исковеркали душу, бедное юное создание... Не бойтесь, здесь никто не причинит вам зла.

После этого он не появлялся несколько дней, и Дунечка осторожно спросила у Настасьи:

— А что же барина не видно?

— Уехал барин. В Петербург по делам. Через неделю вернётся.

— Скажите, а кто он? Что он за человек? — Дунечке очень хотелось узнать больше о своём спасителе. Он всё ещё не верила ему, но всё же не могла не признать, что до сих пор странный господин ничем не дал повода к подозрениям, и ничего не было в его благородной, породистой внешности похожего на тех сладострастных господ, от коих Дунечка бежала.

— Он очень хороший человек, — Настасья чуть улыбнулась, и особенная теплота послышалась в её голосе. — Добрый, щедрый, умный... Только много горя ему в жизни выпало. Первая жена, любимая, в родах умерла, девочку оставила. Барин тогда полгода весь чёрный ходил, только дочерью и жил. Потом женился во второй раз. Сын родился у них. Да только барыня душевной болезнью захворала. Как это страшно было! Ходила по дому, безумная... На него с ножом бросалась, не узнавала никого... Уж что только барин не делал, каких только врачей не приглашал для неё, как только не ухаживал... Напрасно! Он её до последнего дня не оставлял. Измучила она его, смотреть было больно. Когда она преставилась, так я перекрестилась, что барину полегче станет. А потом сыночек с лошади упал... Расшибся, сердечный, насмерть... А дочка... Училась она в Петербурге. На курсах. Что там вышло, не знаю, да только утопилась она... Барин тогда слёг, насилу оправился. И как только он все эти несчастья выносит — ума не приложу! И ведь не сломался, не опустил, не озлобился... Кто не знает, так и не догадается, что ему пережить довелось. А вы на барышню нашу похожи очень. Он мне говорил, что, когда вас на мосту увидел, так сердце оборвалось: помстилось, будто бы Машенька его...

Дунечка почувствовала, как разом сгнуло её недоверие, ей вспомнились печальные, обрамлённые

морщинами, глаза Криницына, его мягкий, ласковый голос, и стало стыдно, что напрасно она обидела этого человека.

Шли дни, молодой и сильный организм брал своё, болезнь отступала. Дунечка подружилась с Настасьей, но боль ни на минуту не покидала сердца. Когда вернулся Николай Андреевич, она сама пришла к нему и сказала негромко:

— Простите меня за мои тогдашние слова. Я не в себе была. Я дурная. Я уйду теперь...

Криницын снял очки, подошёл к девушке, усадил её на диван и, взяв за руки, тепло сказал:

— Тебе не за что извиняться, дитя моё. И не в чем упрекать себя. И ты никуда не пойдёшь из этого дома. Куда тебе идти? На улицу? Нет, я этого не допущу. Я позабочусь о тебе, дам тебе образование, устрою твою жизнь...

— Но вы же не знаете ничего обо мне! Вы не знаете, какая я! А если б знали, не пустили бы на порог! И правильно!

— Я ни о чём не спрашиваю тебя, дитя моё...

— А я вам расскажу! — Дунечка задрожала. — Всё расскажу! Чтобы вы знали, какую дрянь вы в своём доме приютили!

И она рассказала ему всё, как на исповеди. Рассказывала долго, захлёбываясь слезами, но чувствуя, как с каждым словом облегчается душа. Криницын слушал её с неподдельной скорбью. Когда она закончила, он поднялся, заходил по комнате, заговорил, волнуясь:

— Я предполагал нечто в этом роде... Боже мой, до какого ужаса дошла Россия, до какой мерзости! Все эти кафе-шантаны, хоры... Рассадники разврата! Вот, от чего погибнет всё... Содом и Гоморра были уничтожены за меньшие грехи! Растление душ, соблазнение малых сих — что может быть страшнее?! Вот, чем следовало

бы озаботиться правительству! Нравственностью! Сбережением устоев! Иначе никакие финансы не спасут! Всё пронизано распадом, развращённостью, пьянством, и смрадное дыхание окутывает города и деревни... Вот, народная беда! Беда более страшная, чем войны и эпидемии! Вот, пагуба, за которую страшное искупление придётся принести всей России. Новый Вавилон! — обернувшись к Дунечке, он крепко взял её за руки, по-отечески погладил по голове: — Не плачь, дитя моё, не казни себя. В том, что случилось, нет твоей вины. Верь мне, я всё сделаю, чтобы жизнь твоя наладилась, и всё страшное, что было, изгладилось.

— Зачем вам так обо мне заботиться? Кто я вам? Что вам за дело до меня?

— Когда я увидел тебя не мосту, я подумал, что это Божий перст. Когда-то моя дочь стояла также. Также смотрела на ледяную воду. А потом бросилась в неё. Я не знаю, почему она это сделала. Меня не было рядом с ней. Я не смог помочь своей дочери. Не смог спасти её. Значит, я виноват в её гибели... Я сделаю для тебя то, что не смог сделать для неё.

Николай Андреевич сдержал слово. Он не просто позаботился о бедной сиротке, но удочерил её, дав свою фамилию. Из города, с которым связано было столько горя, Криницын увёз свою воспитанницу за границу: они побывали в Германии на водах, в Швейцарии в Альпах, несколько месяцев провели во Франции, на зиму перебрались в Италию, которая потрясла Дунечку, покорила её своим теплом, солнечностью, вечной красотой и покоем. То была совсем другая жизнь, новая и чистая, и Дунечка постепенно оправлялась от пережитого, оживала. Через два года они вернулись в Россию. Возвращались с севера, по пути посещая древние святыни: Валаам, Соловки... И жадно глотала Дунечка воздух этих мест, в

нём самом слыша исцеление своим ранам. Там, после говенья, исповеди и причастия, она словно бы родилась заново, словно омылась душа её и очистилась от черноты, и воскресла к иной жизни.

В Петербурге Криницын снял небольшую, но уютную квартиру. Они всё так же жили втроём: Николай Андреевич, Дунечка и Настасья. Благодетель нанял для неё учителей, в том числе, по вокалу. Слушая, как поёт воспитанница народные песни и романсы, старик не мог сдержать слёз.

— В тебе есть искра, — говорил он. — Дар Божий. А дар Божий должно отдать людям, иначе грех. Ты должна петь, вкладывать свою душу в свои песни и врачевать ими души других людей.

Дунечка сомневалась, слишком живы ещё были кошмарные воспоминания прошлого. Но Николай Андреевич настоял на своём, и вскоре Евдокия Криницына блистала на лучших сценах Москвы и Петербурга, пела даже в присутствии членов Императорской семьи. Никто бы не узнал в этой красивой, подчёркнуто скромной, не допускающей ничего похожего на вульгарность, женщине бедную, забитую сиротку. Никто не знал о её прошлом, кроме благодетеля, никто не мог заподозрить, что у этой образованной, независимо и с достоинством держащейся красавицы такое страшное прошлое. На своих концертах Криницына избегала помпезности, ярких декораций и нарядов, заявляя, что тем, кто хочет слышать её голос, её песни, мишура не нужна. И это было сущей правдой. Она выходила на сцену, облачённая в тёмное, красивое, но простое платье, изящная и тонкая, и пела под аккомпанемент рояля и гитары. Позднее её труппа расширилась: в ней появился скрипач, гармонист и балалаечник. Успех был феноменальный. О загадочной певице говорили в гостиных, газеты задавались вопросом, «из каких

райских куш прилетел этот соловей», поклонники присылали записки и цветы, но ни одного из них не одарила Евдокия Осиповна своим вниманием. Это немного огорчало благодетеля. Он часто болел и беспокоился, что воспитанница останется с его уходом одна. Но она не могла переступить через себя, перебороть свой страх, продолжала дичиться мужского общества и вела за пределами сцены жизнь, сродную монашеской.

Николай Андреевич скончался летом Четырнадцатого года. Его имущество Евдокия Осиповна распродала, оставив лишь квартиру в столице, где жила вместе с Настасьей. На вырученные деньги она организовала сиротский приют, часть пожертвовала на храм, а оставшаяся сумма пригодилась, когда началась война. Оставаться в столице и развлекать беспечную публику Криницына не желала. Это была не её публика. Эта публика легко могла веселиться в кафе-шантанах, аплодируя вульгарным певичкам, сменившим свои имена на клички. Публика же Евдокии Осиповны была на фронте и в госпиталях. Туда-то и направилась Криницына. Она не боялась выступать на передовой, она рисковала своей жизнью, она давала по несколько концертов в день в лазаретах, она не спала сутками, переезжая с одного фронта на другой, иногда теряя сознание от усталости, она выступала с температурой под сорок, ничем не выдавая своего состояния, и, читая восторг и благодарность в глазах своих слушателей, была счастлива от сознания того, что нужна им, что делает важное и хорошее дело, что не зря живёт на этом свете, и это чувство давало силы продолжать взятый бешеный ритм. Тогда Евдокия Осиповна всем сердцем привязалась к героям, защищавшим Отечество, отдающим жизнь за него. И, вот, теперь один из них сидел рядом с нею. И сердце её томилось от страха за его судьбу, и хотелось помочь, защитить... И во взгляде,

смотревшем из-под стёкол пенсне, она читала нечто большее, чем благодарность, чем интерес, адресованный её таланту. Особенно явственно она ощущала это, когда пела ему, лаская нежной рукой гитарные струны, пела ему одному и для него, и сладко-сладко становилось на сердце в такие мгновения. А когда он читал стихи, ей казалось, что читает он их неспроста, что так, чужими песнями, он обращается к ней:

— Блеснёт заря, а всё в моём мечтании
Лишь ты одна.
Лишь ты одна, когда поток в молчании
Сребрит луна.

Я зрю тебя, когда летит с дороги
И пыль и прах.
И с трепетом идёт пришлец убогий
В глухих лесах.

Мне слышится твой голос несравненный
И в шуме вод;
Под вечер он к дубраве оживленной
Меня зовёт.

Я близ тебя; как не была б далёко,
Ты всё ж со мной.
Взошла луна. Когда б в сей тьме глубокой
Я был с тобой!

— Чьи это стихи?
— Гёте, — краешками губ улыбнулся полковник.
— И откуда вы только столько стихов знаете, Пётр Сергеевич?

— А вы полагаете, Евдокия Осиповна, что офицерам положено знать лишь устав и военные науки?

— Нет, что вы... Просто вы все их наизусть помните, и читаете так хорошо... У нас немногие артисты похвастаться могут.

— Мой отец, Евдокия Осиповна, был известным в Москве меценатом, покровителем искусств. И матушка моя также всегда любила искусство. Так что всё моё детство прошло в окружении муз: поэтов, художников, артистов... Отец устраивал выставки, помогал театру, издавал альманах... И вся эта публика сутками не оставляла его. Иные ночевали, потому что негде было жить. Так что я обречён был искусство любить и знать.

— А отчего же вы избрали военную стезю?

— Вероятно, устал от муз, — пошутил Тягаев. — Не могу точно сказать. Сколько себя помню, всегда знал, что должен быть военным. А искусство люблю. Правда, сам я человек в этой области вполне бездарный, во-первых, а, во-вторых, ретроград, поскольку мало что из современного искусства мне по душе, но всё же кое-что смыслю. А стихи я учил с малых лет. Для тренировки памяти. По стиху в день заучивал. Целые поэмы даже. А потом уже стал заучивать лишь то, что нравилось.

— А я стихи худо запоминаю. У меня память не очень хорошая. А, вот, песни, не поверите: с первого прослушивания повторить могу. У меня память слуховая. Я, собственно, и стихи, и прозу хорошо запоминаю и быстро в том случае, если кто-то читает вслух с выражением. Звучание запоминаю, интонации. Вот, всё, что вы читали, я уж никогда не позабуду.

— Мне очень приятно это, Евдокия Осиповна.

Они разговаривали в вагоне-ресторане, когда вдруг появился патруль из двух солдат и красного командира. Криницына заметила, как Пётр Сергеевич напрягся, отложил салфетку и нащупал спрятанный в кармане браунинг.

— Что с вами? — спросила Евдокия Осиповна.

— Видите, солдата? Того, что справа? Он служил у меня и знает меня в лицо.

— Он может не узнать вас... — заметила Криницына, внутренне похолодев. Что будет теперь? Неужели арестуют его? Или, не дай Бог, убьют?.. Господи, оборони!

— Узнает. Непременно узнает. Он совершил серьёзный проступок и был наказан по моему приказу. А потом бежал с фронта. Теперь не упустит случая поквитаться... Спасибо вам за всё, Евдокия Осиповна! — полковник резко поднялся из-за стола и вышел в проход. Патруль немедленно заметил его, и один из солдат вскрикнул:

— Вот тебе на! Их благородие собственной персоной! Братва, да ведь это полковник Тягаев! Держите контру! — он кинулся к полковнику, но тот швырнул ему под ноги стул, и дезертир шлёпнулся на пол, заградив проход своим товарищам.

Воспользовавшись заминкой, Пётр Сергеевич открыл окно и выпрыгнул в него. Вслед ему прозвучало несколько выстрелов. Евдокия Осиповна вскрикнула, прильнула к стеклу, но ничего не смогла разобрать: поезд шёл на полной скорости, а вокруг тянулись белые просторы, испещрённые чёрными проталинами, а на горизонте чернел лес... Криницына приложила руки к груди и поникла головой. Рядом чертыхались патрульные, один из них зло бросил:

— А, чёрт с ним! Может, как раз шею свернул себе, контра! Жаль, от пули моей ушёл... Уж я бы ему не забыл давнишнего...

У Евдокии Осиповны потемнело в глазах. Неужели погиб? Боже Всемогущий, Боже Милосердный, не попусти! Спаси раба твоего Петра в несчастьях его! Защити, Господи! Защити!

Глава 10. Мирносица

10-11 апреля 1918 года. Екатеринодар

Генерал Алексеев, в начале похода настаивавший на кубанском направлении, был против штурма Екатеринодара. Находящаяся в городе более чем двадцатитысячная группировка красных, не имеющая недостатка в оружии (в спешке отступления кубанские власти забыли уничтожить завод по производству артиллерийских снарядов), оставляла мало шансов на победу шеститысячному, измотанному долгим и полным лишений походом и постоянными боями белому воинству, имевшему всего-навсего пятьдесят штук пушечных снарядов и чуть более пятидесяти тысяч ружейных патронов. Но для Верховного выбора не существовало. Слишком долг был путь к этой «Обетованной земле», слишком многим уже заплачено за неё, и слишком много поставлено на карту, чтобы в последний момент повернуть назад. К тому же большая часть армии желала штурма, видя в Екатеринодаре свой Иерусалим, обращая к нему все свои надежды и устремления и свято веря в своего Вождя...

Погода продолжала лютовать, дожди вперемешку со снегом обратили дороги в сущие болота. А вокруг, в каждой станице сидели большевики. Армия оказалась в кольце, и тем отчаянней становилась вера во взятие кубанской столицы, в то, что заветная цель будет достигнута.

К Екатеринодару пробивались с боями, истекая кровью, теряя людей, которых не доставало времени достойно похоронить. Страшен был последний переход. Путь вдоль железной дороги преградил огнём красный бронепоезд, и пришлось идти по бездорожью,

напрямик, сквозь ночную тьму. Разлившаяся Кубань затопила много вёрст, и идти приходилось по ледяной воде, сбиваясь с пути, проваливаясь в ямы и канавы. А на фоне непроглядной черноты ночи жутко смотрелись алые зарева — это полыхали подожжённые шедшими впереди черкесами брошенные хутора...

В месте намеченной переправы обнаружился лишь паром, способный перевозить разом до полусотни человек. Ниже по реке нашли ещё один, меньшей вместимости. Эти паромы и рыбацьи лодки призваны были перевезти на другой берег всю армию... Переправа затягивалась. Засевшие в Екатеринодаре большевики могли легко уничтожить её, но отчего-то не сделали этого, используя полученное время для дополнительного укрепления города. Штаб войск Северного Кавказа издал приказ: «В случае враждебного выступления в г. Екатеринодаре с чьей-либо стороны город Екатеринодар будет подвергнут артиллерийскому обстрелу; чрезвычайным комиссаром г. Екатеринодара назначается Макс Шнейдер; буржуазный класс Екатеринодара немедленно должен выступить на позиции для рытья окопов. Саботаж будет подавляться кровью и железом». Большевиков, в отличие от кубанского правительства, ничуть не смущало возможное разрушение города бомбардировкой и гибель в результате оной мирных жителей...

Переправившиеся войска слёту захватили станицу Елизаветинскую. До Екатеринодара осталось несколько вёрст... Огромный обоз армии, непомерно выросший с присоединением к нему кубанской Рады, решено было переправлять в последнюю очередь. Для его охраны был оставлен отряд Добровольцев под командованием Маркова.

— Попадёшь теперь к шапочному разбору! — горячился Сергей Леонидович.

Между тем, в Елизаветинскую начали переправлять раненых. Гулко ухали залпы артиллерии, от которых, кажется, содрогалась сама земля.

— Они из Новороссийска тридцать пять тяжёлых орудий подвезли и палят... — со знанием дела определил раненый полковник. — За всю войну такого боя не слышал...

Убедившись в том, что раненые устроены на новом месте, Таня Калитина вышла из отведённой под лазарет хаты на улицу и направилась к красной каменной церкви. Стоял Великий пост, близилась Страстная неделя. Скоро настанут скорбные дни, дни, в которые Спаситель был предан, мучаем и распят... И теперь горстка людей, избравших торный путь, восходит на свою Голгофу, принимает муки и гибнет во имя России и во имя Христа, и ангельская песнь встретит их в чертоге Господнем... Льётся кровь по русской земле, смешивается кровь праведников и грешников, и полнятся обидой и злостью сердца, и отходит любовь. Недавно минуло Прощёное воскресенье. А о каком прощении можно говорить? Разве можно простить всё то страшное, что сотворается? «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть...» И это не предел... А где — предел? Разве не перешагнули его давно, уйдя в запредельность? Прощение... Прощать разучились. Не только врагам кровным, но и ближним своим. И в армии иные друг на друга волками смотрят. Казалось бы, одно дело делают, а друг друга едва терпят, и примириться не могут, и держат за пазухой счёт, чтобы предъявить... Пресвятая Богородица, умягчи сердца ожесточившиеся, научи их терпимости и примирению хотя бы перед лицом общей беды!

Всю жизнь Таня страдала, встречая разлад между людьми, всю жизнь стремилась примирять враждующие стороны, чувствуя почти физически, как вспыхивающая вражда нарушает что-то в самой атмосфере, отравляет

её недоброжелательством. С детства обнаружился в ней дар миротворчества и исцеления. Разумеется, излечить ту или иную болезнь Таня не могла, но умела одним своим присутствием, ласковым словом облегчать всякое страдание. Если случалась в чьём доме беда, то её звали, и она приходила, и сидела часами рядом со страждущими. Таня абсолютно точно чувствовала, кому и когда нужна помощь, и мать её частенько замечала:

— Ты, как кошка, чувствуешь, где болит, и своим теплом врачуешь больное место.

В этом даре было главное счастье Тани. Всё существо её с самых ранних лет было в служении людям. Она органически не умела отказывать, и столь же органически боялась взять что-то лишнее, а подчас и необходимое — для себя. Её суть была — отдать своё, а не взять чужого. Чужого же для неё не было — горя. Боли. Чужую боль Таня чувствовала собственной кожей, чувствовала больнее собственной. Она не умела обижаться за какие-либо причинённые ей неприятности, за себя, но обида, нанесённая другому, особенно близкому, ощущалась ею с болезненной остротой. И потому спешила Таня — утешать, ободрять, примирять. Быть рядом с теми, кому труднее, кому больнее.

Но не только боль ощущалась столь остро. Ещё — стыд. Так всегда было: рядом кто-то совершал бестактность, а Таня заливалась краской, будто бы предосудительное сделала она сама. Стыд за чужой грех, неловкость от чужой бестактности никогда не покидали её. Она не умела злиться на людей, ненавидеть, презирать. Ни на кого не было зла в её душе, а лишь стыд и горечь — за всех, зло делавших.

А ещё был стыд — за саму себя. Он охватывал Таню всякий раз, когда видела она кого-то беднее себя, несчастнее себя. Перед калеками — за своё здоровье. Перед несчастными — за своё благополучие. Перед

нищими — за то, что не бедствует сама. Как-то в детстве на улице Тане встретилась нищая девочка, просящая милостыню. Была зима, и у бедняжки губы синели от холода, и ветхое пальтишко не могло дать ей тепла. Не раздумывая, Таня скинула свою новенькую, красивую шубу, набросила на плечи сиротки, и так и возвратилась домой — без шубы, измёрзшая, и, несмотря на то, что пришлось после две недели пролежать с сильной простудой, была счастлива. Тогда впервые узнала она, какое упоительное это счастье — отдавать, дарить своё — ближнему!

В благих делах примером для Тани всегда была мать. Вся жизнь Екатерины Антоновны была посвящена служению ближним. Из всех святых она наиболее почитала Иулианию Лазаревскую, житие которой часто перечитывала. Эта древнерусская святая, будучи замужней женщиной и матерью семейства, принимала у себя странников, лечила больных, кормила голодных, в голодные годы отдавая им тайно от близких свою долю скудной пищи и голодая сама. Мать во всём следовала примеру подвижницы. В доме вечно жили какие-то люди, которым некуда было пойти. Екатерина Антоновна никому и никогда не отказывала в помощи, и все знали, что, чтобы ни случилось, к ней можно прийти, и она поймёт и поможет всем: утешительным ли словом, советом ли, уходом или деньгами. И шли нескончаемой вереницей люди: как знакомые, так и вовсе сторонние. Несли матери свои беды. И каждого встречала она, как родного, на каждого находила время и силы, каждому улыбалась с неповторимой теплотой. Где случалось несчастье — немедленно звали Екатерину Антоновну. Одну или вместе с дочкой. И мать бежала на зов, бросив все дела. К ней можно было прийти даже ночью, и в считанные минуты она бывала готова спешить на выручку: утешать, лечить, помогать...

Однажды, когда мать, больная, побежала помогать какой-то малознакомой даме, Таня, жалея её, спросила:

— Неужели ей больше помочь некому?

— Может, и есть кому, но ведь она меня попросила.

— Так можно было отказать! Помог бы кто-нибудь другой!

— А если бы не помог? — серьёзно спросила мать. — К тому же, если пришли за помощью ко мне, то мне перед Богом и ответ держать: помогла ли или не отворила двери. Приняла у себя Христа в образе меньшего брата или оставила без участия. Ведь на Страшном Суде за всё спросится.

— Да ведь вокруг столько грешат!

— Каждый за свои грехи отвечает. А спрашиваться не с худших будет, а с лучших. С тех, кому больше открыто. Тот, кто грешит по незнанию, не сознавая, что это грех — что с него взять? А со знающих и понимающих и за малый грех спрос велик. Нужно исполнять закон любви. А у нас, как преподобный Максим говорил, много говорящих, но мало исполняющих. Постараемся не быть в их числе.

Эти слова глубоко запали в сердце Тани, и больше никогда она не задавала таких вопросов.

Ей рано пришлось узнать скорбь утрат. В 1905-м году отец, служивший по ведомству путей и сообщений, приехал из краткой командировки, вышел на вокзал городка, в котором проживала тогда семья, увидел своего знакомого жандармского офицера, подошёл поприветствовать его. В этот момент из поезда выскочил какой-то парень из рабочих, выхватил пистолет и стал стрелять. Стрелял он в ненавистного жандарма, но попал и в его друга. Погибли оба. У убитого офицера осталась вдова и четверо детей... Так Таня узнала, что такое революция и террор, воспеваемые либеральной интеллигенцией, превозносимые литературой и прессой...

После гибели отца мать решила перебираться в Москву, где родилась, и где проживала её престарелая тётка. Тётя Павла не оценила благотворительности Екатерины Антоновны, считая её недопустимой блажью. Чтобы не раздражать её, мать старалась заниматься делами милосердия тайно, жалея лишь о том, что не может теперь никому помочь приютом.

В ту пору в Москве зарождалась Марфо-Мариинская обитель милосердия. После смерти тёти Павлы и по достижению Таней совершеннолетия Екатерина Антоновна, и ранее подвизавшаяся там, поступила в обитель, приняв постриг с именем Ульяна, исполнив тем самым свою давнюю мечту.

Настоятельница обители, Великую Княгиню Елизавету Фёдоровну мать почитала, как святую, и Таня разделяла это благоговение. У Матушки Великой были глаза ангела, от неё исходил негасимый свет, озарявший и обращавший к Богу даже самые помрачённые души. Какое-то время в больнице лежала умирающая от рака женщина. Её муж, рабочий, был безбожником и ненавистником Царствующего дома. Ежедневно навещая жену, он с удивлением замечал, с какой заботой к ней относятся. Особенное участие проявляла одна из сестёр. Она садилась у кровати больной, ласкала её, говорила утешительные слова, давала лекарства и приносила разные сладости. На предложение исповедаться и причаститься несчастная ответила отказом, но это не изменило отношения сестры. Она оставалась при ней затем всё время агонии, а затем с другими сёстрами омыла и одела её. Потрясённый вдовец спросил, кто же эта чудная сестра, больше родных отца и матери хлопотавшая о его жене. Когда ему ответили, что это и есть Великая Княгиня, он расплакался и бросился к ней благодарить и просить прощения, что, не зная её, так её ненавидел. Ласковый

приём, оказанный ему, ещё более растрогал этого человека, и он пришёл к вере.

Сколько душ обратила к Богу Матушка Великая! Хитровскому разбойнику она доверила отнести в обитель тяжёлый мешок с вещами и деньгами, и он отнёс его, сам потребовал затем проверить содержимое, не пропало ли чего, и попросил разрешения работать в обители. Елизавета Фёдоровна сделала его садовником, и с той поры разбойник сделался очень набожным, церковным человеком.

Среди спасённых ею душ было много детей, коих вызволила она из притонов Хитровки, по которым не боялась ходить безо всякой охраны и никогда не была там обижена. Детей поручали ей умирающие матери, знавшие, что княгиня позаботится о сиротах.

Матушка Великая в каждом человеке видела образ Божий. «Подобие Божие может быть иногда затемнено, но оно никогда не может быть уничтожено», — говорила она. Княгиня врачевала не только тела, часами не отходя от больных, обрабатывая самые страшные раны, ассистируя на операциях известнейшим хирургам, но и души. Она всегда сама читала отходную по умирающим, считая долгом сестёр не только облегчать страдания, но сделать всё, чтобы подготовить человека к переходу в иной мир. Она не гнушалась никаких болезней и язв, не уклонялась от объятий и поцелуев чахоточных, для коих выстроила отдельную больницу. Она твёрдо верила в то, что на всё — Божия воля.

Княгиня Елизавета старалась подражать преподобным. Она тайно носила власяницу и вериги, спала на деревянной кровати без матраца и на жёсткой подушке всего по несколько часов, в полночь вставала на молитву и обходила больных, соблюдала все посты и даже в обычное время не употребляла мясного (даже рыбу) и ела очень мало. Никакого дела не

предпринимала Елизавета Фёдоровна без совета своих духовных отцов, в полном послушании которым находилась. Матушка Великая постоянно пребывала в молитвенном состоянии, творя «Иисусову молитву». Она со всеми была приветлива, ласкова и внимательна, была бодра, и лишь в редкие моменты можно было уловить высокую печаль, отражавшуюся на её ангельском лице.

Тане казалось, что души её матери и Великой Княгини очень родственны. Обе они пережили большое горе, потеряв любимых мужей, убитых революционерами, обе с юных лет всемерно старались служить страждущим, обе обладали великой верой, которая давала им силы вынести все скорби и труды. Екатерина Антоновна любила повторять наставления августейшей настоятельницы:

— Разве трудно оказать участие человеку в скорби: сказать доброе слово — тому, кому больно; улыбнуться огорчённому, заступиться за обиженного, умиротворить находящихся в ссоре; подать милостыню нуждающемуся... И все такие лёгкие дела — если делать их с молитвой и любовью, сближают нас с Небом и Самим Богом. Счастье состоит не в том, чтобы жить во дворце и быть богатым. Всего этого можно лишиться. Настоящее счастье то, которое ни люди, ни события не могут похитить. Ты его найдешь в жизни души и отдании себя. Постарайся сделать счастливыми тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив. Ныне трудно найти правду на земле, затопляемую всё сильнее и сильнее греховными волнами; чтобы не разочароваться в жизни, надо правду искать на небе, куда она ушла от нас, — эти слова мать повторяла со слезами умиления.

Надвигающуюся катастрофу Матушка Великая предрекла, разгадав сон обительского духовника отца Митрофана. Незадолго до Февральской революции он с волнением рассказал ей о посетившем его видении:

— Я видел во сне четыре картины, сменяющие друг друга. На первой — полыхающая церковь, которая горела и рушилась. На второй картине — предо мной предстала Ваша сестра Императрица Александра в траурной рамке. Но вдруг из её краёв появились белые ростки, и белоснежные лилии покрыли изображение Государыни. Третья картина явила Архангела Михаила с огненным мечом в руках. На четвёртой — я увидел молящегося на камне преподобного Серафима.

— Я объясню Вам значение этого сна, — ответила Елизавета Фёдоровна. — В ближайшее время нашу Родину ждут тяжкие испытания и скорби. От них пострадает наша Русская Церковь, которую Вы видели горящей и гибнущей. Белые лилии на портрете моей сестры говорят о том, что жизнь Её будет покрыта славой мученического венца... Третья картина — Архангел Михаил с огненным мечом — предсказывает то, что Россию ожидают великие сражения Небесных Сил Бесплотных с тёмными силами. Четвёртая картина обещает нашему Отечеству сугубое предстательство преподобного Серафима. Да помилует Господь Русь святую молитвами всех русских святых. И да сжалится над нами Господь по велицей Своей Милости!

В наступившие чёрные дни Великая Княгиня вновь показала пример мужества и смирения. Поистине страшные дни настали для Москвы и всей России. Февральская революция выпустила из тюрем толпы уголовников. В Москве шайки оборванцев грабили и жгли дома. Елизавету Фёдоровну не раз просили быть осторожнее и держать врата обители на запоре. Но она не боялась никого, и амбулатория больницы продолжала оставаться открытой для всех.

— Разве вы забыли, что ни один волос не упадёт с вашей головы, если на то не будет воля Господня? — отвечала Матушка Великая на все предостережения.

Однажды в обитель явились несколько пьяных погромщиков, непристойно ругавшихся и ведших себя разнузданно. Один из них, в грязной солдатской форме, стал кричать на Елизавету Фёдоровну, что она больше не Её Высочество, и нахально вопрошал, кто она такая теперь.

— Я здесь служу людям, — спокойно ответила Великая Княгиня.

Тогда дезертир потребовал, чтобы она перевязала язву, бывшую у него в паху. Матушка Великая усадила его на стул и, встав на колени, промыла рану, перебинтовала и сказала прийти на перевязку на следующий день, чтобы не началось гангрены.

Озадаченные и смущённые погромщики покинули обитель...

Елизавета Фёдоровна не питала ни малейшей злобы против бунтующей толпы.

— Народ — дитя, — говорила она сёстрам с исполненным веры и света лицом, — он не повинен в происходящем... он введен в заблуждение врагами России. Господни пути являются тайной, и это поистине великий дар, что мы не можем знать всего будущего, которое уготовано для нас. Вся наша страна раскромсана на маленькие кусочки. Всё, что было собрано веками, уничтожено, и нашим собственным народом, который я люблю всем моим сердцем. Действительно, они морально больны и слепы, чтобы не видеть, куда мы идём. Но можно ли критиковать или осудить человека, который находится в бреду, безумного? Его можно лишь жалеть и жаждать найти для него хороших попечителей, которые могли бы уберечь его от разгрома всего и от убийства тех, кто на его пути. Я испытывала такую глубокую жалость к России и к её детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребёнок, которого мы любим во сто раз больше во время его

болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, научить его терпению, помочь ему. Вот что я чувствую каждый день. Святая Россия не может погибнуть. Но Великой России, увы, больше нет. Но Бог в Библии показывает, как Он прощал Свой раскаявшийся народ и снова даровал ему благословенную силу. Если мы глубоко вникнем в жизнь каждого человека, то увидим, что она полна чудес. Вы скажете, что жизнь полна ужаса и смерти. Да, это так. Но мы ясно не видим, почему кровь этих жертв должна литься. Там, на небесах, они понимают всё и, конечно, обрели покой и настоящую Родину — Небесное Отечество. Мы же, на этой земле, должны устремить свои мысли к Небесному Царствию, чтобы просвещёнными глазами могли видеть всё и сказать с покорностью: «Да будет воля Твоя». Полностью разрушена «Великая Россия, бесстрашная и безукоризненная». Но «Святая Россия» и Православная Церковь, которую «врата ада не одолеют», существуют, и существуют более, чем когда бы то ни было. И те, кто верует и не сомневается ни на мгновение, увидят «внутреннее солнце», которое освещает тьму во время грохочущей бури. Будем надеяться, что молитвы, усиливающиеся с каждым днём, и увеличивающееся раскаяние умилоостивят Приснодеву и Она будет молить за нас Своего Божественного Сына и что Господь нас простит.

Эту неколебимую веру Матушка Великая вкладывала в сердца внимавших ей сестёр, и от спокойного, ровного голоса её, от её слов в душе устанавливался мир, и, несмотря на все лишения и страхи, работа шла своим чередом.

В те дни мать была уже сильно больна, но всё также продолжала без устали хлопотать о нуждах других, стремясь всецело отдать людям полученный ею счастливый дар благодетельства. На примере матери

Таня поняла, что творить благо нужно не только с большим чувством, но с большой мудростью. Самое мудрое благотворение — тайное, так как оно избавляет человека, которому благо сделано, от чувства стеснения и обязанности, ничем не сковывает его, не задевает. Екатерина Антоновна старалась благотворить тайно, всегда чувствуя себя неловко от обращённой к себе благодарности. Однажды один из больных поделился с нею печалью, связанной с бедственным положением его семьи, оказавшейся без кормильца. Немедленно продав что-то из оставшихся ещё ценных вещей, мать отнесла вырученные деньги нуждающемуся семейству, оставила у двери, предварительно постучав, и быстро убежала, чтобы не быть замеченной. На другой день болящий отец семейства, преисполненный благодарности к неизвестному благотворителю, делился с Екатериной Антоновной нечаянной радостью, и она, глядя на счастливое его лицо, сама цвела от радости.

За несколько дней до смерти, невзирая на температуру под сорок, мать отправилась на другой конец Москвы, чтобы отнести лекарство одному старому знакомому, страдавшему болезнью сердца, а оттуда поспешила в Бутырскую тюрьму, чтобы передать передачу заключённому сыну покойной приятельницы.

— Матушка, вы сошли с ума! — ужасалась Таня. — Ведь Степан Петрович мог бы и сам прийти за лекарством!

— Помилуй, ведь он же болен! Ему нельзя напрягаться! — возразила мать...

— А тебе разве можно? — Таня не могла сдержать слёз.

— А что я? — пожатие плечами в ответ. — Я ничего... Я ещё в силах...

— Тебе лежать надо!

— Если лягу, то уже не поднимусь, — серьёзно ответила мать. — Нельзя останавливаться... Пока ноги носят, буду продолжать... А Господь знает, когда остановиться.

Так и продолжала она своё служение до последнего дня, не останавливаясь, не щадя себя, считая себя должной всем и не ведая ничьих долгов перед собой. Больше всего Тане хотелось хоть немного быть похожей на мать. Вслед за ней она хотела принять постриг, но Екатерина Антоновна не благословила её, зато с радостью благословила затем на брак с Николенькой, а перед самой смертью — на тяжкий путь служения страждущим в погибающей армии. На принятие этого креста благословила Таню и Матушка Великая, к которой зашла она перед отъездом на юг. Эти два благословения, самых главных в жизни, как ничто другое, укрепляли Таню.

С самого начала войны она рвалась на фронт, но по слабости сердца в этом ей было отказано. И всё же сестра Калитина три года проработала в госпитале, выполняя самую трудную работу. Она даже ночевала там, боясь оставить раненых. Многие из них часто просили её:

— Сестрица, посидите рядом. Когда вы рядом, так и легче становится.

И Таня сидела, не спала ночами, отдавая себя без остатка страдающим людям. Она не бывала в гостях, не появлялась в обществе, не посещала театров. Только два места и было у неё в последние годы: госпиталь и храм, куда ходила она исправно всякий день.

Вот и сейчас, в этот великопостный вечер, она покинула раненых, чтобы успеть ко всеобщей... Стены церкви были сплошь в щербинах от недавнего обстрела. В разбитом окне виднелся небольшой, написанный на стекле образ Спасителя. Кругом иконы рассыпаны были

осколки стекла и разорвавшегося снаряда, а образ чудесный остался нетронутым.

— Видишь, сестрица, снарядом окно высадило, всё перебило, а икона — цела, — произнёс старик-сторож.

— Божие чудо, — откликнулась Таня, перекрестившись.

В церковь набилось много народа: раненые, местные казачки, сёстры... В сумраке успокаивающе горели свечи, пахло ладаном и наступающей весной. И тихий голос старенького священника читал Евангелие, и тихонько плакали женщины, и нестройные голоса выпевали псалмы, которым привычно вторили Танины уста. И душа наполнялась тихой отрадой, покоем. «Спаси Господи людие Твоя и благослови достояние твое, победу Православным христианам над сопротивныя даруя и Твоё сохраняя Крестом Твоим жительство...» — шептала Таня с неизменным жаром святые слова. Она молилась обо всех сражающихся под стенами Екатеринодара и погибающих в иных широтах истерзанной России, о своих раненых, мысль о которых не покидала её ни на мгновение, и о самом дорогом своём человеке, также в эти часы бьющемся на подступах к городу и ежесекундно рискующем быть убитым... Слезы тихо катились по лицу из широко раскрытых глаз. Служба шла своим чередом, а стены церкви то и дело вздрагивали от залпов орудий, и не прекращался страшный их гул...

После службы Таня вернулась в лазарет, тихонько прошла вдоль лежащих на полу, на соломе, раненых. Один из них, молоденький подпоручик, потерявший зрение после тяжёлой контузии, шёпотом окликнул её:

— Татьяна Сергеевна, это вы?

— Как вы узнали?

— Я ваши шаги узнал... Татьяна Сергеевна, что там? Что говорят: возьмём Екатеринодар?

Таня опустилась на колени рядом, взяла его за руку:

— Тише, Алёшенька. Как бы нам с вами не разбудить никого.

— Так что же говорят?

— Все очень верят в нашу победу.

— Хорошо бы и впрямь... А не то только и останется, что застрелиться... Вы, если отступать будем, скажите. У меня револьвер всегда наготове.

Таня внутренне похолодела. Сколько раз во время тяжёлых боёв приходилось ей слышать: «Сестрица, не пора ли стреляться?» — и каждый раз вздрагивала от этих слов. Что будет с ранеными, если армия отступит? Кто позаботится о них? Красные не щадят никого. Попасть раненым в их руки — обречь себя на мучительную смерть. Потому и готовы они стреляться в случае, если армия отступит...

— Полно вам, Алёшенька. Мы уже столько выдержали, что выдержим и это. А вы спите лучше, пока канонада затихла...

— Я не могу видеть вашего лица, Татьяна Сергеевна, но, мне кажется, вы похожи на мою сестру... Я не знаю, где она сейчас, жива ли... Я вообще ничего не знаю о моей семье.

— Я уверена, что ваши родные живы и ждут вас.

— А я вернусь к ним калеккой...

— Алёшенька, оставьте это. Ещё не всё безнадежно. В походном лазарете нет хороших специалистов, инструментов и лекарств, но они будут в городе. И вы ещё можете поправиться!

— Спасибо вам, Татьяна Сергеевна. Я вас ещё об одном попрошу...

— Я слушаю вас, Алёшенька.

— Берегите себя! Ради Бога — будьте осторожны!

— Обещаю вам, Алёшенька.

Поспать в эту ночь Тане удалось лишь три часа, а с рассветом вновь загрохотали орудия, и сестра Калитина, наскоро умывшись ледяной водой, принялась

за работу. Выйдя на улицу, она столкнулась с бодрой и светящейся Вавочкой Грековой, держащей в руке маленькую куклу. Казалось, никакие испытания, скорби и ужасы не могли изменить её всегда радостного расположения духа. В армии Вавочку обожали все. Если призвание Тани было дарить сочувствие, соболезнование, сострадание и тепло, то призвание Вавочки — дарить радость. Глядя на неё, невозможно было удержаться от улыбки. Она была чистым, игривым и непосредственным ребёнком, умеющим поднять настроение любому. В её присутствии смолкала всякая брань, и никто не осмеливался допустить пошлой шутки или ухаживаний. Вавочка не принадлежала ни к одному лазарету, но появлялась везде, где нужна была помощь. Свои юбки и косынки она рвала на бинты и поэтому часто ходила в мужской одежде. Самым дорогим для неё подарком были новые юбки, которые офицеры покупали для неё у домовых хозяек. И она порхала, как небесная птица, поспевая всюду: лёгкая и открытая. Жила, где придётся, будучи желанной гостьей в любой части, и словно совсем не замечала тягот военных будней.

— Танечка, я как раз тебя ищу! — весело сказала Вавочка.

— Зачем?

— Пойдём со мной на позиции!

— Я не уверена, что нам следует идти туда, — покачала головой Таня.

— А я уверена, что следует! Там тоже нужна помощь! К тому же, — глаза Вавочки заблестели, — это интересно!

— Откуда у тебя эта кукла? — спросила Таня.

— Подарок одного офицера. Буду теперь всё время носить её с собой, чтобы не потерять! Она будет моим талисманом!

— Какой ты ещё ребёнок, Вавочка!

— А ты смотришься классной дамой! Так ты идёшь со мной или нет? Если нет, я пойду одна!

Таня помялась несколько минут, но, не в силах противостоять Вавочкиному напору, согласилась, внутренне ругая себя за неумение выдержать характер и удержать подругу от очередного безрассудства. Вместе они добрались до участка Партизанского полка, и Вавочка, не преставая щебетать, потянула Таню на вершину кургана, откуда бил по вражеским позициям пулемёт. На холме находились два полковых командира с адъютантами и прапорщик Зайцев, виртуозно обращавшийся со своим пулемётом.

— А, Вавочка! Здравия желаю! — шутливо приветствовал он появившихся сестёр. — И вам, Татьяна Сергеевна, также! Вот, посмотрите на мою работу! Вон, видите у фермы всадники?

— Вижу! — воскликнула Вавочка.

— Это начальство ихнее! Сейчас я их распушу!

Вновь застрекотал пулемёт, и красные командиры мгновенно рассыпались в разные стороны. Вавочка захлопала в ладоши:

— Bravo! Я вам помогать буду!

— Чем? — рассмеялся Зайцев.

— А ленту вам патронами набивать буду!

— Вавочка, ты будешь отвлекать прапорщика от цели, — заметила Таня, желая как можно скорее увести подругу с обстреливаемого кургана.

— Помилуйте, Татьяна Сергеевна, мой глаз — алмаз! Осечек не даёт! — ответил Зайцев.

Вавочка уселась на землю и, поправив косынку, стала старательно набивать патронами пулемётную ленту. Её звонкий голосок продолжал при этом щебетать. В разговор вступили и присутствующие офицеры, с улыбками глядя на явившуюся помощницу, как смотрят старшие на шалящего ребёнка.

На холм поднялся генерал Богаевский с толстыми, закрученными кверху усами. Окинул взглядом представившуюся картину, покачал головой:

— Что это такое, Вавочка, зачем вы здесь? — спросил строго. — Вы что, не понимаете, как здесь опасно?

— Ваше превосходительство! — Вавочка умоляюще сложила маленькие руки и улыбнулась. — Позвольте мне остаться: здесь так задорно!

— Хорошо. Но только до моего ухода.

— Спасибо, ваше превосходительство!

Таня с облегчением вздохнула: вовремя пришёл Африкан Петрович, а то бы ни за что не увести отсюда Вавочку. А на курган так и сыплются снаряды... Вот, загрохотало совсем рядом, и чёрный фонтан земли окатил всех присутствующих. Вавочка отряхнулась и продолжила весело набивать ленту, а Таня мысленно перекрестилась: спаси и сохрани, Царица Небесная!

— Всё, пора уходить, — заявил Богаевский. — «Товарищи» пристрелялись. Следующая очередь будет в точку.

Офицеры и сёстры спустились с холма.

— Ступайте в лагерь, — сказал генерал последним. — Боевая линия не лучшее место для прогулок. И я запрещаю вам появляться здесь впредь! Вы меня поняли, Вавочка? Татьяна Сергеевна, прошу хоть вас проследить!

— Идём, — решительно сказала Таня, когда Африкан Петрович ушёл.

— Куда?

— В лагерь, конечно! Или ты не слышала приказа?

— Танечка, ну, погоди немного! Давай ещё посмотрим! Сходим ещё на один участок и вернёмся! Вдруг встретим Николая Петровича?

— Сомневаюсь, что он нам обрадуется!

— В таком случае, я пойду одна! — решила Вавочка и двинулась вперёд.

Таня развела руками и последовала за ней. Они пошли через поле, пригибаясь от свистящих пуль и снарядов.

— Сестра Калитина, не отставайте! — смеялась Вавочка.

Внезапно голос её оборвался. Она вздрогнула и стала оседать на землю.

— Вавочка! — Таня кинулась к подруге. Та лежала неподвижно. И впервые лицо её, обрамлённое чёрной косынкой, было строгим, а губы, на которых всегда цвела улыбка — сжаты. Три шрапнельные пули пробили мгновение назад колеблемую лёгким дыханием грудь, остановив чистое сердечко. Руки Вавочки сжимали подаренную ей куклу. Таня горько заплакала, но в следующий миг шрапнель поразила и её...

Глава 11. Самый чёрный день

11-12 апреля 1918 года. Екатеринодар

В адовом пламени екатеринодарского боя самый опасный участок фронта достался Корниловскому полку, и сутки боя свели его численность до шестидесяти семи человек, способных держать оружие. Корниловцы получили приказ занять Черноморский вокзал. Для командного пункта полковник Неженцев выбрал невысокой придорожный курган, расположенный вблизи кирпичного завода, откуда хорошо просматривалось поле боя. Этот курган был прекрасной мишенью для большевиков, так что находиться на нём можно было лишь лёжа, и генерал Казанович, приведший в помощь редееющему Корниловскому полку свой второй батальон, выговорил Митрофану Осиповичу:

— Отчего вы не переменили место? Что вам за охота сидеть сутки на этом проклятом кургане? Сколько вы здесь уже потеряли людей! Здесь быть убитым — только вопрос времени!

— Отсюда наилучший кругозор, — отозвался Неженцев, поправляя пенсне на близоруких глазах. — К тому же за ночь мы окопались.

— Лёгкие окопы — очень слабое прикрытие, — покачал головой Казанович. — А большевики успели пристреляться.

В эту же секунду одним из снарядов, то и дело взрывавшихся на кургане, разорвало в клочки ординарца полковника. Чтобы определить, кто именно погиб, пришлось поочерёдно выкликивать живых...

Митрофан Осипович Неженцев отличался железной энергией и мужеством, несмотря на то, что свою

военную карьеру начинал со штабных должностей. В чине капитана он был назначен руководителем разведывательного отделения Восьмой армии, где и произошла его первая встреча с Корниловым, определившая всю дальнейшую судьбу тридцатилетнего офицера. Лавр Георгиевич прибыл в армию, когда разложение уже охватило её целиком, многие командиры были вынуждены подать в отставку, комитеты заправляли всем, а солдаты братались с противником. В день прибытия командующего построенные части резерва устроили митинг с требованием прекращения ненужной «буржуазной» войны. Два часа потратил Корнилов на бесплотные попытки убедить развращённых комитетчиками солдат в необходимости наступления, после чего, измученный нравственно и физически, отправился осматривать систему укреплений. Митрофан Осипович последовал за ним. На линии окопов Корнилова ожидала картина невообразимая: у проволочных заграждений стояли германские офицеры и несколько солдат, нахально рассматривающие русского командующего и приветствующие его. Взяв у Неженцева бинокль, потемневший лицом от всеобщего беспорядка Лавр Георгиевич поднялся на бруствер и стал рассматривать окопы противника. Его фигура в этот момент была превосходной мишенью для немцев, и кто-то из присутствующих не замедлил предостеречь генерала. Не поворачивая головы, Корнилов ответил напряжённым до вибрации голосом:

— Я был бы бесконечно счастлив — быть может, хоть это отрезвило бы наших затуманенных солдат и прервало постыдное братание!

На участке соседнего полка играл немецкий военный оркестр, а вокруг него толпились русские солдаты.

— Передайте собравшимся, что, если они немедленно не разойдутся, я прикажу открыть огонь из орудий! — сказал Лавр Георгиевич.

Немцы угрозе вняли, а русские солдаты начали митинговать, возмущаясь притеснениями со стороны «контрреволюционных начальников». Корнилов наблюдал эту сцену с каменным лицом, на котором читалась истинная мука. Он был командующим армией, которая переставала существовать, солдаты которой не обращали внимания на его приказы... Узкие глаза Лавра Георгиевича заблестели от выступивших слёз. Стоявший рядом Неженцев был потрясён и глубоко растроган. В то мгновение он мысленно поклялся генералу, что до самой смерти будет верен ему и умрёт за него, за их общую Родину. Словно почувствовав это горячее чувство, Лавр Георгиевич резко повернулся, пожал капитану руку и отвернулся поспешно, точно стыдясь своей минутной слабости. Тогда возникла между ними незримая нить, накрепко связавшая их. И Митрофан Осипович, безоговорочно поверив Корнилову, посвятил жизнь служению своему генералу и его единственной цели — спасению Родины.

Капитан Неженцев был не из тех, кто молчаливо сочувствует, либо ограничивается словесной поддержкой. Его душевный порыв требовал действия, и Митрофан Осипович взялся за дело. Что делать, если армия перестала существовать, а война продолжается? Создать новую армию! Армию крепкую, сильную духом. Беда русской армии в том, что после уничтожения в боях большей части кадровых офицеров их место заняли резервисты, люди, далёкие от военного дела, от дисциплины, а к тому же становящиеся зачастую проводниками вредоносных идей. Вдобавок к этому, изначально в её формировании неверно расставлены приоритеты: упор делается на количество живой массы в окопах (зачастую превышающее необходимое, а

потому лишь усложняющее положение), а не на качество её. Но масса, развращённая и не желающая воевать, в окопах приносит только вред. Она не способна нанести поражение противнику, поскольку не имеет такого стремления. Она может или погибнуть, или обратиться против своих. Побеждает не массовость, а дух. И несколько человек, мужественных, стойких, верных, стремящихся к победе смогут сделать больше, чем два десятка неуправляемых и деморализованных солдат. Пусть, пусть новая армия будет в разы меньше старой, но она должна быть спаяна единым духом, должна быть цельной, боевой, знающей своё дело. Такая армия сможет победить неприятеля более многочисленного, тем более, если во главе её будет стоять достойный вождь. Она станет вдобавок примером для других. Такая армия может быть только добровольческой и никакой другой. А начать воплощение этой идеи — с чего же? С малого. С создания ударного батальона. Первого батальона новой армии! Батальона, девизом которого будет: «Победа или смерть!» Не вся армия ещё погибла: есть немало храбрых и ответственных офицеров, а в подчинении каждого наверняка найдётся хотя бы несколько настоящих солдат. Отряды, сформированные из таких надёжных людей можно смело отправлять на самые опасные участки фронта. Они-то и станут ядром новой армии! Добровольческой армии!

Вскоре Неженцев подал на имя Корнилова докладную записку «Главная причина пассивности нашей армии и меры противодействия ей», и Лавр Георгиевич разрешил формировать ударные отряды. Первый отряд насчитывал три тысячи штыков и три пулемётные команды в шестьсот человек, а также команды пеших разведчиков из пленных чехословаков и команды конных разведчиков в составе сотни донских казаков. Этот Ударный отряд впоследствии был

преобразован в полк и стал носить имя Корнилова. А бессменным командиром его Лавр Георгиевич назначил самого Неженцева. И сколько доблестных подвигов совершили Ударники, своей кровью исписав последнюю славную страницу умирающей русской армии... И рождение новой армии могло бы состояться, если бы не бесхребетность и бессовестность «правительства»...

А ведь было время, когда казалось, что всё ещё можно повернуть, что, став Верховным Главнокомандующим, Корнилов сумеет твёрдой рукой навести порядок и в армии, и во всей России. Общественность наперебой выражала генералу свою поддержку. Многотысячная толпа встречала его на московском вокзале солнечным августовским днём и скандировала при его появлении:

— Да здравствует народный герой генерал Корнилов! Ура!

Играла музыка, отовсюду летели к ногам Верховного цветы. И со слезами на глазах вещал «кадетский златоуст» Родичев:

— Вы теперь символ нашего единства! На вере в вас мы сходимся все, вся Москва. Мы верим, что во главе обновлённой русской армии вы поведёте Русь к торжеству над врагами и что клич — да здравствует генерал Корнилов — теперь клич надежды, сделается возгласом народного торжества! Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас!

И при виде такой поддержки и веры, горящей в тысячах глаз, сердце заходило в надежде, что именно так всё и будет. С криками «ура!» капитан Неженцев вместе с другими Корниловцами подхватили Верховного на руки и донесли к ожидавшему у вокзала автомобилю...

А на следующий день с трибуны Совещания, проходившего в Большом театре, звучал его спокойный, твёрдый голос:

— К тому, что я считаю долгом доложить вам, я присоединяю то, во что я сердцем верил всегда и наличие чего я теперь наблюдаю: страна хочет жить. И как вражеское наваждение, уходит та обстановка самоубийства великой независимой страны, которую создали брошенные в самую тёмную, невежественную массу безответственные лозунги. Для действительного воплощения воли народа в жизнь необходимо немедленное проведение в жизнь тех мер, которые я только что наметил. Я ни одной минуты не сомневаюсь, что эти меры будут проведены безотлагательно. Но невозможно допустить, чтобы решимость проведения в жизнь этих мер каждый раз совершалась под давлением поражений и уступок отечественной территории...

Я верю в гений русского народа, я верю в разум русского народа и я верю в спасение страны. Я верю в светлое будущее нашей Родины и я верю в то, что боеспособность нашей армии, её былая слава будут восстановлены. Но я заявляю, что времени терять нельзя, что нельзя терять ни одной минуты. Нужна решимость и твёрдое непреклонное проведение намеченных мер.

Выступление Корнилова было встречено овациями. И, надо думать, эти овации и оказываемый Верховному почёт сильно задевали больное самолюбие министра-председателя Керенского... Но можно ли было представить, что этот человек при всей своей ничтожности через считанные недели совершит предательство, самоубийственное для своей политической карьеры и убийственное для России!

И вслед за этим враз умолкли восторженные голоса, куда-то сгинули многочисленные сторонники, все затихли, ожидая, чем кончится дело, и почти ничьи уста в роковые дни не высказались в защиту обвинённого в измене Главнокомандующего, и тщетно взывал он к

русским сердцам: «Истинный сын народа русского всегда погибает на своём посту и несёт в жертву Родине самое большее, что он имеет — свою жизнь. В эти, поистине ужасающие минуты существования Отечества, когда подступы к обеим столицам почти открыты для победного шествия торжествующего врага, Временное правительство, забывая великий вопрос самого независимого существования страны, кидает народ в призрачный страх контрреволюции, которое оно само своим неумением к управлению, своею слабостью во власти, своей нерешительностью в действиях вызывает к скорейшему воплощению. Не мне ли, кровному сыну своего народа, всю жизнь на глазах всех отдавшему на беззаветное служение, не мне ли стоять на страже великих свобод великого будущего своего народа?.. Очнитесь, люди русские, от безумия, ослепления, взгляните в бездонную пропасть, куда стремительно идёт наша Родина...»

То были самые чёрные дни в жизни полковника Неженцева. Корниловский полк отправляли на Украину, газеты, вчера прославлявшие Корнилова, теперь нещадно поносили его, а самого Корнилова ожидал арест и суд по обвинению в измене... Тем не менее, сохраняя внешнее спокойствие, Лавр Георгиевич простился с командирами полков. Подойдя к Неженцеву, он произнёс:

— Передайте Корниловскому полку, что я приказываю ему соблюдать полное спокойствие; я не хочу, чтобы пролилась хоть одна капля братской крови.

Тридцатилетний офицер, успевший закалиться в боях, мужественный и отличавшийся глубоким умом, Митрофан Осипович в эту минуту рыдал, как ребёнок:

— Скажите одно слово, и все корниловские офицеры отдадут за вас без колебаний свою жизнь!

Но заветного слова сказано не было, и полк отправился на новое место. Последний раз проходя с

музыкой по улицам Могилёва под открытыми окнами Верховного Корниловцы кричали «ура» своему генералу и бросали вверх шапки, а он стоял у окна и благословлял их движением своей маленькой кисти в путь, провожая взглядом...

Тёмная солдатская масса, раздражаемая агитаторами, кипела ненавистью к Ударникам. Она заполняла все железнодорожные станции и поносила имя Верховного и его полк. Скрепя сердце, Неженцеву пришлось пойти на снятие нарукавных знаков. Слух об этом, интерпретированный в дурном смысле, крайне опечалил Корнилова, и Митрофан Осипович, возмущённый распушенной ложью, объяснял: «Сняв дорогую нам эмблему... мы ею прикрыли наш ум, наше сердце и волю...»

Всё это — ум, сердце, волю — Корниловцы всецело отдавали своему генералу и своему Отечеству. Так было в дни войны, так продолжилось на Дону, где, наконец, после долгой разлуки полк воссоединился со своим Шефом. Так продолжалось теперь, на подступах к Екатеринодару...

На штурм цитадели была брошена бригада генерала Маркова, последний резерв, после включения в бой которого, обоз остался без прикрытия. К вечеру Марковцам удалось овладеть артиллерийскими казармами. Их атаку надлежало поддержать Корниловскому полку, усиленному казаками-елизаветинцами. Полковник Неженцев неотрывно наблюдал в бинокль за ходом боя. Разорвавшийся рядом снаряд тяжело ранил прапорщика Иванова. Тот начал страшно кричать, но Митрофан Осипович, на мгновение отвлекшись от наблюдения, резко приказал:

— Не мешайте мне!

Иванов, истекая кровью, пополз в другой окоп. Пора было бросить полк в атаку, но Корниловцы лежали на земле и не решались подняться из-за наспех

сооружённых насыпей под смертоносный огонь противника. Цепь поднималась и залегала вновь. Видя это, Неженцев понял, что настал момент пустить в ход последнее средство — повести полк самому, как делал он не раз прежде в самые критические минуты. Он поднялся и, держа в руках «стейер», сошёл с холма и перебежал в овраг, где залегала цепь. Его высокую, юношески худощавую фигуру было видно отовсюду, но ни одна пуля не задела его.

— Корниловцы, вперёд! — крикнул полковник, первым поднимаясь из окопа. Голос прервался, и он упал, но поднялся вновь, успел сделать несколько шагов и вновь повалился на землю. Первая пуля ударила в голову, вторая — пробила сердце... Митрофан Осипович Неженцев сдержал свою клятву...

Наступление Корниловцев захлебнулось. Потрясённые гибелью командира и оставшиеся без командования вследствие потери ранеными и убитыми его помощников, бойцы отступили назад в окопы. И тогда в бой вступил последний батальон резерва, ведомый раненым генералом Казановичем. У оврага, где был убит Неженцев, казаки рапортовали ему:

— Здесь лежит тело убитого командира Корниловского полка, и мы не знаем, что нам делать...

— Идите за мной в Екатеринодар! — последовал ответ генерала, с трудом преодолевающего боль перебитого плеча. Сотня Елизаветинцев двинулась за ним. Под чудовищным огнём Казанович опрокинул большевистские цепи и уже во мраке ворвался в город...

На кургане Корниловского полка царила мёртвая тишина. Среди убитых лежали трое живых, а рядом — их бездыханный командир, тело которого удалось перетащить сюда от того места, где настигла его смерть. Под нестихающим обстрелом, находясь в

нескольких десятках шагов от красных позиций, вынести его с поля боя не удавалось.

Поручик Вигель, временно вступивший в командование, вглядывался в бледное, худое лицо убитого полковника. Без пенсне оно казалось совсем юношеским. Как ещё молод был этот отважный командир, казавшийся подчас столь суровым... Как многого не успел он сделать в жизни... Тускло поблёскивал белый Георгиевский крест на его черкеске, веки плотно сомкнуты, а губы скорбно сжаты. Никогда больше не поведёт Митрофан Осипович свой осиротевший полк в атаку... Ничего уже не чувствовал Николай, лёжа на роковом кургане, и даже не вполне осознавал, жив ли он ещё сам. Может ли быть жив, когда кругом живых почти не осталось, и лишь мертвецы устремляют вдаль потухшие взоры...

Кажется, целая вечность прошла с момента его прощания с Таней на берегу Кубани. Лодка, в которой он переправлялся, скользила по волнам, а она стояла на берегу в белом платке с красным крестом, похожая чем-то на монашек с картин Нестерова, и махала ему рукой. Они даже не успели толком поговорить в ту последнюю ночь, потому что Таня была занята с ранеными и больными, а Николая позвал к себе умирающий полковник Северьянов...

Юрий Константинович был ранен ещё под Некрасовской, но рана не была опасной. Однако страшная ночь у Ново-Дмитриевской, когда раненые лежали в ледяной воде, под открытым небом, среди бушующей вьюги и мертвящего всё живое холода, довершила то, что не удалось пуле. Крупозное воспаление лёгких в сочетании с открывшейся вновь раной быстро подвели полковника к могильной черте. Исхудавший, посеревший, он лежал на соломенном тюфяке в какой-то хате и натужно хрипел. Ему было очень трудно говорить, а хотелось выговориться.

— Спасибо, что пришли, Николай Петрович, — произнёс Северьянов. — Я хотел вас видеть... Мне многое хочется вам сказать, но прежде пообещайте исполнить мою старую просьбу... Помните?

— Письмо? — догадался Вигель.

— Передайте Наташе... И, прошу вас, хотя бы иногда навещайте её, не оставляйте... У неё ведь теперь никого не останется... А она не сможет одна... Она всегда боялась одиночества... Вы не знаете, она очень ранима, за ней ходить надо. Вы поддержите её... Обещаете?

— Обещаю, если останусь жив. Знаете, Юрий Константинович, я себя чертовски отвратительно чувствую. Хожу, как почтовый ящик для похоронок... Как будто бы меня не могут убить завтра же!

— Вас не убьют...

— Почему вы в этом так уверены?

— Потому что кто-то должен остаться жив.

— Спасибо, обнадружили... — усмехнулся Вигель.

— Я с вами хотел поговорить о другом... — Северьянов закашлялся.

— Может быть, не стоит?

— Стоит, поручик... А вы не рассердитесь и послушайте. Мне теперь уж вечность не придётся больше уст разомкнуть... Всё не так, понимаете вы, что всё не так?

— Что не так?

— Послушайте, поручик, понимаете ли вы, что нужно, чтобы нам победить?

— Я не совсем...

— Слушайте! — Юрий Константинович заговорил горячо, подавляя разрывающий грудь кашель. — Дело, поймите вы, не в количестве людей! Не в оружии! Даже не в политических программах! Тут в духе дело! Наша война — духовная война! Грубой силой — чья переважит — ничего не добиться! Потому что тогда

переважит их сила! Тёмная сила! Злая сила! Не потому, что зло в жизни торжествует над добром! Это неправда! Зло слабее добра! Поймите вы, зло торжествует над добром только тогда, когда добро перестаёт быть добром целиком и полностью, а растлевается и обращается в меньшее зло. Зло большее всегда победит зло меньшее, но не победит добра! Зло, ненависть — гнилой фундамент! Строящие на нём обречены на поражение в более близком или отдалённом будущем. Большевики тоже обречены! Но прежде они уничтожат нас, если мы не поймём... — полковник зашёлся кашлем, сплюнул кровавый сгусток и заговорил вновь уже так тихо, что Вигелю пришлось нагнуться к нему, чтобы расслышать. — Наше служение должно быть подчинено добру. Нам нужна не армия даже, а орден. И рыцари, вступившие в этот орден, должны стремиться к высоте не только на поле брани, но и в духовной борьбе, потому что она основа всему. Самоотречение, святое служение, подобное ежечасному предстоянию перед Богом — вот, чем должна быть наша борьба. Чтобы спасти Россию, нам предстоит свершить нечто гораздо более важное, нежели физически истребить врага, который есть плоть от плоти наш брат... Нужен подвиг духовный! Белая борьба должна стать подвижничеством, понимаете? Только если мы окажемся способны к такому подвигу, мы победим. Поймите, с обеих сторон воют русские люди. С той стороны далеко не все негодяи и изуверы, немало искренне заблуждающихся, способных к духовному возрождению, прозрению. Но прежде надлежит окончательно прозреть и возродиться нам, стать примером всему замутнённому народу. В этом наша миссия, возложенная на нас Богом. Предводители большевиков служат дьяволу. Победить дьявола может только Бог. И Богу мы должны свято служить, а ведь мы забываем его, увлекаясь программами и деталями. А

здесь корень всему... Если только по плечу окажется нам подвиг, и наше войско станет истинно Христовым войском, орденом, скреплённым единой верой и гореньем... Вы понимаете, Николай Петрович, о чём я говорю?

— Я понимаю, Юрий Константинович... — тихо отозвался Вигель, стараясь запомнить сказанное, чтобы когда-нибудь позднее обдумать слова Северьянова, в которых билась важнейшая идея, выстраданная полковником и теперь передаваемая им со смертного одра ему, Николаю.

— Если вы даже и не поняли всего, поручик, то поймёте потом... Обязательно поймёте... А теперь прощайте, дорогой друг! На этом свете мы с вами больше не свидимся...

Наутро Таня с печалью сообщила Николаю, что на рассвете полковник Северьянов скончался...

Ночь окончательно сгустилась, а Вигель всё продолжал лежать среди мертвых товарищей, почти не чувствуя собственного тела и едва не теряя сознания от усталости. Кругом продолжали свистеть пули, решета тела убитых и добивая ещё живых... Внезапно рядом послышался шорох. Николай приподнял голову и разглядел в темноте подбирающегося к позиции человека, в котором узнал генерала Богаевского. Заметив движение большевики усилили огонь. Не поднимаясь с земли, Вигель почти бесчувственно отрапортовал Африкану Петровичу о гибели своего командира.

Лишь под утро тело полковника Неженцева удалось унести с кургана и привезти на ферму, захваченную накануне, где разместился штаб армии. Вигель, шатаясь, брёл рядом с подводой, почти ничего не замечая вокруг. У штаба остановились. Из здания вышел, опираясь на толстую палку, Верховный. Николай подумал, что никогда прежде не видел его таким

потрясённым, словно что-то надломилось в нём. Лицо его осунулось, а на лбу залегла глубокая складка, придававшая лицу страдальческое выражение. В глубокой задумчивости Корнилов подошёл к телу убитого, долго стоял над ним, затем перекрестил и поцеловал, как родного сына. В голове Вигеля вдруг мелькнула страшная и ясная мысль, которую он тщетно попытался отогнать. Какой-то обречённостью повеяло от надломленной горем фигуры Верховного. За этим человеком уже стояла смерть и тянула к нему неумолимую руку... Это ощущение было настолько сильным, что Николай очнулся от своего усталого бесчувствия и впился взглядом в генерала, пытаясь развеять страшный призрак. Корнилов заметил его, посмотрел потерянным, тяжёлым взглядом:

— А, это вы, господин поручик... Вы были с ним... там?

— Так точно, Ваше Высокопревосходительство...

— Неженцев убит... Какая невосполнимая потеря...

Вигель опустил голову и впервые пожалел, что остался жив. Предчувствие новых горьких утрат сковало сердце. Нет, не просто не боится смерти Верховный, не просто предаётся воле судьбы, но сам ищет этой судьбы, своего рока ищет, фатума, ищет смерти своей, фатально стремится к ней... Кто на рожон идёт, тот на него и напорется... Фатальность... Он не пускает себе пулю, как сделал это Каледин, но очень ждёт, когда эта пуля найдёт его сама... Наверное также во время обороны Севастополя ждал своей пули адмирал Нахимов, нарочно выходя на самые опасные участки, не скрывая золотых эполет, и подолгу оставался на бруствере, рассматривая неприятельские позиции в подзорную трубу.

Совсем так вёл себя Корнилов, наблюдая за ходом боя с какой-нибудь возвышенности, где оказывался наилучшей мишенью... Нахимов не мог пережить

падения Севастополя и, осознанно или нет, искал быть убитым прежде, чем это случится. Корнилов не сможет пережить неудачи под Екатеринодаром, а удачи уже явно не будет... Нахимов свою пулю нашёл, и занявшие Севастополь враги надругались на его могилой, потому что одно имя его, ставшего символом неприступности города, было им ненавистно. И Корнилов непременно найдёт свою пулю... Как же схожи бывают при всём различии окружающей обстановки отдельные судьбы, характеры...

Опустошённый и сражённый горьким предчувствием, обратившись, в конечном итоге, в скорбную уверенность, Вигель побрёл в Елизаветинскую. Ноги едва слушались обессиленного Николая, и от усталости темнело в глазах. Даже голод не давал знать о себе, и лишь два желания жили в измученном теле и душе: проспать без перерыва много-много часов и увидеть Таню. Животворящим её взглядом и голосом утишить неизбывную тоску, от её воскрешающей улыбки — возродиться, снова обрести силы на борьбу. Как никогда остро, почувствовал Вигель, сколь много значит для него Таня. Без неё и половины бы сил не имел, чтобы сражаться, не пасть духом. Нестерпимо захотелось обнять её, целовать любимые руки, всей болью, всеми горькими предчувствиями поделиться. Мысли о Тане заставили усталое тело ускорить шаг.

Едва ступив в Елизаветинскую, Николай бросился в лазарет, но Тани там не увидел.

— Господа, не может ли кто-нибудь мне сказать, где я могу найти сестру Калитину? — осведомился он у раненых.

Никто не отозвался в ответ, и это молчание больно ударило по раздражённым нервам Вигеля.

— Где сестра Калитина? Она в станице? Кто-нибудь может мне сказать?!

— Не кричите, господин офицер, простите, что не вижу вашего чина... — едва слышно откликнулся раненый с завязанными грязной тряпкой глазами. — Нет больше нашей Танички...

— Что?! — словно снаряд в голове взорвался, потемнело в глазах. — То есть как это нет?!

— Сестру Калитину убили вчера на позициях. И Вавочку Грекову тоже...

Сознание отказывалось верить услышанному. Несколько мгновений Вигель стоял неподвижно, словно остолбенев. Затем захрипел и, стиснув руками голову, шатаясь, вышел из лазарета. Больше всего ему хотелось теперь же быть разорванным снарядом, изрубленным шашкой, сражённым пулей, как Неженцев. Не жить! Не быть! Не чувствовать ничего больше! Не видеть и не слышать! Обратиться в камень, в последнюю песчинку! Чтобы сердце разорвалось, и мука прекратилась. Сердце рвалось, оно раздувалось, наливалось тяжестью, и, казалось, что груди уже мало вместить его, что оно вот-вот лопнет. Но — не лопалось...

— Вы поручик Вигель? — смертельно усталый доктор с воспалёнными, часто моргающими глазами, осторожно коснулся плеча Николай.

— Уйдите... — прошептал Вигель.

— Конечно. Я лишь хотел передать вам... То, что осталось... — доктор протянул ему небольшой ранец, в котором Таня хранила все свои немногочисленные вещи. Отойдя подальше от людских глаз, Николай открыл его, стал перебирать содержимое: смена белья, несколько семейных фотографий, портрет Великой Княгини Елизаветы, Евангелие, затёртое житие Иулиании Лазаревской, молитвослов, чётки... Письма! Вигель глухо застонал, когда они оказались в его руках. Его письма к ней! С фронта! В отчаянии Николай принялся рвать их, а затем, спохватившись, собрал

обрывки и поднёс к губам — и тут же бросил их на землю, и ветер понёс их прочь. На самом дне ранца лежала аккуратно обёрнутая белым платком любимая Танина икона — «Умягчение злых сердец». С мукой взглянул Вигель на прекрасный лик Богоматери, сердце которой было безжалостно пронзено семью стрелами людской злобы. Так и слышался вкрадчивый голос Тани:

— Умягчи наши злые сердца, Богородица, и напасти ненавидящих нас угаси. И всякую тесноту душевную разреши. На твой бо святой образ взирающие твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны твои лобызаем. Стрел же наших, тебя терзающих, ужасаемся. Не дай нам, Мати Благосердная, в жестокосердии нашем и от жестокости ближних погибнуть. Ты бо воистину злых сердец умягчение! Ты запомни эту молитву, Николенька. Она всегда выручит тебя, всегда поможет!

И не защитила, не выручила, не помогла... Господи, за что?! Печален и прекрасен был лик Богородицы, и Николаю вдруг показалось, что он очень похож на Таню. Такими же ангельскими, немного грустными и всё прощающими глазами, смотрела она. И всякое зло, всякая неправда стрелой ранила её всех любящее, чистое сердце. И она носила в себе эти стрелы, и ни к кому не питала зла, и утешала всех... Пожалел Бог оставить своего ангела во плоти на утонувшей во зле земле, забрал на небо. Почему, Господи, почему?! За что караешь так беспощадно?! Вигель вглядывался в дивный образ и видел перед собой лицо Тани. Слёзы градом катились по его почерневшему от горя и копоти лицу, падали на ризы Богородицы, на Её пречистый лик, и казалось, будто бы плачет сама Царица Небесная...

Глава 12. Кто рока ищет...

12-13 апреля 1918 года. Екатеринодар

С каждым часом число орудий у красных увеличивалось, огонь усиливался, раненых и убитых становилось всё больше, а у наступавших не было даже снарядов, чтобы ответить на смертоносный огонь, и батареи молчали... Генерал Эльснер приказал раздать последние десять тысяч патронов, больше у армии ничего не было. И уже выбыли из строя многие командиры, а Екатеринодар продолжал стоять. Генералу Казановичу удалось прорваться в город, но удержаться в нём не было возможности, и пришлось отступить. Тридцатого марта Корнилов собрал военный совет. Заседание проходило в здании фермы Кубанского экономического общества, находившейся рядом с городом. Сюда Верховный перенёс штаб, чтобы быть ближе к фронту. Белые стены фермы были слишком хорошей мишенью, и огонь по зданию вёлся постоянно, но все уговоры найти место более безопасное не возымели действия. Корнилов занял угловую комнату, напротив поместилась команда связи, рядом с ней — штаб и перевязочная. Позади же комнаты Верховного была размещена операционная и комната для раненых, число которых превысило полторы тысячи. Оттуда постоянно доносились стоны, и они ещё больше нервировали Лавра Георгиевича.

В тесной комнате стали собираться участники совещания. Пришедший прежде других генерал Марков повалился на пол у стены и заснул. Скоро появились Алексеев, Деникин, Богаевский, атаман Филимонов и председатель Кубанского правительства Быч. Последним пришёл Романовский, разбудивший Сергея

Леонидовича... Когда все собрались, Корнилов открыл заседание. Решить на нём предстояло один единственный вопрос: продолжать ли осаду города или необходимо отступить. И если всё-таки отступить, то в каком направлении. Вначале Лавр Георгиевич подробно обрисовал положение, а затем пригласил присутствующих высказываться:

— Положение действительно тяжёлое, и я не вижу другого выхода, как взятие Екатеринодара. Поэтому я решил завтра на рассвете атаковать по всему фронту. Каково ваше мнение, господа?

Генерал Романовский толкнул Маркова, вновь задремавшего у него на плече. Сергей Леонидович вскинулся:

— Извините, Ваше Высокопревосходительство, разморило — двое суток не ложился... — пояснил, с трудом приходя в себя.

— Мы считаем, что осаду нужно продолжать, так как всякое иное решение, по нашему мнению, означает общую неминуемую гибель! — твёрдо заявил Филимонов, поддержанный Бычом.

Глаза Сергея Леонидовича недобро блеснули, но он не стал высказываться сразу, уступив очередность Деникину. Антон Иванович был не менее категоричен:

— Необходимо немедленно отходить от Екатеринодара. При создавшихся условиях попытка взятия города — дело безнадёжное. Армия обескровлена, люди измучены, оружия нет. Мы погубим всех, если решимся на это.

К мнению Деникина присоединился Романовский:

— Первый порыв уже прошёл, настал предел человеческим возможностям, и об Екатеринодар мы просто разобьёмся. Неудача штурма вызовет катастрофу.

Богаевский, поразмыслив немного, задумчиво произнёс:

— Я не думаю, что город взять невозможно... Но удержать его нам не удастся... Даже взятие Екатеринодара, вызвав новые большие потери, привело бы армию, ещё сильную в поле, к полному распылению её слабых частей для охраны и защиты большого города. Тем не менее, я не могу с уверенностью высказаться в пользу того или иного решения...

— Ваше мнение, Сергей Леонидович?

— Я думаю, Ваше Высокопревосходительство, что, если я, генерал, так вымотался за эти дни, что в первый раз в жизни засыпаю на совещании, то каково должно быть состояние рядовых бойцов! По мне, так лучше не соваться, а поры дожидаться! Я нахожу, что нужно отойти от города и двигаться по казачьим станицам в Тёрскую область. У нас ещё будут победы!

— Михаил Васильевич?

Все выжидающе посмотрели на старика Алексеева, известного с давних пор блестящим стратегическим умом, которому, правда, не доставало решимости и быстроты, иногда столь необходимых.

— Екатеринодар должен быть взят... — медленно произнёс Михаил Васильевич своим скрипучим голосом. — Но я полагаю, что лучше будет отложить штурм до послезавтра; за сутки войска несколько отдохнут, за ночь можно будет произвести перегруппировку на участке Корниловского полка; быть может, станичники подойдут ещё на пополнение.

— Итак, будем штурмовать Екатеринодар на рассвете первого апреля, — тотчас согласился Верховный. — Отход от Екатеринодара будет медленной агонией армии, лучше с честью умереть, чем влачить жалкое существование затравленных зверей!

Приказ о подготовке штурма после однодневного отдыха был отдан тут же. По окончании совещания генерал Марков поднялся из-за стола и заявил:

— У меня есть предложения, господа! Для подъёма настроения в войсках пусть кубанский атаман, правительство и Рада идут впереди штурмующих!

— Я не возражаю... — откликнулся Филиминов, а Лука Быч промолчал.

Покинув штаб, Сергей Леонидович устало бросил своим подчинённым:

— Наденьте чистое бельё, у кого есть. Будем штурмовать Екатеринодар. Екатеринодара не возьмём, а если и возьмём, то погибнем.

Когда участники совещания разошлись, Лавр Георгиевич остался наедине с Деникиным. Корнилов монотонно постукивал пальцем по столу, смотря куда-то вдаль, мимо Антона Ивановича, погружившись в свои мысли. Позвякивал, ударяясь о дерево, перстень с иероглифами судьбы, разрывались снаряды где-то совсем рядом, стонали в соседней комнате искалеченные люди, многим из которых вот-вот суждено было уснуть в смерть. Смерть уже вступила в это небольшое здание, по-хозяйски ходила по нему, намечая жертву, прицеливаясь, чтобы не дать осечки на этот раз...

— Лавр Георгиевич, почему вы так непреклонны в этом вопросе? — тихо спросил Деникин, прерывая затянувшееся молчание.

Корнилов сцепил пальцы и ответил просто:

— Нет другого выхода, Антон Иванович. Если не возьмём Екатеринодар, то мне останется только пустить пулю себе в лоб.

— Этого вы не сможете сделать. Ведь тогда остались бы брошенными тысячи жизней. Отчего же нам не оторваться от Екатеринодара, чтобы действительно отдохнуть, устроиться и скомбинировать новую операцию? Ведь в случае неудачи штурма отступить нам едва ли удастся.

— Вы выведете... — проронил Корнилов.

Антон Иванович резко поднялся с места и произнёс взволнованно:

— Ваше превосходительство! Если генерал Корнилов покончит с собой, то никто не выведет армии — она вся погибнет!

И снова этот неподъёмный груз — «никто не выведет», «вся погибнет»... Нужно было уходить в зимовники. А лучше — в Сибирь... Как чувствовал Лавр Георгиевич, что не кончится добром этот Кубанский поход, а обернётся для армии Голгофой и Распятием... И неслучайной была та икона в Ольгинской — Положение во гроб... Гроб — вот, чем становится Екатеринодар для армии. Братская могила. И зев её уже раскрыт, и отступать некуда, потому что армия, её обескровленные остатки зажаты в тиски, и не вырваться из них... Отступить? Куда? Снова идти сквозь станицы, каждая из которых оцетинивается штыками и встречает огнём? Тот же гроб, та же смерть, но только растянутая во времени... Армия будет таять изо дня в день — для чего? Екатеринодар — по крайности, достойная цель. И погибнув у её стен, армия не узнает позора. А погибнув при отступлении, пожнёт позор, потому что отступление (бегство!) — всегда позор! Нет, довольно будет с этих бандитов гибели армии, её позора они не увидят, и не получают возможности ещё и тыкать грязными пальцами, насмехаться над беженством «кадетов». Они отпразднуют победу, но армия не будет побеждена. Потому что дух погибшей армии не будет побеждён. Армия принесёт себя в жертву на алтарь России, прольёт искупительную кровь, будет распята на её кресте, но не побеждена. Останется на земле её непобеждённый, непобедимый дух, который, может быть, достигнет русских сердец, заставит их биться по-новому. Но от армии побитой при отступлении не останется и этого... Нет иного выхода. Только штурм. Победа или смерть. И он сам, Верховный,

поведёт послезавтра в последний бой свою армию. И иного не дано...

Когда растревоженный Деникин ушёл, Лавр Георгиевич отправился в свою комнату. Небольшое окно было завешено старым мешком. У печки стоял стол, специально перевезённый сюда из Елизаветинской, на столе была расстелена карта, на которой лежал браунинг, с которым Корнилов не расставался. Генерал затеплил свечу и, опустившись на единственный стул, стал смотреть на карту. За эти дни он запомнил каждую точку на ней и мог бы с закрытыми глазами начертить её на листке бумаги. Взгляд упал на тускло поблёскивающий браунинг. Впервые мысль свести счёты с жизнью посетила Лавра Георгиевича в роковые августовские дни, когда почти все предали его, отвернулись от него, затаились все, кто обещал поддержку и чествовал ещё несколько дней назад. Ничего нет тяжелее, чем разочаровываться в людях. И нет ничего труднее, чем бороться, не чувствуя рядом надёжного плеча, твёрдой почвы. Куда не ступи — болото, на кого не понадейся — предадут... Конечно, оставались верные офицеры. Но и их в критический момент оказалось немного — немного, открыто поддерживавших — большинство предпочло безмолвствовать. Для любого дела нужны, прежде всего, люди. Мало воли и энергии вождя, но нужна всесторонняя поддержка, нужны умные, честные и готовые работать люди рядом с ним. А людей-то и не было! Авантюристы, прожектёры, фокусники... Они все играли в политические игры, не видя надвигающейся катастрофы, делали ставку на его имя, втягивая его самого в водоворот происходящих событий, сильно отдающих всеобщим безумием. И никогда нельзя было знать наверняка, не воткнул ли эти люди нож в спину. Если на фронте, стоя на наблюдательном пункте и замечая всё зорким глазом, Корнилов управлял боем, то

в битве политической всё было наоборот: уже не он, а она управляла им. Когда-нибудь все узнают, что сделали с Корниловым... В Корниловы он пошёл не сам...

С самого начала, с того момента, как его призвали после Февраля командовать Петроградским военным округом, разные силы пытались использовать его авторитет в своих целях, а сами эти цели оставались туманны и переменчивы. Чёткая цель была у Гучкова: понимал Александр Иванович неизбежность большевистского восстания и считал, что именно Корнилов должен подавить его и навести в стране порядок железной рукой, потому и добивался его назначения командующим Северным фронтом. Но воспрепятствовал этому Алексеев, так рьяно воспрепятствовал, что пригрозил даже оставить пост главнокомандующего. И отправился Лавр Георгиевич на Юго-Западный, откуда до Петрограда ой как не близко было... А Гучков остался не у дел, как и почти все, стоявшие у истоков Февраля... Не таким простым делом оказалось управлять распадающейся страной. И в чьих руках оказалась власть? В руках этого вертлявого адвокатишки с непомерным честолюбием и эффектами, достойными ярмарочного шута, а не главы правительства! Консервативная общественность ждала чуда от Корнилова, провозглашённого «вождём партии порядка», но сама уклонялась от действий. Всеобщее бессилие и нежелание делать что-либо приводило Лавра Георгиевича в отчаяние. Ультиматум за ультиматумом отправлял он в Петроград, вопия о катастрофе, нарастающей на фронте: «Армия обезумевших тёмных людей, не ограждавшихся властью от систематического развращения и разложения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. На полях, которые нельзя назвать полями сражений, царят сплошной ужас, позор и срам,

которых русская армия не знала с самого начала своего существования... Выбора нет: революционная власть должна встать на путь определённый и твёрдый. Лишь в этом спасение родины и свободы. Я, генерал Корнилов, вся жизнь которого от первого дня сознательного существования доныне проходит в беззаветном служении родине, заявляю, что отечество гибнет, и потому, хотя и не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах, в целях сохранения и спасения армии для её реорганизации на началах строгой дисциплины... Я заявляю, что если правительство не утвердит предлагаемых мною мер и тем лишит меня единственного средства спасти армию и использовать её по действительному назначению — защиты родины и свободы, то я, генерал Корнилов, самовольно слагаю с себя полномочия главнокомандующего». Отдельные меры (возвращение смертной казни на фронте и др.) нехотя принимались, но каких усилий стоило добиться этого, каких тяжёлых потерь на фронте...

Общественность искала Вождя, но кто предложил ему какую-либо действенную помощь? Бывший террорист, писатель, а теперь товарищ военного министра Борис Савинков, комиссар Восьмой армии Филоненко, ординарец Корнилова, странный субъект, рисовавший перед генералом почти фантастические проекты, Завойко, политический эмигрант, депутат Первой Думы, дважды арестовывавшийся за революционную деятельность, а в войну ставший британским корреспондентом Аладьин... Сокрушался позже Антон Иванович, спрашивал, как мог допустить Лавр Георгиевич, чтобы столь малогосударственные элементы, мечтающие лишь завладеть министерскими портфелями и уже заранее делившие их, составили его окружение. А разве был кто-то другой! Если бы только был! Всех этих заштатных фокусников, нечистых на

руку, генерал толком и не знал, и не доверял никому из них, кроме разве что Завойко, казавшимся способным и искренним человеком, но все они, по крайней мере, хотели работать... А остальные пассивно ждали манны небесной, чуда, не желая шевельнуть пальцем для его осуществления. Зато все эти сладкоголосые витии, боящиеся действия, очень хорошо знали, что должен был делать Корнилов, назначенный ими спасителем России, и чего он делать был не должен... Кто везёт, того и погоняют... Разорвись надвое: скажут — почему не начетверо! А, как только удача отвернулась от него, как только мерзавец Керенский объявил его изменником, принялись судить, осуждать, давать запоздалые советы, отмежёвываться... И зачем, зачем им было так стараться? Зачем так истово втоптывать в грязь? Упрекали иные, почему промедлил и не повёл войска на Петроград. Ведь если бы вовремя схватиться — можно было бы успеть — столица сдалась бы без боя! Крепки все задним умом, все всё знают и понимают, все любят судить чужие ошибки, а попробовали бы сами...

В те дни Корнилов был болен. К обострению застарелой невралгии, от которой болела и отнималась правая рука, добавился приступ лихорадки. Болезненное состояние, растерянность и ряд внешних факторов отняли день, в который взятие Петрограда могло бы быть осуществлено, а затем железнодорожники получили приказ не пропускать поезда Верховного. Таким образом, все пути оказались перекрыты, а Главнокомандующий фактически пленён в Могилёве... Губительно промедление! Промедлил и Крымов, ещё раньше, ещё по договорённости с Керенским посланный в Петроград со своим конным корпусом для подавления грядущего восстания большевиков. Промедлил, и всё пошло прахом... Только и осталось генералу, что застрелиться... И Лавр Георгиевич, покинутый всеми, объявленный

мятежником, хотя вся история мнимого мятежа была от начала и до конца сострепана Керенским, испугавшимся чрезмерного влияния Верховного и решившим, что большевики представляют меньшую угрозу его «власти», ожидая приезда нового главнокомандующего, подумывал последовать примеру Крымова. Мёртвые сраму не имут, а продолжать пить этот позор, участвовать во всеобщем безумии и смотреть, как гибнет Россия, было невыносимо. Своему верному адъютанту Хаджиеву он говорил дрожащим от бешенства голосом:

— Хан, а ведь нас свои предали! Какая мерзость! Ведь надо же было дойти до такой пошлости! Вы, пожалуйста, Хан, объясните, если кто из джигитов не понял, и держите их в руках, ограждая от влияния вредных агитаторов!

Керенский! Ничтожный фигляр! Так бессовестно и ловко обвести вокруг пальца... Пообещать действовать совместно и тотчас предать! Протянул Александр Фёдорович ручку, да и подставил ножку... Сам себя объявил Верховным Главнокомандующим и назначил начальником штаба... генерала Алексеева. Ждал Корнилов прибытия Михаила Васильевича вне себя от гнева. Как мог согласиться? Или на всё готов пойти? Быть начальником штаба при Императоре, затем поддержать его отречение, а теперь принять эту же должность при особе господина Керенского после его подлой измены! Какая пошлость!

— Пусть Алексеев пожалует сюда, я ему всё выпою! — говорил Лавр Георгиевич шурина. — А обо мне, пожалуйста, не беспокойся. Пустить себе пулю в лоб я всегда успею.

Часами просиживал Корнилов в одиночестве, глядя перед собой воспалёнными глазами. Всё рушилось, как карточный домик. Даже войска оказались не готовы консолидировано выступить в защиту своего

Главногокомандующего. Он сидел в той самой комнате, где некогда томился свергаемый Император и теперь совершенно постигал, что должно было твориться в душе Государя... Образ низложенного монарха настойчиво вставал перед взором. Образ, запечатлевшийся в памяти в тот день, когда здесь же, в Ставке, Император принял бежавшего из немецкого плена генерала и долго говорил с ним, не сводя своих ясных, светлых глаз, излучая доброжелательство и поражая своей удивительной памятью. Мог ли вообразить Лавр Георгиевич тогда, что не пройдет и года, и ему, назначенному уже Временным правительством командующим Петроградским гарнизоном, придется объявлять об аресте Государыне?.. В страшном сне не могло присниться... Как наяву всплыл в памяти мартовский день, Царское Село, сумрачные покои, усталая, разбитая болезнями, но гордая женщина, в которой столь многие видели злой рок...

— Ваше Величество, на меня выпала тяжёлая задача объявить вам постановление Совета министров, что вы с этого часа считаетесь арестованной. Если вам что-то нужно — пожалуйста, через нового коменданта.

Императрица кивнула. Её усталое лицо ничего не выразило.

— У меня все больны, — негромко сказала она. — Сегодня заболела моя последняя дочь. Алексей, сначала было поправлявшийся, опять в опасности... — Государыня внезапно заплакала, но, взяв себя в руки, добавила: — Я в вашем распоряжении. Делайте со мной, что хотите...

Тяжело было на душе после этого разговора, и теперь как-то совсем иначе вспоминался он. Взял грех на душу, принял участие в недостойном, по совести говоря, деле... Но как было поступить? Подать в отставку, как граф Келлер? Умыть руки и не попытаться

даже спасти армию и Россию, повлиять на события, уклониться? В чём был долг офицера? В сохранении верности Императору, который отрёкся от престола за себя и за Наследника, умножив тем самым смуту, даже не попытавшись бороться, взывать к верным подданным? Хотя... А было ли к кому взывать? Откликнулись ли бы на этот призыв своего Государя? Или промолчали так же, как молчали на призывы своего Главнокомандующего? И ведь промолчали бы!

Но нет, нет... Какая вина здесь? Офицер служит всякой законной власти. Отречение было законным... И законна была последующая передача власти Временному правительству... И сам Государь приказал служить новой власти верой и правдой во имя России... Во имя России! Разве дело в режиме? В Царе? В республике? Дело в России! В её спасении! Как в разгар войны можно было выступить против нового правительства, открыть второй фронт, окончательно подорвать положение воюющей армии, отдать Родину врагу, способствуя внутреннему раздору? Какое бы ни было законное правительство, долг офицера перед лицом внешнего неприятеля поддерживать его всемерно, укреплять его позиции, не допуская хаоса.

И так ли плоха республика? Конечно, такую огромную страну, как Россия, трудно представить таковой, и, как природный казак, не мог Лавр Георгиевич быть против монархии, но если монархия изжила себя, утратила жизнеспособность и элементарный инстинкт самозащиты, то неужели нужно во имя неё губить всю Россию? Не Россия для монархии, но монархия для России. И если монархия перестала быть благом для России, то строй нужно менять. А в том, что прежний строй изрядно прогнил, сомнений у Лавра Георгиевича не было. И дело тут было не в постыдных слухах о Царской Семье и её ближнем круге и не только в явной недееспособности назначаемых

после убийства Столыпина министров, их нескончаемой чехарде — меняла Государыня их, словно перчатки! — но и в личном опыте Корнилова. Неопровержимым доказательством разложения строя, которому он служил, стала для него «харбинская афёра». Служа в 1911-м году в Заамурском округе пограничной стражи, Корнилову приходилось не раз инспектировать войсковые части, и картина грандиозных хищений и злоупотреблений, обнаруженная им, потрясала воображение. Тщательно проведённое расследование выявило факт тотального воровства, поразившего всю интендантскую службу округа. Во главе расхитителей отчётливо вырисовывалась фигура генерала Сивицкого. Ещё на первой стадии расследования начальник Лавра Георгиевича генерал Мартынов получил предупреждающую телеграмму, в которой сообщалось, что Сивицкий близкий друг министра финансов и шефа пограничников Коковцева, и тот не допускает возможности противоправных действий с его стороны. Но следствие было продолжено. Рапорты Мартынова дошли до Государя, но тот распорядился прекратить дело. После этого Сивицкий с подельниками стали писать в Петербург письма, обвиняя в них Мартынова и Корнилова в преступной предвзятости, подтасовке фактов и травле чинов управления снабжения по личным мотивам... Мартынова в считанные дни сняли с должности и перевели на другое место службы. Замещать его до прибытия нового командующего в случае начала войны с Китаем, угроза которой тогда существовала, должен был... Сивицкий. Начались неприкрытые гонения и преследования офицеров, способствовавших раскрытию афёры. Не считая возможным продолжать службу в таких условиях, Лавр Георгиевич подал рапорт о переводе его снова в Военное ведомство. Практика покрывания проступков власть имущих или приближённых к ним стала

превращаться в систему. Даже крупные чиновники министерства внутренних дел во главе с генералом Курловым, повинные в гибели председателя Совета министров Столыпина, были Государем прощены... Авторитет власти падал всё ниже, разрушительные процессы набирали размах и привели к коллапсу Февраля. И как же было защищать власть, которая не желала и не умела защитить саму себя, которая несла ответственность за доведение ситуации в стране до взрыва?..

И всё-таки, сидя в кабинете преданного и оболганного Государя, преданный и оболганный Главнокомандующий не мог отделаться от необъяснимого чувства вины перед Императором, которому некогда присягал... А Император в эти роковые дни прислал генералу своё благословение. Вот уж не ждал этого Лавр Георгиевич. Настоящий казак не может не быть монархистом... Монархистом до переворота был и Корнилов. Он не был против монархии и после, но весь вопрос в том, что подразумевать под реставрацией монархии? Реставрацию всей этой придворной камарильи, которая, может быть, более всех виновата в произошедшей трагедии? Камарильи, которая первая отреклась от своего Государя и бросилась заискивать перед новой властью? Генерал Брусилов, этот хитрый лис, так преданно смотревший в глаза Императору, целовавший ему руки, теперь срывал аксельбанты, щеголял красным бантом, поливал грязью бывшего монарха и клялся в своих демократических убеждениях, заискивая перед солдатами! Какая пошлость... Нет, если все эти люди, падшие столь низко, снова станут властью, и это будет наречено реставрацией монархии, то Корнилову при такой монархии делать нечего...

От холодной решимости свести счёты с жизнью в те дни спасло присутствие жены и детей. Таисия

Владимировна слишком хорошо знала его и разгадала страшное намерение. Её преданность и любовь одержали тогда верх над охватившим Лавра Георгиевича отчаянием. Он понял, что не имеет право уйти, бросив на произвол судьбы тех офицеров, которые остались верны ему, обмануть их веру. Пускай другие с лёгкостью обманывают доверие, предают и изменяют, генерал Корнилов никогда не был предателем, ради немногих верных он не смеет отречься, как сделал это несчастный Император, но должен идти до конца, до конца испить горькую чашу...

В Ставку прибыл генерал Алексеев. Их встреча происходила наедине. Когда после продолжительной беседы, Лавр Георгиевич вышел в приёмную, семья — жена, дочь и малолетний сын, прождавшие всё это время под дверями — бросилась к нему.

— Ничего, ничего, — сказал Корнилов, погладив жену по волосам. — Что вы плачете? Не надо, успокойтесь, — затем посадил на колени сына и поцеловал его несколько раз.

Тогда Лавр Георгиевич спросил бывшего тут же корнета Хаджиева:

— Ну что, Хан, что же будет дальше?

Невозмутимый текинец философски изрёк:

— Всё, что случается с человеком, всё к лучшему, Ваше Высокопревосходительство. Кismet, от судьбы не уйдёшь. Все великие люди страдали...

Кismet... От судьбы не уйдёшь... Теперь в маленькой ферме под Екатеринодаром, к счастью, не было ни жены, ни детей, мысль о судьбе которых Лавр Георгиевич настойчиво гнал от себя, но были всё те же верящие в него, как в Бога, офицеры. И разрешить все муки по-крымовски Корнилов не смел. Судьба должна решить сама, и грешно опережать её... В комнату вошёл Хаджиев и остановился на пороге, ожидая каких-либо указаний.

— Хан, — глухо произнёс Верховный, поднимая на него воспалённые глаза, — пойдёмте осмотрим позицию. Возьмите бинокль.

Выйдя из фермы, Корнилов, опираясь на свою массивную палку, направился к Черноморскому вокзалу. Заметив в поле две фигуры, красные открыли стрельбу. Лавр Георгиевич не обратил на это внимания, он быстро шёл вперёд, краем уха слыша, как позади него шепчет молитву адъютант. Подбежавший офицер расположенной рядом батареи обратился к нему:

— Господин корнет, попросите Верховного от имени офицеров батареи вернуться, так как впереди обстрел ещё сильнее!

— А? Что? — оглянулся Корнилов, не замедляя шага. — Сильный обстрел?.. Где Миончинский? Спасибо вам, господа! Не беспокойтесь... Я сейчас! — он перепрыгнул лужу, обронив при этом папаху, и стал осматривать позицию, поднеся к глазам бинокль. — Хан, подайте мне, пожалуйста, папаху!

Адъютант лежал на земле возле лужи. Улучив момент, когда стрельба чуть стихла, он вскочил и подал генералу головной убор.

— Ну что, Хан, жарковато? Не бойтесь, пули нас не тронут! — сказал Лавр Георгиевич, двигаясь дальше.

— Ваше Высокопревосходительство, я прошу вас дальше не идти! — воскликнул Хаджиев.

— Не всякий гром бьёт, а и бьёт да не по нас. Хан, вы сами говорили когда-то, что если человеку суждено умереть, то его убьёт собственная тень. Кисмет!

— Бережёного и Бог бережёт!

— Хан, прилягте здесь, а я пойду до наблюдательного пункта, — произнёс Корнилов, удаляясь. — Предлагаю вам я это не потому, что вы боитесь, а просто чтобы уменьшить цель. А то, действительно, эти негодяи нас заметили!

— Ваше Высокопревосходительство! Я дал слово Таисии Владимировне, что буду всюду с вами. Хотя я увеличиваю цель, но всё же разрешите идти с вами!

Лавр Георгиевич поморщился. Некстати вспомнил Хан о жене, некстати... В своё время, покидая Быхов, Корнилов вырезал своё изображение из семейной фотокарточки, чтобы, в случае попадания её в руки «товарищей» им было сложно догадаться, чья это семья. Острым лезвием ножа отделил он тогда себя от семьи на фотографии, а теперь таким же острым лезвием отсекал от себя все мысли о ней. Семья оставалась по ту сторону его служения, семья оставалась без него, осиротевшей, как на том снимке...

— Хорошо, идёмте!

Пули, действительно, не тронули ни Верховного, ни его адъютанта, и после осмотра позиций они благополучно возвратились на ферму. Ужинал в тот вечер Лавр Георгиевич в компании генерала Казановича. Борис Ильич рассказывал подробности своего прорыва в Екатеринодар:

— После беспорядочной ружейной трескотни «товарищи» разбежались, и мы вступили на Ярмарочную улицу. Не встречая сопротивления, мы двинулись вперёд. Редкие большевики, которые нам попадались, принимали нас за своих: мы их тут же приканчивали. Конные разъезды мы подманивали к себе, называя известные большевистские части. Так мы переловили шестнадцать всадников. Добыл я себе вместо своей клячи прекрасного коня под офицерским седлом, — генерал довольно улыбнулся. — При осмотре казарм на Ярмарочной мы узнали, что там содержится девятьсот пленных австрийцев. Караулит их ещё команда, поставленная Кубанским правительством. Я приказал унтеру продолжать караул и поддерживать среди пленных порядок...

— Борис Ильич! — покачал головой Корнилов. — Надо же было немедленно вывести этих пленных из города! Ведь там могли оказаться чехословаки, пригодные для пополнения наших обескровленных частей!

— Простите, Лавр Георгиевич, но в тот момент я был уверен, что мы вот-вот займём Екатеринодар...

Верховный вздохнул:

— Продолжайте.

— Мы достигли Сенной площади. Отряд я разделил на две части. Одну оставил на углу Ярмарочной, другую — на юго-западном углу площади. Обе имели в своём распоряжении по одному пулемёту. На площади стали появляться повозки, направляющиеся на позиции. Среди них была одна с хлебом и несколько с оружием. Мы захватили их. Никаких сведений о наших частях я не имел и послал своего ординарца Хопёрского доложить Маркову или Кутепову о том, что мы заняли Сенную и ускорить движение, но он не смог найти их, зато обнаружил, что охрана города в месте нашего прорыва занята красными, которые, видимо, не догадываются о нашем присутствии. Я понял, что подкреплений нам не дожидаться и решил, что дожидаться рассвета, имея в наличие двести пятьдесят человек, в центре расположения противника — это верная гибель. Мы снова двинулись по Ярмарочной улице, выдавая себя за Кавказский отряд, идущий занимать окопы впереди города. Мирно беседуя с большевиками, мои люди просочились сквозь них, и лишь когда потянулся наш обоз, они спохватились и открыли стрельбу нам в тыл. Несколько повозок вывезти не удалось, но большая часть успела проскочить. В том числе, повозка с артиллерийскими снарядами.

Корнилов слушал Казановича и не мог не восхищаться своим старым боевым товарищем. Какой подлинный полководческий талант, какая решимость и

находчивость! Тяжело раненому — прорваться в город, добыть оружие, лошадей и уйти из-под носа у противника, имея при себе лишь двести пятьдесят человек — по истине, славное дело! Ах, если бы ещё не сумятица, в которой отряд утратил связь с другими частями! Если бы Марков со своими орлами успел поддержать этот блестящий прорыв! Как знать, может быть, Екатеринодар уже был бы взят! Какая возможность упущена! Но, если удалась такая вылазка, так, может быть, и не столь безнадёжная затея — штурм, как утверждают Деникин и другие?

— Я думаю повторить атаку всеми силами. Ваш полк будет у меня в резерве, и я двину его в решительную минуту. Что вы на это скажете?

— По-моему, нужно непременно атаковать! — кивнул Казанович, чуть поморщившись от боли в перебитом плече. — Уверен, что атака удастся, раз вы лично будете ею руководить!

— Конечно, мы все можем при этом погибнуть, но, по-моему, лучше погибнуть с честью. Отступление теперь тоже равносильно гибели: без снарядов и патронов это будет медленная агония.

— Я согласен с вами, Лавр Георгиевич, — Борис Ильич сделал несколько глотков кипятка, который приходилось пить из-за отсутствия чая.

— Вот, лишились мы Митрофана Осиповича... — с горечью произнёс Корнилов. — Какая тяжёлая потеря... Такое отважное, благородное, чистое сердце билось в его груди. Мы стольким обязаны ему... Все эти страшные месяцы он был рядом. Я всегда и во всём мог доверять ему... И, вот, его больше нет. Страшно терять таких людей, Борис Ильич... И больно.

Казанович опустил голову. Он впервые понял, насколько одинок Верховный, насколько тяжела для него эта утрата близкого, несмотря на разницу лет, человека, и всей душой посочувствовал ему. Желая как-

то развеять мрачное настроение Корнилова, Борис Ильич сказал:

— А помните, Лавр Георгиевич, нашу первую встречу в Кашгаре? Неправда ли, славное было время!

При упоминании Кашгара лицо Верховного прояснилось. Он любил вспоминать то время. Время своей молодости, опасных путешествий, разведывательных операций, исследований загадочных просторов Афганистана, Индии, Китая... Лавр Георгиевич знал несколько восточных языков, писал стихи на таджикском, прекрасно разбирался в восточной истории, знал наизусть произведения персидских поэтов, которые, будучи в хорошем расположении духа, любил декламировать. Восточный период был самым счастливым в его жизни, именно в Туркестане раскрылись главные его таланты — разведчика и исследователя. Никогда позднее, даже занимая высокие посты, не имел возможности столь полно реализовать свои многогранные способности, не испытывал столь полного удовлетворения от работы, не достигал столь цельного существования, даваемого сознанием нахождения себя на своём месте, полной гармонии внутри себя. За время службы Лавр Георгиевич написал ряд научных работ, которые нашли признание даже за границей, сделав там его имя известным наряду со многими прославленными исследователями востока. Те дни немногословный и не охочий до откровений Корнилов всегда вспоминал с особенным удовольствием, подробно и красочно рассказывал о них слушателям.

А начиналось всё двадцать лет тому назад, когда он, выпускник Михайловского артиллерийского училища, закончивший Николаевскую военную академию «с занесением фамилии на мраморную доску с именами выдающихся выпускников Николаевской академии в конференц-зале Академии», выбрал местом

службы далёкий Туркестан. Там состоялась его первая разведывательная вылазка, предпринятая без ведома начальства. Непреступной цитаделью возвышалась на берегу Аму-Дарьи, у выхода из ущелья Гинду-Куш крепость Дейдади, построенная англичанами в Афганистане для защиты своих индийских владений на дальних подступах. Бдительны были афганцы, и страшной смертью грозила русским разведчикам попытка узнать план укреплений крепости, а потому оных добыть не удавалось. Крупный исследователь Центральной Азии, начальник четвёртой Туркестанской линейной бригады генерал Ионов очень огорчился этому факту и не раз сетовал на неприступность цитадели. Однажды сокрушения генерала дошли до слуха капитана Корнилова. В тот же вечер он попросил у благоволившего к нему за тягу к знаниям и исследованиям генерала трёхдневный отпуск и, получив его, направился к знакомым туркменам, язык которых знал, как родной, а потому имел возможность сойтись с ними довольно коротко. После недолгого разговора туркмены согласились быть его проводниками. Обрив голову, сбрав усы и надев афганский полосатый халат, Корнилов вместе с проводниками-туркменами ночью переправились через Амур-Дарью и на рассвете, передохнув на постоялом дворе, они достигли крепости. Внезапно к ним подъехал всадник, и туркмены шёпотом успели предупредить капитана, что это — афганский офицер, охраняющий Дейдади.

— Кто вы и куда едете? — спросил всадник.

— Великий Абдурахман, эмир Афганистана, собирает всадников в конный полк, — ответил Корнилов с поклоном. — Я еду к нему на службу.

— Да будет благословенно имя Абдурахмана! — сказал афганец и уехал.

Лавр Георгиевич хладнокровно подъехал к крепости, отмечая каждую деталь, сделал пять фотоснимков, произвёл съёмку двух дорог, ведущих к российской границе и, проехав среди бела дня полсотни вёрст по неприятельской территории, переправился обратно на свой берег...

После вылазки в Дейдади командование стало посылать молодого офицера с целью получения самых разных сведений об этих малоизвестных краях. Шведские и британские географы изучали территорию Кашгарии, считавшейся древней, таинственной и почти неисследованной страной, их находки произвели сенсацию в научном мире. В то же самое время Лавр Георгиевич с двумя помощниками изучал этот загадочный край, встречался с китайскими чиновниками и предпринимателями, налаживал агентурную сеть. 18 месяцев путешествовал Корнилов по Кашгарии, районам Тянь-Шаня, вдоль границ Ферганы, Семиречья, Индии и Тибета, находясь в поле зрения британской разведки, внимательно следящей за передвижениями русских. Итогом этой командировки стала подготовленная им книга «Кашгария или Восточный Туркестан», ставшая весомым вкладом в географию, этнографию, военную и геополитическую науку.

За эту экспедицию Корнилов был награждён орденом Св. Станислава 3-й степени и вскоре получил новое задание: на этот раз путь его лежал в малоизвестные районы Восточной Персии. Во время этой экспедиции и совершил Лавр Георгиевич беспримерный поход по «Степи отчаяния», жаркой пустыне, изображаемой на картах Ирана белым пятном с надписью «неисследованные земли». Сотни вёрст бесконечных песков, ветра, обжигающих солнечных лучей, пустыня, где почти невозможно было найти воду, а единственной пищей были мучные лепёшки — все путешественники, пытавшиеся прежде изучить этот

опасный район, погибали от нестерпимой жары, голода и жажды, поэтому британские исследователи обходили «Степь отчаяния» стороной. Русские разведчики под командованием Корнилова стали первыми европейцами, которые прошли этот путь. И не только прошли, но привезли с собой богатейший географический, этнографический и военный материал, который позднее Лавр Георгиевич широко использовал в своих очерках, публиковавшихся в Ташкенте и Петербурге.

А потом была Индия: Бомбей, Дели, Пешавар, Агра... Наблюдения за британскими военнослужащими, анализ состояния колониальных войск, контакты с британскими офицерами, которым было уже знакомо его имя, и, как итог — «Отчёт о поездке по Индии», опубликованный Генштабом через два года.

Последний раз в полюбившихся его сердцу краях Лавр Георгиевич побывал восемь лет назад. Пять месяцев он путешествовал по Западной Монголии и Кашгарии с целью ознакомления с вооружёнными силами Китая у границ России и следом отправился в Петербург, куда был отозван из Пекина, где занимал пост военного агента. В Китае Корнилов прослужил четыре года. Он изучал китайский язык, путешествовал, изучал быт, историю, традиции и обычаи китайцев. Намереваясь написать большую книгу о жизни современного Китая, Лавр Георгиевич записывал все свои наблюдения. Одним из самых ярких эпизодов стало разведывание тайны отряда китайских войск, обучаемого по европейскому образцу и тщательно скрываемого от сторонних глаз. Чтобы разузнать всё об этом загадочном подразделении, Корнилов оделся в пышный китайский балахон, покрыл голову шапочкой с шишечками мандаринов и поехал в город, где дислоцировался китайский отряд. Там он называет себя губернатором какой-то провинции, чуть ли не посланником Богдыхана, его встречают почестями, и

отряд проходит церемониальным маршем прямо перед взором русского агента, которому, как посланнику «сына неба», докладывают всё, что он должен знать...

Все эти нахлынувшие воспоминания ненадолго рассеяли тяжёлые мысли, не покидавшие Верховного. Оживившись, он с удовольствием перебрал в памяти дорогие мгновения. И кому, как не Казановичу, служившему в тех далёких краях, было лучше понять Лавра Георгиевича. Было и Борису Ильичу, что вспомнить о тех днях, об удивительном крае под названием Кашгария. Сколько ещё неисследованного осталось там! Сколько неопisanного! Не хватало Корнилову времени заняться масштабным трудом, посвящённым загадочному и чарующему миру Востока, а ведь сколько материалов было собрано к нему, сколько записей составлено! Когда бы закончилась эта треклятая смута, так и взяться бы, и уйти с головой в эту работу, работу мирную и благодарную, восстановить в памяти все детали, вернуться вновь в ту благословенную пору...

— Да, Борис Ильич, время было не чета теперешнему...

— Могли ли мы думать тогда, Лавр Георгиевич, при каких обстоятельствах сведёт нас с вами судьба вновь...

Уже давно спустилась ночь, и ушёл отдыхать истомлённый и потерявший много крови Казанович, и стоны раненых за стеной стали тише, а Верховный не мог забыться сном. Он то ложился на кровать, представлявшую собой три голых доски с брошенным на них полушубком, то поднимался и снова и снова вглядывался в карту. Возникали в усталом мозгу картины минувшего, перепутанные, сменяющие друг друга, словно в калейдоскопе... «Степь отчаяния», плен, во время которого немцы так тщательно охраняли «склонного к побегу генерала», что запрещали всякие сношения с кем-либо и грозили смертной казнью

всякому, кто поспособствует его намерениям, затем побег, трёхнедельные плутания в лесу без пищи в поисках границы Румынии, ночная переправа вплавь через Дунай... Не скупилась судьба на испытания, но самые горькие приберегала напоследок... Что-то будет ещё...

Под утро вспомнился путь на Дон. Быховскую тюрьму Лавр Георгиевич покинул вместе с верными текинцами, когда стало известно, что в Ставку направляется назначенный большевиками главковерх прапорщик Крыленко с матросами. Холодными ночами не привыкшие к морозам туркмены продирались сквозь атмосферу вражды, окутавшую их путь. Весть о приближении «шайки Корнилова» неслась по озлобленным деревням. В одну из ночей текинцы подверглись обстрелу со стороны красных. Пушки ударили в упор. В панике полк бросился врассыпную. Когда удалось собрать спасшихся, то выяснилось, что из четырёхсот всадников осталось лишь полторы сотни... Потрясённые текинцы пали духом, начались разговоры о необходимости сдачи большевикам. На донесение офицеров об этих настроениях, Лавр Георгиевич ответил:

— Господа, быть может, будет лучше, если я пойду и сам сдамся большевикам. Я не хочу, чтобы вы погибли из-за меня.

Сняв простой крестьянский полушубок, он надел генеральское пальто, вскочил на коня и обратился к текинцам с речью:

— По приказу генерала Духонина ваш полк должен сопровождать меня на Дон. Я, генерал Корнилов, не хочу верить в то, что текинцы собираются предать меня. Я даю вам пять минут на размышление, после чего, если вы всё-таки решите сдаваться, вы расстреляйте сначала меня. Я предпочитаю быть расстрелянным вами, чем сдаться большевикам.

После этих слов вперёд выехал ротмистр Натансон и, приподнявшись на стремянах, закричал:

— Текинцы! Неужели вы предадите своего генерала! Не будет этого! Не будет!

— Не будет! — подхватила толпа.

— По коням! — скомандовал Натансон.

Тем не менее, продолжать путь, как было намечено, стало уже невозможно. В итоге полк разделился, а Корнилов решил ехать дальше один. Раздобыв подложные документы на имя румынского беженца и одевшись в простую поношенную одежду, он в одиночку добрался до Новочеркасска...

Как только стало светать, Лавр Георгиевич надел полушубок и, разбудив своего адъютанта, быстрым шагом отправился проститься с Неженцевым. Было шесть часов утра, но артиллерийская канонада уже громыхала вовсю. Верховный прошёл в рощу, где под молодой елью, на траве лежало покрытое полковым знаменем тело полковника. Корнилов откинул угол знамени и впился взглядом в дорогое лицо. Все самые горькие месяцы его жизни, кроме Быховского заключения, этот бесконечно преданный человек был рядом с ним, был его живым талисманом, и, вот, теперь судьба отняла его, отняла так, будто прежде, чем нанести последний удар Верховному, ей необходимо было избавиться от того, кто был к нему ближе всех, словно бы он одним существованием своим препятствовал ей, ограждая своего генерала от её смертоносной длани. И, вот, его не стало... Что-то будет теперь?.. Кismet!

— Царствие небесное тебе, без страха и упрёка честный патриот Митрофан Осипович!

Обстрел рощи участился. Лавр Георгиевич резко повернулся и отправился назад, к ферме. Линия разрывов снарядов подходила к ней всё ближе. У самого

дома взрывом убило трёх казаков. Указывая на искалеченные тела, Хаджиев сказал:

— Ваше Высокопревосходительство! Надо поторопиться с переводом штаба, так как большевики хорошо пристрелялись к роще. Вы видите их работу?

— А?! — вскинул голову Корнилов, точно не расслышав, и вошёл в дом. Пройдя в свою комнату, он опустил левым коленом на стул и, стиснув голову руками, вновь приковался взглядом к карте. Глубокий вздох вырвался из его груди. Через некоторое время Лавр Георгиевич приподнял голову и попросил: — Хан, дорогой, дайте мне, пожалуйста, чаю! У меня что-то в горле сохнет...

Корнет ушёл. Не снимая полушубка и папахи, Корнилов сел за стол, поставив между колен свою палку, и принялся писать резолюцию на донесении генерала Эрдели, от которого долго не было известий. В этот момент раздался страшный взрыв: большевистский снаряд ударил прямо в комнату Верховного...

Весть о гибели Корнилова, несмотря на попытки скрыть её, разлетелась по лагерю. Многие, узнав о несчастье, рыдали в голос. Аде Митрофанову о случившемся сообщил старый товарищ, семнадцатилетний Чернецовский партизан Голобородов.

— Адька, ты слышал?! — выдохнул он, и по его опрокинутому лицу и страшным глазам Адя понял, что случилось что-то ужасное, непоправимое.

— Что?!

— Корнилова убили!

— Врёшь! — Митрофанов схватил друга за плечо, но тот только мотнул головой и зарыдал отчаянно, закрыв лицо руками. Адя отпустил его, судорожно сглотнул и процедил: — Не голоси ты, как баба. Не поможешь...

Сцепив зубы и ещё не вполне осознав страшную весть, он почти бегом бросился к станичной церкви.

Навстречу попался маленький старик-священник.

— Ах, горе, горе, человек-то какой был необыкновенный... Что теперь со всеми нами будет? — шептал он дрожащими губами.

Значит, правда... Господи, неужели правда?! Да как же ты, Господи, мог допустить, чтобы это было правдой?! — Адя воззрился на залитое солнцем весёлое небо и закусил губу, чтобы не завывать. На глазах закипали слёзы, а сердце готово было выпрыгнуть наружу. Если бы оказался сейчас на пути Митрофанова отряд красных, то, кажется, в одиночку он истребил бы его, в одно мгновение стёр с лица земли...

Около церкви, возле маленькой хаты стоял текинский караул. Входили и выходили офицеры. Адя осторожно поднялся на порог и заглянул внутрь. Там в простом гробу лежало тело Верховного в генеральской тужурке с золотыми погонами. Рядом на коленях стоял и рыдал тучный человек. Это был бывший председатель Думы Родзянко:

— Лавр Георгиевич! Лавр Георгиевич! Когда же это?.. Как же это?..

Кто-то шёпотом рассказывал:

— Мы говорили генералу, что большевики пристрелялись к штабу, а он не обращал внимания... Снаряд ударил прямо в комнату, где он был. Его отбросило об печь, потом потолок обрушился... Ничего нельзя было сделать... Так и умер, ни слова не сказав... Вот ведь рок: столько раз в глаза смерти смотрел, а она его именно сейчас настигла... И убило этим снарядом его одного! Да ещё раненого в соседней комнате...

— Что же теперь? Отступление?

— А что другое остаётся?

— А кто же примет командование?

— Скорее всего, Деникин...

Адя, пошатываясь, пошёл назад. Какое счастье, что Саня не видит этого... Это горе сломило бы его, убило

бы... Отступление! Поражение! Бегство! Куда?.. Куда?.. Куда отступить из кольца?.. Одним?.. Без Корнилова?.. Кто же выведет?.. Деникин? За весь поход его не видели в бою. Как будто бы болен... Нет, не он должен возглавить армию! Сколько есть командиров, которые шли в бой впереди цепей, которых видели в деле... Марков — вот, кто более всех достоин стать Главнокомандующим!

Посреди пути Митрофанов вновь встретил Голобородова.

— Ну, что? — глухо спросил тот. — Выдел?

Адя кивнул.

— Что теперь будет, а? Ведь пропадём! Теперь всему конец!

— Не скули! — раздражённо бросил Митрофанов. — Выведемся.

— Адька, говорят, тяжело раненых оставят в Елизаветинской, потому что с таким обозом не продраться... Как же это, а? Корнилов бы не допустил... Ведь красные их не пощадят! А Деникин? Что ты думаешь о Деникине?

— Я думаю, что армии нужен другой командующий, — жестко заявил Адя. Его раздражало растерянное бормотание Голобородова, и он нарочно ускорял шаг, надеясь отделаться от него.

— Кто?

— Марков! Он один может вывести армию из этого капкана! Не зря же его Богом Войны зовут!

— Но Деникин командовал «Железной», — возразил Голобородов. — Говорят, он выдающийся командир и вообще... И сам Корнилов назначил его своим заместителем.

— «Говорят», «говорят»! — передразнил Адя. — Плевать мне, что говорят. Я верю тому, что я вижу сам... Деникина я не видел в бою, а Маркова видел. За таким командиром и в огонь, и в воду с песней можно!

Мнение Ади разделяли многие Добровольцы. Особенно укоренилось оно среди молодёжи. Толки и споры продолжались до тех пор, пока их во избежание разброда в армии не пресёк лично генерал Марков, заявивший:

— Армию принял генерал Деникин. Бояться за её судьбу не приходится. Этому человеку я верю больше чем самому себе!

Больше спорить стало не о чем. Генерал Алексеев отдал приказ:

«1. Неприятельским снарядом, попавшим в штаб армии, в 7 ч. 30 м. 31 сего марта убит генерал Корнилов.

Пал смертью храбрых человек, любивший Россию больше себя и не могший перенести её позора.

Все дела покойного свидетельствуют, с какой непоколебимой настойчивостью, энергией и верой в успех дела отдался он служению Родине.

Бегство из неприятельского плена, августовское выступление, Быхов и выход из него, вступление в ряды Добровольческой армии и славное командование ею — известны всем нам.

Велика потеря наша, но пусть не смутятся тревогой наши сердца, и пусть не ослабнет воля к дальнейшей борьбе. Каждому продолжать исполнение своего долга, памятуя, что все мы несём свою лепту на алтарь Отечества.

Вечная память Лавру Георгиевичу Корнилову — нашему незабвенному вождю и лучшему гражданину Родины. Мир праху его!»

2. В командование армией вступить генералу Деникину».

Армия, наполовину истреблённая, потерявшая душу, отступала, покидая триста раненых и практически утерев веру в благополучный исход...

Глава 13. Боян земли Донской

14 апреля 1918 года. Ростов

Тихий Дон не принял большевиков. Всего два месяца длился казачий нейтралитет, основанный на усталости от войны и наивном доверии большевистским посулам... Ах, как умеют сулить эти подлецы! «...Совет Народных комиссаров объявляет всему трудовому казачеству Дона, Кубани, Урала и Сибири, что рабочее и крестьянское правительство ставит своей ближайшей задачей разрешение земельного вопроса в казачьих областях в интересах трудового казачества и всех трудящихся на основе советской программы и принимая во внимание все местные и бытовые условия, в согласии с голосом трудового казачества на местах. В настоящее время Совет Народных комиссаров постановляет:

1. Отменить обязательную воинскую повинность казаков и заменить постоянную службу краткосрочным обучением при станицах.

2. Принять на счет государства обмундирование и снаряжение казаков, призванных на военную службу.

3. Отменить еженедельные дежурства казаков при станичных правлениях, зимние занятия, смотры и лагеря.

4. Установить полную свободу передвижения казаков...»

Даже казачество, мудрое и крепкое, повелось на сладкие речи бессовестных агитаторов... Что уж говорить об остальной России!

Но, вот, спохватились, обжегшись. И поднялись казаки, и заняли Новочеркасск... И уже подступают к Ростову... И командир восставших полковник Фитисов выдвинул ростовским большевикам ультиматум с

требованием немедленно освободить Митрофана Петровича Богаевского и других казаков, содержащихся в Ростовских тюрьмах под угрозой в случае отказа расстрелять всех арестованных в Новочеркасске большевиков.

А лучше бы и не было этого ультиматума! До его появления Митрофана Петровича содержали как арестанта «президиума съезда Советов Донской республики» и не чинили никаких допросов. А вчера состоялся в штабе Военно-революционного комитета первый... Допрашивал лично председатель комитета Подтёлков. Никогда за всю свою жизнь не приходилось испытывать казачьему Златоусту таких унижений. Всё смешалось: угрозы и глумления, сокрушительные удары и плевки... В какой-то момент Митрофану Петровичу показалось, что настал его последний час, что смерть пришла к нему, безобразная и издевательски насмехающаяся над ним. Он, историк и педагог, один из самых образованных людей на Дону, лежал на каменном полу, окровавленный, измождённый заключением, а невежественный и опьяневший от вседозволенности бывший урядник, бил его ногами, упиваясь своей властью, изрыгая всевозможные ругательства... Потом остановился:

— Живой ещё, контра? Помни меня, сволочь калединская! — и плюнул в лицо...

Наутро, придя в себя в своей камере, Митрофан Петрович чувствовал боль в каждой клетке своего тела, но ещё невыносимей была боль душевная, облегчаемая лишь слабой надеждой, что всё-таки очнулись казаки, что всё-таки выздоровели от «петроградской» болезни. Хоть и поздно, и самому Богаевскому уже ничем не помочь... Но лишь бы жил Дон, лишь бы не обратился вспять! А ещё, где-то жива вопреки всему Добровольческая армия, а в ней — любимый брат, Африкан Петрович... Жив ли?..

В камеру вошёл врач, осмотрел заключённого, спросил почти сочувственно:

— Могу я вам чем-нибудь помочь?

Богаевский взглянул на него заплывшим глазом и ответил хрипло:

— Можете. Добудьте мне цианистого калия... Очень вас прошу.

Доктор покачал головой:

— Боюсь, это не в моей власти... — и исчез за дверью. Режущим слух звуком лязгнул запор. Не в его власти... Значит, новые допросы? Новые истязания и унижения? Боже, дай сил вынести!

В памяти всплыл отцовский хутор Петровский, безмятежные и ясные дни детства. Вольно дышалось в ту пору на Тихом Дону, и никому не могло прийти на ум, что пройдёт три десятилетия, и обратится он в кровавую пучину, где братья станут истреблять и подвергать жестоким мученьям братьев, низвергать вековой уклад и традиции, за возрождение которых так ратовал Митрофан Петрович. С самых юных лет ощущал Богаевский глубинную духовную связь с казачеством, с его историей. Участь на историко-философском факультете Петербургского университета, он был председателем Донского Землячества, а, вернувшись на Дон, отдал все силы просвещению, сбережению подлинно казачьего духа и воскрешению позабытых уже традиций. А ведь, сколько мудрости хранилось в историческом укладе казачьей жизни, когда всё решалось сообща, Войсковым Кругом и избранным на нём атаманом, облечённым доверием всех казаков. Нерушимая связь всего народа жила в том укладе. Народ является народом и становится единым целым лишь тогда, когда его волей осуществляется власть, создается его жизнь, и каждый понимает свою ответственность за это, а оттого обретает зрелость мысли, и воля не перерастает в своеволие и анархию,

порождаемую безответственностью, невежеством и отсутствием привычки к общественной деятельности, обращённой к общему благу. Народноправие — вот, укрепа всякому государству. Общественное развитие всех граждан, не позволяющее им верить несбыточным обещаниям и впадать в крайности! Народноправием издревле славился Дон. Не должно, чтобы всем заправлял чиновник, бюрократия, но сам народ должен быть вовлечён в управление своей жизнью, и тогда тёмные стихии не одолеют его. Донская старина, в которую был влюблён Митрофан Петрович, давала немало поучительных примеров, укреплявших его идею о необходимости восстановления преданных забвенью традиций. Много бед именно оттого и выходит, что размывается память, уходит в Лету то важнейшее, что составляло основу жизни многих поколений. А ведь это всё сберегать нужно пуще зеницы ока! И болела душа оттого, что бездумно забывается столь многое, и всю жизнь посвятил Митрофан Петрович, не щадя сил и времени, чтобы вернуть порастающую быльём память, возвратить Дону прекрасные его традиции, в которых бы и воспитывать поколение за поколением во славу Дона и всей матушки-России! А ещё бы, возродив старинный уклад в родной области, распространить его в том или ином виде по остальной России, и расцвела бы она, потому что везде с человека всё вестись должно, а не с буквоеда-чиновника, потому что везде надлежит блюсти национальные традиции, завещанные предками, и свято оберегать свою историю, хранить память о ней. Много вдохновенных идей рождалось в светлой голове донского Златоуста, и вершил он свой кропотливый труд, отдавая ему всю душу.

Революция застала Митрофана Петровича в должности директора гимназии станицы Каменской, на которую он, тридцатитрёхлетний преподаватель географии, латыни и истории, талантливый воспитатель

донского юношества, был назначен за три года до этого. Пагубность произошедшего не укрылась от проницательного ума Богаевского. Россия занесла ногу над бездной, и одно неверное движение могло теперь стать фатальным. Но кому же, как не казачеству, этому сильному, цельному, свободному, не знавшему крепостного права сословию в этот критический момент стать на охрану государственности, выступить в роли здоровой силы, призванной спасти всю одержимую тяжёлым недугом Родину? И когда же, как не теперь приводить в действие все столь долго вынашиваемые планы? Революция вознесла Митрофана Петровича на вершину общественного служения. Талант политического оратора, создававший ему немало количество страстных поклонников и изрядное число врагов, нравственная чистота, безукоризненная честность влекли к нему народ, и казаки облекли его своим доверием, выдвинув делегатом на Обще-Казачий Съезд в Петрограде, где он сразу занял место председателя собраний. В апреле того же года, будучи представителем станицы Каменской на Первом Съезде Донских казаков в Новочеркасске, Богаевский был вновь избран председателем его и поставлен во главе Комитета по выработке Положения о выборах и созыве Войскового Круга.

Обязанности Атамана исполнял в то время войсковой старшина Евгений Андреевич Волошинов. Выпускник Донского кадетского корпуса, блестящий пианист и композитор, инициатор идеи открытия в Ростове Донской консерватории, что так и не успел осуществить, погибнув безвременно от рук большевиков при занятии ими Новочеркаска в феврале Восемнадцатого, он изо всех сил старался уравновесить ситуацию на Дону, и, в первую очередь, сделал всё для созыва Войскового Круга, которому надлежало выбрать новые, законные органы власти.

Двадцать шестого мая 1917 года, вольный казачий Круг начал работу в Новочеркасске. Среди семиста двадцати депутатов Круга были сторонники всех политических течений — от монархистов до большевиков во главе с Михаилом Кривошлыковым и Виктором Ковалевым, избранными казаками-фронтовиками. От имени 32-го Донского казачьего полка Войсковой Круг приветствовал Филипп Миронов...

— Господа казаки! — обратился к собранию Волошинов. — Россия переживает трудные дни. Анархия растет. И казаки должны властно сказать: анархия была, но анархии не будет... Мы пойдем по пути спасения России, как шли в «смутные дни», как шли в 1812 году. История возложила на нас великую миссию — спасти Родину.

После этого Митрофан Петрович был избран председателем Круга и провозгласил торжественно, радуясь воплощению излюбленной идеи:

— Объявляю заседание Донского Войскового Круга, после двухсотлетнего перерыва, открытым! Круг решительно и категорически должен заявить о необходимости организации порядка. Нам нечего ожидать от Петрограда, ибо Петрограду приходится думать больше о себе. Петроград бессилен, и нам нечего прислушиваться к его голосу. Петроград не даст нам власти и порядка. Тогда дадим порядок мы! Пора слов и резолюций прошла! К делу!

Открытым оставался главный вопрос: кому вручить знаки атаманской власти? Рассматривалось около двадцати кандидатур, но ни одна не казалась достаточно подходящей. В такое нелёгкое время атаманом должен был стать только человек, имя которого сплотило бы вокруг себя казачество, человек сильный, волевой, честный, человек, которого бы казаки знали и которому доверяли, человек, имеющий достаточный потенциал, чтобы стать истинным

казачьим Вождём. И осенило Митрофана Петровича: ведь такой человек есть! Боевой генерал, герой Луцка, бывший командир славный Восьмой армии, оставивший пост после революции и теперь находящийся в Новочеркасске с тем, чтобы отсюда следовать в Кисловодск на лечение — Алексей Максимович Каледин!

Эта идея захватила Богаевского. Опоздав на заседание президиума Круга, он почти бегом вошёл в зал заседаний, запыхавшийся, возбуждённый и сияющий, и с порога выдохнул найденное имя. Число кандидатов мгновенно сократилось до двух, и все единодушно признали, что лучшего атамана не найти. Правда, предстояло убедить в этом самого Каледина, не питавшего никакого желания взваливать на плечи крест власти. Но Митрофан Петрович решил, во чтобы то ни стало, уговорить его.

— Уважаемый Алексей Максимович! Казаки выдвинули вас на Кругу на пост донского Войскового атамана.

— Знаю, слышал!.. — хмуро буркнул Каледин, нервно шагая по комнате собственного дома.

— Могут ли казаки надеяться, что вы согласитесь?

— Никогда!

— Но, Ваше Высокопревосходительство, не мне вам говорить, что вы должны отдать себя казакам, ибо кто как не вы в такое трагическое время поведет донской народ?

— Народ?! Вы говорите, народ?! — Каледин резко остановился и сурово посмотрел на Митрофана Петровича. — Донским казакам я готов отдать жизнь, но то, что будет — это будет не народ; будут советы, комитеты, советики и комитетики! Пользы быть не может! Пусть идут другие. Я — никогда!..

— Алексей Максимович, во имя интересов родного Дона вы не вправе отказываться в трудную минуту, ваш

долг, как казака, обязывает вас согласиться на баллотировку, ибо только на вас — и ни на ком другом — может объединиться весь Дон!

Богаевский обладал огромной силой убеждения. Вдобавок его поддержала делегация Круга, явившаяся к Каледину. Соппротивление Алексея Максимовича было сломлено, и он дал согласие.

Из семиста двадцати депутатов более шестиста проголосовали за кандидатуру генерала. Против выступили лишь фронтовики и некоторые северяне. Митрофан Петрович был счастлив. Избрание атамана было обставлено со всей торжественностью. Осененный старинными казачьими знаменами, специально по этому поводу доставленными из Донского музея, новый Войсковой атаман и процессия депутатов направились на молебен в Вознесенский кафедральный собор. После окончания молебна, перед парадом войск, на специально воздвигнутую трибуну взошел депутат Войскового Круга Дувакин, обладавший сильным природным голосом, и прочёл грамоту, написанную Богаевским, после чего Митрофан Петрович, неотлучно бывший рядом с атаманом, провозгласил, обращаясь к нему:

— Войско Донское постановило считать тебя своим атаманом! — и под громовые крики «ура» и «любо» вручил Каледину старинный пернач, по этому случаю доставленный из Донского музея.

— Слушаю приказ Войскового Круга и низко кланяюсь ему, — волнуясь, ответил Алексей Максимович. — Только во внимание к выборному началу принял я этот почетный и тяжелый пост.

— Любо, атаман! — восторженно кричали казаки. — Ура Алексею Максимовичу!

— В течение последнего месяца, — продолжал Каледин, — беседуя со многими лицами, я слышал ото всех одно пожелание: чтобы поскорее были созданы

условия для спокойной жизни, чтобы труд всех и каждого приносил бы пользу всей стране, чтобы свобода личности была действительно, а не на бумаге, ограждена от всех посягательств. Этим вопросом придется заняться в первую очередь. Не опускайте рук перед насильниками.

Последние слова атамана заглушили возгласы бурного одобрения, у многих на глазах стояли слёзы. Не мог сдержать слёз и сам Митрофан Петрович. Ему казалось, что начинают осуществляться самые дорогие его сердцу идеи, что теперь всё наладится и на Дону, и в России. Он проникся глубокой верой в атамана и самой искренней любовью к нему. Алексей Максимович скептически смотрел в будущее, развал, виденный им на фронте, потряс его душу. Теперь перед ним лежала тяжелейшая задача. И Митрофан Петрович, избранный заместителем атамана, желал отныне лишь всемерно помочь «сумрачному генералу», поддержать его, разделить с ним тяжкий груз и действовать, действовать, действовать! Огромную силу и вдохновение чувствовал в себе донской Златоуст и не боялся никаких трудностей, веря в мудрость своего народа, в своего атамана и в собственный недюжинный ум, ум не отвлечённого мечтателя-теоретика, но деятеля, не чурающегося самой сложной работы, не теряющегося перед трудными задачами.

После вручения Каледину знаков атаманской власти начались приветствия от делегаций округов. Высокий, седой бородатый казак поздравил его с избранием на пост атамана и прямо в глаза, с искренним волнением сказал:

— Смотри, не измени, атаман!..

— Себе не изменю, станичник! — твердо ответил Каледин.

— Ты уж, атаман, держи нас во! — под веселый смех зала поднял перед Калединым сжатый кулак старик.

— Не беспокойтесь, — улыбнулся Алексей Максимович, — буду держать!..

Настала пора реализовывать программу «Возрождения Дона», во многом, составленную Митрофаном Петровичем. Программа была чёткой и ясной: поднять дисциплину в войсках, запретить митинги и собрания в полках, упразднить в армии советы и комитеты, вернуть единоначалие для возрождения былой мощи армии и победоносного завершения войны, облегчить воинские тяготы казачества, призывая к равной воинской повинности всего населения России, отменить полки второй и третьей очереди и снаряжать казаков на службу за казенный счет. Все войсковые, запасные, юртовые станичные земли Донской области объявлялись «неприкосновенной собственностью всей войсковой казачьей общины». Атаман обещал установить казачье самоуправление на Дону в виде Войскового Круга и станичных хуторских сборов. Согласно программе, Донская область должна была входить на правах федерации в единую Российскую республику.

А, между тем, уже в июле в Петрограде произошли первые выступления большевиков. Атаман, хорошо понимая разрушительность этой недооцениваемой правительством силы, собрал объединенное заседание войскового правительства с представителями Донского исполнительного комитета, совета рабочих депутатов, совета крестьянских депутатов для выработки воззвания к жителям Донской области.

— Попытка восстания безбожных большевиков подавлена, иначе и быть не могло, — открывая заседание, сказал Каледин, — Но дальше... надо смотреть дальше, господа. Уверяю вас, большевизм страшно опасен...

— На Дону нам нечего бояться, Алексей Максимович, — оптимистично откликнулся

председатель Донисполкома Андрей Петровский. — Здесь, в казачьем краю, большевизм не может привиться.

— Вы говорите, на Дону? — хмуря брови, задумчиво протянул атаман. — Конечно, трудно ожидать этого, казак слишком общественно развит, чтобы поверить в несбыточные обещания Ленина и Троцкого. Но все же, против большевиков на Дону нам следует принять немедленные меры: слишком уж притягателен для масс большевизм, и кто знает, как пойдут события дальше у нас...

До чего же прозорлив был Алексей Максимович! Все горчайшие испытания предчувствовал он, и это предчувствие точило его изнутри, и оттого был он столь мрачен... Митрофан Петрович стал ближайшим соратником атамана, его правой рукой и преданнейшим помощником. Противоположные по характеру, они дополняли друг друга: молчаливый, сумрачный, меланхолический генерал и живой, энергичный, красноречивый историк-педагог. Их отношения никогда не были отношениями начальника и подчинённого, но абсолютно равными, дружескими, полными взаимной симпатии, несмотря на разницу положения, лет и сфер деятельности. Алексей Максимович спорил с отдельными идеями Богаевского, но и Митрофан Петрович никогда не скрывал своего взгляда, выказывая его со всей прямоотой. Подчас доходило до резкостей, но это ничуть не портило отношений. Впрочем, на публике донской Златоуст всегда являл собой лишь строгого исполнителя приказаний своего атамана.

Стремясь консолидировать все силы европейских казачьих войск, в последних числах июля Каледин собрал в Новочеркасске общеказачью конференцию. На ней присутствовали председатель Кубанского Войскового правительства Филимонов, Войсковой

атаман Терского казачьего войска Караулов, представители Уральского и Астраханского казачьих войск. Главным вопросом конференции было политическое положение в стране и поиски выхода из того тупика, в который завело Россию бездарное Временное правительство. В результате двухдневного обсуждения собравшиеся пришли к единодушному выводу, что «вывести Россию на путь спасения может только единая сильная национальная власть, облеченная неограниченными полномочиями, не связанная в своих действиях никакими военными, политическими и общественными организациями, ответственная только перед Учредительным собранием». Полностью поддержав Верховного главнокомандующего генерала Корнилова, казачьи лидеры потребовали решительного укрепления дисциплины на фронтах и в тылу.

А ещё сочли атаманы недопустимым проведение Временным правительством земельной реформы, а также других преобразований до созыва Учредительного собрания... А как знать, верно ли было то решение? Ведь затянув с земельным вопросом, отдали сами крупный козырь в руки большевиков, без зазрения совести сулящих крестьянам землю. А крестьяне — взвешивают ли, правда или нет? Слушают и верят. Тем пуще, когда с других сторон не обещается ничего... Вот, и реши верно! Что в лоб, что по лбу! И доверить флюгерам-временщикам, не имеющим знаний и опыта, столь ответственное дело, как земельная реформа, страшно: этим болтунам доверь только — беды не оберёшься! И затягивать опасно — перехватят инициативу большевики... Тиски, в которых умудришься-ка вывернуться! Решили тогда так, а до сей поры гложут сомнения: верно ли?..

Выработанные основные положения казачьей программы атаман повёз на Московское совещание. В

Москве Алексей Максимович встретился с Корниловым впервые после того, как тот сменил его на посту командующего Восьмой армией. На Лавра Георгиевича Каледин возлагал большие надежды, видя в нём единственного человека, способного в короткий срок восстановить в стране дисциплину и порядок. Как один из вариантов выхода из кризиса Корнилов предложил Каледину сформировать особую казачью армию и занять пост Походного атамана всех казачьих войск России. Алексей Максимович отказался:

— Интересы государства и нашей армии, дорогой Лавр Георгиевич, а равно и интересы сбережения казачьей крови, не допускают образования отдельной казачьей армии. Да и нереально это предприятие в нынешних военных и политических условиях.

Четырнадцатого августа Верховный выступал на совещании. Он остановился на развале армии, заявив, что основной его причиной являются «законодательные меры» Временного правительства. Для спасения армии и страны от полного развала и гибели он требовал суровых и жестких мер. Взмахнув маленькой, сухонькой рукой, Лавр Георгиевич заявил:

— Времени тратить нельзя! Нельзя терять ни одной минуты. Нужна решимость и твердое, непреклонное проведение намеченных мер!

Следом на трибуну поднялся Алексей Максимович. Накануне он встретился с представителями казачьих войск России: делегатом от Оренбургского казачьего войска Дутовым, Войсковым терским атаманом Карауловым, кубанцами Рябоволом, и Щербиной и другими казачьими делегатами. По итогам этих встреч был организован президиум казачьего совещания, председателем которого стал Каледин. Его заместителями избрали Караулова и Дутова. В течение нескольких дней президиум выработал «общеказачью декларацию», которую от имени двенадцати казачьих

войск на Государственном совещании должен был зачитать Алексей Максимович. Атаман говорил с волнением, но твёрдо и решительно:

— ...Казачество, не знавшее крепостного права, искони свободное и независимое, пользовавшееся и раньше широким самоуправлением, всегда осуществлявшее в среде своей равенство и братство, не опьянело от свободы. Получив ее, вернув то, что было отнято царями, казачество, крепкое здравым смыслом своим, проникнутое здоровым государственным началом, спокойно, с достоинством приняло свободу и сразу воплотило ее в жизнь, создав в первые же дни революции демократически избранные войсковые правления, сочетав свободу с порядком.

Казачество с гордостью заявляет, что полки его не знали дезертиров, что сохранили свой крепкий строй и в этом крепком свободном строе защищают и впредь будут защищать многострадальную отчизну и свободу. Служа верой и правдой новому строю, кровью своей запечатлев преданность порядку, спасению Родины и армии, с полным презрением отбрасывая провокационные наветы на него, обвинения в реакционности и контрреволюционности, казачество заявляет, что в минуту смертельной опасности для Родины, когда многие войсковые части, покрыв себя позором, забыли о России, оно не сойдет с его исторического пути служения Родине с оружием в руках на полях битвы и внутри в борьбе с изменой и предательством...

...Для спасения Родины мы намечаем следующие главные меры:

Армия должна быть вне политики! Полное запрещение митингов и собраний с их партийной борьбой и распрями!

Все советы и комитеты должны быть упразднены как в армии, так и в тылу, кроме полковых, ротных,

сотенных и батарейных, при строгом ограничении их прав и обязанностей областью хозяйственных распоряжений.

Декларация прав солдата должна быть пересмотрена и дополнена декларацией его обязанностей.

Дисциплина в армии должна быть поднята и укреплена самыми решительными мерами!

Тыл и фронт единое целое, обеспечивающее боеспособность армии, и все меры, необходимые для укрепления дисциплины на фронте, должны быть применены и в тылу.

Дисциплинарные права начальствующих лиц должны быть восстановлены. Вождям армии должна быть предоставлена полная мощь.

...В грозный час тяжких испытаний на фронте и полного развала внутренней политической жизни страну может спасти от окончательной гибели только действительно твердая власть, находящаяся в опытных, умелых руках лиц, не связанных узкопартийными групповыми программами, свободная от необходимости после каждого шага оглядываться на всевозможные советы и комитеты, отдающая себе ясный отчет в том, что источником суверенной власти является воля всего народа, а не отдельных партий и групп...

...Россия должна быть единой. Всяким сепаратистским стремлениям должен быть поставлен предел в своем зародыше.

В области государственного хозяйства необходимо:

а) строжайшая экономия во всех областях государственной жизни, планомерно, строго и неумолимо проведенная до конца:

б) безотлагательно привести в соответствие цены на предметы сельскохозяйственной и фабрично-заводской промышленности;

в) безотлагательно ввести нормировку заработной платы, прибыли предпринимателей;

г) немедленно приступить к разработке и проведению в жизнь закона о трудовой повинности;

д) принять строгие меры к прекращению подрыва производительности сельскохозяйственной промышленности, чрезвычайно страдающей от самочинных действий отдельных лиц и всевозможных комитетов, нарушающих твердый порядок в землепользовании и арендных отношениях.

...Время слов прошло. Терпение народа истощается. Нужно делать великое дело спасения Родины.

Речь Каледина не раз прерывалась выкриками «контрреволюция», но большая часть зала встретила её аплодисментами.

А на Дону выступление атамана вызвало разную реакцию. Казаки-фронтовики, уставшие от войны, были недовольны. Это недовольство выразил Донской войсковой старшина Голубов: «Заявление Каледина тем серьезнее и опаснее, что тут замешано все казачество. Заявление генерала Каледина это не отдельный факт — это пышный цветок в букете реакции!» За это заявление Николай Матвеевич был заключён под стражу. Большой Круг, рассмотрев дело, запретил Голубову посещать казачьи войска для ведения там политической деятельности и передал все материалы о нём в суд для привлечения его к уголовной ответственности, которую он несомненно понёс бы, если бы не заступничество Митрофана Петровича. Выпускник Михайловского артиллерийского училища, Голубов был одним из лучших разведчиков русской армии в период Русско-Японской войны, а в последнюю, сражаясь в составе 27-го Донского казачьего полка, отличался исключительной храбростью, имел шестнадцать ранений, был независим с начальством и прост с рядовыми казаками. Отдать столь заслуженного

человека, донского героя, настоящего казака под суд Митрофан Петрович счёл делом неправильным и сделал всё, чтобы войскового старшину освободили. Хотя Алексей Максимович был категорически против, Богаевскому удалось настоять на своём, и Голубов был отпущен.

Немало пришлось переволноваться Митрофану Петровичу в дни «корниловского мятежа». Случилось так, что как раз в это время атаман в сопровождении одного лишь адъютанта отправился в ознакомительную поездку по северным округам Донской области. В его отсутствие в ряде газет была напечатана провокационная телеграмма, якобы посланная Каледину Корниловым: «Я смещен с должности Главковерха, на мое место назначен Клембовский. Я отказался сложить с себя обязанности Главковерха. Деникин и Валуев идут со мной и послали протест Временному правительству. Если вы поддержите меня своими казаками, телеграфируйте об этом Временному правительству и копию мне». Тогда же на имя атамана пришла телеграмма П. Рябушинского, в которой промышленник выражал надежду, что «в настоящий тяжелый час испытаний казачество выполнит свой сыновний долг перед страдающим Отечеством до конца».

Шулерский почерк Керенского, состряпавшего провокацию против Корнилова, чтобы объявить его мятежником, был здесь налицо. Флюгер флюгером, шут шутлом, а, вот же, облапошил всех, включая редкого подлеца Савинкова, и одним тычком, которого только и нужно было, обрушил в бездну вековое здание Российской Империи! Теперь опробованный метод решили повторить на Каледине, которому уж конечно не забыли его речи на Московском совещании! Всё это Митрофан Петрович понял тогда мгновенно. А между тем, Керенский уже объявил атамана изменником

Родины и врагом революции, отдал его под суд и потребовал прибытия в Могилев, где начала работу чрезвычайная комиссия, для дачи ей показаний. На борьбу с Калединым Керенский приказал мобилизовать войска Московского и Казанского округов.

Положение складывалось серьёзное, а Алексей Максимович продолжал отсутствовать. Богаевский отправил ему телеграмму: «Керенским генерал Корнилов объявлен вне закона. Ваше присутствие в Новочеркасске необходимо». Митрофан Петрович не находил себе места. Шутка ли сказать, в такое время атаман канул как в воду, даже точного местонахождения его неизвестно! И ведь уехал-то с единственным адъютантом! А что если где-то в дороге его арестуют? Нужно было срочно отыскать Каледина и вернуть его в столицу! И тогда вспомнил Митрофан Петрович ещё одну прекрасную казачью традицию и объявил по всему Дону «сполох». Пожалуй, ни одному человеку, кроме него, не удалось бы осуществить этого: из станицы в станицу, из хутора в хутор по цепочке на север Донской области полетела весть срочно разыскать атамана и возвратить его в Новочеркасск. Одновременно Богаевский созвал Большой Войсковой Круг для защиты чести и достоинства атамана.

А Алексей Максимович продолжал свой путь. Тридцатого августа он выступил перед казаками станицы Усть-Медведицкой на общестаничном сборе. Настроение казаков рознилось, старики оставались верны атаману, а фронтовики во главе с Филиппом Мироновым встречали его с неприкрытой враждебностью.

— Господа выборные старики! Господа казаки! — говорил Каледин. — Вы знаете позицию Войскового правительства относительно непорядка в стране. Наша программа известна всем как из решений Круга, так и из декларации, которая была мной оглашена в Москве

на Государственном совещании. Еще раз заявляю: нам, казакам, не по пути с социалистами, и мы должны идти с партией народной свободы. События на фронте, к сожалению, не радуют нас победами, но нельзя падать духом, а надо надеяться, что с Божьей помощью все поправится. Я призываю вас оберегать Тихий Дон от анархии, бороться с большевизмом, который является злейшим врагом России и казачества.

— Любо, атаман!.. — зашумели старики. — Ура атаману!

— Долой контрреволюционных генералов! За решетку Корнилова и калединцев! — громыхнул Миронов, стоявший в окружении большой группы фронтовиков. Он ринулся на трибуну, но путь ему преградил сотник Степан Игумнов:

— Извинись перед атаманом, Филипп, или я вот этой вот шашкой срублю тебе твою безумную головушку!

— А вот этого ты не хочешь, Степан?! — Миронов наставил на него наган. — Уйди!..

На помощь к тому и другому бросились единомышленники, и завязавшаяся драка стала зримым свидетельством раскола казачества...

Между тем, царицынский Комитет спасения революции получил приказ об уничтожении Каледина. Алексей Максимович не поверил в это и не изменил своего маршрута. Зато поверил Митрофан Петрович и отправил за атаманом автомобиль и юнкеров. Самого Каледина успел остановить член Войскового Круга Николай Михайлович Мельников. Алексей Максимович оставил поезд и верхом добрался до станицы Константиновской, где его ожидали юнкера. Два часа спустя на станции Обливской, куда должен был прибыть атаман, появились вооружённые солдаты и матросы с приказом арестовать его.

Войсковой Круг, рассмотрев дело Каледина, временно сложившего с себя полномочия, полностью

оправдал его, восстановил в прежней должности и высказался категорически против поездки Каледина в Могилев на следствие по делу о корниловском выступлении. Тогда и привёл Митрофан Петрович в действие ещё один древнейший казачий закон: «С Дона выдачи нет!»

После прихода к власти большевиков, дабы оградить Дон от распространения охватившей страну болезни, пришлось объявить область Войска Донского независимым государственным образованием до той поры, покуда ситуация в остальной России не стабилизируется.

В конце ноября атаман собрал в Новочеркасске Войсковое правительство, пригласив на заседание председателя новочеркасского военно-промышленного комитета Петровского, бывшего комиссара Временного правительства Воронкова и некоторых других общественных и политических деятелей Дона. Предстояло решить, что надо сделать, чтобы сформировать на Дону такие органы власти, чтобы они смогли противостоять большевикам, причем противостоять эффективно?..

— Надо немедленно создать крепкую власть, хватит пустых разговоров, мы уже тонем в них! — горячился Воронков.

— Это не так просто, — покачал головой Митрофан Петрович. — Попытка Виктора Чернова организовать правительство при Ставке потерпела, как известно, неудачу.

— Верховная власть должна быть создана не только одним Юго-Восточным союзом и не при Ставке, а всеми дееспособными организациями... — заметил член правительства Агеев.

— Не время заниматься бухгалтерским подсчетом реальных сил, — воскликнул начальник войскового штаба Араканцев, — пора сейчас же действовать!

Петровский вынес предложение:

— Я предлагаю организовать временную государственную власть до созыва Учредительного собрания.

Атаман взглянул на Богаевского. Митрофан Петрович поднялся и сказал:

— Господа, мы с Алексеем Максимовичем ежедневно получаем десятки телеграмм со всей России с просьбой защитить от большевиков и спасти страну от анархии. Но что может сделать одно казачество?.. Мы отказались даже от экспедиции в Воронеж. В России слишком переоценивают наши силы. Это своего рода оптический обман. Задача спасения России, к сожалению, не по плечу одному казачеству.

Атаман предложил поручить создание органов государственной власти в России правительству Юго-Восточного союза и срочно начать стягивание казачьих полков на Дон. Предложение встретило поддержку остальных участников совещания. Помолчав, Алексей Максимович взял со стола телеграмму и произнёс мрачно:

— А вот, господа, что советует нам совет Союза казачьих войск из Петрограда, читаю: «Передайте генералу Каледину: необходимо захватить всю волжскую флотилию сверху и снизу. Требуйте от Каледина, чтобы он подчинил себе войска на Кубани и Тереке с туземным корпусом», — он раздражённо бросил телеграмму. — Тут бы Дон удержать, а не то что Волгу и Кубань...

Не так, не так складывалась ситуация, как можно было надеяться... Возвращающиеся на Дон фронтовики сплошь оказались распропагандированы большевиками. С горечью взирал Митрофан Петрович на затуманенных братьев, обливалось кровью сердце при виде того, как поразившая Россию болезнь начинает охватывать Дон. Вот, хотя бы и Голубова взять! Уж на что лихой казак, а

подался в большевики! Огненными буквами горел призыв Каледина: «Помните, братья-казаки, что теперь не время разговоров и безделья — Родина наша гибнет, и мы должны спасти ее славу и честь!» Но не слышали казаки своего атамана и не спешили заботиться о славе и чести Родины, думая прежде о своём базу. Представлялось, что станет Дон непреступной цитаделью, за стенами которой найдут прибежище все верные, и расцветёт слава казачья, и укрепятся силы, и тогда достанет их, чтобы очистить от заразы всю Россию. Представлялся Дон новой Вандеей в большевистском море. Но что за Вандея без вандейцев?.. Никто не знал казаков лучше, чем Митрофан Богаевский. И ясно видел он, что многие спасительные их качества, оказались, если и не истреблены, то придавлены годами войны, которая так надоела всем... Война развратила людей и подготовила благодатную почву для большевистского сева... Атаман приходил в отчаяние: «Власти нет, силы нет, казачество заболело, как и вся Россия»...

И всё же нельзя было опускать рук. И Митрофан Петрович продолжал своё служение, как продолжал его и темнеющий день ото дня, осунувшийся и постаревший атаман. Многие были сделаны: удалось стабилизировать власть и образовать твердые структуры политического и экономического управления, создать Донское экономическое совещание, подготовить все необходимое для введения собственной денежной системы...

Собирались на Дону все оставшиеся не у дел политики: Милюков, Шульгин, Струве, Родзянко... Последний даже пожелал, чтобы его приписали к казачьему сословию, что и было сделано. На Барочной улице генерал Алексеев приступил к образованию Добровольческой армии. Осколки погибшей России оказались в одночасье сметены сюда, под защиту

казачества. Доболтались, доигрались в свои политические игры, дотщеславились... А теперь возложили надежды на казаков — выручайте! «Русская государственность будет создаваться здесь... Обломки старого русского государства, ныне рухнувшего под небывалым шквалом, постепенно будут прибиваться к здоровому государственному ядру юго-востока», — мечтали газеты. Ах, если бы, если бы!..

Целый поток знаменитейших имён России нескончаемой чередой тёк во дворец атамана. Явился однажды и Борис Викторович Савинков, расположился удобно в кресле, заговорил, как ни в чём не бывало (кажется, никто из этих людей не понимал собственной вины за случившееся, а лишь рьяно валили друг на друга):

— Я думаю, Алексей Максимович, вы не понимаете, что совершенно невозможно бороться против большевиков, не опираясь на крестьянство. Ведь настоящая Россия в огромной степени крестьянство, для крестьянства и во имя крестьянства. Иначе борьба окончится неудачей...

Митрофан Петрович взглянул на атамана и, по лицу его догадавшись, что Алексей Максимович собирается высказать бывшему террористу нечто резкое, торопливо заговорил сам:

— Нет, Борис Викторович, время демократии прошло. Мы рассчитываем на буржуазию и казаков.

Погорячились, погорячились тогда... Уж слишком неумоготу было счесть, что такой подлец, как Савинков, может дать дельный совет. А ведь он, как не печально, оказался пророком... И ведь быстро поняли это, и выдвинул атаман программу «паритета» прав всех групп и сословий донского населения. Но — опоздали! Совсем чуть-чуть опоздали! Уже успели оседлать этого конька большевики, и насулить крестьянам золотые горы... Зато предложение атамана встретило

противодействие со стороны части казаков, которые упорно гнули линию на то, что власть на Дону должна принадлежать исключительно казакам, хотя они составляли менее половины донского населения. И вывернись, попробуй! Знать бы, где упадёшь...

А Савинков вскоре Дон покинул. Покинул после двух встреч с Корниловым. В первую упал перед ним на колени, каясь в предательстве, во второй просил дать ему дело. Лавр Георгиевич согласился, но предупредил:

— Смотри, Борис Викторович: ещё раз изменишь — повешу!

И исчез бывший террорист... Зато попытался явиться бывший его патрон флюгер Керенский. Алексей Максимович, узнав об этом, взорвался:

— Мало ему, что всю Россию погубил, так хочет и на Дону свою разрушительную работу продолжить! Вон! Чтобы духу его здесь не было. Не желаю его даже видеть, пусть лучше убирается прочь отсюда!

Сгущались тучи над Тихим Доном... Большевики захватили Ростов, отрезав Дон от остальных казачьих земель, и Каледин был вынужден двинуть все наличные силы для его освобождения. Страшно было пролить первую кровь, но иного выхода не было. Ростов был освобождён, а следом полковник Кутепов занял Таганрог. Большевицкая пропаганда визжала о «зверствах калединовцев». Опровергать эти клеветнические вымыслы вновь выпало Митрофану Петровичу: «Много ходит преувеличенных рассказов о жестокости А.М. Каледина, проявившейся во времена ростовского дела. Да, несколько боевых стычек было жестоких: возле Нахичевани и во время осады ростовского вокзала, где... действительно красногвардейцев легло много, а их невысокая в то время боеспособность эти жертвы увеличивала (говорят, они шли в-открытую против вокзала). ...Войдя в город, Каледин зверств, казней и т. д. не устраивал...»

Для обсуждения начавшейся де-факто гражданской войны собрался Войсковой Круг. Выступая перед ним, атаман говорил:

— Вы, может быть, спросите, почему же мы не покончили с большевиками одним ударом? Сделать это было нетрудно, но страшно было пролить первым братскую кровь.

— Но кровь пролилась! — выкрикнул кто-то из зала.

— Кровь пролилась... — тихо повторил Алексей Максимович и добавил: — Я пришел сюда с чистым именем, а уйду, может быть, с проклятиями. Поэтому я ставлю вопрос о доверии себе и своим действиям и слагаю пока свои полномочия Войскового атамана.

Выступал на Круге и Митрофан Петрович:

— Я с тоской и мукой стоял над гробом тех юношей, которых мы похоронили. Я искал ответа: лежит ли эта кровь на моей душе? — и говорил: да, лежит. Но пусть лежит она не на мне только одном. Я принимаю ее на свою душу, но если потребуется моя кровь, то я отдаю ее за казачество. К этому я готов. Нет, не преступление то, что мы делаем, а осуществление гражданского долга. Мы, рискнувшие на этот шаг, совершаем его во имя тех целей, которые надо достигнуть, во что бы то ни стало. Я не стану вас призывать проливать свою и чужую кровь, но, когда приходят чужие и отнимают у нас Ростов, я заявляю: не боюсь я этой крови, ибо на ней строится великое будущее, так как пришел смертный час, а мы и Россия еще не хотим умирать...

Тяжек груз пролитой крови... И сколько ещё прольётся её на Дону! Казачьей крови, братской крови... Краса и гордость Дона, вольные и отважные казаки, истребят друг друга, осиротят благословенную эту землю — и за что же?.. И как отвратить напасть, как остановить, как вернуть разум потерявшим его?..

Заседание Круга завершил атаман. Мрачный и усталый, он произнёс твердым голосом:

— Власть — это тяжкий крест, который я взвалил на себя в этой борьбе с большевиками. Выйти победителем из нее мы сможем только в том случае, если все население Дона энергично поддержит своих избранников. Так, значит, борьба не на жизнь, а на смерть! Прошу верить, долг свой исполню до конца!

Что-то похоронное прозвучало в этих словах, полоснуло острым ножом по сердцу, предчувствие надвигающейся трагедии, неотвратимой и чудовищной, нависло над всеми присутствующими, и не смогла рассеять её ни старинная казачья песня в исполнении Агеева и других депутатов, ни лихая пляска Бадьмы Уланова... Нарочитое это веселье показалось ещё более страшным, чем мрачность, слишком похожим на поминки...

В первой декаде января большевистски настроенные казаки-фронтовики на своём съезде в Каменской объявили, что берут власть на Дону в свои руки, и выдвинули ультиматум, в котором донской атаман объявлялся вне закона, какая-либо помощь каледицам «со стороны местного населения или железнодорожного персонала» запрещалась, и декларировалось, что «всякий трудовой казак, который сбросит с себя иго Калединых, Корниловых и Дутовых, будет встречен братски и найдет необходимую поддержку со стороны советской власти».

Атаман встретился в Новочеркасске с представителями съезда во главе с председателем Военно-революционного комитета Федором Подтелковым. Последний потребовал передать им всю полноту власти на Дону. Требование это было в высшей степени нахальным, учитывая расстановку сил. Донское казачье войско насчитывало шестьдесят конных полков, шесть пеших батальонов, сто двадцать шесть отдельных конных сотен, тридцать семь батарей и пять запасных полков. Из всего этого числа воинских сил

Подтелкова поддержали одиннадцать полков, один батальон, пять батарей, одна сотня и одна местная команда. По итогам выборов на Дону в Учредительное собрание, проводившихся в ноябре, за четвёртый казачий («Калединский») список проголосовало более сорока пяти процентов избирателей Дона. За большевистский пятый список отдали голоса менее четырёх процента избирателей. И, вот, выразители интересов от силы четырёх процентов избирателей с непревзойдённым апломбом заявляли теперь о намерении диктовать остальным девяноста шести процентам «свою волю», невозмутимо соглашаясь, что это обыкновенное насилие. Компромиссные предложения атамана, стремившегося сохранить мир на Дону, успеха не имели. Им, этим четырём процентам отщепенцев, было глубоко плевать и на Дон, и на мир, и на братскую кровь. Ради достижения своих целей они не собирались останавливаться ни перед чем, они не были связаны никакими рамками, а потому действовали вызывающе нагло, ничуть не заботясь о последствиях. Как могло случиться, что эта кучка людей стала вдруг доминировать, оказывать давление на абсолютное большинство, которое составляли крепкие, разумные, честные казаки?.. Непостижимо!

Разговор закончился ничем, а, между тем, к Новочеркаску стягивались красные войска. Добровольческий штаб был перенесён в Ростов. Корнилов не разделял мягкости Донского правительства, выговаривая Алексею Максимовичу, что нужно меньше цацкаться с обнаглевшими бандитами, а куда полезнее пустить кровь. Теперь, когда возникла зримая угроза казачьей столице, атаман решил собрать членов правительства и Круга, дабы обсудить сложившееся положение и выработать план действий. Митрофан Петрович посоветовал пригласить также Алексеева и Корнилова. Однако, из-за напряжённой

обстановки под Ростовом последние приехать не смогли, вместо них на совещание прибыл начальник штаба Добровольческой армии генерал Лукомский.

— Господа, к сожалению, ситуация на фронтах очень тяжелая. Дон окончательно развалился, и спасти положение весьма трудно. Без Добровольческой армии нам не отстоять Дон, — заявил атаман и повернулся к Александру Сергеевичу: — Поэтому я просил бы вас, Ваше Высокопревосходительство, передать генералам Корнилову и Алексееву нашу настоятельную просьбу сосредоточить главные силы Добровольческой армии в Новочеркасске и на подступах к нему.

Лукомский, непроницаемый как всегда, поднялся с места и, извинившись за отсутствие своего начальства, ответил:

— Зная о вашем желании сосредоточить Добровольческую армию под Новочеркасском, они считают это нецелесообразным, опасаясь, что мы потеряем Ростов, и Добровольческая армия попадет под Новочеркасском в ловушку. Этим мы погубим начатое дело. Они приняли решение отступить на Кубань и просят вас скорее вернуть в Ростов офицерский батальон.

— Я отдал соответствующее распоряжение, — угрюмо отозвался Алексей Максимович.

Повисла тягостная пауза. На атамана было больно смотреть. Митрофан Петрович прервал молчание:

— Похоже, что Новочеркасск удержать не удастся, поэтому атаману, Донскому правительству и Войсковому Кругу надо переезжать в район еще крепких и стойких станиц, расположенных по Дону, и там постараться заставить казаков откликнуться на призыв атамана.

— Оставлять Новочеркасск я не собираюсь! — жестко оборвал его Каледин. — Я считаю недопустимым, чтобы Войсковой атаман бежал из

столицы Донского края и скитался где-то по станицам... Если ничего не выйдет, я погибну здесь, в Новочеркасске.

Спорить с атаманом было бесполезно, но Митрофан Петрович всё же решил приложить все усилия, чтобы спасти его от неминуемой гибели, которая стала бы огромной потерей для всего Дона и большим личным несчастьем для самого Богаевского.

Но на этот раз все усилия оказались напрасными... Атаман исполнил своё обещание. В то роковое утро, двадцать девятого января Алексей Максимович велел своему ближайшему соратнику собрать в атаманском дворце членов Войскового правительства. Накануне он выпустил своё последнее воззвание к казачеству: «Граждане казаки! Среди постигшей Дон разрухи, грозящей гибелью казачества, я, ваш Войсковой атаман, обращаюсь к вам с призывом, может быть, последним.

Вам должно быть известно, что на Дон идут войска из красноармейцев, наемных солдат, латышей и пленных немцев, направляемых правительством Ленина и Троцкого. Войска их подвигаются к Таганрогу, где подняли мятеж рабочие, руководимые большевиками. Такие же части противника угрожают станице Каменской и станциям Зверево и Лихой. Железная дорога от Глубокой до Чертково в руках большевиков. Наши казачьи полки, расположенные в Донецком округе, подняли мятеж и, в союзе с вторгшимися в Донецкий округ бандами красной гвардии и солдатами, сделали нападение на отряд полковника Чернецова, направлявшийся против красногвардейцев, и часть его уничтожена, после чего большинство полков, участников этого гнусного и подлого дела, рассеялось по хуторам, бросив свою артиллерию и разграбив полковые денежные суммы, лошадей и имущество. В Усть-Медведицком округе вернувшиеся с фронта полки, в союзе с бандой красноармейцев из Царицына,

произвели полный разгром на линии железной дороги Царицын — Себряково, прекратив всякую возможность снабжения хлебом и продовольствием Хоперского и Усть-Медведицкого округов. В слободе Михайловской, при станции Себряково, произвели избиение офицеров и администрации, причем погибло до 80 офицеров.

Развал строевых частей достиг предела, и, например, в некоторых полках Донецкого округа удостоверены факты продажи казаками своих офицеров за денежное вознаграждение. Большинство из остатков уцелевших полевых частей отказываются выполнять боевые приказы по защите Донского края.

В таких обстоятельствах, до завершения начатого переформирования полков, с уменьшением их числа и оставлением на службе только четырех младших возрастов, Войсковое правительство, в силу необходимости, выполняя свой долг перед родным краем, принуждено было прибегнуть к формированию добровольческих казачьих частей и, кроме того, принять предложение и других частей нашей области — главным образом учащейся молодежи — для образования партизанских отрядов.

Усилиями этих последних частей и, главным образом, доблестной молодежи, беззаветно отдающей свою жизнь в борьбе с анархией и бандами большевиков, и поддерживается в настоящее время защита Дона, а также порядок в городах и на железных дорогах части области. Ростов прикрывается частями особой Добровольческой организации.

Поставленная себе Войсковым правительством задача — довести управление Областью до созыва и работы ближайшего (4 февраля) Войскового Круга и Съезда неказачьего населения — выполняется указанными силами, но их незначительное число, и положение станет чрезвычайно опасным, если казаки

не придут немедленно в составы добровольческих частей, формируемых Войсковым правительством.

Время не ждет, опасность близка, и если вам, казаки, дорога самостоятельность вашего управления и устройства, если вы не желаете видеть Новочеркасск в руках пришлых банд большевиков и их казачьих приспешников-изменников, — то спешите на поддержку Войсковому правительству посылкой казаков-добровольцев в отряды.

В этом призыве у меня нет личных целей, ибо для меня атаманство — тяжелый долг. Я остаюсь на посту по глубокому убеждению необходимости сдать пост, при настоящих обстоятельствах, только перед Кругом...»

Но казаки не поспешили на отчаянный зов своего атамана, не поднялись всем миром на защиту своей самостоятельности. Казаки, восторженно вручившие Каледину власть несколько месяцев назад, казаки, клявшиеся ему в верности, предали его, отступились, разошлись по своим базам и покинули в одиночестве. Страшный грех предательства, пал ты и на славную казачью голову, и великой кровью смывать его!

День был сумрачным, дул холодный, порывистый ветер, и мелкие капли дождя разбивались о серую муть окна. Сумрачный атаман выслушал доклад Походного атамана Назарова, признавшего положение безнадежным. Беспросветным было положение, беспросветный день стоял за окном, беспросветным был взор атамана, в котором таилось страшное решение, и от которого не по себе становилось Митрофану Петровичу, тщетно искавшему выхода и впервые не находящему его.

— Господа! Положение наше безнадежное, — заговорил Каледин, — почти все окружные станицы находятся в руках большевиков, боевых частей нет, население не только нас не поддерживает, но

настроено к нам враждебно. Недалеко от Новочеркасска появился новый сильный отряд красных с кавалерией и артиллерией. Поздно ночью я получил телеграмму от генерала Корнилова, в которой Лавр Георгиевич извещает, что Добровольческая армия, ввиду безнадёжности положения на Дону, покидает Ростов и уходит на Кубань. Лавр Георгиевич просит меня также отдать распоряжение добровольческим ротам сняться с новочеркасского фронта и идти в Ростов на соединение с уходящей армией. Такое распоряжение мною уже отдано. Таким образом, господа, у нас больше нет сил, и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития, предлагаю сложить свои полномочия и передать власть городскому самоуправлению. Пусть они сами выйдут на переговоры с большевиками и предотвратят кровопролитие.

С места поднялся председатель Круга Николай Михайлович Мельников. Бледный, но сохраняющий спокойствие, он произнёс:

— Господа, я не теряю надежды, что казаки одумаются, и нам нужно выиграть время. Для этого необходимо отойти от железнодорожной линии, вдоль которой передвигаются большевики. Предлагаю так же, как это ни прискорбно, оставить Новочеркасск и уйти в степи, начав теперь же срочную переброску всего необходимого в станицу Константиновскую.

Атаман, поочерёдно открывавший ящики стола и нервно рвавший какие-то записки, чеки, другие бумаги, заявил, что с предложением этим не согласен и столицу не покинет. Перешли к обсуждению, кому передать власть. Затянувшийся спор резко прервал Алексей Максимович:

— Довольно говорить, господа! От болтовни Россия погибла. Давайте кончать!..

— Так что же делать, Алексей Максимович?!

— Это решает каждый за себя. Мною уже давно решено: я слагаю с себя полномочия, я уже не атаман!..

Власть в городе решено было передать новочеркасской городской управе. Условились в шестнадцать часов встретиться в здании управы и подписать там соответствующий акт. Атаман передал членам правительства имевшиеся у него на руках благотворительные суммы и облегченно выдохнул:

— Ну, слава Богу, от этого очистился!

Предчувствуя недоброе, члены правительства, стали тихо переговариваться между собой:

— Надо спасти атамана, господа!

— Увезти в Добровольческую армию...

— Не поедет, господа...

— Если нужно, увезти силой!

Никогда прежде не было так скверно на душе у Митрофана Петровича. Весь мрачный вид атамана, его решимость на что-то, его слова — всё указывало на грядущее несчастье. Томимый этим острым предчувствием, Богаевский поспешил на служебную квартиру Алексея Максимовича. По дороге он заглянул к себе и узнал от встревоженной жены, что утром к ней заходила супруга атамана, Мария Петровна, и поведала о своём тяжёлом предчувствии, вызванном приснившимся накануне сном:

— Два огромных жеребца бились, один черный такой, другой белый. Страшная была схватка, и черный победил белого!

Елизавета Дмитриевна, как могла, попыталась успокоить Марию Петровну, но сама была крайне удручена её рассказом и настроением. Ещё более взволнованный, Митрофан Петрович вместе с женой бросился на квартиру Каледина и опоздал на считанные мгновенья... Когда он, запыхавшийся, вбежал в комнату, атаман был уже мёртв. Он лежал на кровати со скрещенными на груди руками и застывшим взором,

полным безысходной тоски. Аккуратно висел на спинке стула китель, аккуратно лежали на столе снятые Георгиевский крест и часы, показывающие половину третьего. На полу лежал кольт. У тела мужа отчаянно рыдала Мария Петровна. Неподалёку замерли денщик, горничная и скулящий пудель, любимец покойного Алексея Максимовича. Митрофан Петрович бережно поправил голову атамана, извлёк из-под кровати сплюсненную пулю, пробившую грудь Каледина, а следом тюфяк и матрац, а затем по телефону, оповестил о случившемся архиепископа Гермогена, вызвал доктора и похоронную команду с гробом... На столе Богаевский обнаружил предсмертное письма атамана, адресованное генералу Алексееву:

«Многоуважаемый генерал Алексеев! Волею судеб и желанием казачества Тихий Дон вверил Вам судьбу казачества и предложил избавить Дон от ненавистников свободного и здорового казачества, от врагов всякого национального самоопределения, от большевиков. Вы, с Вашим горячим темпераментом и большой отвагой, смело взялись за свое дело и начали преследование большевистских солдат, находившихся на территории Области Войска Донского. Вы отчаянно и мужественно сражались, но не учли того обстоятельства, что казачество идет за своими вождями до тех пор, пока вожди приносят ему лавры победы, а когда дело осложняется, то они видят в своем вожде не казака по духу и происхождению, а слабого проводителя своих интересов и отходят от него. Так случилось и со мной и случится с Вами, если Вы не сумеете одолеть врага. Но мне дороги интересы казачества, и я Вас прошу пощадить их и отказаться от мысли разбить большевиков по всей России. Казачеству необходимы вольность и спокойствие; избавьте Тихий Дон от змей, но дальше не ведите на бойню моих милых казаков. Я ухожу в вечность и прощаю Вам все обиды,

нанесенные мне Вами с момента Вашего появления на нашем Кругу.

Уважающий Вас Каледин.»

И начались панихиды... Протяжно и скорбно звонил старый соборный колокол, созывая людей молиться за упокой души атамана. И под мокрым снегом, сквозь сумрак тянулись в собор нескончаемые вереницы плачущих людей. У усыпанного цветами гроба стояла безмолвная, будто и сама неживая, вдова. Слёз у неё не осталось, и лицо было каменным. Бесконечная тоска разлилась по Новочеркасску, но и этот выстрел не всколыхнул Дон... Атамана отпевали вместе с погибшим от ран офицером. Их гробы стояли рядом, и старая монахиня со слезами на измождённом лице шептала молитвы. Она перепутала имя офицера, и стоявший рядом часовой заметил ей это.

— И, батюшка, что же тут такого, что я ошиблась? Лежат, родненькие, как отец с сыном... Он при жизни был всегда с ними, с детьми, которые умирали за нас. Бог знает, что я ошиблась и не осудит меня за это... — ответила старуха и всхлипнула.

Когда гроб выносили из собора, оркестр играл «Коль славен» и траурный марш Шопена, и сердца присутствующих разрывались на части. А потом было старое кладбище, последний звон колоколов, последняя литургия, холодная могила, и Митрофан Петрович, сдерживая рыдания, бросил горсть мёрзлой земли на крышку гроба своего атамана... Даже теперь эти воспоминания мучительно сдавливали горло...

После похорон Богаевский вместе с женой уехал в Сальский округ, где поселился в доме калмыцкого священника. Здесь-то и нашёл его войсковой старшина Голубов... Не доверяли Николаю Матвеевичу большевики! Даже после расправы с атаманом Назаровым не доверяли! И решил он укрепить позиции, изловить известного врага советской власти, правую

руку Каледина, Митрофана Богаевского. Замыслил поход в Донские степи, но, оказалось, что его собственный полк не испытывает желания участвовать в таком деле. Казаки не хотели воевать со своими братьями. И тогда Николай Матвеевич отправился один, сколотил банду из крестьян в районе Великокняжеской и нагрянул ночью по душу донского Златоуста. Отблагодарил за оказанное некогда заступничество! Боже, как же низко может пасть человек... Митрофан Петрович не сопротивлялся. От шестого до восемнадцатого марта Голубов держал его в арестных домах станиц Платовской и Великокняжеской, раздумывая, идти или не идти дальше в степи со своей разнузданной бандой, но в итоге решил отправиться с пленником в Новочеркасск. Там измождённого дорогой Богаевского поместили на гауптвахту под охраной казаков. Голубов и комиссар его отряда Ларин хотели, чтобы инициатива расправы с пленником исходила от самих казаков, для чего решили устроить нечто вроде народного суда. В кадетском корпусе собралась большая толпа, и обвинители, не имевшие конкретных обвинений, предоставили слово обвиняемому...

В последний раз блестящий оратор Митрофан Богаевский держал речь перед публикой. Несмотря на моральную и физическую измученность и понимание близкого конца, он говорил три часа, говорил вдохновенно, может быть, ещё вдохновеннее, чем прежде. Он вновь обращался к излюбленным примерам родной старины, он взывал к сердцу каждого казака, он говорил с братьями, которых знал, как самого себя, плотью от плоти которых был, и эта лебединая песня, в которую казачий Боян вложил всю без остатка душу, завораживала, и казаки слушали его молча, и их сердца откликались на боль его сердца... Невысокий, худой, истощённый, он стоял посреди «врагов», но обращался к ним, как к братьям, плавно текла речь, произносимая

вкрадчивым голосом, без всякой аффектации, и внимали казаки этой дивной исповеди, и прочь отступали образы разнузданных солдат и матросов, с которыми безумно соединились они. Перед ними стоял не политик, не агитатор, не враг, а их брат, искренний человек, отдавший всю жизнь Дону, воспитывавший его молодёжь, истинный казак, на которого их, казаков теперь пытались натравить чужаки.

После речи Богаевского толпа взволновалась. Некоторые плакали. Казаки обступили Голубова, спрашивали, что он думает делать с пленником.

— Товарищи, Ростов требует его выдачи.

— Бросьте, господин войсковой старшина! Ну какие мы вам товарищи!

— Нет, товарищи, я старый социалист-революционер и это слово для меня священо.

— Ладно уж! — раздалось из толпы. — Богаевский наш казак, и вы не должны отдавать его в чужие руки!

— Не выдадим! Не выдадим! — слышалось со всех сторон.

— Хорошо, я об этом подумаю, — сказал Голубов.

Николай Матвеевич не нарушил воли казаков и не выдал Богаевского в руки Ростовского Исполкома, окончательно испортив отношения с красной властью. Но красная гвардия с броневиками заняла Новочеркасск, разогнала весь казачий гарнизон и, взяв Митрофана Петровича с гауптвахты, доставила его в Ростов. Здесь-то и начались последние круги ада. Лучше бы было, пожалуй, если бы Голубов разделался с ним, как со многими другими... Хотя тогда не было бы той последней встречи с казаками, не увидел бы Богаевский, как от его слов, слов обречённого смертника воскресает в них истинный казачий дух, за сохранение которого он боролся всю жизнь, не увидел бы слёз на их глазах... Значит, всё не напрасно...

С грохотом открылась дверь камеры. Митрофан Петрович с трудом приподнялся. На пороге стояли двое: председатель ростовской Чрезвычайной следственной комиссии Берушь-Рожинский и начальник ростовской Красной гвардии — сын петербургского чиновника, студент Новочеркасского Политехнического института, проживавший в Донской столице с матерью и известный там, как хромоногий дебошир Яшка Антонов.

— Выходи, контра! — приказал Яшка, кривя губы и поигрывая зажатым в руке наганом.

Что ещё?.. Очередной допрос?.. Уже?.. Ах, доктор, доктор, отчего вы были столь жестокосердны и не подали просимого... Мало было Подтёлкова, так ещё этот расхристанный колченогий мальчишка с обозлённым лицом будет глумиться и плевать ему в лицо... Но теперь уж недолго... Если после первого допроса на теле не осталось живого места, то на втором уж верно выбьют дух.

— Живее! Ну!

Митрофан Петрович с усилием поднялся и, шатаясь, вышел из камеры. Его медлительность чрезвычайно раздражала Яшку, и он постоянно бранился и толкал пленника в спину. У тюрьмы ждал автомобиль. Богаевский был уверен, что повезут его туда же, куда и накануне, в Военно-революционный трибунал, но маршрут оказался иным. Автомобиль быстро мчался по улицам Ростова, а затем и вовсе покинул пределы города.

— Куда вы везёте меня? — безнадёжно спросил Митрофан Петрович.

— Не твоё дело, — огрызнулся Яшка.

У Балабановской рощи остановились. Яшка проворно выбрался из автомобиля и, распахнув перед арестантом дверь, скомандовал:

— Выходи!

Богаевский вышел и последовал за Антоновым в рощу. Рожанский шёл позади. Был чудный апрельский день. Просыпалась природа после зимнего холода, покрывалась зелёным ковром земля, начинали шуметь листвой деревья, и воздух чудно пах свежестью и первыми цветами. Митрофан Петрович глубоко вдыхал его, стараясь в последние мгновения жизни запомнить мир таким, каков он был в этой благоухающей весенней роще — прекрасным, Божьим... Тихо было здесь, лишь птицы перекликивались нежными голосами, радуясь весне. И эту тишину разорвал выстрел, испугнув стаю птиц, взвившихся в небо. Пуля попала в челюсть, и, захлёбываясь кровью, Митрофан Петрович повалился на землю.

— Добей! — приказал Рожанский Яшке.

И ещё один выстрел грянул в тишине... И навсегда умолк голос донского Златоуста, с такой беззаветной любовью воспевавший родную землю и родной народ и принявший мученическую смерть за эту любовь, за свою верность Дону...

Глава 14. Атаман

В набат не били. Вся немногочисленная деревня и без того собралась на сход. И как было не собраться, если с часу на час ожидали карателей? Накануне явился в деревню комиссар, увещевал и требовал сдать утаиваемое зерно, необходимое для поддержки великих завоеваний революции и голодающих в городах рабочих и их семей. Комиссар был молод, говорил горячо. Но крестьяне лишь посмеивались:

— А мы и защищаем завоевания революции! Земля и хлеб наши таперича: хотим дадим, хотим сами съедим!

Комиссар осерчал не на шутку:

— За утаивание хлеба и неподчинение власть будет карать по законам революционного времени! Если не отдадите по-хорошему, то завтра мы пришлём в деревню отряд красногвардейцев!

— Но-но! Ты, мил человек, нас не пужай! — лукаво прищурился староста. — Чай, ты не барин! Нужён хлебушек? Так подай денежку! Мы вас, беспорточников, над собой не ставили, чтобы кормить вас за здорово живёшь!

— Вы не достойны называться гражданами молодой советской республики! Вы кулаки! Мироеды вы! Мерзавцы!

Ох, не следовало говорить этого комиссару! Загудела тёмная толпа, надвинулась. Подскочил Сенька-Рыжий, спросил с издёвкой:

— А что, товарищ, все ли равны нынче?

— Все трудящиеся равны!

— Ну, так получай тогда по равенству! — и сунул Сенька в пятак комиссару. Тот выхватил из-за пояса маузер, стрельнул, ранив случайного парнишку, кинулся к лошади, вскочил на неё, помчался прочь, но

далеко не ушёл: хлопнул выстрел сзади, выпрямился комиссар последний раз в седле, а затем осел мешком, свесился к земле. Стрельнул в него из охотничьего ружья отец раненого парнишки Авдей. Стрельнул, опустил ружьё, утёр шапкой лоб, сплюнул:

— Собака... Довёл до греха...

Бабы заохали, мужики присмирели, разом почувствовав неминуемую кару за содеянное. А следующим утром собрались все на сход. В середину вышел староста, Трифон Ильичёв. Разменял уже Трифон полвека, схоронил жену и двоих ребятишек, но до работы был зол, ненасытен. Был он невысок, худ, но жилист, крепок, смугл и черняв, как цыган, зорко смотрели тёмные глаза, щурились лукаво, посмеивались. В деревне Трифон пользовался непререкаемым авторитетом: знал он грамоте, отличался сметливостью, хваткостью, рассудительностью, умел говорить красно, умел и дело делать не хуже. Вот, и теперь слушали все его с напряжённым вниманием. Говорил староста о том, что мужик должен быть хозяином на земле, поскольку без мужика земля, что баба, родить не станет, что не могут всякие пришлые комиссары и беспорточники ничего требовать от мужика, но мужик сам должен диктовать им условия. Затем Трифон перешёл к главному:

— Скоро приедет к нам отряд красногвардейцев! Пощады от них ждать нам не приходится! Так как же встретим мы этих незваных гостей?

— На вилы их!

— Надо в лес уйтить и переждать!

— Чего переждать?! Переждать, покуда они всё наше имущество загребут и дома попалят?! А нам с бабами да ребятишками куды?!

— Тише! — прервал спор Трифон. — Кто за то, чтобы дать отпор беспорточникам?

Разом большинство рук взметнулось вверх.

- Добро. Кого поставим командовать нами?
- Так кого же, как не тебя, Трифон Гаврилович?
- А пущай гость твой себя покажет!

Так, нежданно-негаданно, стал полковник Тягаев во главе мужицкого бунта...

Неведомая, но верная сила хранила жизнь Петру Сергеевичу. Трудное ли дело сломать шею, спрыгнув с идущего на всех парах поезда? А он отделался лишь сильными ушибами да порядком расшиб голову. Правда, мог полковник и замёрзнуть насмерть, лёжа у насыпи и не в силах двинуться. Но повезло и здесь: нашёл его лохматый дворовый пёс, залиvistым лаем привлёк хозяина... Тем хозяином оказался Трифон Ильичёв. В его избе, тёмной и слегка запущенной без женского пригляда, Тягаев и жил с того дня. Первые несколько дней пролежал в бреду. Старая контузия, помноженная на новый ушиб, причиняла страшную боль. Перед глазами, как в калейдоскопе, сменялись полуреальные-полубредовые картины, смесь воспоминаний и сна: то мчался он на коне в атаку с шашкой наголо, сражался, рубил, отдавал приказы, а затем раздавался взрыв, и всё меркло; то виделся парад, и Государь, принимающий его, то продолжался неоконченный спор с Кроминым, то являлось усталое лицо жены, то вспоминались улицы Петрограда, толпа, сомкнувшаяся кольцом вокруг него, а среди неё те трое, из поезда, и вдруг чудился сам поезд, и женщина с глазами лани...

Когда Пётр Сергеевич начал приходить в себя, то увидел вдруг рядом смуглого мужичка с редкой бородкой и умными, лукаво прищуренными глазами. Мужичок усмехнулся:

- Здорово ночевал, твоё благородие!

Тягаев напрягся, но у него не хватило сил даже приподнять голову. Трифон, между тем, посмотрел на него насмешливо, но без злости:

— Что ты занервничал-то, твоё благородие? Мы не выдадим. Нам господа офицеры ничего худого не сделали.

— Откуда ты взял, что я офицер?

— Ты, твоё благородие, в бреду говоришь всё время. Прямо скажу, даже утомил меня — ни сна, ни покоя, — Трифон чему-то развеселился. — А из бредовых твоих откровений узналось, что ты ажник полковник. И ещё много чего узналось, но до остального дела мне нет.

— Значит, не выдашь?

— А на кой ляд мне тебя выдавать? Власти беспорточников я не признаю. Так что не беспокойся, твоё благородие.

Верить хитрому мужику у Тягаева причин не было, но и выбирать не приходилось, осталось положиться на судьбу. Трифон честно заботился о своём госте, отпаивал его какими-то травами, и через неделю Пётр Сергеевич уже встал на ноги. Староста, судя по всему, и впрямь не имел намерений выдавать его. Вдобавок, не стесняясь в выражениях, хулил новую власть, что весьма обнадёжило полковника.

— Шаромыжники, — презрительно говорил Трифон, цедя сквозь зубы чай, налитый в блюдце. — Пролетарии! Ишь что удумали, собаки: они, видите ли, главные, они, видите ли, наипервейший класс! Они, видите ли, должны диктовать всем остальным, как жить! Это с каких же таких пор яйца прежде курицы стали?! Мы землю пашем! За скотиной ходим! Мы даём им хлеб, молоко, мясо! Что бы мир делал без пахаря? С голоду бы издох! А пахарь проживёт и сам по себе! С пахаря всё началось! Все другие классы из пахарей вышли! И ремесленники, и воины, и князья, и купечество! А теперь пахаря в загон?! И кого наперёд?! Безграмотных, беспочвенных болванов?! Пьяниц и лентяев?! Беспорточников?! И им покорись?! А шиш! Кто есть этот самый рабочий класс? Ведь они все из нас же

вышли! Из пахарей! Да только из тех, что похуже! Из тех, кто с землёй совладать не умел, а вольные хлеба предпочёл! Они там землю-то забыли на своих фабриках! Что они видят там? Станки! Механизмы! Мертвечину! Природу забыли! Бога забыли! Один только механизм и всё! А таперича они главные?! Да кто они есть, чтобы нам указывать?! А эти их вожди?! Социалисты или как их там?! Черти драповые... Они мужика-то и не видали! Не нюхали! Не знавали! Уровнять хотят! Бедных с богатыми! Да я свою тёлку лучше под нож пущу, чем какому-нибудь лентяю-беспорточнику отдам! Собственность — вот, всему основа! Мужик своего не отдаст, он за своё зубами глотку перегрызёт любому!

— Так ведь большевики землю обещают? — подстрекнул Тягаев Трифона.

— Брехуны! — фыркнул староста. — Землю нам уже дали! При Столыпине! Кто хотел, кто мог — все получили, и все зажили чин-чинарём, кроме всякой пьяни! Дать даденное они собрались?

— Барские земли.

— Барские земли мужик и без них взял! Их участия не требуется! Не могут эти беспорточники дать ничего! Они голодранцы! Чего они дать могут? Они привыкли брать, а не давать! И к тому же, твоё благородие, верить лозунгам тёмный народ может, а я их подноготную знаю! Читал!

Пётр Сергеевич посмотрел на старосту с удивлением:

— Откуда же ты их знаешь?

— А я, твоё благородие, сам в юные годы социалистом был. Грамоте выучился, книжки читать стал. В селе нашем народники тогда объявились. Я к ним повадился ходить. За полгода всякой требухи узнал: партии, программы, направления... В социализм, что в Бога, уверовал. А потом заарестовали меня с

этими самыми народниками. Погнали на каторгу. А я дёру дал. Побродяжил немного, ума поднабрался, а потом в тутошней глуши осел. А с годами-то понял, что все те программы, что в юности меня увлекали... Что врут они, что твой мерин... Уж таперича меня с панталыку не собьёшь. Я воробей стреляный, любого ихнего агитатора за пояс заткну.

Любопытно было Тягаеву толковать с Трифоном. До корней знал староста мужицкую психологию и сам был ярчайшим её представителем. Не раз замечал Пётр Сергеевич, как загорались глаза, и светлело лицо Трифона, стоило заговорить ему о хозяйстве. Знал он, как наилучшим образом наладить его, мечтал о том, что придёт время, когда пахарь станет во главу угла, станет первым человеком. За скотиной ходил староста не просто с хозяйской заботой, но с каким-то душевным умилением: телушки, лошади были для него существами родными и любимыми. Иногда поднимался он ночью и шёл проверить, всё ли благополучно у них, разговаривал с ними, как с людьми, но куда с большей ласковостью.

Деревня, в которую судьба забросила Тягаева, оказалась подлинным медвежьим углом. С трёх сторон обнимали её вековые леса, с заготовкой которых чрезмерно усердствовали местные жители, получившие, наконец, свободу рубить, сколько угодно душе. Люди жили не то, чтобы богато, но в достатке, сытно. О том, что в доме старосты поселился офицер, узнали в деревне немедленно, шушукались, поглядывали с любопытством, но не подходили, не спрашивали ни о чём. Трифон строго-настрого запретил тревожить своего постояльца и рассказывать о нём. Впрочем, рассказывать было некому. Ближайшее село расположено было в пятидесяти верстах, там же с недавних пор образовался и Совет, ставший причиной раздражения старосты.

Пётр Сергеевич, тем не менее, редко покидал дом. Лишь изредка выходил он за околицу, одетый в крестьянское платье, бродил, опираясь на палку, по чёрному полю с островками снега, вдыхая влажный лесной воздух, пытаясь вернуть стройность своим идущим вразброд мыслям.

Где-то далеко-далеко осталась златоглавая Москва, счастливая колыбель его детства, навсегда любимая и родная, как отчий дом, как отец и мать. Что-то случилось теперь с Москвой? Что случилось с матерью и её мужем? С отцовским домом и музеем, на открытие которого положил он столько сил? Со всеми близкими? И где теперь сестра? При мысли о сестре Тягаев хмурился. Надо же было родной его сестре, которую нянчил он, которую любил преданной братской любовью, с юных лет броситься в пучину революции, погрязнуть в этой роковой стихии, соединить свою жизнь с каким-то каторжанином! Что за жизнь у неё? Изредка появлялась она в родном доме, полубольная, ожесточённая, появлялась, чтобы выпросить у матери денег «для дела», произносила свои пламенные, проклинаящие речи и исчезала вновь. Рождённого «между делом» ребёнка оставила матери, а сама так и плыла по волнам смуты, разрушая некогда цветущий организм. Что толкнуло её на этот путь? К этим людям? И раньше думал Пётр Сергеевич об этом, но мало: слишком занят был службой. А, может, есть и его вина? Может, не был достаточно внимателен к сестре? Не попытался понять её, повлиять, переубедить по-доброму... Просто осудил раз и навсегда, отгородился, как от чужой, вычеркнул из жизни со свойственной себе решительностью и принципиальностью, как позор семьи...

От Москвы мысли перекидывались к Петрограду, где прошла зрелость. Хотя, объективно, проходила она, большей частью, вне столицы Империи, но там был дом, Лиза, Надюша. Что теперь с Надюшей? С Лизой? Уехал

он, а она осталась со всем этим ужасом: голодом, холодом, обыском... А Володя Гребенников? Выбрался ли? Не угодил ли в лапы ЧеКи?

Вились, вились прерывистые мысли в ноющей, ещё туманящейся по временам голове, но все их заслоняло некое более сильное, непонятное, необъяснимое чувство, странная маята, овладевшая душой, маята, рождённая парой преданных глаз с удивительно красивым разрезом, и голосом, похожим на звуки флейты... Что-то неодолимо тянуло к этой женщине, и хотелось вновь быть рядом с ней, читать ей стихи, слушать её песни, целовать нежные руки и читать беззвучное «да» в очах...

— Только усталый достоин молиться Богам,
Только влюблённый — ступать по весенним
лугам!
На небе звёзды, и тихая грусть на земле,
Тихое «пусть» прозвучало и тает во мгле.
Это — покорность! Приди и склонись надо мной,
Бледная дева под траурно-чёрной фатой...

— Пётр Сергеевич читал эти строки в полголоса, пиная мысками сапогов комья смёрзшегося снега. Стихи всегда были верным средством, чтобы унять беспорядочность мыслей, успокоить раздражённые нервы. Не раз, будучи болен, чтобы не провалиться в бред, удержать уходящее сознание, Тягаев вспоминал одно за другим заученные на протяжении всей жизни стихи, прокручивал их в памяти раз за разом, и это помогало ему. Но теперь каждая строчка, возникавшая в памяти, отчего-то необратимо связывалась с незабвенным образом Евдокии Осиповны.

— Край мой печален, затерян в болотной глуши,
Нет прекраснее края для скорбной души.
Вон порыжевшие кочки и мокрый овраг,
Я для него отрекаюсь для призрачных благ.
Что я: влюблён или просто смертельно устал?
Так хорошо, что мой взор, наконец, отблестал!
Тихо смотрю, как степная колышется зыбь,
Тихо внимаю, как плачет болотная выпь...

Во время одной из таких прогулок и услышал Пётр Сергеевич выстрелы в деревне, повлекшие столь серьёзные последствия и для её жителей, и для него самого.

Обучать военным премудростям мужиков было некогда, наладить серьёзную оборону небольшого села от отряда красных являлось делом практически невозможным, однако, в течение дня Тягаев сделал всё, что было в его силах, для организации сопротивления: на подступах к деревне расставили дозорных, распределили всё имевшееся в распоряжении оружие, среди которого были ружья, несколько винтовок, принесённых бывшими на войне мужиками с фронта, а также топоры, вилы, колья... Вечером, когда полковник вернулся «с осмотра позиций» в избу, то нашёл Трифона молящимся перед старинной, сильно закопчённой иконой и впервые заметил, что крестится он двуперстно.

— Ты что же, старовер? — спросил Пётр Сергеевич, наливая в кружку кипятка из самовара.

— Кержачим, твоё благородие. В наших краях староверов много, — ответил староста, присаживаясь к столу. — Места-то глухие. Вот, сюда и бежали люди ещё с той поры. Мне старовер, можно сказать, жизнь спас.

— Как так?

— Так на каторге же. Ему срок выходил, а он болезный был, уже чуть живой, на ладан дышал. Мы дружны были. Много он мне порассказал, на многое глаза мои раскрыл, душу мою забубённую разбудил... Он мне документ свой отказал и замест меня остался. Помирать, сказал, едино где. А меня под его именем выпустили. Так-то.

— Я не видел у вас в селе священника...

— Твоя правда. Был прежде, да лихоманка извела... Так что, ежели приходит наш последний день, то отойдём мы ко Господу без причастия, — Трифон заварил травяную настойку, сделал пару крупных глотков. — Без попа худо, что и говорить... Но народ у нас к порядку приученный. Ни пьянства, ни табакокурения не водится у нас. Живём по чину, ни к кому со своим устоем не лезем, но и к себе не пускаем. У нас как: мы никого не трогаем, но и нас не замай. Сенька-Рыжий только бедокур у нас. Шалый...

— А тот, что комиссара убил?

— То кузнец. Суровый мужик. Так он же за сына... Мальчонка-то не жилец, чай. И к тому нечего было этому пришлецу оскорблять народ. Сам себе беду накликал.

Пётр Сергеевич задумался. Необъятна Россия, и необъятен русский человек. Вот, хоть Трифона этого взять. Социалист, каторжанин, а тут же хозяин, старовер... Нельзя объять необъятного, как писал Козьма Прутков. Нельзя объять русского человека. Разве только Достоевский и сумел, сам пройдя неровный путь, то до вершин поднимавшийся, то срывавшийся в бездны.

А Трифона, между тем, разобрала охота поговорить.

— Я так сужу, твоё благородие, что вся пагуба нам именно оттого и выходит, что мы в своё время от веры предков отступили. Виданное ли дело, иконы святые жгли! Людей изводили за то только, что они в вере

своей тверды были и на крест за неё идти были готовы! Вот, оно и отыгрывается! Прежде староверов нововеры жгли, а теперь уже их жечь учнут. Те, в ком вовсе веры нет. Те, что раз немного от веры отошли, потом и другой раз отойдут, дальше ещё, а надо будет, и вовсе от Господа отрекутся. А сейчас нехристи явились, чтобы святыни и всю землю бесчестить. Это за давнишнее кара. И проверка для тех, чьи предки новую веру приняли. Те, кто через горнило пройдут, не отступятся, тем отпустится... Да только немного таких будет. Разболтались все, размякли. А староверы века на своём стоят, во всех гонениях выстаивают, закалены, как сталь, и ничего-то уже не страшно им, всё уж, почитай, вынесли... Един был народ православный. А как учинил Никон веру переправлять, так и пошёл раздрай. Русские русских убивать стали, православные православных. Русские воины русские монастыри штурмом брать ходили. Виданное ли дело? И во имя чего? Для удовольствия греков каких-то? Нешто единство и покой своего народа не важнее? Как учили тогда братья братьев распинать, так и не могут с той поры остановиться. Вот, и пришли таперича к тому, что зараз резать друг друга будем, и конца и края не будет. Тебе бы, твоё благородие, нашего покойного отца Иоакима послушать! Вот, кто про то умел говорить! Что по писанному! И цитатами из Писания так и сыпал! Всю Псалтирь и Апокалипсис наизусть знал, всю историю. А я так только, повторяю, что от него слушал... Эх, такого человека не стало, да ещё в этакое время! Худой знак, твоё благородие...

Пётр Сергеевич не отвечал. Против староверов он ничего не имел, но обсуждений религиозных вопросов, которые велись подчас в окружении жены, всегда избегал, считая эту область не своей. Война, искусство, история — всегда пожалуйста, но вторгаться

кавалерийским наскоком в тонкую религиозную сферу Тягаев полагал для себя недолжным.

Трифон понял, что беседы не получится, и, кряхтя, полез на полати, сказав напоследок:

— Ложись, твоё благородие. Кто его знает, где завтра ночевать придётся...

Но полковнику не спалось и не лежалось. Он не понимал, отчего красные так долго не идут на село, отчего медлят? Чувствовал Пётр Сергеевич, что промедление это вызвано каким-то хитрым планом. Но каким? Хотят обложить село вкруговую и прихлопнуть всех, как в мешке? Напрасно, напрасно не захотели мужики уходить в лес. Эта маленькая деревенька легко может обратиться в капкан, а скудных сил явно не хватит для отражения крупного отряда красных. Но не мог Тягаев отдать приказа, который считал единственно спасительным, и мучился от этого. Приказ может отдать лишь командир, которому верят и повинуются безоговорочно. А кто он для местных мужиков? Покуда никто, а, значит, не властен приказывать наперекор решению схода. Единственная мера, которой добился, касалась лошадей. Двое надежных людей увели их в лес, чтобы они не достались красным. Пётр Сергеевич рассчитывал, что лошади могут пригодиться, если удастся уйти от карателей, плохо ориентировавшихся в местных чащобах и топях.

Первые выстрелы раздались в пять часов утра. Вся деревня тотчас высыпала на улицу, словно никто не ложился, ожидая сигнала. Подивился Тягаев слаженности действий мужиков, из которых лишь трое в разное время были в солдатах. Но ни слаженность, ни отвага, с которой сражались они, не могли помочь делу. Через два часа всё было окончено. Убитых мятежников оставили лежать на улицах, живых, крепко связав, погнали строем в соседнее село. Было убито и

несколько красногвардейцев, тела которых положили на реквизированную в деревне повозку.

Дороги развезло, и идти по ним было крайне тяжело. Ежеминутно ноги проваливались, увязали в жидкой грязи. Но пленников подгоняли ударами в спины, и они шли, измученные, мокрые, грязные, молчаливые. Пётр Сергеевич ковылял между ними, опасаясь лишь одного: как бы очередной приступ не поразил его прямо посреди этого пути. Озноб бил всё сильнее, голова наливалась свинцовой тяжестью, и чудилось, будто бы мелкие молоточки бьют по ней, как по наковальне. Единственный глаз, и без того лишённый зоркости без разбитого пенсне, то и дело заволакивало слезой, набегавшей от пронизывающего ветра. Пётр Сергеевич слабел с каждым шагом, однажды он споткнулся, рухнул в грязь. Рядом остановился верховой, бросил сквозь зубы:

— Вставай, гад!

Полковник приподнялся, и тотчас плеть рассекла ему лицо, хлынувшая кровь, залила глаз, смочила бороду. Тягаев заслонился рукой. Последовал ещё один удар, рассекший уже её. Проезжавшие солдаты хохотнули. Рядом раздался строгий голос Трифона:

— Эх ты, сынок! Больного человека хлещешь! Совесть-то есть в тебе, безбожная твоя душа?!

— Молчать! А ну, пошли оба, а то пристрелю обоих!

— Ты не видишь, что ль, антихрист, что он калека безрукий?! В Маньчжурии руку свою оставил! А ты?! — ярился староста. — Креста на тебя нет!

Видимо, его горячая отповедь возымела действие, и один из солдат, совсем юный, с мягкими в лёгком пуху губами, слез с коня и развязал Трифону руки:

— Помоги ему.

— Ты что распоряжаешься? — рявкнул верховой. — Контре пособничаешь?! Посмотрите на него!

Бунтовщику руки освободил! Али к ним присоединиться хочешь?!

— Полно тебе, Стёпка. Не звери ж мы. Куда он денется?

— Ладно! — Стёпка тронул коня. — Чёрт с ними! Под твою ответственность! Только пусть этот однорукий чёрт идёт, а не валяется! А не то на следующий раз точно пристрелю.

— Опирайся на моё плечо, и айда, покуда целы, — сказал Трифон, помогая полковнику встать. — Эк тебе этот пёсий сын лицо-то раскроил! Ой-ой-ой!

Тягаев, бледный от боли, слабости и бессильного гнева, поднялся, утирая рукавом кровь, пошёл вновь, пошатываясь, скользя и увязая в липкой грязи.

По прибытии к месту назначения начались допросы. Болезнь Петра Сергеевича оказалась здесь весьма кстати. Не наделённый актёрскими способностями, он вряд ли сумел бы убедительно сыграть роль малограмотного мужика, да и лицо, хоть и заросшее бородой, и запачканное, и окровавленное изобличало белую кость. Но, видя его состояние, близкое к бреду, чекисты не стали тратить времени и, приписав его на всякий случай к группе зачинщиков, отправили в «камеру» к поделщикам. Никто из мужиков не выдал полковника, и полковник числился простым крестьянином Петровым. Никто из мужиков не назвал своих руководителей, равно как и кузнеца, убившего комиссара. Правда, основные допросы были впереди, но Трифон шепнул уверенно:

— Не беспокойся, твоё благородие. У нас народ крепкий. Хоть на дыбу вздёрни — слова не проронят.

Тюрьма, в которую поместили арестованных, была расположена на втором этаже административного здания, первый этаж которого отведён был под советские учреждения, в которые нескончаемым потоком валил окрестный люд. Из окна комнаты, куда

поместили десятерых узников, определённых, как зачинщиков бунта, было хорошо видно, как вереницей идут ходатаи. В комнате постоянно находился караульный солдат, лишь изредка отлучавшийся на десять-пятнадцать минут. На допрос вызывали по одному, предъявляли обвинение в контрреволюции, но мужики ничего не говорили, чем сильно раздражали чекистов.

Пётр Сергеевич, несмотря на усиливающиеся боли в голове, напряжённо продумывал план побега. Разговаривать друг с другом заключённые могли лишь во время отсутствия солдата. В один из таких моментов Трифон, недавно вернувшийся с допроса с разбитым лицом, сказал:

— Надо что-то решать, братцы.

— А чего решать? Будем стоять на своём: я не я, и лошадь не моя, — подал голос кудлатый Панкрат, ветеран Японской кампании.

— Не поверят, — ответил Тягаев, с трудом поднимая голову. — Из ЧК путь только один — в расход. Живыми они нас не выпустят.

— Тогда драпать надо, — резонно решил кто-то.

— Верно! Пущай всех нас порешат, но уж не как кутят слепых, а в бою! Так просто мы им не дадимся!

— Тише вы! — шикнул Трифон. — Зараз охрана явится, услышает — беды не минуть! Что скажешь, твоё благородие?

— Скажу, что охраняют нас слабо, во-первых. А, во-вторых, по двору да в здании целый день стороннего народу толпы ошиваются. Затеряться среди ходатаев легче лёгкого, если только идти не скопом, а поодиночке.

— Так, значит, план побега уже готов у тебя? — оживился Трифон, подсаживаясь рядом.

— Солдата караульного надо скрутить бесшумно.

— Сделаем.

— А потом по очереди, спокойно, не привлекая внимания, уходим через ворота, как все ходатаи.

— Дельно, — одобрил Трифон.

В этот момент возвратился солдат, и разговор был прерван. Впрочем, говорить более ни о чём не было нужды. Сметливый староста уже сообразил, как действовать и, перемигнувшись с Панкратом, завёл разговор с караульным, молодым, румяным детиной, явно скучавшим на своём посту.

— Ты, сынок, чай, не местный?

— С Бирюкова я.

— А что, мать-отец твои живы?

— Живёхоньки.

— А в добром ли здравии?

— Здоровы.

— А живут богато ли?

— Не жалуемся. Вот, скоро праздничек будет, так батя свинью заколет. Только не знаю, удастся ли мне домой вырваться! Вас, вот, охранять приходится!

— Тебя как звать-то?

— Игнатом.

— Ну, Игоша, не переживай! Не придётся тебе нас больше охранять! — по условному сигналу Трифона, незаметно приблизившийся Панкрат вырвал у караульного ружьё, а другой арестант в тот же миг обхватил его рукой за шею: — Пикнешь — удавлю!

— Не убивайте! Не убивайте! Товарищи, я не коммунист! Я мобилизованный! — прохрипел солдат, закатив обезумевшие от страха глаза.

— Все вы мобилизованные... — буркнул Трифон. — Скажи спасибо родителям... Свяжите его, братцы, покрепче и рот заткните.

Караульного связали, заткнули кляпом рот.

— А теперь с Богом, братцы, — сказал староста. — Панкрат, иди первым.

За тем, как уходил Панкрат, напряжённо следили все мужики. Как и было рассчитано, он легко смешался с массой крестьян, снующих туда и обратно, и, не остановленный никем, вышел из ворот. За ним по одному последовали остальные. Сам Пётр Сергеевич и Трифон были последними. Тягаев чувствовал, что ему едва ли хватит сил, чтобы сделать и несколько шагов. В глазах то и дело темнело, и ноги не слушались его. Когда все мужики благополучно ушли, староста подошёл к нему:

— Иди теперь ты, твоё благородие! А я замыкающим!

— Нет, Трифон, ступай сам. А уж я как-нибудь потом...

— Твоё благородие, иль ты меня за дурачка держишь? Ты ведь один не уйдёшь! Здесь останешься!

— Иди, Трифон! Сейчас кто-нибудь явится, и тогда поздно будет!

— Э нет, твоё благородие, — покачал головой староста, скребя редкую бородёнку. — Что ж я Иуда, чтоб тебя оставить, а самому тикать? Вместе пойдём!

— Вдвоём опасней. Засекут нас!

— Чёрт не выдаст, свинья не съест, — ответил Трифон, протягивая полковнику руку. — Подымайся, твоё благородие. Всё одно же я без тебя не пойду.

Петру Сергеевичу ничего не оставалось, как, собрав в кулак все оставшиеся силы и волю, встать и, опираясь на руку старосты, покинуть комнату. Пройдя по пустому коридору, они стали спускаться вниз по железной лестнице. На первом этаже было шумно, группы крестьян толклись у дверей, о чём-то спорили. Их голоса сливались для Тягаева в сплошной гул, среди которого слышался хриловатый голос Тифона, что-то беззаботно рассказывающего для вида. По счастью, никто не остановил беглецов, и они вышли во двор. Холодный воздух немного отрезвил полковника. Шаг

его стал твёрже и увереннее, но, когда ворота остались позади, слабость вновь овладела им, и он ещё раз сказал верному старосте:

— Брось меня, Трифон. Вам в леса уходить нужно, а я болен!

— Ничего, твое благородие. Мы тебя и на руках донесём. Лишь бы лошади наши на месте оказались...

В лесу их уже дожидались мужики. Обнялись, словно не виделись сто лет, радуясь, что все остались живы и невредимы. Немедленно стали решать, что делать дальше.

— Болотами пойдём, — решил Трифон. — «Товарищи» их скверно знают, а я каждую кочку ведаю. Через них пройдем, доберёмся до наших лошадей, а там в леса подадимся.

Со всех сторон обступал беглецов чёрный, дышащий влагой лес, казавшийся особенно мрачным теперь. Мрачны были и мужики. Никому не улыбалось бросить хозяйство, устоявшуюся жизнь, жён и ребятишек, но все понимали, что другого выхода нет. Что путь назад отрезан им, и ничего не ждет их при попытке вернуться, кроме расстрела.

— Мы вступаем на бранный путь, братцы, — говорил староста. — Может быть, гибель свою сыщем на нём, а, может, и славу. Наш отряд невелик, но и такому отряду нужен командир. Я для того не гожусь, поскольку военного дела не знаю. Предлагаю выбрать нашим атаманом полковника Петрова, который уже многое сделал для нас, и думаю, что вы, братцы, поддержите меня.

— Добро! — согласились мужики единодушно, и Пётр Сергеевич понял, что теперь он стал подлинным начальником этой маленькой, но закалённой дружины, что отныне его приказ стал законом для вверивших ему свою судьбу людей. И, преодолевая слабость и боль, он

поднялся, поклонился им и произнёс негромко, но твёрдо:

— Я благодарю вас, друзья, за честь, которую вы оказали мне. Я клянусь, что никогда не обману вашего доверия, что до последнего вздоха буду сражаться с нашими врагами, врагами нашей Родины, что, покуда жив, не отступлюсь от своего долга. И да поможет Бог всем нам!

Глава 15. Ангел-Хранитель

16 апреля 1918 года. Кубань

Ночь была чёрной, безлунной, ни единая звезда не освещала своим сочувственным мерцанием скорбный путь Добровольцев. Армия двигалась на север. Людей становилось всё меньше: одни сложили головы в боях, другие, отчаявшись, покидали ряды, надеясь укрыться в одиночку или небольшими группами. Растекались по родным станицам кубанские казаки, уходили некоторые офицеры. Отчаянным было и настроение оставшихся. Всё чаще слышались разговоры о том, что пора распускать армию, пора распыляться и пробираться в горы по отдельности. Особенно паниковали в обозе. И добро бы раненые, знающие свою участь в руках «товарищей», так хуже их — штатские деятели, беженцы, обанкротившиеся политики — понабилося их в обоз так, что и не двинешься! Тяжело раненых, тех, что не перенесли бы дорогу, оставили в Елизаветинской — что-то стало с ними? Заложников взяли в обеспечение их безопасности, а будет ли толк? Своих раненых, боевых офицеров, оставили, потому что иначе нельзя было, а весь этот погорелый театр приходится тащить... Очень раздражали Сергея Леонидовича штатские обозники. И не раз срывал он на них злость. Ещё на пути к Екатеринодару, к примеру, перегородили господа захребетники всю дорогу. Напустился на них Марков:

— Что за сволочь здесь выперлась?!

— Члены Рады! — обидчиво-гордый ответ.

— Что члены — вижу, а чему рады в таких обстоятельствах, не пойму!

Грохнул хохот бывших рядом офицеров. Народные избранники очистили путь. А Родзянко потом жаловался покойному Верховному и просил, чтобы тот приказал Сергею Леонидовичу быть корректнее в отношении его коллег...

Растянулся теперь обоз чёрной лентой во мраке ночи. Двигается медленно, бесшумно. Только колёса скрипят, да изредка донесётся стон или чуть слышная брань кого-нибудь из раненых. Третий день армия в кольце, и вот-вот должна решиться её судьба. Быть или не быть. Если удастся прорваться через железную дорогу в широкие степи, то есть надежда, если же нет — то всему делу конец. А кому ж решать эту сложнейшую задачу, как не Богу Войны и Шпаге генерала Корнилова Сергею Леонидовичу Маркову и его орлам?

Черно было на душе у генерала — под стать непроглядной ночной темени. Он уже давно не ждал для себя ничего хорошего, но никогда не выказывал охватывающей его безнадёжности. Безнадёжности и без того слишком много, а у армии должна быть надежда. Должна быть вера. И не имеет значения, что творится на душе у командира, не имеют значения его личные терзания, подчинённые не должны видеть их. Для подчинённых командир должен быть источником веры. А поэтому, что бы ни было, нужно демонстрировать уверенность, нужно ободрять и обнадеживать других, павших духом, даже если у самого почти не осталось сил надеяться на что-то. Так понимал свой долг генерал Марков и как никто умел увлечь за собой, разрядить обстановку острым словом или шуткой, на которые был мастер. И в бою, и на привале он действовал по-суворовски, памятуя заветы великого полководца, которые сколько раз доводил до слушателей различных аудиторий, в которых случалось ему преподавать. Сергей Леонидович мог быть и

солдатом, и профессором, и между этими его ипостасями не было противоречий. Потому умел он в короткий срок завоёвывать уважение и в войсках, и в аудиториях, и в любом обществе, в котором случалось ему оказаться. Стремительный, как молния, он на практике воплощал науку побеждать. Его никогда не видели унылым и сломленным, но всегда устремлённым вперёд — к победе. Чтобы победить, армия должна желать победы и верить в неё. И всем существом своим Сергей Леонидович внушал всем эту веру. И собственные сомнения могли ли идти в счёт!

Впрочем, при отступлении от Екатеринодара, после гибели Лавра Георгиевича, Марков всё же поделился тяжёлыми мыслями с Африканом Богаевским, пребывавшем в схожем настроении. Вдвоём они сидели на всхолмье, пропуская мимо себя колонны отступающей армии, и обсуждали сложившееся положение. После катастрофы казалось, что борьба окончена, что, быть может, в самом деле, пора распыляться... Разговор выходил горьким и безнадёжным. Однако Сергей Леонидович взял себя в руки и, верный себе, переменял тему, желая развеять скорбные мысли как собственные, так и своего собеседника:

— Хорошая у вас шинель, Африкан Петрович! Длинная! Тепло вам в ней, а я в своём полушубке замерзаю!

Так и свелась беседа к мелочам...

В немецкой колонии Гначбау на вспаханном поле предали земле тела Корнилова и Неженцева, не оставив и следа дорогих могил, чтобы не нашли большевики. Так ли следовало хоронить лучших сынов России, павших за неё? Хорошо ещё успели отслужить панихиду в Елизаветинской... Хоть и наспех, хоть и священник трясся от страха, но отпели, как должно. И как тяжело было на сердце в том искореженном пулями станичном

храме, как беспросветно... И вспомнилось далёкое-далёкое время, совсем другой край, русская церковь, в которую был обращён барак-столовая, на чужбине, чудная рождественская служба, которая так особенно ощущается вдали от родного дома... Не будучи в молодые годы человеком религиозным, Сергей Леонидович с детства привык посещать службы, некоторые из которых любил особенно. И среди раскатов первой в его жизни войны, в чужой и непривычной русскому сердцу Маньчжурии необычайно потянуло молодого офицера услышать давно забытые слова и напевы... Сочились солнечные лучи в стенные прорехи, виднелось сквозь крышу синее небо, а перед скромным иконостасом сияли сотни свечей, освящая образы Спасителя, Богородицы, Святителя Николая и другие, и слышался слабый голос священника, и одна фигура за другой, усиленно крестясь и отламывая земные поклоны, несли свои свечи с горячей молитвой к Тому, Кто учил людей общей любви и «мирови миров». И дивно было видеть молодые заглубившиеся лица уже побывавших в боях, бородачей, недавно прибывших в полк, унтеров с Георгиями и медалями за Китай — весь этот люд, собранный со всей матушки-России, тянувшийся с тоненькими свечками, сливаясь в одной горячей молитве, молитве без слов, но понятной для всех. И необыкновенно трогали душу простые молитвы хора любителей-солдат, убежденный, без всякой аффектации голос священника, струйки дыма и запах ладана, мерцание свечей... И подкатывал ком к горлу, и катились слёзы по щекам, падая на заношенное, истрёпанное пальто... И мысли уносились куда-то далеко, и вставала перед глазами вся недолгая жизнь... Дворянская, хотя и небогатая семья, блестящее окончание Московского Императрицы Екатерины II кадетского корпуса, Константиновского артиллерийского училища и академии Генштаба... К двадцати шести

годам штабс-капитан успел зарекомендовать себя не только как штабной работник, но и как офицер Военно-топографического отделения, проводивший лихие разведки и рекогносцировки местности, за что неоднократно был отмечен наградами.

На Русско-Японскую войну Сергей Леонидович отправился добровольцем. Тогда впервые он написал нечто наподобие завещания, а точнее, письмо матери, которое должно было быть передано ей в случае его гибели: «Передавай всем-всем, кто хоть некоторой симпатией дарил меня при жизни, мой последний и вечный привет. Целуй всех сердечно близких моих людей. Поселись с Лелей и сделай все, чтобы его добрые задатки нашли достойное применение. Он добр, куда добрее меня, честен. Он побережет тебя, он сумеет найти охоту и способность сгладить для Вашей совместной жизни свои шероховатости. Обо мне не плачь и не грусти, такие как я не годны для жизни, я слишком носился с собой, чтобы довольствоваться малым, а захватить большое, великое не так-то просто. Вообрази мой ужас, мою злобу-грусть, если бы я к 40-50 годам жизни сказал бы себе, что все мое прошлое пусто, нелепо, бесцельно! Я смерти не боюсь, больше она мне любопытна, как нечто новое, неизведанное, и умереть за своим кровным делом — разве это не счастье, не радость?! Мне жаль тебя и только тебя, моя родная, родная бесценная Мама, кто о тебе позаботится, кто тебя успокоит. Порою я был груб, порой, быть может, прямо-таки жесток, но видит небо, что всегда, всегда ты была для меня все настоящее, все прошлое, все будущее. Мое увлечение Ольгой было мне урок и указало на полную невозможность и нежелательность моего брака когда-либо и с кем бы то ни было; почему — теперь объяснять долго, но это лишний раз подтвердило, что вся моя работа, все мои способности, энергия и силы должны пойти на общее

дело, на мою службу и на мой маленький мирок — мою семью, мою Маму. Иногда желание захватить побольше от жизни делало меня сухим и черствым, но верь, что только наружно и с показной стороны. Судьба распорядилась по-своему. Когда ты получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Верь, как верю я в настоящую минуту, и верю искренне, глубоко, что все, что ни делается, делается к лучшему и нашему благу...» Кто бы мог подумать, что судьба решит иначе, и война унесёт жизнь не его, не годного для жизни, а его любимого брата Лели!

Сергей Леонидович очень переживал за мать. Что-то будет с ней, если не станет и его? После смерти офицеров их матери оставались не только одинокими, но и почти нищими, лишёнными участия правительства... Забота об их горькой участи вылилась в письмо Маркова, направленное в редакцию одной из газет, содержащее пожелания правительству обратить, наконец, внимание на осиротевших русских матерей.

Бедная, бедная мама... Как измучилась она за годы войны в ежесекундном страхе потерять последнего сына... Говорят, будто бы на фронте год идет за два, но скольких же лет стоит год матери, ожидающей единственного сына с войны? И жалел Сергей Леонидович мать, а, тем не менее, рвался на передовую, не держась за штабные должности и не кланяясь пулям. Любовь к матери была сильна, но сильнее было чувство долга и чести, и им руководствовался Марков всю жизнь. А тогда, в церкви померещилась Сергею Леонидовича фигура матери, облачённая в чёрное платье с мокрым от слёз лицом... И позднее всплывал перед взором этот образ, и сжималось сердце... Вот она — война... Слёзы войны... Родная, не плачь, брат нашел славную долю, верь в то, что я вернусь, верь в Того, Кто сохранит тебе последнего сына...

В несчастную войну с Японией русские офицеры и солдаты творили чудеса, и, Господи Боже, победа была бы неизбежной, если бы не бездумное командование, обратившее победы в поражения! Пытливый ум Сергея Леонидовича искал объяснения постигшей русскую армию катастрофы. Анализируя завершившуюся войну в своей работе «Ещё раз о Сандепу», он рассуждал не только об ошибках, допущенных непосредственно в ходе кампании, но и шире — о состоянии русской армии в целом, и приходил к выводу: «Было бы ошибочно утверждать, что мы вышли на войну с отсталыми теоретическими взглядами, невеждами в военном деле. Все крики о полной непригодности наших уставов, проповедь новой тактики, новых боевых форм — все это лишь крайние мнения, с которыми нужно считаться, но считаться вдумчиво и осторожно. Конечно, характерные особенности войны в Маньчжурии заставили нас кое-чему переучиться, кое-что создать, но основное, главное давно твердилось в мирное время в военной литературе и с профессорских кафедр. Трагедия заключалась не в ложной отсталой теории, а в поверхностном знакомстве большинства строевых офицеров с основными требованиями уставов и в каком-то гипнозе старших начальников. Иногда получались свыше приказания, шедшие в разрез всей обстановке, всему — чему учили, во что верили, что требовал здравый смысл и положительные знания... ...При современных огромных армиях и еще больших обозах, при всей неподвижности, неповоротливости столкнувшихся масс, кабинетные тонкости стратегии должны отойти в область предания. Главнокомандующему в будущих наступательных боях из всей массы предлагаемых ему планов надо уметь выбрать самый простой и иметь гражданское мужество довести его до конца. Пусть при выборе плана явится ошибка, и в жизнь толкнут сложную, запутанную идею

— это только отдалит успех, увеличит потери, но не лишит победы. Страшны полумеры, полурешения, гибелен страх Главнокомандующего поставить на карту всю свою армию».

На этом Сергей Леонидович не остановился. Обладая широчайшими знаниями в военном деле, собственными взглядами, основанными на них, а к тому — ещё и даром речи, он с жаром взялся за преподавание, стремясь воспитать будущих офицеров, которым через некоторое количество лет, возможно, суждено будет командовать армиями, в духе Суворова и Скобелева, развить в них находчивость, необходимую решимость и широкий кругозор. Быстрота и натиск — вот, одно из главных слагаемых победы, а медлительность и неуверенность гибельны! Война полумер не терпит. Кроме преподавания писал Марков немало учебные пособия по военной географии и истории. В качестве своего курса по последнему предмету Сергей Леонидович издал «Записки по истории Русской армии. 1856–1891», в которых дал анализ проводившихся в России в XIX веке военных реформ и уделил немало места русско-турецкой войне 1877–1878 годов, затрагивая попутно и политическую обстановку, а также причины, вызвавшие войну. Особое внимание он обращал на «самобытные национальные черты нашей армии и русского солдата, гибкие формы боевого порядка, развитие духа». А ещё раз за разом обращался Марков к фигуре своего кумира, «белого генерала» Скобелева, на которого стремился походить. О нём написал Сергей Леонидович памятный очерк по случаю открытия в Москве памятника герою и составил книгу «Приказы Скобелева в 1877–1878 гг.».

За три года до войны Марков свёл знакомство с профессором академии Генерального штаба генерала Незнамовым. Несмотря на разницу лет и званий, они очень сблизились, благодаря схожести взглядов на

волнующие обоих проблемы русской армии, методы решения которых они пытались выработать во время долгих бесед на квартире пожилого профессора, где Сергей Леонидович стал частым гостем. Говорили, главным образом, о военном деле, иногда отвлекаясь на вопросы высшей государственной политики. Эти разговоры никогда не обращались в болтовню, слишком распространившуюся в последние годы, не соскальзывали на путь критики, но носили характер стремления к нахождению лучших положительных решений. Нужно непрерывное развитие творческой мысли; не только учет опыта на победах и поражениях, но и проникновение в будущее, создание новых методов и способов в ведении боев и сражений. Стратегия и тактика не могут оставаться неизменными: новое оружие — новая тактика, но и новая тактика — новое оружие.

— Я не поставлю удовлетворительной отметки за пассивное решение задачи, — говорил Незнамов. И Марков вторил ему:

— При пассивном выполнении задач и даже при полумерах невозможен решительный успех; чаще это приводит к неукладу и лишнему пролитию крови. Военские качества: дисциплинированность, мужество, храбрость и другие — сами по себе для начальников не являются абсолютно ценными качествами; дисциплина должна быть сопряжена с разумностью, мужество — с силой воли и силой влияния на подчиненных, храбрость должна быть активной и должна быть связана с инициативой.

Инициатива! Сколько было переговорено о ней! Страдал Сергей Леонидович, что нет простора для неё. Явится инициативный деятель, и система бездумно начинает подавлять его, боясь нового, боясь изменить что-то! И костенеет всё, и во время войны начальники, смертельно боящиеся инициативы, не умеющие

принимать решения, губят целые армии! Что стоил один Куропаткин с его сакраментальными «атаковать без решимости», «с превосходящими силами в бой не вступать», «в решительный бой не ввязываться», столь деморализующе действующими на армию, отбивавшими последнюю охоту сражаться с противником! Куда делось незабвенное суворовское «рядовому — храбрость, офицеру — неустрашимость, генералу — мужество»? Когда успели забыть великие традиции, заложенные ещё Румянцевым? Много бы навоевала Россия, будь у неё прежде такие командиры «без решимости»! Инициатива, инициатива и ещё раз инициатива! Инициатива на верхах командования и инициатива на всех его ступенях, до самой низшей включительно. На верхах командования, где ставятся задания и проводятся с намерением заставить противника действовать в зависимости от принятых ими решений; на низах — когда инициативой начальников разрушаются планы и намерения противника на тактических участках боя, когда захватываются тактические рубежи, когда противник становится в менее удобное положение и когда это используется для развития успеха. Инициатива — это постановка задач, диктуемых обстановкой в каждый момент боя. Активность — это выполнение этих задач. На инициативе основана активная храбрость, необходимый залог победы.

Незнамов сомневался:

— Такая активная храбрость, дорогой Сергей Леонидович, легко может перейти в партизанство, даже помимо воли и сознания начальника, т. е. к действиям, имеющим чисто местное значение, без всякой связи с общими действиями и могущим привести хотя и к успехам, но коротким и местным, не приводящим к общему успеху. Вот, вам, извольте видеть, дилемма: партизанство или пассивное регулярство.

— Чаще активное партизанство предпочтительней пассивного регулярства, — отвечал на это Марков. — Регулярство очень часто создает и покрывает безответственность начальников. История даёт десятки примеров, когда пассивное регулярство приводило в лучшем случае к сохранению положения, а активное партизанство — к большим успехам. Суворовский принцип «противник обходящий легко может быть сам обойден», находит свое решение, когда в полной мере осуществляются инициатива, активная храбрость, «партизанские» меры... При регулярстве в этом случае достаточно донести об обходе противника, принять пассивные меры и ждать распоряжений начальства. И драгоценное время оказывается упущенным! Поэтому инициатива — это основа всему военному делу!

Многое становилось яснее в ходе продолжительных и увлечённых обсуждений, рождались новые идеи, выработывалась цельная система взглядов. Те беседы Сергей Леонидович вспоминал с большой теплотой и благодарностью. Пожалуй, ни с кем другим, кроме Незнамова, не удавалось ему так подробно и откровенно обсуждать важнейшие для себя и всего русского офицерства вопросы.

Воплощать же свою «науку побеждать» Маркову пришлось очень скоро. В самом начале войны он занял пост начальника Разведывательного отделения в Управлении генерал-квартирмейстера штаба Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, начальником которого в то время был Алексеев. С последним Сергей Леонидович уже был знаком. Михаил Васильевич высоко оценивал его научные труды и даже написал отзыв на одну из работ Маркова. Находясь на этой должности, Сергей Леонидович вынес предложение по проведению опросов пленных, суть которого сводилась к тому, чтобы для эффективности упростить их процедуру и сделать анонимными.

Инициатива дала свои плоды, но на этом посту Марков не задержался. Вскоре он получил назначение начальником штаба в четвёртую стрелковую бригаду, будущую «железную» дивизию, которой командовал генерал Деникин. Тогда-то и свела их судьба и с той поры не разводила.

На новое место службы Сергей Леонидович приехал после операции, несмотря на сильнейшие боли, почти силой вырвавшись из-под опеки врачей, опасавшихся за его жизнь. Не в его характере было сидеть и лечиться, когда его часть вела бои и несла потери. Он обязан был быть там, во что бы то ни стало! По прибытии в бригаду Марков всё же доложил о своём нездоровье и невозможности ехать на позиции верхом. Деникин и другие офицеры отнеслись к этому заявлению прибывшего молодого полковника скептически, и это не укрылось от Сергея Леонидовича. Усидеть в стороне от позиций он всё же не смог и отправился туда на запряжённой двумя лошадьми колыхаге. Удивлённым офицерам во главе с Антоном Ивановичем пояснил весело, не обращая внимания на непрекращающийся огонь противника:

— Скучно стало дома. Приехал посмотреть, что тут делается...

С Деникиным отношения сложились сразу. Под его началом Марков служил многие месяцы, покрыв своё имя такой славой, что на фронте о нём ходили легенды. Всегда со своими стрелками, неизменно во главе полка, он личным примером показывал образец служения Родине. В июле 1915-го года за бой под Творишьней Марков был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. В августе последовало награждение Георгиевским оружием.

— Теперь или орден третьей степени, или деревянный крест! — шутил он.

Самые тяжёлые бои шли весной 1915 года под Перемышлем. Тогда под смертоносным огнём Сергей Леонидович выводил из боя остатки своего тринадцатого полка. Бывшему рядом с ним командиру четырнадцатого полка оторвало голову, и Марков был весь залит хлынувшей из его тела кровью. Это был единственный случай, когда ему не удалось скрыть своего подавленного состояния...

Когда Антон Иванович стал начальником штаба Ставки, Марков получил при ней должность второго квартирмейстера. Уже заплесало по России зловещее пламя революции, и Сергей Леонидович записал в дневнике: «Погубят армию эти депутаты и советы, а вместе с ней и Россию...» Его раздражало буквально всё: заигрывания с солдатами, влекущее за собой разврат и поражение, необходимость убеждать в очевидных вещах полуграмотных в военном деле чинов комитета и несведущих, фантазирующих, претендующих на особую роль комиссаров. Будущее становилось всё туманнее, и трезвое разрешение проблем могло прийти, лишь если бы умолкли страсти, но страсти закипали всё сильнее, но всё громче вопили витии, оглушая самих себя и внимающих им.

— Кажется, снял бы свои генеральские погоны и бросил бы в лицо этим негодяям, погубившим русскую армию... — ругался Сергей Леонидович.

В Брянске вспыхнул бунт, одно из тех стихийных выступлений, выливавшихся в погромы, убийства и аресты офицеров, ставшие нормой жизни. Марков, с трудом сдерживая бешенство, отправился разбирать ситуацию. Весь город был взбудоражен. Сергею Леонидовичу пришлось не раз выступать в совете военных депутатов, спорить до хрипоты, используя всё своё красноречие, чтобы добиться восстановления дисциплины и освобождения двадцати арестованных. Та поездка едва не стоила ему жизни. На вокзал, с

которого он уезжал с освобождёнными арестантами, для расправы с ним явилось несколько вооружённых рот. Беснующаяся толпа двигалась к поезду, и в гуле её голосов, в полных ненависти глазах ясно просвечивалась участь, постигшая впоследствии несчастного Духонина... Ещё мгновение, и эти бывшие люди, солдаты, обратившиеся в зверей, подняли бы своих жертв на штыки. Сергей Леонидович вышел вперёд и, перекрывая зычным, резким голосом царящий гомон, воскликнул горячо:

— Если б тут был кто-нибудь из моих железных стрелков, он сказал бы вам, кто такой генерал Марков!

— Я служил в тринадцатом полку, — отозвался какой-то солдат из толпы.

— Ты?!

Марков с силой оттолкнул нескольких окружавших его людей, быстро подошел к солдату и схватил его за ворот шинели.

— Ты? Ну, так коли! Неприятельская пуля пощадила в боях, так пусть покончит со мной рука моего стрелка...

Как мгновенно свойственно меняться настроению русского человека! Минуту назад он готов растерзать тебя, а через мгновение славит и обнимает тебя же! Никаких границ, никакой логики, а лишь стихия, всё сметающая на своём пути, которую не остановить никакой силой, но которая вдруг останавливается сама перед лицом удивительного для неё явления, словно очнувшись от помешательства и вновь обретая человеческий облик... От страстных слов молодого генерала, толпа пришла в восторг, и Марков с арестованными при бурных криках «ура» и аплодисментах покинул Брянск...

Как талантливого оратора, каковых среди командного состава было немного, Сергея Леонидовича стали приглашать на митинги в разные части. Во 2-м

Кавказском корпусе взбунтовалась гренадёрская дивизия, прапорщик Ремнев объявил себя командующим. Конфликт удалось разрешить, и управление корпусом из рук Ремнева принял генерал Бенескул. Выступление Маркова было встречено овациями, но дурно прошла встреча с самим Бенескулом. Не сдержался Марков, выговорил ему о некорректности принятия им власти из рук бунтовщика. А не нужно было делать этого! Знал Сергей Леонидович нервность, мягкость, слабость воли и духа генерала, а не подумал, как могут отозваться его резкие слова на впечатлительной натуре Бенескула, уже и без того доведённого до белого каления последними событиями... Через два дня Бенескул застрелился, а Марков получил письмо от его подчинённых, обвинивших в произошедшей трагедии его. Сергею Леонидовичу стало дурно. Никогда прежде ему не бросали в лицо обвинений в убийстве... И тяжелее всего было сознание их справедливости. Марков искренно чувствовал себя виновным в смерти Бенескула. Зачем, зачем нужно было выговаривать ему всё, будто бы сам он не понимал?.. Все осатанели в эти чёртовы дни, и не хватает огрубевшей душе тонкости, чтобы понять, что происходит в душе другого, взглянуть в его глаза, увидеть грань, до которой он дошёл, понять и не подтолкнуть к ней неосторожным словом... Всего-то и надо было, что промолчать! Истерзанный и потрясённый, вечером Сергей Леонидович появился на собрании всех комитетов и публично заявил:

— Господа, я убийца, а потому прошу судить меня... — после чего покинул помещение.

Прошло несколько тягостных минут, и прибежавшие за ним офицеры и солдаты попросили его вернуться и заслушать их постановление. В постановлении говорилось, что Марков поступил, как честный солдат и генерал. Его уход сопровождался сплошной овацией

всего собрания. Но сам Сергей Леонидович не оправдал себя, и эта история навсегда осталась занозой в его душе, укором его совести, великим уроком на будущее.

Временное правительство продолжало вещать о войне до победного конца. Но откуда было взяться ему? Пустыми словами неприятеля не одолеешь. Нужно желать победы, а её, кажется, уже почти никто и не желал. Слишком лихо закручивались события внутренние, и война отступала на второй план. И не хотели идти в бой солдаты, бежавшие из окопов, стремящиеся, наконец, разойтись по домам. Кто будет побеждать? Офицеры, которых лишили всякой возможности инициативы, поставив под контроль безграмотных и враждебных армии советов? Армия, а с нею и Россия, разлагалась заживо, и не было силы, способной остановить этот губительный процесс. Всё «ну» да «ну», а тпрукнуть-то и некому! Пошла Настя по напастям!

На короткий миг блеснула надежда: Корнилов! С назначением последнего на пост Верховного Деникин занял его место во главе Юго-Западного фронта, а Сергей Леонидович вновь стал начальником штаба при нём. Вместе с Антоном Ивановичем они не раз бывали в Ставке, обсуждая текущее положение. В те дни, по сути, и формировалось будущее ядро Белой армии... Активно поддерживая Лавра Георгиевича, оба генерала выразили ему поддержку в дни кризиса. Ожидая исхода противостояния, Сергей Леонидович каждый вечер собирал офицеров генерал-квартирмейстерской части для доклада оперативных вопросов на этот день. Двадцать седьмого августа он ознакомил их со всеми известными ему обстоятельствами столкновения, своими и Деникина телеграммами в адрес Верховного и Временного правительства, очертил в горячей речи всю историческую важность переживаемых событий и

закончил призывом оказать полную нравственную поддержку генералу Корнилову.

Занятая бескомпромиссная позиция предрешила судьбу Маркова. Да и могла ли она быть иной? Не оказаться в те дни в числе так называемых «изменников» было бы почти позором, и обратно — быть под судом в компании таких людей, как Корнилов, Деникин и другие, было честью и истинным признанием заслуг всякого верного долгу офицера от правительства, предавшего свою армию и страну. И был бы Сергей Леонидович сражён, если бы товарищ Керенский со своими приспешниками не признал его достойным Быховского заключения. Только на кой чёрт суд, когда всё уже предрешено?

Прежде Быхова был Бердичев. Гнусный местечковый городишка, пронизанный ненавистью. Тюрьма. Камера в десять квадратных аршин. Окошко с железной решеткой. В двери небольшой глазок. Нары, стол и табурет. Дышать тяжело из-за смрада расположенной рядом выгребной ямы. Дни напролёт Сергей Леонидович мерил шагами своё узилище: три шага вперёд, три назад — на большее места не хватало. Обслуживали арестантов два пленных австрийца и русский солдат, очень добрый и заботливый человек, что было почти удивительным. В первые дни и ему тужо приходилось — товарищи не давали прохода. Потом угомонились... Добряк-солдат рассказывал узникам все новости, трогательно заботился об их питании. Однажды он наивно поделился с Марковым печалью:

— Я буду скучать, когда вас увезут.

— Не огорчайтесь, — усмехнулся Сергей Леонидович. — Скоро на наше место посадят новых генералов — ведь еще не всех извели...

В Бердичеве второй раз Марков чудом избежал расправы озверевшей толпы. И вновь по дороге к вокзалу, где арестантов ожидал поезд для отправки их

в Быхов. Весь путь от Лысой горы солдаты не скупились на гнусности и издевательствами над своими бывшими командирами. Проходя по лужам, они набирали полные горсти грязи и забрасывали ею узников. Затем посыпались булыжники. Ими сильно разбили лицо калеке генералу Орлову, угодили в спину и голову генералу Эрдели. Жидкая цепочка юнкеров, обступавшая пленных, самоотверженно сдерживала напор толпы, но казалось, что эта слабая преграда вот-вот будет сметена.

— Марков! Голову выше! Шагай бодрее! — слышались из толпы глумливые выкрики.

Сергей Леонидович незамедлительно отвечал на выпады в свой адрес. Шедший рядом с ним Деникин, весь покрытый грязью, спросил:

— Что, милый профессор, конец?!

— По-видимому, — отозвался Марков.

Но это был не конец, и путь до Быхова окончился благополучно. Бывший пансион, превращённый в тюрьму, после Бердичева казался раем. Оказалось, что жизнь ещё не утратила красоты и может быть хороша, и — чертовски хороша!

В Быхове «заговорщики» жили в комнатах по два-три человека (только Главнокомандующий занимал отдельную комнату), гуляли в саду, читали газеты, за которыми каждое утро ездил адъютант Корнилова Хаджиев, вели долгие беседы на самые различные темы. Разумеется, главной из них была судьба России. Сергей Леонидович не принимал активного участия в политических баталиях. Политика была чужда ему. К тому же, Марков понимал, что все политические разногласия должны смолкнуть теперь перед лицом общего несчастья и общего врага. Какая к чёрту разница, каких взглядов придерживается человек, монархических или республиканских? Не хватало ещё из-за этого рвать друг друга в клочья! Довольно и того,

что уже натворили в битве своих политических догм! Куда дальше! Люди жестоки, и в борьбе политических страстей забывают человека, а человек больше политических программ. Разумеется, если этот человек не полное ничтожество. Человек ценен своими делами, сердцем, характером, умом, а не политическими взглядами, которых он придерживается. Могут быть достойные люди даже среди умеренных социалистов и подлецы в рядах сторонников монархии... Если делить людей по политическим пристрастиям, и начать ненавидеть друг друга при их несовпадении, то далеко не уйти. Армия — вне политики. Дело армии — защищать Родину. Дело армии — спасти Россию от изменников и врагов, захвативших в ней власть. Дело командиров — вести за собой солдат, а не сеять рознь и сомнения в их сердцах. Армия вне политики, а, значит, и он, Марков, будет держаться от неё в стороне, руководствуясь вечными понятиями долга и чести и любовью к Родине, а не политическими догматами, лживыми, сеющими вражду тогда, когда более чем когда-либо нужно единство ради спасения России...

Жизнь в Быхове текла без эксцессов. Правда, после того как «гоцлибердан» отстранил за сочувствие «заговорщикам» коменданта Ставки полковника Квашнина-Самарина и заменил его своим ставленником подполковником Инскервели, режим стал ужесточаться. Новый комендант желал утвердиться в своей власти и пожелал видеть «арестанта Корнилова», чтобы убедиться в наличии такового в стенах тюрьмы. Сцена вышла запоминающаяся и немало развлекла узников. Лавр Георгиевич сидел спиной к двери за письменным столом и что-то писал, вошедшему Инскервели буркнул, не оборачиваясь:

— Садитесь!

Подполковник, разом растерявшись, опустился на краешек дивана. Через некоторое время Верховный,

словно вспомнив о нём, спросил:

— Какой партии?

— Эсэровской, Ваше Высокопревосходительство, — запинаясь, ответил комендант, вскочив.

Минуло ещё несколько минут. Внезапно Лавр Георгиевич обернулся и заговорил, повышая голос так, что к концу фразы он уже гремел на весь коридор:

— Передайте вашим, что если ещё какая-нибудь каналья осмелится показать сюда свой нос, то я прикажу джигитам... кишки пороть! Пошёл вон!

С перекошенным от злобы и страха лицом, бормоча что-то, комендант, пятась, выскользнул в коридор...

Покидали Быхов вместе с генералом Романовским. Путь на Дон лежал через Украину. Аристократичный Иван Павлович представлялся прапорщиком, а Марков исполнял роль его денщика. Сергей Леонидович легко вжился в образ солдата, говорил с митинговым задором, свёл дружбу с «товарищами», которые никак не могли заподозрить в нём царского генерала. Во время пересадки в Харькове встретили Деникина, добравшегося до того же пункта назначения иным маршрутом. Велика была радость той встречи! Так и прибыли в Новочеркасск втроём.

Антон Иванович Марков глубоко уважал и был искренне убеждён, что после гибели Корнилова никто другой не мог возглавить армию. Тяжёлое наследство досталось Деникину. Теперь он был Верховным Главнокомандующим едва живой армии. Иван Павлович руководил штабом, мечтая оставить эту должность и получить под командование какую-нибудь часть, чтобы вернуться, наконец, к настоящему делу — сражаться с врагом в открытом поле. Очень хорошо понимал Сергей Леонидович это желание! Он сам успел вдоволь насытиться «прелестями» высокого поста начальника штаба. Если командующему армией недочёты и неустройства склонны прощать, то начштаба должен

отдуваться за двоих! Чтобы ни случилось, все шишки сыплются именно на его голову, его винят во всех неудачах, и на него точат зуб буквально все. Всё это Марков испытал на себе. Сколько недовольства было против него, когда он был начальником штаба, а стоило возглавить полк — и армия перевозносит его до небес! Не позавидуешь Ивану Павловичу... Но что поделаться, кому-то должно и штабом руководить. А жребий Сергея Леонидовича быть ударной силой армии, вести её за собой, вдохновляя личным примером. Если повезёт, то — к победе. Каждому свой крест, и нужно нести его, как нёс покойный Верховный. А все сомнения и настроения — к чёрту! Не время и не место для них...

Бесшумно приближалась армия к Медведовской. Оставив свою бригаду в версте от переезда, Марков с несколькими разведчиками поскакал вперёд. Рассчитывать на удачу, находясь в окружении, не приходилось, но как говаривал Суворов: «Сегодня счастье, завтра счастье — помилуй Бог, а ум-то где ж?» Вот, умом-то и обойти «товарищей», а тогда уж и счастье будет!

В железнодорожной будке оказалось всего три человека, опешивших при виде неожиданных гостей.

— Связать! — коротко приказал Марков и немедленно отправил одного из офицеров передать бригаде указание двигаться вперёд и остановиться в двухстах шагах от путей.

Пока оставшиеся разведчики вязали пленных, Сергей Леонидович привычно мерил шагами помещение, крутя в руке хлыст. Надтреснуто задребезжал телефон. Генерал бросил на него быстрый взгляд и резко снял трубку:

— Кто говорит?

— Станция Медведовская. Что, не видать кадетов?

— Нет, всё тихо.

— У нас на станции стоят два бронепоезда. Может, прислать один к переезду на всякий случай?

— Пришлите, товарищи! Оно будет вернее! — Марков положил трубку и скомандовал: — Установить два орудия у полотна для встречи бронепоезда!

К моменту появления поезда у будки сторожа собралось всё командование Добровольческой армией во главе с Деникиным и Алексеевым. Он медленно выполз из мрака, с закрытыми огнями, лишь светом открытой топки давая знать о себе. Добровольцы залегли вдоль полотна и застыли в ожидании. Счёт времени шёл на секунды. В такие моменты решается всё, и всё зависит от инициативы командира, от его способности точно оценить обстановку, мгновенно принять решение и действовать! Удача нахрап любит! Когда поезд приблизился к переезду, Сергей Леонидович сбросил свою белую папаху и бросился к паровозу:

— Поезд, стой! Раздавишь, сукин сын!

— Кто на пути? — окликнули с бронепоезда.

— Разве не видишь, что свои?!

Поезд остановился. В тот же миг Марков, схватив у одного из стрелков гранату, бросил её в топку паровоза и крикнул, отбегая:

— Орудие — огонь!

Заплевал бронепоезд во все стороны струями пуль и картечи, оцетинился штыками своего гарнизона. Но и установленные у полотна орудия Добровольцев не молчали. Первый снаряд попал в колёса паровоза, второй в самый паровоз. Штабс-капитан Шперлинг дернул за боевой шнур, паровоз был в перекрестии его панорамы... С треском ахнула граната по паровозу, и сразу крики и тревожные голоса прокатились по бронепоезду. Грохотом, криками и треском взволновалась бесшумная ещё четверть часа назад степь. Озарили её огнём взрывы, и видно было, как в

этих вспышках мечутся по степи кони, повозки, люди... Это переполошились господа обозники, подумавшие, что настал их смертный час. Распушились во все стороны, затрудняя подход из арьергарда бригады Богаевского. Среди суматохи, под роем пуль штабс-капитан Шперлинг спокойно всадил вторую гранату в паровоз, и он завалился в облаках пара...

— Вперед! — скомандовал Марков, выскочив на самое полотно.

— Ура! — откликнулись из темноты Добровольцы и со всех сторон ринулись на зов, стреляя в стенки вагонов, взбираясь на крышу, рубя топорами отверстия и сквозь них бросая бомбы...

В ходе короткого боя команда бронепоезда, состоявшая из матросов, погибла полностью. Подоспевшая бригада Богаевского отогнала второй бронепоезд, а юнкера Боровского тем временем заняли саму станцию Медведовскую, расположенную в нескольких верстах.

— Снаряды. Перегружать снаряды. Повозки сюда! — распоряжался Сергей Леонидович.

Снаряды! Как нужны они армии! Снаряды необходимо успеть погрузить! А на всё про всё — ничтожное количество времени. Из лазарета для скорейшей погрузки захваченных боеприпасов спешили раненые. Подвода за подводой пересекала рельсы, вырываясь из казавшегося замкнутым круга. Первые лучи солнца разорвали ночную мглу на востоке. Видно было, как в предрассветном тумане дымятся новые подходящие бронепоезда, близятся красные цепи... Завязался арьергардный бой. Капитан Шаколи, тяжело раненый в плечо, несмотря на приказание командира батареи полковника Миончинского, не покидал орудие, прикрывая отход армии, пока последние повозки лазарета галопом, уже под пулеметом, не проскочили переезд. Когда последний боец перешёл дорогу, Сергей

Леонидович не удержался, и, чтобы поиздеваться над «товарищами», телефонирует им:

— Добровольческая армия благополучно перешла железную дорогу.

Прорвались! Вот, мгновения, ради которых стоит жить и бороться! Вот, ради чего стоит идти на смерть! Вновь ожила армия, вновь почувствовала силу и готовность сражаться и побеждать! Вновь заблестели глаза усталых Добровольцев, светились страдальческие лица раненых — и из уст в уста единым выдохом — победа! Победа после того, как всё уже казалось потерянным! Воскрес надломленный дух армии, сгнуло, как не было, отчаяние, и вновь горит в сердцах вера в лучшее, вера в победу! И не может теперь вестись речи о распылении и гибели, потому что армия Корнилова жива, и живо дело его, которое надо продолжать! Эх, отвяжись, худая жизнь, привяжись хорошая!

Бодрый и весёлый, скакал Сергей Леонидович вдоль колонны, сопровождаемый своими разведчиками и провожаемый восторженными возгласами. Несмолкаемое «ура» встречало его повсюду. И было, чёрт возьми, чему радоваться! Подобно восставшему из гроба Лазарю, восстала армия из уготованной ей могилы. Дорога была открыта. Было взято триста шестьдесят оружейных снарядов, около ста тысяч ружейных патронов, пулемётные ленты, продукты питания — то, что для армии, исчерпавшей свои запасы, было жизненно необходимо. И всё это было достигнуто одним ночным боем, в котором даже потери оказались ничтожны. Не так ли воевал и завещал воевать великий Суворов?

— Не задет? — спросил Антон Иванович, обнимая Маркова.

— От большевиков Бог миловал, — улыбнулся Сергей Леонидович. — А вот свои палят, как

оглашенные. Один выстрелил над самым моим ухом — до сих пор ничего не слышу...

— Хвала Богу, что всё обошлось! Теперь армия спасена!

— Богу хвала, а нам честь и слава!

Путь лежал в богатую и дружелюбную Добровольцам станицу Дядьковскую. Сзади постепенно затихала стрельба. Красная артиллерия ещё пыталась достать удаляющуюся армию, взрывая снарядами землю, но расстояние было уже слишком велико. Пехоту усадили на подводы, а потому белое войско двигалось быстро по высушенным весенним солнцем дорогам, во все стороны от которых расстилалась безкрайняя зелёная степь...

Глава 16. Дальняя дорога

Не поверила Надя предсказаниям Стеши о суженом и дальней дороге. А ведь вот как обернулось! Права оказалась бойкая горничная: не объедешь суженого на кривом коне, не уйдёшь от судьбы. И, Боже милостивый, до чего же бывает милосердна судьба! Будто бы посылает награду за всё пережитое, и тем ценнее она, тем больше счастья. Читала Надя в романах о неземной любви, о том, как вспыхивает между людьми это неизъяснимое чувство, чувство, разом становящееся больше всех невзгод, всей жизни, всего света, чувство, толкающее на подвиги, дающее силы жить и переносить любые тяготы, вдохновляющее, озаряющее всё вокруг, мечтала, что и с ней произойдёт подобное, но не могла представить, как это возможно, откуда вдруг явится это чувство, как угадает сердце Его, безошибочно и навсегда?

Они встретились в лазарете, где Надя стала работать после занятия Киева немцами. Легко раненный в ногу поручик Алексей Юшин был высок и статен. Лицо его не то, чтобы отличалось красотой, но вызывало приязнь своей открытостью, видимой решительностью и в то же время искорками неистребимой весёлости, поблёскивающими в умных серых глазах. Портрет дополняли коротко стриженные тёмные волосы и усы. Говорил Юшин высоким баритоном, часто шутил и смеялся. К Наде он подошёл вдруг, представился чинно, и она, всегда застенчивая при новых знакомствах, отчего-то не почувствовала ни малейшего стеснения, робости, будто бы встретила старого друга, с которым можно легко и беззаботно говорить обо всём, а можно просто молчать — и молчание это не будет истолковано превратно. Их как-

то сразу потянуло друг к другу, и они стали видаться каждый день. И никогда прежде, ни с кем из знакомых и даже родных не чувствовала Надя такой замечательной лёгкости, и от этого было светло и радостно на душе, и первые лучи весны согревали и помогали забыть весь пережитый ужас.

Алёша родился в малоземельной крестьянской семье и был младшим ребёнком в ней. Жили бедно и трудно. Тяжелее всех приходилось матери. Поднималась она ещё до свету, ходила за скотиной, топила печи, стряпала, проводив мужа и старшего сына в поле, забивалась под лавку, где было темно и прохладно, накрывала мокрым платком сухое лицо, а час спустя снова принималась за работу, и не было конца этой «каторге», вытягивающей из матери все жизненные соки. С началом переселенческого движения отец решил перебираться в Сибирь. Евграфий Матвеевич был человеком работающим, сметливым, хозяйственным, да и Антошка, старший, пошёл в него, подопрел отцу на подмогу.

В Сибири семья обосновалась прочно, на выделенный Земельным банком кредит выстроили крепкий, просторный дом, закупили инвентарь. Не мог нарадоваться Евграфий Матвеевич — наконец, и он стал землевладельцем, наконец, и у него стало достаточно земли, чтобы зажить по-человечески. На первых порах, знамо дело, пришлось нелегко, но мало-помалу наладилось хозяйство, разрослось, и, вот, уже приоделся хозяин и сам, и семью приодел, и крышу покрыл железом, и не было ни в чём недостатка на столе, и даже мясо стало появляться на нём всё чаще. Богатела Сибирь год от года, и иные крепкие хозяева выбились в крупные землевладельцы, сами вошли в кооперацию, завели различную технику, сделали, в полном смысле слова, фермерами, о появлении класса которых пёлся Столыпин, планомерно претворяя в

жизнь свою реформу. До фермера Евграфию Матвеевичу было, конечно, не дорасти. Годы брали своё, старший сын оженился и вошёл в дом как раз таки крупного землевладельца, стал ближайшим помощником его, колесил по всей Сибири по торговым делам тестя. И рад был Евграфий Матвеевич выгодной партии и сыновней удаче, но и огорчался немного: своё-то хозяйство тоже продолжать кому-то нужно. Дочь вышла замуж за священника. Зажили в родной деревне, но — отрезанный ломоть. Не радовал Евграфия Матвеевича и младший сын, коего считал он блажным и частенько бранил.

Алёша, и в самом деле, никогда не был охоч до хозяйства. Родителям помогал, но тянуло его к чему-то другому. Иногда любил он, прихватив с собой дворового пса Бушуя, уйти в одиночку в лес или на болота, бродить часами по яругам, а после, напившись чаю или молока, забраться на печь, отогревая промёрзшие члены. Однажды зимой Алёша забрёл далеко и в начавшейся вьюге заплутал. По счастью, его нашли, но целый месяц пролежал он в постели с воспалением лёгких. После этого случая, по выражению Евграфия Матвеевича, «нашла на отрока новая блажь». Алёша решил, что его призвание — служить Богу, избавившему его от верной смерти. С этой целью, собрав котомку, провожаемый хмурым взором отца и слезами матери, он отправился в Казань, где поступил в семинарию. Через два года, однако, Алёша понял, что совершил большую ошибку. Не влекло его ни монашество, ни священство, и сухая догматика порядком наскучила ему, и, наконец, стало казаться, что в самой безграмотной старухе чистой и настоящей веры больше, нежели в учёных богословах. Проборовшись с собой какое-то время, Алёша упал в ноги старцу Варнаве, покался в своих грешных мыслях и, выложив всю душу, спросил совета. Старец поглядел на него белёсыми глазами, легко

ударил маленькой, сухонькой ладошкой по затылку и не велел продолжать путь к выбранному сгоряча поприщу, благословив вернуться в мир и найти там себе дело по сердцу и этим делом служить Богу и людям.

Семинарию Алёша оставил почти с радостью. Но одно огорчало его: ни к чему не лежало его сердце, никакое дело не влекло его, ни в чём не мог обнаружить он своего таланта. Алёша готов был решить, что просто никчёмен, пуст и бездарен, и опустить руки, вернуться в родную деревню и пахать землю по примеру отца. Но в это время началась война, и вчерашний семинарист обрадовался ей и незамедлительно подался в военное училище. Всё разом стало просто и понятно: если Родина ведёт войну, значит, нужно защищать её. А уж ему Алёше, не обременённому ни семьёй, ни хозяйством, ни каким-либо делом, так и вдвойне позорно было бы не поспешить в первых рядах на фронт. На фронте он, впрочем, оказался лишь по окончании курса и ощутил себя там совершенно в своей тарелке. Сразу улетучились прочь приступы меланхолии и сомнения. На войне всё ясно: здесь свои, там чужие, за друзей — клади живот, враг — бей — тем и хороша она, что не оставляет места на пустые искания.

Воевал Алёша с задором, будто бы играл. Удача сопутствовала даже сумасбродным его выходкам, и потому вскоре он получил своей Георгиевский крест за храбрость и к осени Семнадцатого дослужился до чина поручика. Начальство Алёшу жаловало, подчинённые любили. Лёгких и весёлых людей, по обыкновению, любят все, а Алёша старался быть именно таким. Даже когда обычный бодрый настрой изменял ему, он не показывал виду, демонстрируя беззаботность и удалство. Потрясения, происходившие в России, Алёша старался не принимать близко к сердцу. Не по чину было рассуждать и политиканствовать, на то генералы

да полковники оставались, а скромному младшему офицеру следовало просто служить, воевать, беречь своих подчинённых, выполнять приказы. Но как не бежал Алёша политики, а настигла она и его, настигла бегущими с линии фронта солдатами и угрозами расправы, настигла страхом получить пулю в спину или удар русского штыка в живот, настигла всеобщим хаосом и распадом, от которого уже невозможно стало укрыться. Волна отступления донесла поручика до Украины и, будучи ранен в последнем бою, он оказался в Киеве, в лазарете Российского общества Красного Креста, прежде носившем имя Великого Князя Михаила Александровича. Рана не была опасной, но заживала очень долго. Алёша с детства страдал медленным заживлением ушибов и ссадин, а ранение это было первым за всю войну.

Самые страшные часы в своей жизни поручик пережил с приходом в Киев большевиков. Он тогда жил на квартире сослуживца-киевлянина и был арестован вместе с ним. Их отправили не во дворец, а в большевистский штаб, расположенный в театре. Театр был буквально забит арестантами, среди которых находились генералы Драгомиров и Половцев. Алёша был почти уверен, что избежать расправы не удастся, но всячески подбодрял товарища, сохраняя видимость совершенной беззаботности. Между арестованных бродили комиссар и матросы, покуривали, поругивались.

Спасение явилось неожиданно и почти невероятно. И этим спасением был начальник лазарета Юрий Ильич Лодыженский. Юрий Ильич, военный врач, блестящий хирург и человек редкой выдержки и отваги, аристократ по духу и образу, был близок к семье Великого Князя Михаила и отличался откровенно контрреволюционными взглядами, которых не пытался скрывать. На новогоднем ужине он произнёс краткую

речь, обращённую к раненым офицерам, среди которых был и Алёша, призвав их не падать духом, а искать новых путей борьбы за Родину. Увидев его в театре, поручик с горечью подумал, что он арестован также, но по тому, как доктор разговаривал с комиссаром, щеголявшим гусарской саблей, привешенной к штатскому пальто, понял, что ошибся. Показав комиссару какую-то бумажку, Юрий Ильич занялся осмотром помещения. За ним по пятам следовал развязный матрос, которому, судя по всему, не было ни малейшего дела до того, чем занимается странный доктор. Лодыженский прошёл совсем рядом с Алёшей и по быстрому взгляду тот понял, что Юрий Ильич узнал его. Доктор приблизился к Драгомирову, что-то быстро сказал ему и проследовал дальше.

Дальнейшее больше походило на чудо, годившееся для сказки или же неправдоподобного романа со счастливым концом. Алёша и его товарищ, а с ними ещё несколько офицеров оказались на свободе. Отпущены были и генералы Драгомиров и Половцев, а также начальник склада Красного Креста Евреинов, заключённый во дворец. Другие арестанты получили разрешение получать пищевые посылки. Когда Юрия Ильича спрашивали, каким образом ему удалось совершить это чудо, он пожимал плечами, и едва уловимая улыбка скользила по его красивому, породистому лицу:

— Сказать по чести, сам не помню, что я им плёл...

Правда, были два факта, способствовавшие удаче доктора. Во-первых, большую помощь оказал еврей-фармацевт, служивший на складе у Евреинова и исполнявший роль комиссара при Красном Кресте, сохраняя при этом верность своему прежнему начальству. Во-вторых, по счастливому стечению обстоятельств, Лодыженский, придя во дворец, чтобы вызволить Евреинова, оказал помощь раненому

большевику, и в благодарность за это «товарищи» не стали препятствовать его миссии. Впрочем, двух этих причины было мало, чтобы объяснить такую редчайшую удачу, и Алёша приписал её Божиему чуду.

После освобождения он вновь перебрался в лазарет. Опять открылась рана, да и под сенью Красного Креста было безопаснее. Многие офицеры скрывались там, получив фальшивые справки о ранениях. Юрий Ильич развернул кипучую деятельность по оказанию помощи заключённым, со склада Красного Креста для этого выделено было всё необходимое. Для Алёши оставалось загадкой, как допускают большевики, чтобы этот удивительный человек, ставший Ангелом-Хранителем для многих несчастных, вёл свою работу в то время, когда на улицах хватают и убивают людей просто за «неправильный» наряд, за мундир. Сам Лодыженский тоже удивлялся этому и продолжал работать, не ведая усталости и не давая себе роздыху.

Всю свою почти фантастическую историю Алёша в подробностях рассказал Наде. Она, в свою очередь, поведала ему о том, что пережила сама. В какой-то день он встретил её с серьёзным и озабоченным лицом и произнёс твёрдо:

— Мне нужно поговорить с вами, Надежда Петровна.

Сердце Нади подпрыгнуло, руки похолодели, она опустилась на краешек стула и проронила чуть слышно:

— Я слушаю вас, Алексей Евграфьевич.

— Я скоро уеду из Киева.

— Уедете? — Надя вздрогнула и подняла на него свои крупные карие глаза. — Куда?

— Домой. Моего полка больше нет. В Киеве мне делать нечего. Я уже давно не имею вестей из дома. В последнем письме мать писала, что отец очень болен. Я должен ехать.

— Вот как... — Надя опустила голову и стала терев кончик длинной, как у былинных красавиц, косы, как делала всегда, когда нервничала. — Что же, я понимаю. Я сама очень переживаю за своих... Когда же вы едете?

— Как только выправлю подходящие документы.

— Понимаю... Что же, счастливого пути вам...

— Надежда Петровна! — в голосе Алёши прозвучало волнение. — Вы что же думаете, я завёл этот разговор, чтобы просто взять и проститься с вами?

— Но для чего же?

— Скажите мне, Надежда Петровна, вы поедете со мной?

— Что? — от неожиданности Надя резко поднялась со стула.

— Я предлагаю вам ехать со мной!

— В качестве кого?

— В качестве моей невесты! — Алёша крепко стиснул ладони Нади. — Я люблю вас, Надежда Петровна. Я хочу, чтобы вы стали моей женой, чтобы мы всегда были вместе! Хотите ли вы этого?

— Хочу, — просто и без всякого кокетства ответила Надя. — Только как же? Без родительского благословения?

— Мои родители благословят нас, когда мы приедем. А мой деверь обвенчает нас в нашей церковке!

— А как же мои родители? — осторожно спросила Надя. — Ведь они в Петербурге...

— Надежда Петровна, я понимаю, что согласие ваших родителей очень важно. Но скажите, у вас есть основание полагать, что они не дали бы его?

— Пожалуй, что нет... Мои родители любят меня, и они не станут противиться моему выбору...

— Вот видите! Здесь ваша тётушка. Она может благословить вас. Надежда Петровна, мы живём в

грозное и удивительное время! Я не знаю, что будет дальше, что будет с Россией и с нами, но я знаю, что мы должны быть вместе, что мы нужны друг другу! В мирное время мы бы поехали к вашим родителям и попросили благословения, но сейчас война. Самая страшная, какая только может быть. Гражданская. Кто знает, когда она окончится? Чем? Мы не можем ждать, потому что жизнь у нас одна! Пройдёт время, и лихолетье это канет в небытие, пушки умолкнут, предоставив говорить музам, и мы поедем к вашим родителям, упадём им в ноги, попросим прощения. Надежда Петровна, скажите, поедете вы со мной или нет? — Алёша говорил горячо, не сводя с Нади глаз. — Соглашайтесь, Надежда Петровна! И пусть вас не смущает, что я сын простого пахаря... Важно ли это теперь? Я клянусь вам, Надежда Петровна, что никогда не покину вас, что слово ваше будет для меня законом. Вы жизнь моя отныне и до конца дней, дороже вас у меня никого нет. Даже если вы откажете сейчас, знайте, я всё равно буду любить вас и, что бы ни случилось, вы можете располагать мной.

— Я не откажу вам, Алексей Евграфьевич, — тихо отозвалась Надя. — Я поеду с вами и буду вашей женой. Но законом будет не моё слово, а ваше. И куда бы вы ни пошли, я последую за вами. Уверена, что мои родители поймут меня и не укорят.

— Надежда Петровна... Клянусь вам, что мы будем счастливы! — выдохнул Алёша и хотел было по примеру древних рыцарей опуститься на колени, но раненая нога не позволила сделать это. Он неуклюже покачнулся и стеснительно улыбнувшись, притянул губами к руке Нади, вскочившей, чтобы поддержать его. — Будем счастливы, несмотря на всё это...

В тот же вечер Надя заглянула в комнату тётки. Анна Кирилловна уже почти оправилась от болезни и

коротала время за любимым занятием — вышиванием. Увидев племянницу, она показала ей свою работу:

— Это будет наше маленькое имение в Чернигове. Его пришлось продать, к сожалению... Там прошёл наш медовый месяц с Фёдором Степановичем. Там мы и венчались... Какое было чудное время, если бы ты знала! Там пруд был, а в нём лебеди. Лебедь и лебёдка... Мне казалось, что они тоже влюблены, что у них тоже медовый месяц...

— Очень красиво, тётушка, — сказала Надя, рассматривая вышивку.

— Да... И очень успокаивает нервы. Лучше всяких лекарств. Знаешь, я понимаю, что бессовестно и дальше обременять собой любезного Никифора Захарьевича, но у меня просто нет сил переступить порог нашей квартиры, где всё напоминает... — Анна Кирилловна запнулась. — Я решила поступить в корпус медицинских сестёр при лазарете. Что будет дальше, трудно сказать... Немцы, должно быть, пришли не навсегда... Сейчас так многим нужна помощь! Раненым, вдовам и сиротам, заключённым... Юрий Ильич прилагает все усилия, чтобы помочь всем. Я думаю, мои руки не будут лишними. Тем более, пережив сама такое горе, я считаю, что мой долг теперь помогать другим.

— Вам нужно поберечь ваше здоровье...

— Для чего? — Анна Кирилловна пожала плечами. — Жизнь моя кончена.

— Но Родя...

— Родя уже взрослый, самостоятельный. Очень независимый. Я пыталась уговорить его уехать куда-нибудь. Всего лучше, за границу. Но он и слышать ничего не хочет. Он хочет сражаться. С большевиками... Когда мужчины воюют, женщины должны сохранять милосердие, чтобы не дать миру окончательно потонуть в жестокости. Но я всё о себе, о себе... — Анна

Кирилловна потрянула головой. — Ведь ты хотела что-то сказать мне?

— Да, тётушка, — кивнула Надя и, собравшись с духом, сообщила: — Я уезжаю из Киева. Алексей Евграфьевич сделал мне предложение, и я приняла его.

— Девочка моя, — Марлинская ласково улыбнулась. — Я очень рада за тебя. Я давно заметила, что между вами, и ждала этого. Мне нравится твой Алексей. Уверена, что твоей матери он тоже понравится.

— Спасибо, тётушка! — Надя поцеловала тётке руку. — Мне так хотелось услышать ваше одобрение! Я не могу спросить мнения матушки, и это тяготит меня...

— Она обязательно одобрит твой выбор, — уверенно сказала Анна Кирилловна. — Тем более, вы любите друг друга, и это главное.

— А мой отец?

— Отцы очень редко бывают довольны выбором дочерей, равно как матери выбору сыновей. Не переживай, моя дорогая.

— Спасибо, тётушка!

Анна Кирилловна обняла племянницу:

— Но куда же вы едете?

— В Сибирь. К его родителям.

— Это неплохо, — рассудила тётка. — Сибирь — богатый край. Главное, чтобы там не было большевиков... Признаться, мне жаль отпускать тебя в неизвестность, в такой дальний путь. Я обещала твоей матери заботиться о тебе... Но с того времени так много изменилось! Твоя мать отправляла тебя ко мне для твоей безопасности, а вот, что вышло... Теперь нигде нельзя уверенно чувствовать себя. Такое время. В лихую годину все условности отмирают, всё обнажается, упрощается. Раньше Мария Тимофеевна сочла бы неприличным, чтобы ты гуляла по улицам одна без сопровождения, а теперь я отпускаю тебя на другой

конец страны с почти чужим человеком, и не вижу в этом ничего неприличного. Более того, мне кажется, что он будет тебе более надёжной защитой. Поезжай, Надинька, поезжай... Страшно мне за тебя, но поезжай. Так должно быть.

— Когда мы доберёмся до места, то обвенчаемся.

— Это прекрасно, — вздохнула Анна Кирилловна. — Я желаю вам обоим счастья. Не может быть, чтобы оно перевелось. Оно непременно должно быть...

Документы Алёша выправил довольно скоро.

— Унтер-офицер Алексей Ромашин, выбывший из строя по ранению, и его молодая супруга Надежда Ромашина, — говорил он, улыбаясь, показывая Наде паспорта.

— Вот как? Уже супруга? — рассмеялась она. — Поручик, а вы не слишком спешите?

— Я думал записать вас сестрой, но, боюсь, что не сумею подобающе сыграть брата, и наша конспирация провалится. А вы имеете что-то против жены?

— Ничегошеньки!

Киев покидали прохладным весенним утром. В тот же день столицу Украины временно оставлял и доктор Лодыженский. После заключения мира с Германией, он получил от командующего оккупационными войсками маршала Эйхгорна пропуск и рекомендации к немецкому представительству в Москве. Юрий Ильич уезжал в Первопрестольную, чтобы вывезти оттуда жену и детей, о которых не имел почти никаких сведений. Простились очень тепло.

— Я обязан вам жизнью, Юрий Ильич, — сказал Алёша. — Я ваш должник до гроба.

— Пустое, — махнул доктор узкой рукой с долгими пальцами. — Желаю вам впредь избегать подобных передрыг, поручик. Счастливого вам пути.

— И вам тоже счастливо возвратиться!

Доктор спешил на пароход, который должен был доставить его в Быхов, а путь Нади с Алёшей лежал на вокзал. Вещей было немного. Правда, перед самым отъездом Стеша всучила им целую корзину с продуктами:

— Вот, барышня, возьмите на дорожку! Чай, в пути-то не разживёшься! А я вам пирогов спекла! Картошечку печёную положила, яичков... Да вы сами разберёте!

— Право, Стеша, не надо было... — сказала Надя, тронутая заботой.

— Да куда ж не надо? В такую дальнюю дорогу отправляетесь... Ах, барышня-боярышня, ни пуха, ни пера вам!

— К чёрту, Стеша, — обнялись, как добрые подруги, не в силах сдержать слёз.

Всплакнула и Анна Кирилловна, уже сменившая траур на платье сестры милосердия.

— Все-то уезжают, совсем мы одни остаёмся, — вздохнула она. — Да простит мне Лиза, что так отпускаю тебя... Но да что уж... Разве могу я быть тебе защитой? Я за себя-то с трудом отвечать могу. Всяк про себя, един Бог про всех, на Его волю и положимся. Коль оказия случится, дай весточку мне.

— Обязательно, тётушка.

Анна Кирилловна и Стеша проводили их до вокзала. Приехал туда и Родя, коротко пожелавший счастливого пути. Поезд был забит до отказа, и Надя с Алёшей с трудом примостились в уголке одного из купе, прямо у окна. Раздался пронзительный гудок, и тяжёлые колёса застучали по рельсам, набирая скорость. Перрон заволокло клубами белого дыма, и сквозь него было видно, как Стеша машет вслед сорванным с головы платком, и ветер треплет её чёрные, непокорные кудри...

Попутчиком «четы Ромашиных» оказался рябой, молодцеватый солдат с Георгием на груди по имени Кузьма. Был он на удивление обходителен, даже курить выходил в коридор и смешно запинаясь, не решаясь произнести привычное крепкое словцо в присутствии барышни. Увидев полную снеди корзину, Кузьма присвистнул:

— Экие запасы у вас! С такими хоть на самый край света!

— Угощайтесь, — предложил Алёша.

— Премного благодарен, — обрадовался солдат, потирая руки. После Стешиной стряпни он подобрел окончательно и принялся рассказывать о себе. — Сам я того, фабричный. В деревне нашей голод был. Сами понимаете, цинга, а там и тиф. Батька мой помер, а я сбёг и на фабрику подался. А только не по нутру мне пришлось, как там всё устроено. Одни день и ночь вкалывают, света белого не видя, мозоли у них кровавые да болезни всякие, тяжким трудом заработанные, а живут, хуже пса дворового, нищее церковной мыши, никаких прав у них. А другие до полудня в постелях нежатся, тело у них дебелое, холёное, собственные дома, выезды... А за что им всё это, спрашивается? Чем они заслужили? По заграничным курортам ездят, по балам скачут... Они скачут, а народ плачет! И такая меня обида взяла! Разве же это справедливо? Вот, вы как думаете, справедливо это?!

— Нет, конечно, — согласился Алёша. — Но мир вообще построен на несправедливости.

— Так зачем же тогда мир такой, ежели в нём справедливости нет? Порушить такой мир и новый построить надо!

— Вы большевик?

— Да, — почти с вызовом заявил Кузьма. — Я и в ссылке был. За стачку. Так-то. А вы каких политических

убеждений будете, товарищ?

— Я? — Алёша пожал плечами. — Я как-то не думал об этом. Я политики не жалую.

— А надо — думать, — наставительно произнёс солдат. — Ныне новый мир рождается, вот что. Старый по швам трещит, в муках корчится, чтобы новый родился.

— И вы уверены, что новый будет справедливее?

— Естественно! А как же иначе может быть? Мы ведь что хотим: чтобы всё по справедливости. Чтобы не было такого, когда одни с голоду пухнут, от цинги мрут, а другие трюфелями да заморскими винами угощаются, с золотых блюд едят! Чтобы все равны были во всём, понимаете? Чтобы каждому по труду! А то ведь у нас рабочий конь на соломе, а пустопляс на овсе! Равенство — великая вещь! Ежели все равны будут, так и воевать не за что будет, враждовать не за что! Ведь всякая вражда от неравенства возникает! Сытый с голодным не помирится! А мы всякое неравенство уничтожим!

— Так ведь люди от природы неравны, — заметил Алёша. — Одни рождены сильными, а другие хилыми, одни умны и даже гениальны, а другие глупы, одни деятельны и ловки, а другие мечтательны и неуклюжи... Как же всех под одну гребёнку? Древний философ Аристотель считал, что справедливость как раз в том и состоит, чтобы к равным относиться равно, а к неравным неравно.

— Вижу я, вы человек умный, книжки, небось, читаете. А мне, вот, книжек почитать не удалось, потому что какие тут книжки, когда от голода брюхо подвело? У нас все будут умные, образованные и сильные, потому что у нас для всех будет образование, все книжки смогут читать, всех будут лечить бесплатно, а не то, что бедный человек сдыхай, как собака, в богадельне, а вокруг богатея лучшие доктора вьются!

Все, все смогут достичь любых высот! И все будут сыты и счастливы!

— Помилуйте, но не могут же все быть Пушкиными и Менделеевыми? Ведь способности различны...

— Способности развивать надо! Вырастим мы и Пушкиных, и Менделеевых. И не будет больше бедных, не будут больше люди слезами и кровью умываться... Не будут больше в цепи заковывать людей и на каторге гноить!

— А что же вы будете с преступниками делать?

— Эх вы! — снисходительно улыбнулся Кузьма. — Образованный человек, а в толк не возьмёте! От чего все преступления выходят? От того, что неравенство! А коль не будет его, так и преступать не из-за чего! Ну, разве уж сумасшедший какой иль враг! Так его мы ликвидируем и баста! Всё же просто!

— Ликвидировать вы уж начали, по-моему, — заметил Алёша. — Справедливость, говорите? А справедливо, что безоружных людей ни за что, ни про что по улицам ловили и расстреливали?

Надя осторожно толкнула жениха локтём, предупреждая, чтобы он был осторожнее в своих словах. Но солдат ничуть не рассердился. Лицо его немного омрачилось, и он ответил:

— То, что офицеров без суда и следствия стреляли, это, правда ваша, не дело. По мне так те, кто это допустил, должны перед революционным судом ответить. Мы ведь не звери и понимание имеем. Это перегибы, так. Но ведь сейчас великая борьба идёт! Всемирная! Жестокая! Невозможно, чтобы перегибов не было. Натерпелся народ от бар, а нынче, вон, пар выпускает, мстит. Не разбирая правых и виноватых. Да и за войну озлились, что ж взять с них? Сами же довели нас до этого! Офицеров, конечно, зря побили. Я лично против офицеров зла не имею. Генералов не люблю. Корниловых да Калединых. Они рабочего класса и

советской власти кровные враги. А офицеры — что ж... Тоже люди. И неплохие есть. И в окопах с нами сидели, и в атаку вели, и гибли... Честно служили, что уж... За чужую вину они нынче пострадали, вот что. Но ведь и мы за что страдали? Тоже ведь никакой вины за нами не было! Вот, и отыгрывается... Эх, товарищ, потерпеть треба, вот что! Без мук ничего не рождается. Сейчас время лихое, но зато потом, как власть наша советская на ноги встанет, заживём мы настоящей жизнью! По правде заживём!

— Скажите, а за что крест у вас? — спросила Надя, боясь, что Алёша скажет какую-нибудь резкость.

— Крест-то? Да ерунда, барышня! — Кузьма махнул рукой. — Трёх немцев в плен взял.

— Ничего себе ерунда! Ведь это же подвиг!

— Да какой там! Как дело-то было? — оживился солдат. — Полк наш у одной деревеньки стоял. А у меня в той деревеньке зазноба завелась. Пошёл я к ней как-то в ночь, а туман был страшный, так я того, с пути сбился, заплутал, значит. А поутру немцы на нас попёрли и оттеснили нас, а я, значит, у них в тылу остался. Ну, думаю, не сносить головы. Не то немцы в плен возьмут, не то свои холку намылят, дезертиром сочтут. Стал я к своим пробираться и, надо ж было статься — аккурат на немчуру наскочил. У ихнего офицера автомобиль в грязи увяз. Дождь ведь был, дорога — что наше болото сделалась. Ну, стоит он родимый, ругается по—своему, курит, подчинённые его елозят, пытаются, значит, вытолкать транспорт. Ну, думаю, была не была! Винтовку с плеча снял, как заорал на них матом! Вы бы видели, как они всполошились! Как их, горемычных, перекосило! Доставил я этих субчиков к нам в лагерь, так меня братва качать стала. Они думали, что убило меня, или в плен взяли, а я живой-здоровый и с таким трофеем! Полковник наш даже

расцеловал меня. Молодец, говорит, братец! Отпуск дать посулил... Да так и не дал.

— А что вы чувствовали, когда немцев в плен брали? Когда в лагерь их вели? Когда полковник вас благодарил?

— Когда брал, барышня, ничего не чувствовал. Это, знаете, как в атаку идти... Будешь жив, аль нет, не знаешь, а ни страха, ничего нет. Идёшь, воюешь... Чего там! Когда уже вёл их, так весело было, смешно на них, как они облажались. Да ещё радовался, что от начальства теперь по ушам не схлопочу. А полковник... Ну, приятно было, когда он меня благодарил. Кому ж доброе слова не приятно? Но мне, барышня, приятнее было, когда мне беленькой плеснули за подвиг да отпуск пообещали. Да ещё жаль было, что зазноба моя меня не видит, и что так я до неё той ночью и не добрёл. А это, — Кузьма щёлкнул по кресту, — побрякушка... Я однажды чуть не отдал её.

— Как так? Кому?

— Да приехал в нашу часть деятель один. То ли депутат, то ли так... Чёрт их разберёт. Князь какой-то. Долгорукий, кажись, али Долгоруков. Врать не буду, не помню. От Временного, значит, приехал агитировать нас за войну до победного конца. Их бы на эту самую войну, в окопы. Очень это удобно за победу из роскошных гостиных распинаться! Вот, опять неравенство выходит! Капиталистам эта война нужна была, а народу с неё беда только. Они её развязали, сами в своих гостиных и дворцах остались пить да есть в три горла, а нас, как скотину серую в окопы на смерть погнали. Справедливо это, по-вашему?

— Вы про крест рассказывали...

— Ах да... Стал этот самый князь нас, значит, агитировать. Хорошо говорил, с чувством. Даже меня пробрало. Рассказал, какие трудности финансовые у правительства, что нет возможности удовлетворить

наши нужды. Так наши до того прониклись, что, представляете, принесли ему несколько фуражек, полных Георгиев и серебряных рублей для пополнения казны! Меня тоже поблазило, но потом думаю: что же это я этим капиталистам буду деньги на продолжение войны давать? На побрякушку-то мне — тьфу! Но — принцип! И братве сказал: «Дурни вы, дурни. Кому и на что деньги даёте?» Сказал, а самого всё равно гордость взяла за наш народ! Кто бы из этих капиталистов смог так? От души? Порывом? Кровью заработанные награды? Да никто! Нет, великий народ у нас! И великого будущего заслуживает! И оно будет у него! Дайте срок! Вы уж не горюйте шибко, барышня, что сейчас всё так нескладно, горчит всё. Зато наши дети совсем в другом мире жить будут! По справедливости! Как братья! Наши дети будут так счастливы, как ни мы не были, ни наши предки! За всех за нас счастливы будут! Вот, за что мы боремся! — глаза Кузьмы заблестели, и лицо озарилось священной верой в собственные слова.

Поезд остановился у какой-то станции. Алёша взглянул в окно, потянулся за своей тростью, на которую всё ещё опирался из-за не проходящей боли в ноге:

— Надо кипятку взять и прикупить что-нибудь у мешочников...

— Да вы не беспокойтесь, товарищ! — солдат легко вскочил с места. — Я ж вижу, что вы ранетый. Так и сидите. Я сам сбегаю.

— Премного вам обязан, но...

— Человек человеку помогать должён, вот что. Вы хоть и не наших будете, и не всё верно трактуете, а я ж вижу, что вы человек настоящий, хороший человек. И жена ваша — женщина замечательная. Вы мне оба очень симпатичны, прямо вам скажу. Так что сидите, а я сейчас!

Кузьма ушёл, и Надя заметила, склонив голову на мускулистое плечо жениха:

— Какой славный, не правда ли?

— Да, славный...

— Я и не думала, что большевики такими бывают.

— Всякие бывают... А, впрочем, какой он большевик? Просто искренний, честный мечтатель. Наивный, как малое дитя. Ведь чистый же ребёнок, ей-богу! Всерьёз верит в возможность рая на земле! Во весь этот бред! Даже жаль его...

— Почему жаль?

— Потому что рано или поздно этот очарованный большевик разочаруется. А разочаровываться в том, во что свято веруешь, очень больно. Таких, как он, не так уж мало. Искренние русские люди, желающие всеобщего блага. Это нам очень свойственно. Нам непременно нужно всеобщее благо. Всемирное. Обострённое чувство справедливости. Но за этими наивными детьми отнюдь не дети стоят. И вот тем, кто за ними стоит, в конце концов, станут не нужны такие честные и искренние солдаты революции, и жернова их кровавой мельницы перемелют и их...

— Но, может быть, всё не так страшно? — предположила Надя. — Может, всё ещё будет хорошо?

— Всё непременно будет хорошо, потому что искупление всегда идёт ко благу. Бог долго ждёт да больно бьёт. Но удары эти полезны, они очищают... Многие говорят, что мы теперь в аду живём. Нет, это ещё не ад. Это пока лишь мытарства. А через мытарства, если выдюжим, так и в рай дорога ляжет. Только не в тот, который надеется построить наш товарищ Кузьма.

— Всё это так сложно... Не хочу об этом думать, — поморщилась Надя.

— А о чём ты хочешь думать?

— О тебе. О нашей свадьбе. О наших детях... Так хочется просто любить и быть счастливой!

Алёша обнял невесту, ласково поцеловал её в лоб. Вернулся Кузьма с кипятком, махоркой и салом. Вновь тронулся поезд. Медленно угас день и сменился ночным мраком. Надя дремала на широкой груди Алёши, счастливая от его близости, от солнечного чувства любви, цветущего и благоухающего в ней. Ей снилось, будто бы она приводит жениха в родной дом и знакомит со своей семьёй, и будто бы дома всё, как прежде, мирно и радостно, и нет ни войны, ни революций, ни большевиков, и вся семья собирается за обедом, как было заведено, и отец, молодой и ещё не искалеченный в бою, поднимает бокал за здоровье молодых... И очарованная сном душа верила, что поезд, несущийся по погружившимся во мрак русским просторам, непременно вывезет их к светлому утру, к счастью...

Глава 17. Царский путь

25-26 апреля 1918-го года. Тобольск

Великий Пост близился к концу. Всего десять дней осталось до Пасхи. Удастся ли хотя бы в этот великий Праздник побывать в церкви? На Рождество священник имел неосторожность провозгласить за молебном многолетие Императору, и это вызвало бурю негодования в солдатской среде. Священника едва не убили, а Семье запретили посещать церковь. Лишили даже этой единственной радости, постановив молиться лишь дома и под наблюдением... Потом смягчились, позволили посещать службы на двенадцатые праздники, но можно ли ручаться, что не переменятся вновь?

Больше года минуло с того рокового дня, в который подписал Государь отречение, и всё сильнее становилось чувство, что что-то недолжное и непоправимое совершил он тогда, что никак нельзя, не следовало уступать давлению, что не имел он, Самодержец, права покинуть пост, на который самим Богом был поставлен, в такой момент. Уверяли, что такова воля народа. Но — так ли? Ведь не народ ли молился вместе с Государем и пел национальный гимн, преклонив колени, на Дворцовой площади в день объявления войны? И не народ ли был на фронте, в лазаретах, в которых так часто бывал Николай? Вспомнился тяжелораненый рядовой Кузнецов, его протяжный голос: «Теперь легче стало. Ни отца, ни мать позвать не мог. Имя твоё, Государь, забыл. А теперь легче, сподобился увидеть Государя. Главное, ты не робей; мы его побьём. Народ весь с тобою! Побьём его!» Как утешительны сердцу были эти

простые, искренние слова! И разве не народ это был? Разве этот народ требовал отречения от своего Царя?..

Уверяли, будто бы жертва эта необходима для России, что лишь она может спасти Россию. Что ж, Николай никогда не ставил своей власти выше России, он готов был принести эту жертву, как и всякую иную, которая послужила бы ко благу родины и русского народа. Но к чему привела она? К краху России! Думские болтуны, так жаждавшие власти, так бессовестно и облыжно клеветавшие на него и Аликс, получив эту власть, в считанные месяцы довели государства до распада, до неслыханного позора! Два месяца спустя Рузский подал в отставку! Он просил (просил, а не приказывал!) перейти в наступление, а солдатские комитеты не разрешили... Николай вверил судьбу страны Временному правительству, он призывал войска быть верными этому правительству в своём прощальном обращении к армии во имя победы над врагом: «В продолжении двух с половиной лет вы несли ежечасно тяжёлую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий, и уже близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками, одним общим стремлением к победе сломит последнее усилие противника. Эта небывалая война должна быть доведена до победы. Кто думает теперь о мире, кто желает его — тот изменник Отечеству, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестную нашу Родину, повинуйтесь Временному Правительству, слушайтесь ваших начальников. Помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу. Твёрдо верю, что не угасла в наших сердцах беспредельная любовь к нашей великой Родине. Да благословит вас Господь Бог и да ведёт вас к победе Святой Великомученик и Победоносец Георгий».

Они требовали отречения ради победы, а привели страну к Брестскому миру. Мир этот калёным железом жёг сердце Государя, мир этот стал самым большим ударом для него за весь этот несчастный год. Какой позор для России! Равносильный самоубийству! А Вильгельм и его правительство? Как могли они опуститься до того, чтобы пожимать руку негодяям, предавшим свою страну? Думают ли, что принесёт им это благополучие? Нет, это отыграется и им, и их приведёт к гибели... И какова наглость: в газетах писали об условии, по которому немцы потребовали передать им Семью целой и невредимой! Какое оскорбление! И как верно сказала Аликс, узнав об этом: «Я предпочитаю скорее умереть в России, чем быть спасённой ими!»

Умереть в России... Ах, если бы позволили жить просто, своим трудом, хоть и обычными крестьянами — как было бы это хорошо. Роскошь всегда была чужда Николаю, чужда она была и Аликс, в скромности, простоте и трудолюбию воспитаны дети... Но разве позволяют? Всё жёстче становятся условия содержания, всё беспросветнее положение России. Они довели Россию до небывалого упадка. Но не он ли своим отречением открыл им путь? Пускай невольно, но облегчил им его? Нет, не может Государь русский снять с себя ответственности за то, что случилось с его страной. Не может не чувствовать тяжёлым камнем на душе собственной вины за её несчастье. Что ж, может быть, он и заслужил своего нынешнего положения, но дети? За что терпят они?..

Сад дома Корнилова уже всюду дышал весной. Государь совершал свою обычную прогулку, время от времени вглядываясь в лица стоявших в карауле солдат. Что-то происходит в их смущённых душах? Ведь не злы они, нет. И есть среди них люди искренние, добрые, верные, с которыми легко нашёл Николай

общий язык и проводил немало времени в караульном помещении, играя в шашки. Есть другие. Те, которые не упускают случая унижить, оскорбить. Протянул Государь однажды руку одному из них: «Здорово, стрелок!» «Я не стрелок. Я — товарищ!» — и руки не подал. И не впервые случилось так, а каждый раз волновался Николай: за что? Он ли не любил солдата? Он ли не желал всем сердцем нести его тяготы? Он ли не болел душой о нём? Он даже чина не позволил присвоить себе выше полковника, не считая, что заслужил таковой. В Царском от рукопожатия уклонился однажды караульный офицер. Государь взял его за плечи и спросил:

— Голубчик, за что?

— Я из народа. Когда народ протягивал вам руку, вы не приняли её. Теперь я не подам вам руки, — последовал гордый ответ.

Что за нескладная, фатальная судьба? Он любил Россию, любил свой народ, Россия отвернулась от него, он желал блага, его обвиняли в том, что он губит страну, он был добр и милостив, его считали бесчувственным, он хотел мира, а, в итоге, должен был вести две кровопролитные войны, он не желал проливать крови подданных, но назван был Кровавым... Неужели, в самом деле, не было у России худшего Царя во всей истории? Нет, это рок, неизбежность, и ничего нельзя поделать... Был бы он тираном, и ему бы простили потоки крови и прославили. Отчего тиранов так любят? Пётр Великий, из всех предков самый нелюбимый за своё безоглядное западничество, прославляем, как лучший правитель России. Разумеется, Пётр даже ради прихоти своей не задумался бы положить сотни, тысячи жизней. Пётр утопил бы в крови всякую попытку мятежа. И Петра никто не упрекнул бы в жестокости! Не назвал бы

Кровавым! Так что же, нужно быть тираном? Внушать трепет и ужас? Не мог и не хотел этого Николай.

Неизбежность, рок, фатум... Божий бич. Роковой ошибкой было отречение! Никогда не подписал бы этого акта отец. Он дал бы убить себя, но не отрёкся бы, не позволил диктовать себе волю, железной рукой держал он страну... Если бы отец прожил дольше! Каким непосильным, неожиданным грузом свалилась на Николая власть, к которой он не успел толком подготовиться. Отец не думал уйти так рано, полагал, что будет ещё время постепенно ввести наследника в государственные дела. А времени не оказалось... Но дал, умирая, отец завет: «Избегай войн!» И Николай избежать их не сумел. Отец, должно быть, сумел бы... Отец не допустил бы такой катастрофы. Отец не отрёкся бы... Отец, наверное, осуждает теперь этот поступок, как осуждал жёстко, высмеивал всякое проявление слабости.

С ранних лет Николай боялся показать слабость. Необходимость выдержки и самообладания привил отец, умению держать под контролем свои эмоции учил наставник, прозванный иезуитом. Все эти уроки Государь усвоил отлично. Какая угодно буря могла твориться в его душе, но внешне ничто не выдавало её. Подчёркнутая вежливость, обходительность, сердечность — всё это располагало к нему людей. И ни один человек не мог знать, что на самом деле переживает Государь. Проявление чувств есть слабость, а слабость постыдна. Николай почти ни с кем не делился своими переживаниями, все они перегорали в его душе, незаметные постороннему глазу. Скрывать свои чувства — задача нелёгкая, особенно для человека, в коем они сильны. Надёжнее всего избегать разговоров на болезненные темы. Государь почти ни с кем не вёл бесед на темы, подлинно волнующие его, опасаясь, что при касании до больных вопросов

самообладание может изменить ему, и сам голос, тон, выдаст его волнение. В свите частенько обсуждали политические и военные дела, но Николай неизменно уклонялся от участия в таких дискуссиях, часто намеренно переводя разговор на что-нибудь малозначительное, не вызывающее беспокойства. Так было и после Цусимы. О том, что Государь занедужил, получив известие о гибели флота, не ведал никто, о том, что говорил с приближёнными о сторонних предметах, словно ничего не случилось, пошли толки по всем гостиным, и раз и навсегда утвердился миф о равнодушии его. Может быть, и не стоило столь усердствовать, пряча чувства за непроницаемой маской?..

Царь и государство — одно. Сердце Царёво в руке Божией. С малых лет Николай уверовал в это. Наверное, ни одного Государя так не испытывал Бог. Но, отрёкшись, не нарушил ли он Его воли, не уклонился ли от испытаний, не проявил ли непростительное малодушие? Имел ли он право оставить трон своих предков, свой пост? Отречься за себя и за сына? Он поступил тогда, во Пскове, всё же как отец, как муж, как семьянин... Он не мог отдать им своего единственного, больного сына. Не мог позволить отнять и разрушить последнее, что у него осталось — свою семью. семью, которая была его отрадой, его надёжным тылом, семьёй, которая никогда не предала бы его, как предали в трудный час все. Это всеобщее предательство поразило Государя. Люди, которых он облагодетельствовал, которые клялись ему в вечной преданности, бежали от него, словно от прокажённого, спеша, опережая друг друга, чтобы присягнуть на верность новым хозяевам, отречься и зачастую ещё и облить грязью прежнего. Командующие фронтами, министры, монархисты, любимые флигель-адъютанты, ближайшие придворные, даже представители

императорской фамилии — все устроили какое-то неприличное соревнование по отрешиванию от низложенного Царя, по измене своей присяге, по лизоблюдству перед новой властью. Навсегда запомнилось, как бежал из императорского поезда начальник походной канцелярии Нарышкин по прибытии в Царское... Так бежали все. Словно крысы с тонущего корабля... И лишь немногие остались верными, последовав даже сюда, в Тобольск...

Верность — вот, бесценное качество, которое познаётся всецело лишь в годину всеобщей измены. А ведь был человек, который не изменил бы никогда, никогда не бежал бы, который, быть может, сумел бы даже найти выход и избежать катастрофы. И вспомнилась ярко сцена в киевском театре: два выстрела, и смертельно раненый премьер, осеняющий крестным знаменем своего монарха... Тогда эта трагедия не была воспринята, как катастрофа. Отношения Государя с первым министром уже изрядно разладились, недалеко было до отставки, и Аликс настаивала на ней, заявляя, что премьер слишком затеняет собой Николая, слишком много взял власти, слишком вознёсся, и пора одёрнуть его. И под влиянием этих убеждений обронил Государь фразу Коковцеву:

— Надеюсь, вы не станете заслонять меня так, как этот делал покойный Столыпин...

Коковцев заслонять не стал. И никто не стал заслонять. Но все отступились, оставив своего Царя в одиночестве...

Это утро принесло дурные вести. После завтрака камердинер доложил, что комиссар Яковлев желает беседовать с ним наедине. Николай направился в залу. Там его встретил полковник Кобылинский, и по его смятённому лицу Государь тотчас понял, что что-то случилось. Евгений Степанович Кобылинский, офицер, в результате тяжёлого ранения утеревший

боеспособность, был поставлен для охраны Семьи Керенским, но оказался на редкость преданным человеком, очень заботившимся о Государе и его близких, делавшим всё возможное, чтобы оградить их от грубых выходок солдат. Евгений Степанович очень болезненно воспринимал всё происходящее. Недавнее распоряжение о снятии офицерами погон сломило этого благородного человека, и он обратился к Государю с просьбой:

— Ваше Величество, власть выскальзывает из моих рук. С нас сняли погоны. Я не могу больше вам быть полезным. Если вы мне разрешите, я хочу уйти. Нервы у меня совершенно растрепались. Я больше не могу.

Николай был тронут до слёз и, обняв полковника, ответил:

— Евгений Степанович, от себя, от жены и от детей я вас прошу остаться. Вы видите, что мы все терпим. Надо и вам потерпеть.

Кобылинский остался, сменив мундир на штатский костюм.

Теперь полковник был не один. С ним пришёл прибывший третьего дня во главе полутора сотен красногвардейцев комиссар Яковлев. Этим утром он попросил принять его, и Государь назначил аудиенцию. Василий Васильевич Яковлев уже бывал в доме и проявлял заметный интерес к состоянию здоровья Алексея, прикованного к постели сильным приступом болезни. Вёл себя комиссар в высшей степени уважительно и производил впечатление человека прямого и честного. После краткого приветствия он заявил:

— Ваше Величество, я желал бы говорить с вами наедине.

— Это ещё что значит? — насторожилась Императрица, последовавшая за мужем. — Почему я не могу присутствовать?

Комиссар заметно смутился и, поколебавшись несколько мгновений, разрешил:

— Хорошо, вы можете остаться, — после чего вновь обратился к Государю: — Вы завтра безотлагательно должны ехать со мной!

Николай удивлённо взглянул на Яковлева. Такого поворота событий он не ожидал.

— Я чрезвычайный уполномоченный из Москвы от центрального исполнительного комитета, — продолжал комиссар. — Мои полномочия заключаются в том, что я должен увезти отсюда всю семью, но так как Алексей Николаевич болен, то я получил вторичный приказ выехать с одним вами.

— Я никуда не поеду, — резко ответил Государь.

— Прошу этого не делать. Я должен исполнить приказание. Если вы отказываетесь ехать, то я должен или воспользоваться силой, или отказаться от возложенного на меня поручения. Тогда могут прислать вместо меня другого, менее гуманного человека. Вы можете быть спокойны. За вашу жизнь я отвечаю своей головой. Если вы не хотите ехать один, можете ехать с кем хотите. Завтра в четыре часа мы выезжаем, — с этими словами Яковлев поклонился и вышел.

Ещё недавно он был хозяином Земли Русской. А теперь любой солдат имел прав больше, чем он, и люди, которые вчера были никем, люди, о которых ничего не было известно, приказывали ему, и он не мог противиться, а должен был подчиняться. Чувство бессилия угнетало. Бессильным было в сердцах брошенное «не поеду». Как не поехать? Ведь они не остановятся перед применением силы. Действительно, пришлют какого-нибудь законченного негодяя вместо этого Яковлева, который, во всяком случае, ведёт себя, как джентльмен... Противиться — себе дороже. Но куда же везут? С этим вопросом обратился Николай к

вернувшемуся Кобылинскому. Полковник сокрушённо развёл руками:

— Он не сказал. Но этот человек — явно посланец центра. Он борется с местными большевистскими элементами, по всему видно, выполняя его директивы. Я спросил его, когда он намерен вернуться, и он ответил, что недели через полторы-две. Полагаю, что вас хотят везти в Москву.

— Ну, это они хотят, чтобы я подписался под Брестским договором! — решил Государь и добавил твёрдо: — Но я лучше дам отсечь себе руку, чем сделаю это!

— Я тоже еду! — сильно волнуясь, заявила Императрица и удалилась к себе.

Николай не сомневался, что за этим спешным отъездом стоят немцы. Кузену Вильгельму мало подписей негодяев, ему, монарху, требуется для полного сознания своей победы капитуляция, заверенная рукой другого монарха, пусть и низложенного. Но уж этого не дождутся они! Российский Государь не предаст ни Отечества своего, ни своей армии, ни союзников, даже если это будет стоить ему жизни. Мрачный и раздражённый, Николай мерил шагами сад, окружённый высокими стенами, стараясь ходьбой унять волнение. Увозят, увозят без Семьи... Алексей ехать не может. Он так болен... А Аликс? Ей лучше остаться с сыном, но как решит она сама? Их пытались уже разлучить в Царском, но не вышло. Так неужели удастся теперь? Удастся нанести последний удар? Боже, и для чего они так стараются?..

Ещё ни одно решение в жизни не давалось Императрице так тяжело. Словно гром грянул среди ясного неба, словно пропасть в одночасье разверзлась перед нею. Когда месяц назад для охраны Семьи прибыл первый красный отряд, она ещё надеялась на

лучшее. Она верила, что под личинами солдат скрываются преданные Трону офицеры, готовящие освобождение своего Императора. Солдаты были грубы, но Государыня защищала их перед своими приближёнными. Всё это только видимость! На самом деле, это хорошие русские люди! А русские люди верны своему Государю! Уж она-то знает русский народ! Народу нужно верить, он силен и молод, как воск в руках. Плохие руки схватили, — и тьма, анархия царствует, но грядёт Царь Славы и спасёт, подкрепит, умудрит сокрушённый, обманутый народ. Время страданий и испытаний проходит, солнце опять будет светить над многострадальной Родиной. Ведь Господь милостив — спасёт Родину, вразумит туманный ум, — не прогневается до конца. Нужно только терпеть и молиться. Бог, посылающий испытания, всегда подаёт и силы, чтобы вынести их. Бог не оставит Своих, не даст погибнуть невинным...И к тому же не мог обмануть Борис Николаевич... Ведь он зять Друга, и несомненно, что сам Друг руководит им, что по его молитвам Господь послал этого человека. Он прибыл в Тобольск от Ани. Привёз от неё деньги. Тридцать пять тысяч рублей. Милая, верная Аня... Она тоже делает всё, чтобы освободить свою Государыню и всю Семью. Хорошие русские люди в Петербурге, Тюмени и здесь, в Тобольске делают всё для этого. Так свидетельствовал Борис Николаевич, вести от которого исправно доносили горничные.

Кроме этих горничных о контактах Императрицы не знал никто. Она не рассказывала о них близким, предчувствуя, что они не разделят её веры, не поймут. Да и к чему до времени волновать их? Когда всё будет готово, тогда и сказать, а пока лишь она одна будет знать эту тайну...

Но, вот теперь этот отъезд... Так спешно! Так внезапно! Зачем? Куда? Неужели, в самом деле, в

Москву? Неужели, немцы? Какая низость... Нельзя, чтобы Ники ехал один. Его слишком легко убедить в чём-то, его нарочно хотят разлучить с Семьёй, чтобы лишить опоры, чтобы шантажировать... Это уже случилось однажды во Пскове. Никогда, никогда бы не подписал он составленного негодяями Гучковым и Ко акта, если бы его Аликс была рядом с ним. И они понимали это, и поэтому так ненавидели, так пытались изолировать от мужа. Даже после отречения, в Царском, когда им запретили видаться! Те роковые дни стали самым страшным испытанием для Императрицы, пределом, после которого воцарилось в её душе спокойствие, вызванное твёрдым убеждением, что ничего более ужасного произойти уже не может. Она не верила вначале вестям об отречении, не могла поверить, пока Великий Князь Павел Александрович не рассказал подробности. Больших мук не ведала Государыня в своей жизни: она осталась практически одна, имея на руках тяжело больных детей, ничего не ведая о судьбе мужа... Её душой владело безысходное отчаяние, но его нельзя было показать больным детям, нельзя было волновать их, и Императрица сверхчеловеческим усилием воли заставляла себя держаться, казаться спокойной.

О, эта вечная вынужденность играть роль... Улыбаться придворным, изображать безмятежность в тот момент, когда рядом умирает, кричит от мук и зовёт мать единственный страдалец-сын, когда, расставаясь с ним даже на мгновение, нельзя поручиться, что придётся вновь увидеть его живым. «Мамочка, помоги!» — вечный крик, разрывающий больное сердце! «Мамочка, когда я умру, будет уже не больно, да ведь?» Кто поймёт, кто осознает эту муку, муку матери, слышащей такие слова от умирающего, едва живого малолетнего сына?..

Государыня не умела и не желала играть роль. Она не понимала, почему жизнь её Семьи должна касаться посторонних, почему она обязана следовать нелепым придворным условностям, лживым и пустым. Ей пытались советовать, как держать себя, преподавать науку придворного лицемерия, но она была невосприимчива к ней. Императрица не любила пустых слов, стремясь к конкретному делу, в которое можно было бы вложить силы, ум и желание блага. Последнее особенно удалось ей в организации госпиталей во время войны. С первого дня царствования Государыня искала настоящего дела, хотела заниматься благотворительностью, но не встретила единомышленников, помощников, которые с радостью разделили бы её заботы. Придворные дамы дежурно улыбались, говорили до приторности сладко, но всё это было неискренним, и неискренность больно ранила молодую Императрицу. Никто не желал понять её, и, остро чувствуя непонимание, она ощущала свою чуждость высшему обществу, отдалялась от него, все реже и реже появлялась на людях, замыкаясь в кругу нескольких лиц, которые стали близки ей, нуждались в ней, любили её. Этот круг заменил Государыне общество, а оно не простило ей этого. Её считали слишком гордой и холодной, а она страдала от робости, скрывая её за внешней твёрдостью и решительностью. Пустые разговоры, светские ритуалы утомляли Императрицу. Им предпочитала она уют тихих семейных вечеров в кругу детей, когда Ники читал вслух какой-нибудь русский роман.

Не умела Государыня лицемерить. Не умела и расположить к себе. Есть люди, обладающие счастливым даром привлекать людей, не прилагая к этому особых трудов, благодаря одному лишь природному обаянию. Такой была сестра, Элла. Элла становилась душой любого общества, оставаясь самой

собой. Государыня любила её почти дочерне. Но даже Элла не поняла её, даже Элла настроена была против Друга, и из-за этого в последнюю встречу их что-то неуловимое разбилось между ними, ранив осколками обеих. Элли любили все, Императрицу — никто. Её скрытые порывы, призванная скрыть робость сдержанность, её скованность заставляли предполагать в ней, искренней и откровенной, лицемерие и двоедушие. О материнских страданиях её знали лишь немногие, поскольку болезнь Наследника тщательно скрывалась. Иные поступки кажутся странными и дурными, когда не известна их истинная причина. Всё дурное, что было или могло быть, или попросту измышлялось, немедленно становилось достоянием общественности. Всё лучшее оставалось достоянием Семьи. Даже один из самых близких людей, Татищев, столько лет бывший рядом, здесь, в Тобольске, выразил удивление, насколько тесно сплочена и проникнута любовью её жизнь. Ники с лёгкой иронией заметил: «Если вы, Татищев, который были моим генерал-адъютантом и имели столько случаев составить себе верное представление о нас, так плохо нас знали, как вы хотите, чтобы мы с Императрицей обижались бы на то, что о нас говорят в газетах?»

Какой-то злой рок преследовал Государыню с первых шагов её в России. Против их брака с Ники был его отец, и лишь тяжелейшая болезнь, в короткий срок сведшая этого богатыря в могилу, заставила его дать согласие. И венчание было окрашено трауром по почившем Императоре... А потом словно ящик Пандоры открылся: Ходынка, террор, Цусима, страшная болезнь Алексея... Злой рок шёл по пятам, но вокруг шептались, что этим злым роком является сама Государыня. И вдовствующая Императрица сочувствовала этому мнению, считая, что сын её был бы вдвое популярнее в народе, если бы не его жена. Но разве не о его счастье

пеклась она? Не об укреплении его власти радела? Сколько раз убеждала Императрица Государя, что необходимо быть сильнее, жёстче и твёрже, чтобы народ чувствовал твёрдую руку, что нельзя оставлять без ответа нахальные выходки различных негодяев, распускающих клевету о Государыне... Но он был слишком добр и мягок, а они отплатили за это...

«Открыть ворота бывшему Царю!» — так и слышался этот крик при прибытии Ники в Царское. И ни один из стоявших на крыльце офицеров с красными бантами не отдал чести ему, хотя Государь отдал им честь. «Бывшие» — сколько намеренного унижения в этом слове! И явившийся позже Керенский не преминул задеть им: «Английская королева просит известий о бывшей Императрице!» Нет, не бывает ни бывших Императоров, ни бывших Императриц. Только Бог может разжаловать их, но не люди. Даже восходя на эшафот, оставались королями и королевами Людовик Шестнадцатый и Мария-Антуанетта, Карл Первый и Мария Стюарт... «Вы знаете, что мне удалось отменить смертную казнь... Я сделал это, несмотря на то, что большинство моих товарищей пали жертвами своих убеждений!» Какая поза была в этом вчерашнем адвокате, ставшим вдруг «хозяином» Империи и прибывшим в Царское на автомобиле, принадлежавшем Государю...

Нет же, нет, никогда больше не оставит она Ники, не позволит повториться псковскому несчастью... Но, может быть, всё же удастся — не ехать?.. Императрица нервно сжимала руки, ходя по комнате. Уже давно она не проводила столько времени на ногах. Ноги болели, и болело сердце, а потому даже на службах Государыня большую часть времени сидела, не имея сил встать. Но теперь от волнения она не могла сидеть. Чувствуя необходимость поделиться с кем-либо своими мыслями, Императрица позвала к себе дочь Татьяну, самую

рассудительную и близкую из всех, и учителя Наследника Жильяра.

— Государь уезжает, — сказала она им. — Его увозят ночью одного. Этого отъезда не должно быть и не может быть. Я не могу допустить, чтобы его увезли одного. Я не могу его оставить в такую минуту. Я чувствую, что его увозят, чтобы попробовать заставить сделать что-нибудь нехорошее. Его увозят одного потому, что они хотят его отделить от семьи, чтобы попробовать заставить его подписать гадкую вещь под страхом опасности для жизни всех своих, которых он оставит в Тобольске, как это было во время отречения в Пскове. Я чувствую, они хотят его заставить подписать мир в Москве. Немцы требуют этого, зная, что только мир, подписанный Царём, может иметь силу и ценность в России. Они хорошо чувствуют, что он символизирует собой Россию! Мой долг не допустить этого и не покинуть его в такую минуту. Вдвоём легче бороться, чем одному, и вдвоём легче перенести мучения, чем одному. Но ведь я не могу оставить Алексея... Он так болен! Я ему так нужна! Что будет с ним без меня? Боже, какая ужасная пытка! Первый раз в жизни я не знаю, что я должна делать. Я чувствовала себя вдохновлённой свыше всякий раз, как должна была принять решение, но теперь я ничего не чувствую... — внезапно Государыня остановилась и, сцепив руки, произнесла возбуждённо: — Господь не допустит этого отъезда, он не может и не должен состояться! Я уверена, что сегодня ночью на реке начнётся ледоход. Это даст нам время, чтобы выйти из этого ужасного положения. Если надо чуда, я убеждена, что чудо будет.

Помолчав несколько минут, Татьяна заметила:

— Однако, мама, если папа всё-таки должен отправиться, необходимо решить что-нибудь...

Императрица ничего не ответила. Ещё некоторое время она бродила по комнате, а затем спросила Жильяра:

— А что думаете вы? Ведь этого отъезда не может быть? Ведь не может?

— Я тоже надеюсь на это, Ваше величество, но, полагаю, что Татьяна Николаевна права, и нужно принять решение.

Государыня опустила голову, глубоко вздохнула и сказала твёрдо:

— Ну, это решено... Мой долг — ехать с ним. Я не могу его пустить одного. А вы будете смотреть за Алексеем здесь... Да, так лучше... — с этими словами она вышла и направилась в гостиную. Государь только что вернулся с прогулки, и, подойдя к нему, Императрица повторила своё решение: — Я поеду с тобой. Я не пущу тебя одного. Мария будет сопровождать нас.

— Воля твоя, — отозвался он.

Это был один из самых сильных приступов болезни за всю недолгую и многострадальную жизнь Алексея. Вымоленный родителями, он с рождения оказался обречён на муку, и не помнил мальчик такого времени, когда был бы здоров. К четырнадцати годам он уже не раз стоял на пороге смерти, не раз видел её совсем близко, познал столько страданий, сколько многие люди не испытывали за долгие десятилетия. От того с самого детства владело его сердцем одно желание — сделать так, чтобы люди не страдали, и часто срывалось с уст его восклицание-обет: «Когда я буду Царём, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы!»

Всё же, несмотря на все муки, Алексей очень хотел жить и любил эту столь неласковую к себе жизнь. Лишь только очередной приступ отпускал его, и обычная

весёлость и резвость возвращались к нему. Но до чего же обидно было отказываться от тех обычных радостей, которым предавались другие дети! Как хотелось ему играть, забыв о своей страшной болезни, бегать, шалить и резвиться! Но нельзя было забыть. За забывчивость болезнь мстила неделями, месяцами боли и неподвижности. Как часто люди жалуются на всевозможные неприятности, имея такое богатство, как свободу идти, куда угодно, делать всё, что угодно, имея здоровье! Алексей не жаловался. С завистью смотрел он на беззаботно веселящихся детей своего дядьки — матроса Деревенько. Этот дядька всегда был подле него, всегда носил его на своих могучих руках. Кто бы мог представить, что он так переменится в дни переворота! Так и хлынула злоба из этого человека, оказавшегося большевиком и вором. В те горькие дни Цесаревич впервые узнал, что такое предательство...

Об отречении отца Алексею, едва начавшему поправляться, осторожно сообщил учитель Жильяр:

— Вы знаете, Алексей Николаевич, ваш отец не хочет быть более Императором.

— Как? Почему?

— Потому что он очень устал, и последнее время у него было много различных затруднений.

— Ах, да! Мама мне говорила, что его поезд был задержан, когда он хотел ехать сюда. Но потом папа опять будет Императором?

— К сожалению, нет... Ваш отец отказался от престола в пользу вашего дядя, но и он отказался от него...

— Но кто же тогда будет Императором?

— Я не знаю, пока никто...

Этого Цесаревич понять не мог:

— Но, однако, если не будет более Императора, то кто же будет управлять Россией?

Сам Алексей никогда не задумывался всерьёз о том, как станет править своей страной, как станет Царём. Он не ощущал своего высокого положения, был прост с людьми и не любил, когда с ним обращались с подобострастием, угодливо. Однажды крестьянская депутация по наущению Деревенько встала перед Цесаревичем на колени. Алексей был крайне смущён этим. Видеть стоящих перед ним коленопреклонённых людей было для него почти пыткой. По счастью, неумеренное усердие матроса пресёк учитель Жильяр, что привело мальчика в восторг.

Тому, что он не станет Царём, Алексей не огорчился. Но его глубоко ранило унижение, причиняемое отцу. Ему больно было видеть, как отец вынужден подчиняться чужим приказам, как вызывающе ведут по отношению к нему многие солдаты и офицеры. В Царском они следовали за ним по пятам во время прогулок, демонстрировали пренебрежение, держались распушенно в присутствии матери и сестёр. Не остановились они и перед тем, чтобы нанести обиду Цесаревичу, отобрав у него «оружие» — игрушечное ружьё, подаренное отцом, который, в свою очередь, получил его от деда. Мальчик очень дорожил этим подарком, а потому, когда солдаты уносили его, не обращая внимания на объяснения Жильяра, что это всего лишь игрушка, не удержался и заплакал. Правда, полковник Кобылинский, узнав об этой бессовестной выходке, по частям принёс ружьё обратно, и с той поры мальчик старательно оберегал его от сторонних глаз.

В Тобольске в карауле было немало хороших солдат. Общительный и дружелюбный, Цесаревич вызвал их расположение, они уважительно величали его Наследником и старались чем-нибудь развлечь, доставить ему удовольствие. Простоту в общении Алексей унаследовал от отца, столь же легко находившего общий язык с солдатами и проводившего с

ними немало времени. Тою же простотой наделены были и сёстры, любившие сердечно разговаривать с караульными, расспрашивать их о семьях, деревнях, боях, в которых они участвовали. Особенно любил Алексей слушать о боях. Отец любил армию, и любил её и Цесаревич. Когда стало известно об отречении, мальчик с горечью подумал, что больше никогда не поедет с отцом в Ставку, где было ему так хорошо, где чувствовал он себя почти взрослым, настоящим воином. С гордостью носил Алексей свою форму, и тем обиднее было, когда в январе солдатский комитет потребовал отмены солдатских и офицерских погон. Отец, поборов негодование, облачился в кавказскую черкеску, Цесаревич же спрятал свои погоны под башлыком.

Тех добрых солдат, с которыми успели почти сродниться, заменили другими, и эти другие отнеслись совсем иначе к своим обязанностям. Помощник комиссара Никольский кричал на Алексея и поднимал целую историю из-за того, что мальчик выглянул через забор. Когда уходили старые солдаты, отец с матерью, чтобы проводить их поднялись на ледяную гору, сделанную недавно и бывшую единственным развлечением для детей. Узнав об этом, гору сломали...

И всё же жизнь была неплоха. Можно было гулять в саду, играть. Отец преподавал Алексею историю. Но всю эту размеренную жизнь прервала болезнь. Одно чрезмерное усилие, и страшная боль поразила тело, и отнялись ноги, и горячечный бред стал то и дело затуманивать ясный ум. Мальчик звал мать, и она пришла, спокойная, твёрдая, ласковая. Она всегда была рядом с ним, когда ему было плохо, сидела неотлучно у его постели или лежала на кушетке, поставленной рядом. Она самоотверженно выхаживала его, не смыкая очей, а после от усталости и душевных страданий заболела сама. Она до срока состарилась от этого, стала часто хворать, но, приходя к его одру, находила в

себе силы излучать спокойствие и уверенность. И теперь всё было так же. Голос матери звучал негромко, устало, ровно, но какую горькую весть говорил этот родной голос!

Отца увозят... Мать едет вместе с ним... Куда, душка-мамашка, куда?.. Комиссар Яковлев обещал полную безопасность... Комиссар? Тот самый, что приходит два дня к его постели, смотрит внимательно, точно испытывая, в самом ли деле он болен? Мать надеется на чудо, что ехать не придётся, но если всё-таки... Они будут писать... Остаются трое сестёр и верные слуги... Разлука не продлится долго, она уверена. Мальчик заплакал горько и безутешно, не в силах сдержать слёз...

Заплаканное, бледное, с широко распахнутыми, мученическими глазами лицо сына стояло перед глазами Императрицы, когда она уезжала. Этой ночью она долго и истово молилась. Молитва всегда приносила ей утешение, и трудно было понять, как и чем живут те, кто не желает молиться. О таких искренне сожалела Государыня: далёк от них духовный мир, всё суета и суета. От того и пошло всё... Забыли Родину и правду, стали жить ложью и думать только о собственной выгоде. Когда последняя их минута придёт, когда перед Вечным Судом стоять будут, как-то предстанут? И хотелось кричать им: «Проснитесь, душа погибает!» Императрица молилась всем сердцем. Молилась о муже и детях, о всех близких и о России, о том, чтобы милосердный Господь не дал погибнуть ей под игом свободы. И молитва, как и прежде бывало, внесла некоторое умиротворение в изболевшееся сердце.

Уезжали ночью, в темноте. Государыня поместилась в экипаже с дочерью, Государь — с комиссаром Яковлевым. Три дочери стояли на крыльце в серых

платьях, с опухшими от слёз глазами. А Алексей не мог даже выйти проститься, бедный мальчик лежал в своей комнате, страдая от горя и боли, и лишь его учитель рядом с ним...

Комиссар суетился вокруг Императора, часто прикладывая руку к папахе, проявляя всевозможную заботу. Заметив, что Государь сидит в одной шинели, он воскликнул:

— Как! Вы только в этом и поедете?

— Я всегда так езжу.

— Нет, так нельзя! Подать плащ Его величеству!

Плащ подали, положили под сиденье. Отчего так суется этот человек? Немцы? Хотят вынудить подписать мир взамен на выезд за границу? Нет, никогда. За границу — никогда. Покинуть Россию — значит, разорвать последнюю нить, связывающую с прошлым. Никогда! Ведь было же в этом прошлом столько прекрасных минут, столько светлых эпизодов, когда они с Ники были молоды и счастливы... «Солнечный луч» — кто поверит, глядя на неё сегодня, что так называли её в молодости за весёлый нрав? Солнечный луч, ни искорки не осталось от тебя. Лишь любовь всё ещё живёт в изношенном, измученном сердце, давая силы жить. А как чудно и весело было в первые годы их брака! В 1897-м году на рождественскую ёлку собрались почти все Романовы и самые близкие придворные. Императрица застенчиво держалась в стороне, и всё же тёплое и радостное чувство переполняло её. Её малышка, первенец, Ольга только училась произносить первые слова, и мысли о ней делали Государыню счастливой, и казалось, что жизнь, вначале столь немилостиво отнесшаяся к ней в России, всё же переменится и подарит её семью светлыми лучами. Рядом в тот вечер оказалась княгиня Барятинская, и Императрица, гораздо свободнее чувствовавшая себя в частных беседах, счастливо и

подробно рассказывала ей о первых шагах своей дочери, о том, как любит возиться с малышкой Император.

— Ваше Величество, я чувствую себя такой несчастной оттого, что не имею детей... — вздохнула княгиня.

Государыня, отзывчивая и любившая утешать, тотчас прониклась сочувствием к ней, постаралась ободрить:

— Всё поправится!

В тот момент подошёл, озорно глядя, Ники с огромной хлопушкой. Он был очень весел в тот вечер и всё время заставлял жену дёргать хлопушки, зная, как не выносят она их грохота, и посмеиваясь над её детским страхом. Императрица улыбнулась ему. Государь протянул ей хлопушку, сказал шутливо, но тая бесконечную нежность в светлых глазах:

— Будь храброй!

Зажмурив глаза и чуть отвернувшись, она дёрнула за ниточку вместе с мужем. Раздался оглушительный хлопок...

...Кортеж тронулся к вокзалу сквозь ночной мрак. Императрица вздрогнула. Ей показалось, будто бы наяву она услышала среди непроглядной темноты и безмолвия тот хлопок, грохот, так похожий на ружейный залп, на выстрел, а потому пугающий, заставляющий сжиматься сердце. «Будь храброй!» Да, она будет храброй во имя Государя и детей, ибо ничего другого не осталось ей теперь, кроме как — быть храброй...

Глава 18. Смертию смерть поправ...

Начало мая 1918 года. Дон

Миновала Страстная неделя, и пришёл на Дон Светлый праздник, оглашая станицы колокольным перезвоном, благовествующим о Воскресении Христовом и вселяющим радость и упование даже в самые очерстневшие и отчаявшиеся сердца. В праздничную ночь, когда в церквях мерцали свечи в кадильном мареве, и тысячи голосов вторили славящим Бога напевам, обоз с ранеными Добровольцами покинул Лежанку и перебрался в станицу Егорлыцкую. Отсюда два месяца назад начинался Кубанский поход, здесь и заканчивался он, открывая новую страницу борьбы, ещё неведомую никому. Изменился Дон за это время. Поднялись казаки бить большевиков, их разрозненные отряды сражались с красными бандами, но последними ещё кишели окрестности, и вернувшимся Добровольцам предстояло уничтожить их окончательно и стать ядром, объединяющим партизан-казаков.

Воскресенье — дивный праздник, знаменующий собой бесконечность всего живого на земле, праздник надежды, праздник жизни и торжества над смертью. Струился над пропитанной кровью и слезами землёй малиновый звон, и убелялась душа, внимающая ему, и что-то новое, что-то незнакомое прежде поднималось из недр её, озаряя и возрождая всё существо человеческое.

Ростислав Андреевич лежал на постели, вслушиваясь в колокольные переливы и вдыхая втекающий в комнату из приоткрытого окна тёплый весенний воздух. Ветер чуть колыхал занавески, сквозь которые струился, заливая помещение, солнечный свет.

Тело, искалеченное новым тяжёлым ранением, полученным под Екатеринодаром, ещё не желало слушаться Арсентьева — лишь правая рука обрела в последние дни подвижность — но на душе отчего-то светло и мирно было в это утро, словно в ней, как в храме, всю ночь справляли торжественную службу.

Пуля ударила в грудь в последний день штурма, скользнула по эмали образа Святого Серафима, немного изменила, споткнувшись о него, направление, и только поэтому не сразила тотчас наповал. Истекая кровью, капитан свалился на землю, и через несколько мгновений услышал с кадетских лет знакомое:

— Эх ты, Федора Ивановна! Живой ты или нет?

Арсентьев с трудом шевельнул губами, и сильные руки полковника Кутепова в тот же миг подхватили его. Больше Ростислав Андреевич не помнил ничего. Две недели находился он между жизнью смертью, временами приходя в себя и видя вокруг лазареты, обоз, слыша обрывки слов и стрельбу... Но эти проблески сознания были редки и кратковременны. Почти всё время Арсентьев провёл в глубоком забытье, на грани двух миров... Ему то грезились счастливые годы детства и юности, то мерещились кошмары, связанные с убитыми отцом и женой, то представлялась война, и он шёл в атаку под страшным огнём, звал за собой своих солдат, а те бежали и угрожали ему, и вдруг взамен людей являлись какие-то безобразные существа, вместо лиц отвратительные, глумливые рожи, и всё это кружилось вокруг с бесовским хохотом, и капитан понимал, что это вовсе не люди уже, а обыкновенные бесы, напавшие на человеческие личины. Эти бесы устраивали какие-то невиданные скачки, верещали дурными голосами, плясали на могильных холмах и на пепелище его дома и пытались сбросить его, Ростислава Андреевича, в вырытую могилу... Потом страшная картина сменялась другим виденьем:

выстроенные в ряд смертники, смотрящие исподлобья, ожесточённые или испуганные, а он идёт вдоль них и методично стреляет в каждого, и они валятся друг на друга, подобно покосившемуся забору... И кричит кто-то неистово: «Палач!» И лишь одна отрадная грёза посетила капитана среди его мук. Грёза, совсем не похожая на сон, лишённая атрибутов бреда, абсолютно явственная... Привиделось Арсентьеву ровное зелёное поле под синим шатром солнечного неба. Он шагал по нему молодой, бодрый и здоровый и, вот, оказался у реки, преградившей дорогу, и, взглянув на другой берег, увидел на нём её — свою Алю. Она тоже казалась юной и необычайно радостной. Казалось, словно от неё шёл свет: от белых одежд её, от ясных очей, от белого покрывала, венчающего голову и по-монашески заколотого под подбородком. А чуть поодаль от неё стоял маленький седой старичок, согбенный, опирающийся на мотыгу и светящийся ещё сильнее, чем Аля, так что и лица его нельзя было разобрать.

— Аля! Аленький мой! — позвал Ростислав Андреевич, не веря собственным глазам. — Ты ли это?

— Я, Славушка, я, родной, — мягкий, любимый голос.

— Значит, ты жива... А отец? Где отец?

— Он тоже здесь, Славушка. Здесь все живы, а мёртвых нет.

— И ничего того не было? Не было того, что рассказала мне кормилица?

— Всё было, Славушка. Всё было, да не здесь.

— Аля, золотая моя, мы больше никогда не разлучимся! Я иду к тебе! — воскликнул Арсентьев и ступил в воду, но жена предостерегающе подняла руку:

— Не спеши, Славушка! Сюда опоздавших нет. Твой срок не приспел ещё. Обожди ещё немного.

— Для чего же ждать, Аля? Ведь ты же видишь, что мне без тебя жизни нет, что я без тебя гибну без

надежды воскреснуть! Тебе хорошо теперь, а каково мне?!

— Нужно терпеть, Славушка, нужно терпеть, милый. Тогда все мы спасены будем. Возвращайся, родной мой. Тебя ещё земля ждёт.

— Прогоняешь меня? Аля, пощади! Зачем ты опять покидаешь меня? Зачем ты меня оставила?! — в отчаяние закричал Арсентьев, видя, как фигура жены без малейшего движения с её стороны начинает отдаляться, а узкая речушка ширится.

— Нет, Славушка, я никогда не покидала тебя. Я всегда рядом с тобой. Во дне и в ночи. Где бы ты ни был, я всегда стою за правым твоим плечом и молюсь о тебе. Помни об этом, терпи и веруй! — совсем издалека прозвучал её голос, и она растворилась в свете солнца, словно мираж, а следом за ней исчез и старец, благословив капитана крестным знаменем.

Арсентьев бросился в реку, надеясь всё-таки переплыть на тот берег, но вода вдруг обратилась в кровь, и повсюду запылали языки пламени, и в этот момент Ростислав Андреевич очнулся.

Он очнулся среди ночи, в понедельник Страстной седмицы, чувствуя, несмотря на неподвижность тела, абсолютную ясность в мыслях. Бред больше не возвращался, и Арсентьев мог бы поклясться, что дивное виденье, явленное ему, не было сном, но явью. Припомнив его до мельчайших деталей, Ростислав Андреевич вдруг понял, кто был тот согбенный старец, чьё лицо он не смог разглядеть из-за шедшего от него сияния. Ведь это же Алин покровитель, Саровский чудотворец, чей образ спас ему жизнь! Всё, всё было явью, и от этой уверенности ликованием наполнилась измученная душа, и слёзы покатились по запавшим щекам. Верно говорят в народе: Божья рука — сила, Божья рука — владыка... «Терпи и веруй»... Милая,

светлая, незабвенная, если ты жива где-то, если есть иной мир, то можно снести и вытерпеть скорби этого...

Первым человеком, которого увидел Арсентьев, придя в себя, была Тоня... Он познакомился с ней ещё в Новочеркасске при несчастных для неё обстоятельствах. Она, прапорщик призыва Керенского, защищавшая Зимний дворец, приехала на Дон, чтобы вступить в Добровольческую армию, а здесь дежуривший в тот день офицер посмеялся над ней, прогнал... Отчаявшись, бедняжка пошла в ближайшую аптеку, купили яд и приняла бы его, если бы не Ростислав Андреевич. Он как раз заходил в ту аптеку и, заподозрив неладное, последовал за девушкой. И когда та собралась совершить задуманное, просто выбил пузырьёк из её рук, отругал, как следует, за руку привёл назад на Барочную улицу и проследил, чтобы Тоню записали в ряды Добровольцев, количество женщин в которых к моменту начала Похода превысило полторы сотни. Она была счастлива и вскоре отправилась на фронт в качестве пулемётчицы. Её благодарность капитану была безграничной. С той поры у него не было человека более преданного, чем Тоня. И теперь он наверняка бы погиб, если бы не её самоотверженный уход за ним.

От Тони Ростислав Андреевич узнал обо всём, что случилось за две недели его небытия: гибели Корнилова, бое под Медведовской и многом другом. Узнал, что врачи не верили в то, что он выживет, что его, как безнадёжного, собирались оставить среди других несчастных в Елизаветинской, где, как выяснили позже, раненых, несмотря на все гарантии, жестоко убили, а потом в Дядьковской, и непременно оставили бы, если б не генерал Марков. Сергей Леонидович не был склонен к сантиментам и всегда настаивал на сокращении обоза, величина которого грозила погубить всю армию, но для Арсентьева сделал исключение.

Знать, вспомнил генерал ледяную ночь под Ново-Дмитриевской, бой, в котором капитан так вовремя оказался рядом.

Когда обоз ещё находился в Лежанке, Сергей Леонидович проведal Арсентьева лично. Станицу, в которой Добровольцы приняли первый в ходе похода бой, вновь пришлось штурмовать, и снова отличились Марковцы со своим командиром. Здесь Маркову пришла счастливая мысль поставить пулемёты на подводы, составить из них как бы пулемётные батареи и применить их в бою с кавалерией. Изобретение, получившее название «Тачанки», показало себя блестяще — в решительный момент боя под Лежанкой они, неожиданно для красных, вылетели и в упор застрочили по флангам идущей в атаку красной кавалерии. Победа была полная...

Ангел-Хранитель, как называли Сергея Леонидовича после прорыва под Медведовской, был, как всегда, энергичен и порывист — крепко пожал руку, улыбнулся:

— Вижу, подполковник, вы уже скоро вернётесь в строй? Рад, рад! Не ожидал, чёрт побери, что вы останетесь живы, имея столь знатную рану! Да... Поберёт нас Бог вдоль и поперёк... — он задумчиво помолчал и добавил. — Поздравляю вас с присвоением нового звания за ваши славные дела за время похода!

— Благодарю вас, ваше превосходительство, — откликнулся Ростислав Андреевич. — Правда, вряд ли моё возвращение в строй будет скорым.

— Полноте! Если уж смерть вас не взяла, так и в строй вернётесь, — генерал быстрым движением руки придвинул стул, опустился на него, положив ногу на ногу. — Такие люди, как вы, очень нужны армии. Ныне она вышла из-под ударов, оправилась, вновь сформировалась и готова к новым боям... Но в минувший тяжёлый период некоторые, не веря в успех, покинули наши ряды и попытались спрятаться в

сёлах... — Марков презрительно скривил губы. — Впрочем, какая их постигла участь, известно: они не спасли свою драгоценную шкуру... Я сказал полку, что не стану никого удерживать, если ещё кто-то захочет уйти к мирной жизни... Вольному — воля, спасённому — рай, и... к чёрту! Но вы, я надеюсь, не собираетесь по излечении выбрать именно такой путь?

— Вся моя кровь, моя жизнь принадлежат России и армии, — твёрдо сказал Арсентьев. — Если только мне суждено подняться с моего одра, то я вновь стану в её ряды и буду сражаться до победы или же до последнего вздоха.

— Слова настоящего патриота! Такие, как вы, нужны... — Марков помолчал, потом заговорил горячо. — Знаете вы, Ростислав Андреевич, что теперь творится в России? После похабного мира немцы оккупировали почти весь Юг! И это бы полбеда, но эти мерзавцы всеми силами поощряют сепаратистские движения. Новые государства плодятся как тараканы! Крым, Дон, Украина! Чёрт знает что! И у каждого — своя так называемая армия! И в эти самозванные армии сманивают русских офицеров, суля им должности, чины и большое жалование!

— Честные сыновья России никогда не купятся на это и не замарают себя служением самозванцам, разрушающим нашу Родину.

— Честные, разумеется... Но ведь немало и конъюнктурщиков... Или просто дураков! Соблазн велик, подполковник! Особенно велик он, когда всё кругом так развалено, расхристано... И многие соблазняются, и это ослабит нас, ослабит единственную силу, противостоящую тем сукиным сынам, которых прислали нам в plombированном вагоне и которых давно следовало бы повешать! Вот, что возмутительней всего! — Сергей Леонидович чуть наклонил своё благообразное, живое лицо и

заклучил: — Как офицер Великой Русской Армии и патриот, я не представляю для себя возможным служить в «Крымской» или «Всевеликой» республике, которые мало того, что своими идеями стремятся к расчленению России, но считают допустимым вступать в соглашение и находиться под покровительством страны фактически принимавшей главное участие в разрушение нашей Родины. Я как был произведен в генерал-лейтенанты законным русским Монархом, так и хочу остаться им!

— Всецело разделяю вашу позицию, Сергей Леонидович. Уверен, что и абсолютное большинство офицеров считает также.

— Я тоже на это надеюсь, — кивнул генерал, поднимаясь. — Поправляйтесь, подполковник! Наша борьба только начинается, а отдыхать и залечивать наши раны мы будем на том свете! Желаю здравствовать!

Ещё одно крепкое рукопожатие, и стремительная фигура, в три шага миновав комнату, исчезла за дверью...

А через несколько минут появилась Тоня, почти не покидавшая Ростислава Андреевича все эти дни. Некрасива была эта молодая прапорщица, до обидного некрасива. Её образ плотно ассоциировался у подполковника с лошадью, небольшой казачьей лошадкой, каких особенно много было на Кубани. Вытянутое лицо с долгим носом и крупными зубами, жидкие волосы, прежде коротко подстриженные, а теперь отросшие, и печальные, мудрые, всё-всё понимающие, преданные глаза. Женщины и не замечал в ней Арсентьев прежде, а тут, проснувшись как-то, посмотрел и подумал: а ведь тоже — обычная баба, тоже любви хочет... Кто бы мог подумать!

— Тоня, а зачем вы на войну пошли?

— Долгая это история, Ростислав Андреевич...

— Так нам разве есть куда спешить? Расскажите. Всё равно ко мне сон не идёт...

— Да что рассказывать-то... — замаялась Тоня. — Отец мой из крестьян был... Его в солдаты забрали. Дослужился он до унтер-офицерского чина, когда уж сед стал. Тогда и обженился. Мать моя купеческого роду. Лицом, как и я, не вышла, потому в девках засиделась, уже и не ждала, не гадала, что по ней жених найдётся, а тут отец... Прожили они вместе недолго, мать моя в родах померла, так что я её только по рассказам и по свадебной их карточке знаю...

— Я свою мать тоже не помню, Тоня. Оба мы с тобой, значит, сироты.

— Я, Ростислав Андреевич, сиротства своего не чувствовала, — мотнула головой Тоня, как-то вновь лошадиному. — Меня отец растил... У меня никого, кроме него, на свете не было. Только, вот, он сына хотел. Так хотел, что не смирился с тем, что девка родилась. Воспитывал меня, как мальчишку. Ремёслам разным учил, верхом ездить, стрелять да шашкой владеть... Грамоте выучил... А женским рукодельям учить меня некому было. Да и незачем, казалось... Мы с отцом душа в душу жили, весело. И дружила я всегда только с мальчишками. Я ведь сильная, ловкая — никому из них не уступала. А потом отец помер. Мне тогда шестнадцать лет было. Взяла меня к себе тётка, сестра мамашина. Она замуж удачно вышла, муж ейный, купец, в гору пошёл, большое хозяйство наладил. Да только не жизнь мне в их доме была! Точно как в клетке! Я к воле привыкла, с лошадьми в ночное ездила, на охоту... А тут! Четыре стены да попрёки вечные, что по хозяйству делать ничего не умею и хлеб чужой ем! Сад у них был, у родни моей. Я, вот, убегала туда от них. На верхушку дерева залезу — и ищи меня! Тоска там была смертная... Тёткин муж всё деньги считал, тётка всем в доме командовала, дети ихние

шпыняли меня. А хуже всего, что сама понимаю, что чужой хлеб ем. Приживалка... А потом они меня замуж отдать решили. За старика-купца одного. Он первую жену свою насмерть забил, вторая от него в петлю влезла, так ему меня сосватали... А я упёрлась. Сказала, что утоплюсь, а за людоеда не пойду. Тётка остервенилась, потому что у людоеда денег много было, заперла меня в моей комнате, посадила на хлеб и воду, чтобы я сговорчивей стала, а я сбежала...

— Как сбежала?

— Просто... — Тоня широко улыбнулась. — Сложила в узел мамино кольцо обручальное, папин солдатский крест Георгиевский, фотографию ихнюю да икону, ещё кой-какую мелочь... Денег у меня не было, потому что то, что от отца осталось, и от продажи домишки нашего выручили — всё тётка себе забрала... Мне поэтому кольцо-то продать пришлось... Только от мамы и осталось, что крестик медный — благословение её... Комната высоко была моя. На третьем этаже. Они думали, меня это остановит. А я на крышу выбралась, с крыши на дерево, а с дерева на землю — только и видали меня!

— И куда ж вы побежали, бедовая?

— На фронт, куда ж ещё? — пожала плечами Тоня. — Меня ж отец солдатом воспитывал. Я ничего кроме войны и не знала почти. И только о том и мечтала, чтобы на фронт попасть! Хотела мужчиной одеться и обманом, ан не вышло. Офицер долго потешался надо мной, а потом говорит: «Ты зачем, дура, обманом на фронт пробраться решила? У нас же теперь из вашей сестры прапорщиков лепят! Ступай на курсы!» Как я тогда возрадовалась, Ростислав Андреевич! Мечта ведь сбывалась! Окончила я курсы эти, и отправили нас на фронт... Ударницы мы были. Воевали не хуже мужиков, честно воевали... А потом Зимний защищали с юнкерами... Ну, а остальное вы уж знаете...

— Да, нелёгкая доля вам выпала, — заметил Арсентьев.

— Доля как доля... Одна беда у меня, Ростислав Андреевич — характер...

— А что ж не так с вашим характером?

— А то, что собачий он у меня... Не могу я сама по себе, никак не могу... Мне хозяин нужен. Чтобы прилепиться к нему и служить ему... И пусть ему до меня дела не будет, пусть гонит, пусть зол на меня будет — всё одно. Я, как собака, за ним на край света пойду и счастлива буду тем одним, что хоть самую малость нужна ему, и умру за него с радостью...

Арсентьев повернул голову. О чём это она? Собачья преданность... Не собачья — лошадиная. И с этой преданностью ходит она теперь за ним, и готова умереть за него...

— Вы не рассердитесь, Ростислав Андреевич, что я глупости болтаю... Я, может быть, уже утомила вас, так вы простите, но я сказать хочу ещё... Вы, когда тогда в Новочеркасске яд этот у меня из рук выбили и, как девчонку, отругали и за руку в армию привели, я уже тогда поняла, что за вами куда угодно пойду. Вы имели неосторожность по-доброму отнестись ко мне, а я уж теперь так к вам привязалась, что след в след за вами идти буду, тенью вашей стану... У меня, кроме вас, никого нет, и если вам что-то будет нужно, вы только поκληчьте, а я всё исполню, ковром под ноги выстелюсь, с лица воду пить стану... Вот так вот.

Подполковник протянул ещё слабую правую руку, пожал огрубевшую, шершавую кисть Тони:

— Спасибо вам, Тоня. Поверь, я очень ценю вашу заботу обо мне. И никогда не извиняйтесь больше, потому что вы совсем меня не утомили, а как раз наоборот.

Долгое лицо девушки осветилось радостью и она, по-детски застыдившись, отвернулась.

Этим пасхальным утром она вошла к нему в комнату своей тяжёлой, солдатской походной, усугубляемой тяжёлыми сапогами, которые были ей велики, держа в руках поднос с чаем, куском кулича, пасхой и несколькими крашеными яйцами:

— Христос Воскресе, Ростислав Андреевич!

— Воистину Воскресе, Тоня! Что это за прелестный натюрморт у вас?

— Это угощение вашей хозяйки, — ответила девушка. — Она очень милая старушка, и муж её тоже. Счастье, что вам досталась комната именно в их доме. Здесь так уютно!

«Чокнулись», по традиции, яйцами, и Тоня принялась проворно очищать их от скорлупы:

— А ещё хозяйка обещала давать молоко, хлеб, масло и всё необходимое... Вам, Ростислав Андреевич, теперь нужно хорошо питаться, чтобы скорее встать на ноги.

— Вы, Тоня, ангел. Не знаю, как и чем вас отблагодарю.

— А для Тони и спасибо вашего многожды-много! Я и китель ваш залатала и почистила. На нём теперь уже не капитанские, а подполковничьи погоны.

— Вы думаете, они будут мне более к лицу? — улыбнулся Арсентьев, приступая к завтраку.

— Они будут вам более по заслугам.

— Тоня, вы были сегодня в церкви?

— Да, — кивнула девушка. — Поставила свечку за ваше здоровье, за упокой своих родителей и ваших... — она слегка запнулась, — ...вашей жены... Вы в бреду всё её имя называли, я и поставила... Счастливая она была женщина... И теперь, наверное, ей так хорошо там...

— Вы так думаете, Тоня?

— Конечно. Там, Ростислав Андреевич, всем хорошо... Это здесь мы всё мыкаемся, мучаемся, а там

всё по-другому. И отцу моему там хорошо сейчас, я знаю. И вашей жене...

— Спасибо вам, Тоня, — серьёзно сказал Арсентьев. — Мне самому этой ночью очень хотелось быть на службе. Я очень давно не был в храме, и я рад, что вы сделали это вместо меня.

— А хотите, Ростислав Андреевич, я батюшку попрошу, чтобы он навестил вас?

— Нет, пока не надо, — покачал головой подполковник. — Вот, когда я встану на ноги, я сам дойду до церкви. А пока ничего не надо...

— Чуть не забыла вам сказать, я на обратном пути встретила капитана Вигеля. Помните, я говорила, что он несколько раз справлялся о вас, пока вы были в бреду?

— Конечно. И что он?

— Сказал, что зайдёт к вам ближе к полудню. Мне кажется, нехорошо у него на душе, очень нехорошо... На службе его не было, а я из церкви вышла, а он кругами вокруг неё ходит, угрюмый, поломанный... Говорят, у него невеста под Екатеринодаром погибла. Вот, он, видать, и мучается. Так жалко его...

Ростислав Андреевич промолчал. Он вспомнил свой разговор с Вигелем в самом начале Похода и понял, для чего тот так настойчиво ищет встречи с ним. Боль врача ищет...

Николай Петрович, произведённый в чин капитана, пришёл вскоре. На нём был залатанный, но вычищенный и выглаженный мундир Корниловского полка, начищенные до блеска сапоги. Знать, теперь все Корниловцы до своего нового командира тянутся: Александр Павлович даже во время Похода, не имея денщика, всегда умудрялся выглядеть так, будто бы готовился к параду в родном Преображенском полку, и за внешним видом подчинённых следил всегда пристальнейшим образом. Вигель с порога отдал честь и, приглашённый садиться, снял свою красную фуражку

и, небрежно бросив её на подоконник, опустился на стул рядом с постелью Арсентьева. С момента их последней встречи он явно осунулся, трагическая складка пролегла по его высокому лбу, а в глазах появилась жёсткость, которой не было прежде. Николай Петрович был внешне спокоен, но подполковник ясно чувствовал, сколько различных чувств, сомнений и мучений кипит в нём, не находя выхода.

— Христос Воскресе, господин капитан...

— Воистину... — сухо отозвался Вигель. — Я сегодня впервые в жизни пасхальную службу пропустил. Прежде всякую мог пропустить, но не эту. А тут не пошёл, не смог пойти, словно что-то не пускает... — он говорил отрывисто, глядя не на собеседника, а словно внутрь себя, слегка опустив мрачное лицо с заострившимися чертами.

— Вас непролитая кровь томит, капитан, — ответил Арсентьев, с трудом приподнимаясь на локте, чтобы сидеть несколько выше на своём одре. — Кровь крови просит...

— Мы с вами мало знаем друг друга, Ростислав Андреевич... А уже давно ищу встречи с вами. Мне бы следовало с моей мукой к священнику пойти... — Николай Петрович криво усмехнулся. — А я, видите, кощунствую... К вам исповедоваться пришёл... Потому что вы мне это предрекли... Тогда, в Лежанке... Словно наперёд знали, что всё так и будет! Что именно так я к вам и приду! — капитан резко поднялся, прошёлся по комнате, заложив за спину подрагивающие руки.

— Я сожалею, что всё так случилось. Я слышал о вашем горе и выражаю вам мои искренние соболезнования.

— Соболезнования? Вы, по-моему, к ним не способны, простите... Вы же ждали, ждали, чтобы всё это случилось, чтобы я вас постиг, и согласился с вами!

— Вы заговариваетесь...

— Нет! Вы сказали, что меня непролитая кровь томит. Вы правы! Я к вам не с тем пришёл, чтобы упрекать или делиться горем. А потому, что вы меня, я знаю, поймёте. Может быть, слишком поймёте... Я не загубил ни одной зряшней жизни: только в бою... Я всегда искал единственной правды, справедливости и милосердия! Я отпускал пленных вместо того, чтобы расстреливать! Я защищал их, потому что так велела мне совесть... А теперь я раскаиваюсь в этом, слышите ли?! Я раскаиваюсь в своём милосердии! Я всю жизнь защищал людей, я никого не ненавидел... А теперь у меня не душа, а... вакуум, наполненный ненавистью! Я почти всякого стремился оправдать, во всех искать доброе начало, всех извинять... А теперь мне в каждом почти мерещится враг, и на каждого я смотрю, как обвинитель на суде! Я больше никого не могу защищать, а ведь это было моё естество! Я не знаю, что со мной происходит... Иногда мне кажется, что я схожу с ума... Знаете ли вы, что я никогда не сомневался в существовании Бога? Бог есмь, и я есмь, а если нет Бога, то ничего нет, то меня нет... А теперь я сомневаюсь! Потому что, если есть Бог, то почему, почему всё так?! Невинные принимают мучительную смерть, а убийцы упиваются их слезами... И для чего тогда я и все мои устремления? — глаза Вигеля лихорадочно блестели, а побледневшие губы прыгали.

— Всё так, Николай Петрович, потому что дьявол сошёл на землю... И Бог позволил ему терзать её, как позволил терзать Иова... Может быть, однажды, когда в рубище и в смердящих гноевищах, мы будем лежать в пыли, презираемые всеми, он восстановит нас в прежнем достоинстве...

— Вы всерьёз верите в это?

— А во что ещё остаётся верить, господин капитан? Если хотите дружеского совета, то не поддавайтесь сегодняшнему вашему настроению. Не пытайтесь

залить адский огонь в сердце кровью врага... Огонь маслом не тушат, Николай Петрович. Ненависти ненавистью не изжить...

— Прежде вы говорили иначе, — заметил Вигель.

— Я три недели был у самого порога смерти. Я сейчас как будто вернулся оттуда, и мне уже не кажется верным то, что я думал тогда. Я не могу объяснить вам моего состояния... Я сам ещё не до конца понимаю себя...

— Так вы что же, раскаиваетесь в том, что так методично отправляли на тот свет «товарищей»?

— Ни одного мгновения, — твёрдо ответил Арсентьев. — Но следовать моему примеру не нужно.

— Отчего же?

— Вы такой крови вынести не сможете, капитан. Вы просто сойдёте с ума.

— Вы же не сошли.

— Мы разные люди, Николай Петрович. Вы законник. Защитник. Человек, по природе, милосердный и сострадающий. Сейчас вы в смятении, вы ожесточены, но вряд ли до такой степени, чтобы вся ваша личность изменилась в корне. Сейчас вы мучаетесь непролитой кровью, но это, может быть, пройдёт. Зато потом вас станет истязать кровь пролитая, если вы прольёте её. Это не ваш путь, поверьте слову. Я много видел в жизни и много пережил, я знаю, о чём говорю. Я делал то, что делал, с холодным рассудком, с твёрдым убеждением в том, что исполняю долг. Вы же будете руководствоваться безумием, рождённым горем.

— А теперь как вы понимаете ваш долг, господин подполковник? Иначе?

— Дело не во мне... В вас дело. А, впрочем, скажу так: я молю Бога, чтобы впредь он уберёг меня от участия в исполнении приговоров, а позволил служить Родине лишь на поле брани. Во время Похода у нас не было выхода: мы не могли брать пленных. Но если

армия станет сильна, если мы укрепимся, то наша политика должна быть иной. Усобная война скверная штука. В ней даже победа горчит... В ней истребить врага — полдела. В этом ни добра, ни ума... А, вот, переманить на свою сторону, победить в умах и душах — вот, где победа! Не копьем побивают, а умом. Война усобная выигрывается не на поле брани, а в душах... Теперь стихия распада борется со здоровым чувством самосохранения. И от исхода этой схватки зависит будущее России и наше.

Капитан снова сел на стул, на этот раз верхом, провёл рукой по светлым волосам, помолчал, а затем сказал тоном уже спокойным:

— Вы мне, Ростислав Андреевич, напомнили сейчас одного человека... Вы были знакомы с полковником Северьяновым? Он служил в вашем полку.

— Встречались, — кивнул Арсентьев, смутно припоминая, о ком идёт речь.

— Он перед смертью говорил мне очень похожие слова. О том, что война наша — духовная. Что силой ничего не решить. Что зло побеждается добром. Что мы победим только в том случае, если окажемся способны на духовный подвиг. Что нужна не армия, а некий орден...

— А нельзя ли подробнее?

Вигель заметил, как в глазах подполковника блеснул интерес, и начал пересказывать ему завещание полковника Северьянова. За недели, прошедшие с его смерти, он ни разу не вспомнил его идей, хотя, впервые услышав, хотел хорошенько обдумать их. И, вот, теперь Николай слышал схожие мысли от человека, от которого трудно было их ожидать. Разом припомнился Вигелю ночной разговор с умирающим полковником, и удивляясь себе, он сумел припомнить и повторить его слова почти в точности. Ростислав Андреевич слушал с не ослабевающим вниманием, иногда слабо кивая

головой в знак согласия. Нет, напрасно думал Николай, что этот мрачный человек с тяжёлым взглядом живёт только желанием отомстить большевикам. Быстро работает его живой ум, ища ответы на мучительные вопросы, разъедающие душу, и слушает он вдумчиво, просеивая сквозь себя, как сквозь сито, каждое слово. Совсем другого ожидал Вигель от Арсентьева: перед ним был уже не тот ожесточённый на весь мир капитан, хотя всё тот же металл был в его голосе и в глубине глаз. Но слова были иными, и иное что-то проступило в высохшем лице, обрамлённом густой чёрно-белой бородой. Что-то понял Ростислав Андреевич за время своей болезни, и оттого оживает теперь в то время, когда он, Вигель, не находит себе места и впервые в жизни жаждет отмщения и собственной гибели...

Слишком многих и многое отнял Кубанский поход, и путь Николая отныне был усеян крестами на могилах дорогих людей. Хотя последнее — всего лишь метафора, потому что не осталось ни крестов, ни могил... Спят в братских могилах братья Рассольниковы, светлоокие отроки, почти не знавшие жизни. На берегу Кубани нашёл последний приют полковник Северьянов, как простой солдат, забыв о высоком своём звании, столько раз шагавший в стройной цепи Марковцев навстречу огню красных... Пал смертью храбрых незабвенный Митрофан Осипович Неженцев... Ах, когда бы и Вигелю в ту пору пасть рядом... Из бывших рядом с ним уцелели лишь двое, а остальные нашли смерть на роковом кургане. Почему-то лишь Николая пули облетали стороной, даже не царапая... Напророчил Северьянов: кто-то же должен в живых остаться... Все-то в пророки подались! И ведь надо же было остаться в живых, чтоб стать вестником смерти для родных тех, кому повезло меньше (а может быть, больше?)!

...А у Тани и родных не осталось. Некому передать печальной вести, некому оплакивать её, кроме него и

тех, для кого в лазаретном тартаре она была ангелом мирным, кроткой утешительницей. Мог ли думать Николай, отправляясь штурмовать Екатеринодар и прощаясь с ней на берегу Кубани, что больше никогда не увидит её, что не для него, солдата, сражающегося на острие опасности, а для неё, милосердной сестры, станет могилой кубанская столица? Он не видел дорогого лица, на которое смерть надела свою неподвижную маску: Таню похоронили у станицы Елизаветинской, прежде чем он добрался туда. Старик-священник, отпевавший её, рассказывал, что многие раненые, пришедшие проститься с ней, плакали, пытался сказать какие-то слова в утешение, но слова эти казались Вигелю почти насмешкой, новой жестокостью, издёвкой... А ведь сколько он говорил подобные «утешения» сам! «Она теперь на Божьем лоне почивает и радуется»... Ложь, ложь, ложь! Как казённо, как пусто звучит подобное утешение! Да есть ли Бог, в самом деле? Или это лишь мечта? Лучше бы вовсе молчал старик, чем повторял эти заученные слова, которые твердил всем...

Икону Богородицы «Умягчение злых сердец», столь любимую Таней, намоленную ею Николай оставить не посмел и, завернув её в тряпицу, спрятал на дно своего вещмешка, откуда ни разу не извлёк, потому что вид чудного лика, перед которым с такой горячей верой молилась Таня, и который не охранил её в минуту опасности, пронизывал болью истерзанное сердце.

А на другой день стало известно о гибели Верховного. Несколько дней назад это известие сломило бы Вигеля. Целый год Николай боялся однажды услышать его, целый год замирало сердце от мысли, что того, на кого обращены были все надежды, может не стать. И, вот, это случилось, но ничего не отозвалось в душе Вигеля. Ещё накануне, при виде Корнилова, он ясно ощутил, насколько приблизился Верховный к

своему концу! В тот момент Николай уже воспринял несчастье, до которого оставались ещё сутки, и, никому не обмолвившись, успел пережить его в душе так, как если бы оно уже случилось. Горькая весть застала его на могиле Тани, и ничто не ворохнулось в душе, ничто не пронзило сердце, уже разорванное собственным горем, на время разучившимся чувствовать что-либо...

После всего пережитого Николай очень хотел встретиться с «чёрным капитаном» Арсентьевым. Боль тянулась к боли, боль искала утешиться чужой болью. Но совсем не так проходил разговор, как ждал Вигель. Выслушав идею Северьянова, Ростислав Андреевич задумчиво произнёс:

— Жаль, что я плохо знал этого человек. Пожалуй, он во многом прав...

— А я с ним не согласен! — порывисто вскрикнул Николай. — Клин клином вышибают, вот что! Врага нужно раздавить! И всё! Довольно гуманности! Гуманность оборачивается только кровью! Нашей кровью! Если нужен палач, пусть будет палач... Я был наивным ребёнком когда-то! Верите ли, в пятом году и после возмущался жёсткими мерами правительства! Как же, думалось мне, можно вешать людей? Только Бог может лишить жизни, а по суду, по закону отнять жизнь — нельзя! Есть ведь каторга, тюрьма есть! А теперь думаю: мало вешали! Мало! Слишком гуманные были! А надо было всю это сволочь, начиная с Ленина и Троцкого ещё в пятом году вздёрнуть! Сколько бы бед избежали! Мы грезили о всеобщей гуманности, справедливости, милосердии... О, какая же это была глупость! Как слепы мы были! К чёрту теперь всю эту чепуху! Настало время карать...

— Сдаётся мне, Николай Петрович, что речь здесь не о гуманности. Я против гуманности. И был против неё всегда. И жёсткие меры правительства я поддерживал совершенно, и считал их недостаточными.

— Вы были мудрее меня!

— Кара должна быть. Жёсткость и даже жестокость необходимы в сложившихся обстоятельствах. Но не вседозволенность, не произвол, не разнузданность! Кара должна быть обращена на виновных, а не на всех без разбору. И жесткость мер должна быть основана на законе. Хотя бы на законе военного времени. Вы, как юрист, должны понимать это лучше меня. Нельзя давать волю страстям, иначе погубим всё дело... — последние слова Арсентьев договорил еле слышно, прикрыв глаза. — Простите, капитан, я ещё не оправился после ранения...

— Простите, что утомил вас долгим разговором, — отозвался Николай, надевая фуражку.

— Очень прошу вас, Николай Петрович, не наделайте больших ошибок, которые нельзя потом будет исправить.

— Я сегодня убываю в отпуск.

— Вот как?

— Да... Мне нужно выполнить поручения покойных товарищей, завещавших посетить своих присных и передать им кое-какие вещи...

— Чертовски неприятная миссия, не хотел бы я оказаться на вашем месте...

— Честь имею, господин подполковник!

— До встречи, капитан.

Путь Вигеля лежал вначале в Ростов, а оттуда в Новочеркасск. Черно на душе было у Николая в ожидании встречи с убитыми горем родственниками. Хорошо ещё, если они уже знают, а если нет? Стать для них чёрным вестником — что может быть хуже и тяжелее?

До города Вигель добирался в компании нескольких легко раненых однополчан, спешивших обнять родных. Ростов был занят немцами, сохраняющими нейтралитет в отношении Добровольческой армии, намерения

которых, однако, до сих пор оставались туманными. После всего вынесенного от большевиков многие обыватели встретили вчерашних врагов, как избавителей. Но офицерам, три года проводшим на фронте, вид марширующих по улицам русского города немцев был острым ножом в сердце. Вигель с горечью взирал на немецкое засилье, на беспечных прохожих, для которых как будто бы ничего не изменилось за эти месяцы. Город жил своей жизнью, мирной и вновь чуждой фронту. И с удивлением смотрели обыватели на оборванных, обмотанных грязными бинтами людей, искалеченных и истощённых, откуда-то взявшихся среди чистых, шумных улиц, среди нарядно одетой публики...

— Кто вы такие?

— Корниловцы... Из похода вернулись!

— А... — и спешили, спешили прочь, торопясь по своим делам.

Боже, что ещё должно случиться, чтобы эти люди разучились жить, отгородившись непробиваемой стеной от армии, от томящихся под красным игом братьев, от самой России, от её бед и страданий?!

Тяжело поднялся капитан по знакомой лестнице и позвонил в дверь Рассольниковых. Ответит ли кто-нибудь?.. Дверь отворилась. На пороге стояла Люба Толмач с усталым, пожелтевшим лицом:

— Вы, Николай Петрович? Ну, здравствуйте... — проронила бесчувственно. — Отца нет... А мама болеет...

— Я полагал, что вы с Осипом Яковлевичем уехали...

Послышались шаркающие шаги, и в прихожую, опираясь на трость, вышла Надежда Романовна:

— Люба, не держи гостя на пороге. Войдите, Николай Петрович...

Вигель вошёл в гостиную, в которой некогда проходил прощальный ужин, и несчастная мать

благословила своих сыновей сражаться за Россию... Теперь здесь чувствовалось запустение и безысходная скорбь. На стене Николай увидел фотографию Мити и Саши с чёрной лентой в углу. Значит, здесь уже всё знают...

Надежда Романовна остановилась посреди комнаты, поглядела на Вигеля слезящимися глазами, заговорила негромко больным голосом:

— Осипа Яковлевича убили... Поезд их остановили... И его убили... И деньги все забрали... Люба так и вернулась... Одна... Капиталы, капиталы... Вот они и капиталы... Кому они нужны, если они никому не спасли жизни... Афанасий Демьянович жив... Он в разных станицах скрывался, потом к обозу степняков наших примкнул, при штабе у атамана Попова какую-то должность получил... Он ведь умный у меня, Афанасий Демьянович мой, его многие знают... Он в Новочеркасске сейчас, скоро приехать должен... Наконец, хозяин в дом вернётся...

— Мама! — поморщилась Люба.

— А ты молчи, о чём не знаешь... Твой отец всегда был в доме хозяином... Золотой он человек... Хотя бы мне дождаться его... — Надежда Романовна промокнула глаза платком. Она говорила торопливо, будто бы нарочно стараясь отсрочить самое страшное — ради чего явился в её дом пасынок сестры. — Слава Богу, что он уехал, а то бы и его... Знаете вы, Николай Петрович, что здесь было? Знаете, что изверги эти творили здесь? Здесь через улицу профессор Колли жил, знаете? Хотя откуда вам его знать... Он у нас обедал часто... Такой был человек! В университете преподавал, Митеньку нашего поощрял очень... Ах, ты Господи! Да за что же... — она заплакала не в силах продолжать.

Николай посмотрел на Любу, и та нехотя, бесстрастным тоном принялась рассказывать, словно, читая по писаному:

— Кто-то донес, будто бы профессор хранит у себя дома оружие и бомбы. Явился отряд вооруженных красноармейцев, произвел обыск и затем вывел его на улицу. Он их спрашивает: «Господа, есть ли у вас мандат на мой арест?» А они ему: «Там разберемся». Это всё здесь, на улице происходило. Прямо под окнами у нас... Толпа собралась. Солдаты, подростки, какие-то безумные женщины... Стали вопить, что он «кадет», «контрреволюционер», «генерал» и «миллионер», что его надо убить, как и всех богатых людей. Бедный Колли пытался убедить их, что он не сделал никому ничего дурного и что за него, как иностранного подданного, виновным придется отвечать. Обыск в квартире ничего не дал. Тогда красноармейцы-латыши, выйдя на улицу, сняли с профессора пальто, пиджак, шапку и ботинки, надели на него принесенный ими с собою китель с одним погоном и аксельбантом и, поставив к стенке, расстреляли. Труп его оттащили на середину улицы, женщины топтали его ногами, некоторые плевали в него, а один солдат, сорвав погон с кителя, глумясь, вложил его в рот покойника. Толпа озверела до того, что требовала смерти его вдовы и детей...

— Звери! Звери! — завывала Надежда Романовна, закрывая руками лицо. — Они бы и моего Афанасия Демьяновича растерзали бы также! Бедный, бедный профессор Колли... Ведь он никому за всю жизнь не сделал ничего дурного! А священники? Эти негодяи расстреляли нескольких, как контрреволюционеров... Боже, как страшно стало жить...

— Мама!

Надежда Романовна вдруг осеклась и, приблизилась вплотную к Вигелю:

— Вы пришли сюда, чтобы сказать мне о моих несчастных мальчиках? — голос её дрогнул. —

Говорите, Николай Петрович. Я уже всё знаю... Я готова выслушать вас...

— Мне нечего сказать вам, Надежда Романовна, кроме того, что ваши сыновья погибли, как настоящие герои, исполнив свой долг до конца и проявив огромное мужество. Я присутствовал при последних минутах жизни Саши. Он встретил свою смерть со спокойствием и достоинством и просил кланяться вам. Ещё я должен передать вам кое-какие вещи... — Вигель протянул несчастной женщине свёрток. — Здесь книга Мити и тетрадь со стихами Саши. Тетрадь испачкана кровью... Это кровь Мити. После смерти брата он носил его тетрадь на груди, у сердца...

Надежда Романовна дрожащими руками развернула свёрток, поднесла к губам побуревшую тетрадь, задрожала всем телом и отчаянно, захлёбываясь, зарыдала. Люба бросилась к матери, обняла её. Каменное её лицо исказилось судорогой, из глаз потекли слёзы. Так не привыкла плакать эта молодая женщина, что теперь её всхлипы напоминали что-то вроде лая, сдавленного, хриплого.

— Простите меня... — тихо сказал Вигель и, поклонившись, ушёл, оставив двух сломленных горем женщин, рыдающих в объятиях друг друга. Ему предстояло навестить ещё один, пока неизвестный адрес.

Николай убыстрял шаг, ища нужный дом. Среди вещей убитого Мити Рассольникова он обнаружил фотокарточку молодой женщины с выразительными чертами южного лица, на обратной стороне была надпись: «В случае моей смерти вернуть Полине» и адрес, по которому, как следовало, жила данная особа. Проплутав какое-то время, Вигель, наконец, отыскал указанный дом и, поднявшись по тёмной лестнице на третий этаж, постучал в дверь. Та открылась немедленно, словно хозяйка ждала кого-то. Широкий шёлковый халат китайского покроя, собранные сзади

густые волосы, заколотые длинной китайской заколкой, красивый горбоносый профиль, в изящной руке мундштук с недокуренной сигаретой — странная женщина, что общего у неё могло быть с Митей?..

— Вы Полина?

— Проходите... — низкий, но приятный, бархатистый голос. — Кофе хотите? Еды у меня нет, а кофе ещё остался...

Странная женщина! Не спросила ни имени, ни причины визита. Комната бедная, мебель — в чехлах, на одной из стен — большой веер, на столе стопа книг, печатная машинка и... фотография Мити.

— Благодарю вас, но кофе я не хочу. Разрешите представиться: капитан Вигель.

— Я вижу, что капитан. А имя-отчество?

— Николай Петрович. Прошу извинить за внезапный визит, но я должен передать вам вот это, — Вигель протянул Полине её фотокарточку. Она долго держала её в руках, потом проронила: — Значит, его больше нет...

— Так точно. Дмитрий Рассольников погиб в бою.

— Где это случилось?

— Под станицей Кореновской.

Полина поднялась с низкого дивана, на котором сидела, подошла к столу и поставила фотографию рядом с карточкой Мити. Указав на неё, она вдруг сказала:

— Знаете откуда у меня этот снимок? Я его украла... Украла у его товарища, сёстрам которого давала уроки... Чтобы хоть что-то осталось, чтобы не забыть его лица... Скажите, он ничего вам не говорил обо мне? Не просил предать?

— Никак нет.

— Даже не просил передать... — Полина вздохнула. — И правильно... Я же сама, сама отказала ему, сама толкнула на этот путь... Я перед ним

виновата. Если бы я повела себя иначе, он мог бы быть жив...

— Разве он делал вам предложение? — удивлённо спросил Вигель.

— Вам это тоже кажется сумасшествием? Безусый юноша, почти мальчик и я... такая... Я любила его, господин капитан. Может быть, в целом свете его только одного и любила. Но я не могла быть с ним... Нет, предрассудки ещё можно было бы забыть, не обращать на них внимания... Но я скоро умру. Я не хотела стать ему обузой...

— Почему вы думаете...

— Я не думаю. Я знаю. Мой отец был врач. Я тоже неплохо разбираюсь в медицине. И ошибиться я не могу. Мне осталось от силы года два... И я счастлива, что это так. Потому что я устала от всего и от всех... Так кофе вы не хотите?

— Нет, я не люблю кофе.

— А я не могу без него жить. Без пищи могу, а без кофе — нет...

— Простите, Полина, но мне нужно идти.

— Понимаю... Но обождите ещё несколько минут! Я вас спросить хочу. Я вашего совета хочу спросить... — Полина облокотилась ладонями о стол и воззрилась на Николая. В полумраке комнаты лицо женщины, стоявшей спиной к окну, было почти неразличимо, и лишь сухо поблёскивали зеленоватые глаза. — Скажите мне, господин Вигель, что мне делать теперь? На что мне истратить последние годы моей треклятой жизни? Если бы не эта болезнь, я бы сейчас уже напилась какой-нибудь отравы, но для меня это было бы слишком легко... Но просто медленно угасать без всякой пользы — это же отвратительно! У меня два варианта есть, милый Николай Петрович. Или в монастырь пойти, спасением своей окаянной души хоть напоследок заняться, или же в Москву податься и там убить одного

из этих... Из главарей! Ленина, Троцкого или ещё кого-нибудь! У меня рука не дрогнет... У меня учителя хорошие были... Только они за царскими сановниками охотились, а у меня дичь другая! Так что вы мне посоветуете, капитан, душу спасать или выродка укокошить? Что, по-вашему, нужнее и правильнее?

Вигель не знал, что ответить. Он был потрясён словами этой странной женщины. Такие, должно быть, бросали бомбы и стреляли в министров и губернаторов... Такими были Перовская и Засулич. А ведь она, как и те, уже всё для себя решила, но спрашивает зачем-то постороннего человека, ища поддержки своему намерению.

— Не знаю, что вам сказать, Полина. До главарей вы вряд ли доберётесь, а только зазря погубите себя. А перед смертью... лучше думать о душе.

— Вы так думаете? О душе думать надо, но только если есть это обетованное бессмертие! Если Бог есть! А если его нет? Если там — ничего нет? Тогда зазря погубить последние месяцы жизни? Сами-то вы в Бога веруете? Веруете?! — с каким-то отчаянием в голосе спросила Полина.

— Я... не знаю... — сдавленно откликнулся Николай. — Ещё месяц назад верил, а сейчас не знаю...

— А я ещё совсем недавно не верила вовсе. А теперь — не знаю! А если нет Бога? Тогда только и остаётся что убить кого-нибудь... Хоть какая-то, чёрт побери, польза! Самой сгинуть, но утащить следом какую-нибудь гадину, чтобы на земле чище стало! Убить гадину — дело благое, вот что. А грехов моих мне всё равно не отмолить... Я не знаю, есть ли Бог... У меня на земле не осталось человека, которого бы я любила. Зато я знаю очень хорошо, кого ненавижу. Значит, так тому и быть! Даже если мне суждено погубить душу и гореть в аду за то, что я совершу, но я не остановлюсь, я доберусь хотя бы до одного из них, потому что мне

терять нечего! — голос Полины сорвался, она помолчала несколько мгновений, собираясь с духом, а затем сказала спокойно: — Что ж, господин капитан, если кофе вы не любите, то не смею вас больше задерживать. Спасибо, что пришли и рассказали мне о Мите. Прощайте!

— Честь имею!

Вигель был рад покинуть этот дом, эту полубезумную женщину, томимую той же страстью, что и он. Гнетёт её гордую душу непролитая кровь и сиротство, и не находит она места себе, и сражается мучительно со своим бесом — и кто-то одолеет? Вот, она — самая страшная брань из всех, брань с собственном бесом, брань в собственной расколотовой душе. Эта брань идёт теперь в нём, опустошая, изводя, испепеляя... Не от Полины стремился как можно скорее уйти Николай, но от самого себя, от своего беса, которого так явственно узнал он в ней, узнал и устранился великого страдания, которому тот, безжалостный и изворотливый, обрёл несчастную умирающую женщину.

Последним пунктом печального маршрута был Новочеркасск, где ещё одна женщина осуждена была не дожидаться дорогого сердцу человека, и услышать горькую весть из уст Николая...

Ярким солнечным светом был залит Новочеркасск, и беспечально шумела листва его садов, и, также как в Ростове, спешили по своим делам или тянулись прогулочным шагом невозмутимые люди: военные в новых мундирах под руку с дамами, суетливые конторщики, казаки... «Житейское море играет волнами, то радость, то горе рождая меж нами...» О, море житейское, как коротка память твоих волн: поднимутся до небес клокочущие возмущением валы, а наступит утро, и снова тихая гладь отражает сияние солнца, лижет прибрежные скалы и песчаные берега, и

ничто, кажется, не способно взволновать её. Ещё не забыли мостовые пролитой на ней крови, а люди уже вновь предаются земным радостям: хоть последнее, да моё!

К дому полковника Северьянова Вигель шёл с особенно тяжёлым сердцем, представляя, как придётся сообщить бедной Наталье Фёдоровне о смерти мужа. Он долго жал кнопку звонка, но ни шороха не раздавалось в ответ. По-видимому, дома никого не было. Николай терялся в догадках, что могло произойти: вынуждена ли была Наталья Фёдоровна переехать куда-то во время террора большевиков, вышла ли ненадолго по делам, или же, не дай Бог, случилось что-то дурное? Почти отчаявшись, он в досаде с силой пнул дверь и, отойдя на несколько шагов, извлёк письмо Юрия Константиновича с намерением подсунуть его под дверь или же попытаться постучать в соседние квартиры: может быть, там что-то знают о судьбе Натальи Фёдоровны и возьмутся передать ей записку мужа. Но в этот момент дверь бесшумно отворилась и на лестницу, как тень, вышла сама Наталья Фёдоровна, очень изменившаяся за прошедшие месяцы. Она исхудала, буквально вытянувшись в нить, лицо её было блее полотна, плечи, покрытые тёплым, пуховым платком подрагивали не то от холода, не то от сильного нервного напряжения.

— Это вы, Николай Петрович? — спросила Наталья Фёдоровна слабо, придерживаясь рукой о дверной косяк. — Вы от него? Вы от Юрия Константиновича? — голос её дрогнул. — Не молчите, пожалуйста... Я же чувствую, я же... Его нет больше? Говорите! Его больше нет?..

Вигель молча кивнул и подал Северьяновой письмо:

— Юрий Константинович перед смертью просил передать вам...

— Благодарю вас... — Наталья Фёдоровна дрожащими руками развернула письмо, прочла дважды, всхлипнула. — Я знала, что так будет. Уже когда он уходил, знала, что не вернётся, что в последний раз его вижу... Только боялась сама себе в этом признаться. Он столько раз уходил, но я никогда не боялась... Я всегда была уверена, что всё обойдётся. А тут... Тут точно сердце оборвалось, когда он спускался по этой лестнице... И, знаете, Юрий Константинович, уезжая, всегда очень подробно наставлял меня, что делать, говорил, как быть, если с ним что-то случится... А тут ничегошеньки не сказал, ни словечка. Поцеловал только и ушёл... — она внезапно покачнулась, но ещё сильнее вцепилась в косяк и продолжала, всё более волнуясь. — Ушёл и оставил меня одну... Совсем одну... Сначала ещё Маруся была, горничная наша... А потом она меня тоже бросила... Все меня бросили! А тут солдаты, матросы... Они в мою дверь стучали... Им кто-то сказал, что Юрий Константинович здесь... Они так бранились, а я забилась в угол, пистолет Юрия Константиновича рядом с собой положила, чтобы... А они ушли, ушли... Я им не открывала, и никому с тех пор не открывала... И так жутко, так жутко стало! Открыть кому-то — жутко, на улицу выйти — жутко... Позвать — некого... Все или на небе, или сбежали! У меня ни дров не осталось, ни еды... Я уже три дня не вставала с постели... Или дольше... Я уже не знаю, сколько время прошло... Я всё сплю в последнее время, всё сплю... И сейчас насилу поднялась открыть, словно почувствовала, что вы от него... Что за мной...

Наталья Фёдоровна говорила лихорадочно, пересохшие губы её дрожали. Она явно была больна. Тяжёлое нервное расстройство вкупе с сильнейшим истощением почти уморили недавно цветущую женщину. Глаза её, запавшие, в чёрных круга,

нехорошо блестели, в прерывистом голосе то и дело слышались истерические нотки.

— Все бросили! И он бросил! И он! — вскрикнула Наталья Фёдоровна, ломая руки. Письмо упало, а она, измученная долгой речью стала оседать на пол. Вигель бросился к ней, подхватил на руки, отнёс в знакомую зелёную гостиную, уложил на диван. Руки женщины были ледяными, а лицо приобрело голубоватый оттенок. Николай заметался по квартире: в ней, действительно, не было ни крошки съестного, царил холод и тяжёлый дух давно непроветриваемого помещения. Наталья Фёдоровна осталась в своей квартире одна, будучи больной, и помочь ей оказалось некому. Несчастливая женщина медленно умирала от голода, не имея сил выйти на улицу, поражённая паническим страхом перед ней, враждебной и озлобленной. Вот, значит, почему так боялся полковник Северьянов за свою жену, так просил позаботиться о ней... А ведь приди Вигель несколькими днями позже и мог бы не застать Наталью Фёдоровну в живых. Полный жалости к ней, Николай укрыл её тёплым одеялом, после чего выбежал на улицу и, остановив проходившего мимо гимназиста, попросил его как можно скорее бежать за доктором. Идти на поиски врача сам Вигель не решился, боясь оставить Наталью Фёдоровну в таком состоянии. Вернувшись в квартиру Северьяновых, он, прежде всего, растворил окно в зеленой гостиной, сильно запущенной со времени его первого визита, впуская в ставшее похожим на склеп помещение свежий воздух. Наталья Фёдоровна пришла в себя и, подняв на Николая страдальческие глаза, попросила сквозь слёзы:

— Вы только не уходите никуда... Сейчас не уходите! Мне так жутко одной, если бы только знали! Не оставляйте меня, прошу вас!

— Разумеется, я не оставлю вас, пока вы не поправитесь, — ответил Вигель. — Это мой долг перед Юрием Константиновичем, завещавшим мне заботиться о вас.

— Спасибо...

Сидя у постели Натальи Фёдоровны в ожидании прихода доктора, Николай понял, что отныне судьба его крепко-накрепко связана с этой женщиной, которую он просто не может покинуть на произвол судьбы, поскольку позаботиться о ней больше никому, а, оставшись одна, она неминуемо погибнет, потому что не принадлежит к числу тех сильных натур, которые способны вынести выпадающие на их долю испытания, потому что слаба, ранима и беззащитна. Вигель не знал и не мог знать, жив ли кто-либо из его родных и близких. Минула ли кровавая страда его старого отца. Все они, если и остались живы, были где-то очень далеко. А рядом была Наталья Фёдоровна, запуганная, чуть живая... И ей очень нужен был он, Николай Вигель, надёжный друг, который поддерживал бы её и защищал. Но, странное дело — и ему, как оказалось, нужна была Наталья Фёдоровна, беспомощностью своей пробуждавшая в его очерстневшем сердце те добрые чувства, которые будто бы были похоронены месяц назад на старом кладбище станицы Елизаветинской... Боль тянулась к боли, боль искала боль, две боли встретились, словно притянутые магнитом друг к другу, и, соединившись, не могли разъединиться вновь. Радость с радостью ходит, а беда — с бедой...